

# НОВОСТИ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (1029)

Январь, 2011 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ — Там, где у сфинкса кончаются лапки, стихи	3
СЕРГЕЙ НОСОВ — Полтора кролика, рассказы	9
ДМИТРИЙ БЫКОВ — Пять песен, стихи	45
ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО — Флягрум, поэма	50
НАТАЛИЯ ЧЕРНЫХ — Россия-Саломея, стихи	84
СУХБАТ АФЛАТУНИ — Жало, повесть	89
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ — Возвращение Синдбада, стихи	106
РОМАН ПЕРЕЛЬШТЕЙН — День флага, маленькая повесть	112
ЗВИАД РАТИАНИ — Пути и дни, стихи. Перевод с грузинского и вступительное слово Бахыта Кенжеева	126

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЛЕВ СИМКИН — Путешествия духоборов	132
------------------------------------	-----

### ОПЫТЫ

МИРОН ПЕТРОВСКИЙ — В Африку бегом	145
-----------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЕВ ОБОРИН — Журнальный вариант: о премии «Anthologia»	171
--	-----

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Горшкова. «Мы вас предупреждали»	185
Кирилл Корчагин. Эсхатология шашлычной колбаски	187
Александр Чанцев. Атомная воля инспектора творения	194

(См. на обороте)

## **СОДЕРЖАНИЕ (окончание)**

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕЛЕНА МАРИНИЧЕВОЙ	199
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	207
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ: НАУКА БУДУЩЕГО	211

## **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ**

Книги (составитель С. Костырко)	217
Периодика (составители А. Василевский и П. Крючков)	221
SUMMARY	238

---

---

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ



## ТАМ, ГДЕ У СФИНКСА КОНЧАЮТСЯ ЛАПКИ

\* \*  
\*

Ага, Матильда, теперь я тут.  
Всё жду, когда же они допрут,  
Что Земля не такая уж плоская,  
Что Бог един, а человечина — жёсткая.  
Вот, разве что сердце — такое мягонькое.  
Такое маленькое.  
И скулит волком.  
Ему ведь и не объяснишь всего,  
С ним не поговоришь толком —  
Уж больно мягонькое.  
Пойду-ка лягу-ка я.  
Глаза закрою, усну, проснусь —  
А мир-то — сучий.  
Матильда, а можно я к вам вернусь,  
У вас там лучше.  
У вас там встанешь — и хоть бы кто —  
Лишь ты да небо,  
А если кто-то когда-то был —  
То был, как не́ был...  
...И ни с каким покоем в мире не сравнится  
Надёжность двух босых ступней на черепице,  
И всё уже утратило значенье,  
Приобретя звучанье и свеченье,  
И, ежели тебя не окликают,  
То та рука на горле — отпускает,  
Лунный свет ложится на плечи  
И просвечивает...  
А у нас лунатиков лечат.  
И вылечивают.

---

Горбовская Екатерина Александровна родилась в Москве. Публиковалась во многих журналах, альманахах и антологиях. Автор поэтических сборников «Первый бал» (Москва, 1982) и «Обещала речка берегу» (Москва, 2003). Живет в Лондоне. В «Новом мире» публикуется впервые. В подборке сохранены авторская пунктуация и орфография.

\* \*  
\*

И ты пойми одну такую простую вещь,  
Что можно в комнату пустую  
Войти — и лечь —  
Вот так, свалиться наповал —  
Навечно, на пол,  
Но только чтобы этот кран  
На кухне капал —  
Чтоб захотелось вдруг дождя  
Стеной по окнам,  
И чтоб сбивал на слове «я»  
В «сейчас я сдохну».

\* \*  
\*

Вот ведь, как оно получается...  
Обознатушки-перепрятушки.  
Значит, всё оно продолжается,  
Продолжается — ну и ладушки.  
Где шампанское — там и фантики,  
Стынут розы на подоконнике.  
Удивительная романтика —  
В понимании пани Моники.  
Я ж сломалась об этот слалом,  
Закрутили крутые горки.  
Казанову играют дамы,  
А меня — аж тошнит на галёрке.  
С головой разобраться, что ли?  
Не могу я её донашивать...  
Я один раз спросила — доколе?  
А второй раз не буду спрашивать —  
Разве только что — там, на исходе,  
Тихим шёпотом — вот о чём ещё:  
Это всё так само происходит  
Или якобы с Божьей помощью?

\* \*  
\*

А по весне в открытое окно  
Влетит такое маленькое «но»  
Она проснётся — а оно в груди  
Он: «Что с тобою?» —  
Взвизгнет: «Отойди!»  
...Она начнёт глядеть издалека,  
Она начнёт струиться, как река,  
Закатывать глаза, цедить слова,  
Снимать себе пылинки с рукава  
И бегать на Центральный телеграф  
А он её убьёт и будет прав.

\* \*  
\*

Избави нас Боже допытывать психа,  
Почём у него его чёрное лихо —  
Угарные дни, одинокие ночи,  
Где за ночь раз десять —  
То ляжет, то вскочит,  
И память проходит ознобом по коже —  
Избави нас, Боже!  
И вас, кстати, тоже.

\* \*  
\*

Милый, любимый, ведь это — для взрослых,  
А нам же с тобою — расти и расти...  
Быть может, когда-нибудь, как-нибудь...  
После.  
Мы плюнем на всё и собьёмся с пути.

И скажем друг другу: какая досада —  
Какая досада, какая беда,  
Что нам ничего уже больше не надо,  
Что всё это — смех, и не стоит труда.

\* \*  
\*

Вы своё, а я своё — на закорочки,  
Не заметим, как дойдём  
До пригорочка.  
На пригорочке том — дом,  
Белоснежный, словно кокон —  
В этом коконе моём  
Нету двери, нету окон...  
Мы могли бы там пожить.  
Мы могли бы там остаться...  
Моё дело предложить,  
Ваше дело — отказаться.

\* \*  
\*

А вообще-то я из «погорелого»,  
Я вам — нараз:  
От стона тихого до взгляда белого  
Остывших глаз.  
Мои картинки все — сплошь акварелями:  
Поплюй — и нет,  
А вы, как маленький, всему поверили —  
Вам сколько лет?  
Бежать вам от меня, да не прихрамывать,  
Чтоб *never* впредь,  
А мне всю жизнь, видать, её доламывать,  
Мою комедь.

\* \*  
\*

С лева бока — ножка правая,  
С права бока — ножка левая.  
И слова мои — корявые,  
И делами Бога гневаю.

То направо перекошена,  
То налево. Вот ведь надо ведь...  
А хотела быть хорошею,  
Чтоб собою только радовать —

Чтобы речь держать — напевами,  
Чтоб ходить повсюду павою,  
Чтобы слева — ножка левая,  
А по праву руку — правая.

\* \*  
\*

А я — как рыба. А рыбы — немые.  
И мы три раза закрыли тему.  
Зачем мой мир превращать в сумятицу,  
Приснившись мне с четверга на пятницу...  
Ваш мир — творенный,  
Мой — пальцем деланный,  
Вы — по наитию, я — с испугу.  
У меня — тараканы,  
У Вас — демоны —  
Они никогда не поймут друг друга.

\* \*  
\*

А на сладкое у нас — сладкое  
А на горькое у нас — горькое  
А на горькое я — падкая  
Но зато на сладкое стойкая

\* \*  
\*

Я хочу к тебе —  
каждой клеточкой,  
каждым листиком своим,  
каждой веточкой  
ты бы звал меня своей деточкой,  
бил по праздникам табуреточкой,  
то Мариночкой бы называл меня,  
то Светочкой,  
а я бы вздрагивала каждый раз  
каждой веточкой.

\* \*  
\*

В тот день недосчитались дня.  
В ту ночь — недосчитались ночи.  
За неимением меня  
Ты волен счёт вести, как хочешь.

Возьмём за факт, что счастья нет.  
Хотя я знала очевидцев:  
Их растворил тот лунный свет —  
К нему нельзя приноровиться.

\* \*  
\*

Я ухожу.  
Пусть там темно,  
Пусть там ступеньки —  
Мне не понравилось кино,  
Верните деньги.

Там, где убудет десять раз —  
Сто раз прибавится.  
Я оставляю Вас на Вас —  
Желаю справиться.

\* \*  
\*

Теперь мне так странно, что это случилось...  
Была ли то милость, была ли немилость —  
Прекрасная глупость, ничтожная малость.  
Намного огромнее то, что осталось:  
Я буду сто лет забывать Ваше имя  
И путать хорошие вещи с плохими,  
И память моя будет делать круги  
Туда, где табличка: «Сюда не моги!»

\* \*  
\*

Взошла в зенит моя печаль,  
И не было её огромней.  
И целый мир не понимал,  
Пошто оно реве *та стогне*.  
А день сменялся тем же днём,  
Всё та же ночь глаза смежала —  
Часы стояли на своём,  
И время им не возражало.

\* \*  
\*

Там, где у Сфинкса кончаются лапки —  
Там начинается всё остальное,  
Там иудейки, они же арабки,  
Прутся от шмотки с кровавым подбоем,  
Там начинается всё, что я помню:  
Снег почерневший лежит и не тает,  
Чудище обло, озорно, огромно —  
Сволочь стозевная — лает и лает...  
Там начинаются эти могилы,  
Эти родильныенахердома,  
Где не проходят потуги вполсилы,  
И акушерка орёт, чтоб — «сама»...  
Крестная сила, клыкастые бабки,  
Вечная карма и грехЪ, что на «ять»...  
Там, где у Сфинкса кончаются лапки,  
Лучше не нужно подолгу стоять.





---

---

СЕРГЕЙ НОСОВ



## ПОЛТОРА КРОЛИКА

*Рассказы*

### ХОРОШАЯ ВЕЩЬ

— Э)то надолго, — сказал Петя. — Э, да у них еще и светофор не работает.

— Ладно. — Лев Лаврентьевич застегнул верхнюю пуговицу на пальто. — Я пешком быстрее дойду. Здесь недалеко.

— Как хотите.

Не очень хотел. Было слякотно снаружи, мокро, грязно. Тяжелые ошметки падали на лобовое стекло, уж точно не снежные хлопья. Лев Лаврентьевич вновь расстегнул пуговицу, в машине тепло было, не выходил. Сегодня ему заплатили за статью, напечатанную еще весной в «Трудах конференции», — он уже не мечтал получить гонорар. Ехал бы на метро в родной спальный район, да вот не смог пренебречь предложением соавтора: аспирант Петя на своем «форде» отправлялся к Торговому центру. Настроение у Льва Лаврентьевича, несмотря на денежное вознаграждение, было прескверное. По правде говоря, жена его недостойна подарка — два дня они в ссоре. Мириться он сегодня все равно не намерен, а стало быть, покупать подарок сегодня как-то нечестно — во всяком случае, по отношению к самому себе. Тем более что есть время еще. Еще три дня до Нового года...

— Вам сколько, Петя? Двадцать пять?

— Двадцать четыре.

— Ну, до тридцати можете смело не жениться. Это как минимум до тридцати.

Девушка в серебристой шубке разносила по машинам журнальчики. Лев Лаврентьевич опустил стекло. Реклама известного рода услуг. «За знакомство!» — прочитал Лев Лаврентьевич название. Как тост звучит. Вот и на обложке большегрудая блондинка топлес, широко улыбаясь, поднимала бокал шампанского. Может, у них тоже рождественская распродажа?

— Здесь всегда раздают, — сказал Петя, положив подбородок на руль, — мне и вчера на этом перекрестке дали, и позавчера... Большой тираж.

Мать честная! Да сколько же их тут! Лев Лаврентьевич перелистывал, поражаясь количеству. Фотографии размером с этикетку спичечного коробка, иногда покрупнее — по десять штук на странице, у Льва Лаврентьевича в глазах зарябило. А вот и реклама.

— «Приглашаются девушки на высокооплачиваемую почасовую работу, — читал Лев Лаврентьевич вслух. — Независимо от результатов собеседования каждая пришедшая получает в подарок тысячу рублей...» Нет, что делают! Как заманивают!

---

Носов Сергей Анатольевич родился в 1957 году. Закончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор романов «Хозяйка истории», «Член общества, или Голодное время», «Дайте мне обезьяну». В «Новом мире» печатается впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

— Вы лучше тексты под фотографиями почитайте. Больше о жизни узнаете.

— «Очаровательная блондинка приглашает в гости состоятельных мужчин...» — читал Лев Лаврентьевич наугад. — «Горячая девочка подарит часы наслаждения...» «Две ласковые кошечки с неограниченными фантазиями ждут щедрого гостя...»

Открыл в другом месте:

— «Приеду с аксессуарами. Могу с подругой»... «Все, кроме кропо»... «Гарантирую отсутствие следов»...

— Это вы садомазо читаете... Страницы экзотики.

— Век живи, век учись, — пробормотал Лев Лаврентьевич. — Человечество с катушек съезжает. Давно съехало. Я таких и слов не знаю. Что такое «суспензорий»?

— Понятия не имею. Может, то же, что и «бандаж»?

— В смысле?

— Ну, посмотрите, там чаще «бандаж» употребляют...

— Да, да, вот: бандаж, флагеляция, вариации... Флагеляция — это что?

— Боюсь, что порка.

— Флагеляция... — вспомнил Лев Лаврентьевич. — В Средние века были такие... Самобичующиеся... За грехи себя наказывали...

— Так те из религиозных соображений...

На одной фотографии была одетая. Причем принципиально одетая — целиком и цивильно, отнюдь не в черную кожу свирепой садистки. В свитер. Ворот свитера закрывал даже шею до подбородка.

— «Поркотерапия, — продекламировал Лев Лаврентьевич. — Избавление от депрессии, комплекса вины, душевного дискомфорта. Без интима»... Нет, как это тебе нравится? Неужели кто-то пойдет «без интима»?

— Все может быть. Вы возьмите домой, с женой обсудите.

— Ха-ха, — сказал Лев Лаврентьевич, первый раз повеселев за неделю.

А что? Был бы терапевтический смысл в снятии стружки и в пиление — все бы мужья ходили здоровенькими, бодрыми, жизнерадостными и психически уравновешенными. А не подарить ли ей рубанок, большой такой рубанок со сменным модулем, или, скажем, дисковую пилу? Или аккумуляторный лобзик? Не поймет ведь. Обидится.

Самые нетерпеливые стали гудеть.

— Ну вот, — сказал Петя, — сумасшедший дом начинается.

— Петя, мы давно живем в сумасшедшем доме! Весь мир — сумасшедший дом, прости за банальность! А ты посмотри на лица прохожих, это же идиоты какие-то!.. По улице идти страшно, того и гляди, тебя за плечо укусят!.. Нет, как тебе нравится? — зарубил топором нового мужа бывшей жены и съел!.. Съел!.. Съесть человека!.. А в поликлинику придешь — за больничным!.. Проще дома удавиться!.. Плюс еще это... потепление климата!.. Спасибо, что подвез. Вернее, завез. Бог даст, выберемся.

Он пожал Пете руку, дверцу открыл.

— Возьмите, возьмите, у меня таких штук пять...

— Оставь, Петя, будет шестая...

— Ну так выкиньте в урну.

Взял журнал и вышел из машины. Холодная жижа полезла в ботинки. Море разливанное, чтобы дойти до берега. Не пошел — побежал, лавируя между неподвижными иномарками. Старался не касаться грязных бортов светло-серым пальто. Чавкало под ногами, брызгало из-под ног.

Тротуар уже близко был, когда едва не наткнулся на инвалидную коляску: безногий в чем-то таком камуфляжном катал себя, невзирая на хлябь, и просил милостыню у водителей.

Перешагнув недооттаянные остатки сугроба (благо ноги есть), Лев Лаврентьевич оказался на тротуаре; здесь было относительно сухо. Прежде чем отдаться людскому потоку, он обернулся: зловещее зрелище. В мозгу всплыло чудовищное слово «секстиллион». То есть «очень много», он сам

не знал сколько. Не мог найти глазами Петину машину, которую только что покинул. Стояли в обоих направлениях и на трамвайных путях. Зачем автомобиль ему? — думалось об аспиранте. Он же раб его, раб.

А вот и урна. Лев Лаврентьевич, проходя, кинул в нее «За знакомство». Попал.

Новое поколение урн теперь украшено надписью: «Люби свой город!»

А захотел бы Лев Лаврентьевич, вняв призыву, тем же манером ответить, что да, город свой любит и не сорит, интересно, этим признанием какой бы следовало украсить объект? Опять-таки урну?

«Люблю свой город» — на урне?

Некоторые несли елки. Дома искусственная имеется. Пусть украшает, раз есть желание. Кто бы подсмотрел, кто бы подслушал, из-за чего ссориться начинают, не поверил бы, что такое возможно — вдрызг! — как в этот раз: из-за глупого выяснения причин, почему Лев Лаврентьевич не знает длины окружности своей шеи. Сама-то она прекрасно знает, какова длина окружности шеи Льва Лаврентьевича, но спрашивает себя, видите ли, почему она обязана это знать, когда он это знать не обязан. Невнимание к себе самой, по жениной логике, предполагает еще большее невнимание к ней самой, а это уже с его стороны чистой воды эгоизм, — как же тут не припомнить все обиды, накопившиеся за пятнадцать лет их счастливого брака?.. Шея при чем? Наверное, рубашку с галстуком задумала подарить; пусть, хорошо, прекрасно — он на нем и повесится! Ход хотя и банальный, зато абсолютно беспроегрышный!

Сколько времени прошло — мало ли, много ли (минут, вероятно, пять), — Лев Лаврентьевич обнаружил себя в торговом зале. В уютном царстве избыточности тшился каждый мелкий предмет, тшилась каждая бесполезность навязаться в собственность Льву Лаврентьевичу — на жену его с дальним прицелом. Он же, шедший мимо витрин, мимо полок и мимо прилавков, понимал, что лишний он здесь, на этом празднике изобилия, — по крайней мере, сегодня. Ничего сегодня не способно было прельстить Льва Лаврентьевича — ни штанга для полотенца, ни держатели для туалетной бумаги, ни модули для хранения полезных предметов. Ни чехлы для подушек, ни щетки для унитазов, ни софиты для абажуров, ни табуретки для ног. Ни регуляторы для гардин, ни топоры для мяса, ни ножи для лосося, ни прессы для чеснока, ни подставки для специй, ни разделители для ящиков, ни игрушки для кошек, ни коврики для ванной, ни коробки для книг, ни книги для коробок...

Ни открыткодержатели. Ни мешочки из полиэстера. Ни чашечки с блюдцами для кофе эспрессо...

Ни даже для прихожей картины. Печать методом объемных мазков. Полный эффект оригинала.

Все раздражало Льва Лаврентьевича, но более всего манекены. Стали с некоторых пор манекены его бесить. Всех типов. Безголовые, например, — когда мода на безголовых пошла. Но и с головами бесили — независимо от фактуры лица. Гладколицы, без глаз и ушей, без носа и рта, у которых голова как яйцо страусиное; или с небывальными харями инопланетных пришельцев; или, например, с нарочитыми искажениями пропорций человеческого лица — всех мастей микро- и макроцефалы; или, напротив, исполненные в крайне гиперреалистической манере, когда видны и морщины на лбу, и ямочка на подбородке, и когда перепутать легко эту нелюдь с продавцом-консультантом. Раньше были они не такими, раньше были они без претензий. Вот за что Лев Лаврентьевич их невзлюбил — за претензию! Глядя на манекен, Лев Лаврентьевич не мог не думать о человеке. Можно ли, глядя на манекен, не потерять веру в род человеческий, ибо не по подобию ли человека сотворен манекен? Вспомнилось Льву Лаврентьевичу, как по ящику некто объяснял основным свойством всех манекенов, а именно их способностью всегда функциональными быть, их же, даже раздетых, асексуальность. То есть манекен в принципе ни на что не готов прово-

цировать человека (кроме, конечно, покупки). Но, во-первых, это как еще функциональность понимать — может, есть и такие, для кого манекена основная функция вовсе и не быть обязательно вешалкой, а во-вторых, вот Льва Лаврентьевича пример: если, по мысли того телевизионного умника, не способен манекен вызвать сильных эмоций, то отчего же так хочется Льву Лаврентьевичу дать манекену по морде? Не любому, допустим, не каждому, а хотя бы конкретно вот этому — что стоит в бордовой футболке и клубном шелковом пиджаке и у которого даже ресницы имеются, а взгляд едва ль не осмысленный, или хуже: едва ль не идейный? Лев Лаврентьевич сжал кулаки, но сдержался, не дал манекену по морде. Отошел. Вышел на улицу, ничего не купив.

Автомобильная пробка медленно рассасывалась.

«Забудь свой геморрой!» — призывал светящийся постер. Клинический случай, — сказал себе Лев Лаврентьевич, машинально прочитав адрес клиники. Все-таки он старался воздерживаться от чтения рекламных текстов. Не всегда получалось.

Возле «геморроя» стояла компания неопрятных молодых людей, один самозабвенно тренькал на гитаре и омерзительно бляял, думая, что поет, а его подруга, тоже думая, что он поет и что эта песня достойна вознаграждения, приставала к прохожим с протянутой шляпой. Ко Льву Лаврентьевичу тоже метнулась, но сразу отступила, прочтя на его лице категоричное «не подаю». На самом деле на лице Льва Лаврентьевича выражалось нечто более сложное: «Сначала играть научитесь и петь, а потом, сосунки, вылезайте на публику!» Мимо прошел, злой как черт. Почему, почему они так? Лев Лаврентьевич тоже четыре знает аккорда и может стренькать не хуже, чем тот, но почему же он ни при каких обстоятельствах никогда себе не позволит скромное свое умение кому-нибудь навязать — тем паче за мзду?! Если допустить невозможное и представить Льва Лаврентьевича за кланченьем денег (по роковой, допустим, нужде или, что допустимее, под угрозой четвертования), это будет (чего, конечно, никогда не будет) нищий, в рубище и без сапог, смиренный Лев Лаврентьевич, севший по-честному на грязный асфальт и положивший перед собой мятую кепку — но без гитары! Без песен! Без неумелых кунштюков!

И что такое «забудь свой геморрой»? Почему его надо забыть, если он уже есть? Как забыть — как сумку, как зонтик?.. А это идиотское уточнение «свой»!.. Свой забыть, а чужой геморрой забывать не надо?

Он почувствовал, что если не выпьет хотя бы чуть-чуть, то может сорваться.

Лев Лаврентьевич не стал спускаться в подземный переход, ведущий к станции метро, а, пройдя шагов двести, свернул в малонаселенный Т-ский переулок. Там в подвальчике размещалась рюмочная, с осени прошлого года именуемая «Эльбрусом», но по старой памяти больше известная как «Котлетная».

Не умея представить иных причин называться подвальчику «Эльбрусом», Лев Лаврентьевич полагал, что Эльбрус — это имя хозяина заведения.

Входя, мечтал о пятидесяти; у прилавка подумал о ста; стал платить и решил: сто пятьдесят. Ему дали в графинчике. Взял томатного сока стакан. Закусывать не хотелось, третий день не было аппетита.

Сел, налил себе в рюмку, разделив мысленно все на четыре. Спешить не надо. Надо с чувством, с толком, с расстановкой. Выпил, томатным запил, отглотнув понемножечку дважды. За соседним столиком двое сидели, пили пиво, на тарелке кучкой лежали щепки вяленых кальмаров. Лев Лаврентьевич терпеть не мог эту дрянь.

С тех пор как «Котлетная» стала «Эльбрусом», котлеты здесь продавать перестали.

Закурил.

Музыки, к счастью, не было.

Впрочем, лучше музыку слушать, чем то, о чем говорили за соседним столиком. Один уламывал другого сменить фамилию. «Ковнюков, смени, тебя же все равно все Говнюковым считают!» (То, что тот Ковнюков, понял Лев Лаврентьевич не на слух, а из контекста фразы.) Второй отвечал первому, что он и есть Говнюков, что это дед его еще до войны сменил Говнюков на Ковнюков, тогда как правильно Говнюков, и что он, Ковнюков, никогда не поменяет фамилию ни на Адмиралова, ни на Вышегорского, а если и поменяет, только обратно на Говнюкова, потому что это реальная фамилия, правильная, и надо ее уважать. Он несколько раз употреблял конструкции с местоимением «мы», но на слух уяснить затруднительно было: «мы — Ковнюковы» или «мы — Говнюковы». Наконец, прозвучала фраза, надо думать, служившая девизом, с которым владелец необычной фамилии уверенно шел по жизни, бросив вызов судьбе: «Говнюков много, а Говнюков один». (Возможно, он сказал «Ковнюков один» — один черт.)

Что за хрень?.. как такое можно нести?.. — возмущался про себя Лев Лаврентьевич. Если так и дальше пойдет, его просто вытошнит.

Водка, правда, была ничего, а вот сок томатный ему не нравился. Несолёный. Но он сам не солил — вполне осознанно. Говорят, томатный сок с поваренной солью действует разрушительно на печень.

Злил еще и тем Ковнюков-Говнюков, что Лев Лаврентьевич сам гордился всегда своим именем-отчеством. Что же тут красивого в *Говнюкове*, когда если и есть что-то объективно красивое, так, конечно же, это *Лев Лаврентьевич*? Поразительное сочетание звуков, тончайшая аллитерация, волновые звуковые накатывания: лев, лав. Лев. Лав. Ай лав ю, Лев. Ай лав ю, Лав. Ай лав ю, Лаврентьич. Женщины так ему никогда не говорили. А жаль.

Жизнь, если честно, скверно сложилась.

А жизнь всегда скверно складывается.

Как карточный домик.

Налил еще.

Спасибо родителям. Назвали Львом. Лучше и не придумаешь.

За родителей. Соком запил.

С фамилией не так повезло. Сама по себе вполне приемлемая, но в сочетании с именем как-то не очень. Лев Комаров. Семантический сбой. Что-то надо одно — или лев, или комар. Льву Лаврентьевичу фамилия Комаров с детства отравляла существование. А был бы он Говнюковым? Лев Говнюков... Страшно представить.

Теперь о политике рассуждали.

— Вот увидишь, Говнюков, первой отсоединится Шотландия. Затем — Уэльс.

— Англия первой отсоединится, — пророчествует Говнюков за соседним столиком. — Останутся Шотландия с Уэльсом без Англии.

— Да нет там никакой Англии, Говнюков, есть безымянная территория в границах Великобритании...

Достали.

Убил бы обоих.

Вошел дед бомжеватого вида. Лицо как будто знакомое, где-то Лев Лаврентьевич с ним определенно встречался. Судя по тому, что держал он в руке, а держал он в руке «За знакомство», промышлял дедушка продажей бесплатного. Оценив ситуацию, направился к тем двоим.

— Купите за двадцать рублей, — попросил Говнюкова. — Вон какие, элитные. Одна другой краше...

— Отвали, — сказал Говнюков. — Сам ты элитный.

— Любо смотреть, — обратился дед к приятелю Говнюкова. — За десятку хотя бы.

Стоило оценить деликатность деда: десятка была той суммой, которую любой побирающийся мог просить без зазрения совести, дед же продолжал себя позиционировать как коммерсант; Лев Лаврентьевич оценил.

— Отвянь, — посоветовал говнюковский приятель.

Дед было подался в сторону Льва Лаврентьевича, но, встретившись глазами с ним, замер на месте, словно припоминая что-то, потом пугливо отвернулся и заковылял к выходу.

— Стой! — приказал Лев Лаврентьевич; он достал сторубливку и показал деду. Увидев, однако, что дед продолжает стоять на месте, сам подошел к нему.

Не столько руководствовался человеколюбием он, сколько поступал в пику Говнюкову с товарищем.

— Тебе, отец! — протянул деду.

В качестве вспомоществования.

Дед охнул, забормотал убогие слова признательности. Благородство и принципиальность были деду не чужды: он тыкал, чтобы взял, журналом во Льва Лаврентьевича, а Лев Лаврентьевич от себя «За знакомство» отпихивал.

— Перестаньте, — говорил он деду раздраженным назидательным шепотом, — мне это не надо, кому-нибудь продадите...

— Нет!.. Такие деньги заплочены... — вкрадчиво бормотал дед, — нет, нет, нет... вам нужнее, вы молодой...

Может, на факультете работал? — все пытался вспомнить Лев Лаврентьевич, вглядываясь в желтое одутловатое лицо. Всяко бывает. Пал человек.

Изловчившись, дед согнул «За знакомство» надвое и засунул Льву Лаврентьевичу в карман пальто, после чего стремительно уковылял на улицу.

Лев Лаврентьевич в состоянии несвойственного ему благодушия вернулся за столик. Налил себе третью. Задумался. Не этот ли тип лет пятнадцать назад читал курс основ теории управления?

— Ну ты и лох! — подал голос (громкий голос) Ковнюков-Говнюков. — Да их на перекрестках бесплатно раздают, бери сколько надо!

— Не всем, — уточнял говнюковский приятель. — Только водителям иномарок. Пешеходам не дают. И бомжам не дают.

— Вот как раз бомжам и дают. Это кто был, по-твоему? Не бомж?.. Дают бомжам, чтобы они таким, как этот лох, продавали. Бомж продаст, а деньги поделят. Слышишь, лох! Ты знаешь, лох, какой ты лох? Ну ты и лох!

Оскорбление. Не только тон грязных нападок и не столько тон оскорблял Льва Лаврентьевича, сколько нелепая убежденность в том, что он способен купить бесплатный каталог сексуальных услуг. Но и тон! — тон сам собой был оскорбителен.

— Мы с вами на брудершафт не пили.

Сказав это, Лев Лаврентьевич наконец опрокинул третью рюмку, как бы показывая, что он сам по себе. В графинчике оставалось на четвертый прием.

— Да я с тобой не то что на брудершафт, я с тобой срать рядом не сяду!

Сволочь какая. Ну погоди. Лев Лаврентьевич достал журнал из кармана, положил на стол, приступил к неторопливому перелистыванию с видом respectable человека, который знает, что приобрел и зачем.

— Разглядывает, посмотри.

— Дома вырежет, на стену повесит.

— Лох, лупу купи!

Спокойно! Лев Лаврентьевич вынул мобильник и, старясь как можно больше значения придать этому жесту, положил рядом с журналом. Налил из графинчика, что оставалось. Перелистнул страницу. Другую. Увидел одетую, ту. Был уже готов выпить — рука к рюмке тянулась, но — отсрочка! — мобильник взяла, не рюмку.

Почему его выбор пал на одетую? Не потому ли, что сам был одет?

— Смотри-ка, номер набирает.

Трубка:

— Алло.

— Привет! — громко и отчетливо произнес Лев Лаврентьевич. — Как дела?

— Мы знакомы?

— Вот смотрю каталог... Рассматриваю предложения.

— Хотите получить удовольствие? Или как? Удовольствие или удовлетворение?

Философский вопрос. Лев Лаврентьевич не стал вдаваться в нюансы. Хорошо бы показать говнюковским, что любая прихоть его исполняется беспрекословно.

— То, что надо, — сказал Лев Лаврентьевич. — То есть и то и другое! Как раз в чем я сейчас в известной мере нуждаюсь. И еще самые разные штучки, вы меня понимаете. У меня много идей. В общем, спасибо.

Зря «спасибо». За что «спасибо»? И почему «в общем, спасибо»? Он почувствовал потребность явить себя перед публикой активным субъектом, по-мужски состоятельным.

— Вы не пожалеете, — сказал Лев Лаврентьевич.

Пауза длилась несколько секунд — по-видимому, высказывания Льва Лаврентьевича подвергались стремительному анализу.

— Ты тоже не пожалеешь... Возьми ручку и запиши адрес.

Лев Лаврентьевич взял ручку и стал записывать на салфетке адрес — очень небрежно, всего лишь для видимости.

Недалеко, где-то поблизости. Что позволяло Льву Лаврентьевичу сделать разговор более предметным:

— Это где обувной?

— На другой стороне. Рядом с аптекой. Вход со двора.

— Рядом с аптекой, — повторил Лев Лаврентьевич. — А я сейчас на углу... — Он сказал, на каком он углу, и услышал:

— Отлично. Твоя госпожа абсолютно свободна. И ждет с нетерпением.

— До встечи, — сказал Лев Лаврентьевич.

Убрал мобильник. Выпил последнее. Ну и пусть себе ждет.

Встал и направился к двери. Если бы говнюковские так и остались молчать, он бы в дверях им сказал «до свидания». Но Говнюков не выдержал первым:

— Сто долларов, да?

— Сто евро, — и вышел, не оборачиваясь.

Уже на улице подумал, что надо было сказать «двести».

Легкая радость пробежала внезапной волной и тут же отозвалась в теле привычным ознобом: все-таки зябко.

Застегивая пальто на верхнюю пуговицу, он думал о необязательности знания длины окружности шеи для приобретения галстука. Стало быть, речь тогда шла не о галстуке. Галстук он вряд ли получит в подарок. Жизнь продолжается.

Возможностей было две: сесть на метро и отправиться домой (дома ему предстояло разобрать недоразобранные вчера антресоли...) или же натрескаться посущественнее где-нибудь без говнюковских, да так, чтобы предстать перед очами жены в предельно независимом положении. Обдумывая преимущества второго проекта, Лев Лаврентьевич дошел до вывески «Лечение от заикания» и остановился. Что-то не верилось ему, что здесь от заикания действительно лечат. И то, что заикание в принципе поддается лечению, ему сейчас показалось очень сомнительным. Врут. Наверняка врут.

К счастью, он не заикается.

Оглянулся.

Говнюков с приятелем шли следом.

До них было метров сто, они только что выбрались из подвальчика. Из «Эльбруса». Что им надо еще? Зачем они потащились за Львом Лаврентьевичем? Пили бы пиво свое. Лев Лаврентьевич их в дурном заподозрил. Безлюдный переулок. Может, они вообразили себе, что у него

денег невпроворот? Или хотят отобрать мобильник? Месяц назад какая-то мелюзга отобрала мобильник у четырнадцатилетнего племянника Льва Лаврентьевича; он не сумел защититься. Лев Лаврентьевич себя в обиду не даст.

По правую руку был сквер-садик; два фонаря бессмысленно освещали площадку, в иную погоду бывшую детской. Сейчас холодная жижа затопляла и сад и площадку, посреди всего этого зловеще возвышалось металлопластиковое сооружение для катаний на попе, если мороз. Лев Лаврентьевич быстрым шагом смело преодолел пространство садика и вышел на весьма оживленную М-скую улицу.

Убедившись в том, что за ним не следят, Лев Лаврентьевич направился в сторону условного центра города. Автомобильное движение уже возобновилось вполне, и это было чревато угрозой обрызгивания. Пару раз пришлось отскакивать. Иные прохожие, следуя своим путем, теснились ближе к домам. Лев Лаврентьевич подался ближе к дому и увидел *того*.

Он увидел *того* — дед изучал содержание урны. Вот те раз. Дед-то точно того. Деловито копается в урне. Ста рублей ему мало? Что же это такое — сколько ни дай, все равно в урну полезет?

Лев Лаврентьевич поверил не сразу глазам, был момент, когда думал, что обознался, что это другой. Нет, был он. К сожалению, он. Старый знакомый.

Грустно стало. Такая тоска накатила!.. Но тоска идет за тоской. Лев Лаврентьевич прошел, не оглядываясь, — только повернул он за угол дома, как вспомнил, где и когда встречал этого деда — до этого.

Около урны! Только другой!..

Недавно совсем!

Лев Лаврентьевич так и увидел картинку: он поганый тот глянцевого в урну бросает журнал, а рядом с урной дедуся стоит — бомжеватого вида! Вот он и есть! Наконец-таки вспомнил!..

Да ведь только что было, двух часов не прошло! А казалось, в далеком минувшем виделись где-то... На кафедре... На факультете...

Тьфу ты, — да около урны!

Что же теперь получается? Получается, что бесплатный журнал сексуальных услуг, который Лев Лаврентьевич выкинул в урну, дед из урны достал? А потом извлеченный из урны журнал Льву Лаврентьевичу, как ни в чем не бывало, навязал в обратном порядке?.. и Лев Лаврентьевич принял?.. из урны журнал!.. Сам который в эту урну и бросил!..

Почему ж — «навязал»? Разве не Лев Лаврентьевич проявил инициативу, спровоцировав деда? Разве не сам? Не сам предложил ему разве сто несчастных рублей? В том-то и дело, что сам!

Можно и так посмотреть: деду сто рублей не нужны, раз он даже при деньгах роется в урнах, это очень важный момент, потому что тогда сто рублей вовсе не мзда и не спонсорский дар, а действительно плата. Плата за то, за что хотел ее дед получить, — за бесплатный журнал! Сексуальных услуг. Изъятый из урны.

Значит, прав Говнюков: Лев Лаврентьевич за сто рублей купил бесплатный журнал.

Значит, прав Говнюков: Лев Лаврентьевич лох!

И это притом, что не знал Говнюков, откуда журнал, — не знал, что из урны! И что сам Лев Лаврентьевич выбросил в урну — не знал! А если бы знал?

Нет, какой Лев Лаврентьевич лох, не дано даже знать Говнюкову!

Это удар. Под ногами земля пошатнулась.

Лев Лаврентьевич думал: что ж ты делаешь со мною, дедуся? Хорошо, я критичен к себе в мере той, что и к миру. А другой человек? А другой человек без морального стержня, стержня может и вовсе лишиться (речь идет о морали), потерять в человечество веру, сползая на стезю дозволенья всего, что в мозгу уродится, — это ль будет не грех?



Надо полагать, 150 — оптимальная доза, когда думает мозг лучше всего.

Лев Лаврентьевич остановился.

Еще один городской сумасшедший по воде, как посуху, промчался на велосипеде; некто вышел из хозяйственного, вооруженный, как пикой, длиннющим плинтусом; проворный эвакуатор поспешно приступил к пленению неверно припаркованной «девятки» — а Лев Лаврентьевич все не мог успокоиться, все стоял на месте, не двигаясь, — итожил промахи и ошибки.

Много было ошибок, начиная с той, что родился. И то, что женился. И то, что послушался Петю, соблазнился местом в машине и поехал жене за подарком (все равно ж не купил!..), и то, что журнал сексуальных услуг согласился выкинуть в урну, и то, что снова его ж и обрел... за сто рублей... но и это не все! То, что он позвонил той «одетой», это тоже ошибка! И серьезнее всех!

Глядя на водосточную, словно вспотевшую трубу, он осознавал всю серьезность последней ошибки.

Его мобильник засвечен. Он попал в базу данных. Его теперь просто найти. Естественно, будут искать, обязательно будут искать. Вызвался и не пришел. Секс-бизнес не прощает обмана. По существу, он поступил как телефонный хулиган: сделал фиктивный заказ (или правильно как называется?), только это не то, с чем допустимо шутить. Возможно, она отказала другому клиенту, рассчитывая на скорый визит Льва Лаврентьевича, следовательно, Лев Лаврентьевич — причина ущерба, урона, потерь, как моральных, так и финансовых. Даже больше финансовых, чем моральных. Ему позвонят и спросят, где он. И объяснят, что за базар принято отвечать. Как бы то ни было, теперь от него не отстанут. Ему будут звонить и предлагать услуги известного рода. Даже ночью. Нет, именно ночью. Когда он спит (или не спит) в одной постели с женой. Которой не купил сегодня подарка.

Через перекресток проехали одна за другой снегоуборочные машины. Зачем — если сугробы растаяли?

Один выход — заказ отменить. Сейчас же. Пока ему не позвонили оттуда.

Не ждать оттуда звонка.

И он позвонил — отменить.

— Опять я, — сказал Лев Лаврентьевич.

— И где ж мы гуляем?

— К сожалению, обстоятельства изменились. Я не смогу.

— Что значит «я не смогу»? Где-то бродите рядом — и вдруг «не смогу»?! Что за дела. Приходите, не пожалеете. Нам никто не помешает. Я жду. Давайте, давайте.

— Вы правда избавляете от депрессии? — спросил Лев Лаврентьевич, потому что ему действительно было интересно услышать ответ.

— И от комплекса вины. И от дискомфортных переживаний.

— Получается?

— Еще как!

— Позвольте признаться: не верю. Никому не верю, а вам особенно.

— Миленький, да ведь это ж надо на себе испытать, прочувствовать, а уж потом — верю, не верю. Я высшей квалификации терапевт. Я работаю с гарантией, как-никак.

— Но без интима, — попытался поддеть ее Лев Лаврентьевич.

— Только не говори, что тебе нужен интим. Солнышко, тебе общение надо, а не интим. Я ведь знаю, с кем дело имею.

— А в чем гарантия, интересно? (И действительно: в чем, интересно, гарантия?)

— Месячная отсрочка от суицида после одного сеанса.

Звучало весомо.

— Блин, — оценил гарантию Лев Лаврентьевич. И услышал:

— Ну ладно по телефону трепаться. Адрес напоминаю.

Напомнила.

А почему бы и нет? Даже интересно с ней пообщаться. Все новые впечатления.

...Дверь открыл шкаф — широкоплечий, широкоскулый, и глаза у него были расставлены тоже предельно широко. Бритым наголо был.

Смерив взглядом Льва Лаврентьевича, он громко сказал: «Твой!» — и удалился на кухню.

Из комнаты вышла — Лев Лаврентьевич сразу узнал в ней «одетую» — полная женщина лет тридцати пяти — сорока, губы накрашены, стрижка каре; «одетая» была одета в спортивный костюм сочно-синего цвета и походила на ветеранку большого спорта — всего более на бывшую штангистку в среднем весе.

— Ну-с, в чем же наши проблемы?

— В смысле? — спросил Лев Лаврентьевич.

— Угрызения совести? Ощущение невыполненного долга? Нравственные страдания из-за собственного несовершенства? Нет? Пальто, будьте любезны, сюда. У вас что, вешалка оторвалась? Почему не пришить? Жена есть?

— В общем, да, — пробормотал Лев Лаврентьевич, повесив пальто на петельку для верхней пуговицы.

Интервью продолжалось:

— Я хочу знать причины депрессии. Что не устраивает?

— Меня все устраивает... но как-то все не так... неправильно как-то...

— Чувство вины?

— Да нет никакого чувства вины... Ни перед кем я не виноват...

— Ну конечно. Претензий к миру у нас больше, чем к себе. Во всем у нас человечество виновато.

— В целом у меня к человечеству нет особых претензий, разве что к отдельным его представителям есть, и большие... Но, с другой стороны, согласитесь, в каком-то смысле человечество наше... увы, увы...

— Человечество — увы, а вы — ура.

— Да как раз не ура. Было бы ура, я бы с вами не разговаривал.

— Что пили?

— Водки... немного.

— Три тысячи, — сказала «одетая».

Он знал, что дорого будет. Отступить поздно. Достал деньги, она спрятала ассигнации в карман спортивных штанов.

— Будешь называть меня госпожой.

«Резковата», — подумал Лев Лаврентьевич.

Он хотел еще немного пофилософствовать на тему изъянов человечества, но госпожа спросила:

— Чашечку кофе?

— Да, чашечку кофе, если можно.

— А кто сказал, что можно? Я спросила, хочешь или не хочешь, а можно или нельзя, это не тебе решать, понял, урод? Что глаза вылупил? Руки по швам! Шагом марш в комнату!

Ноги сами развернули Льва Лаврентьевича, как ему было приказано, и повели в комнату едва ли не строевым шагом. При этом Лев Лаврентьевич наклонил голову, словно боялся удариться о косяк. Или получить по затылку.

В глазах у него потемнело — не то от страха, не то от предощущения недоброго чего-то, не то от понимания, что что-то не то. Однако заметить успел: комната как комната — торшер, небрежно застланная кровать, стол, на столе грязная скатерть, тарелка, на тарелке очистки банана. Орудий пыток он не заметил. Обыкновенная комната.

— Ты, наверное, решил, я шуточки шутить собираюсь? Я тебе покажу шуточки! Доска у стены — взять доску!

Взял.

— Положи концом на кровать! Не этим, тем, придурок! А этим сюда упри, в ножку шкафа! Расторопнее, бестолковщина!

Суетясь, Лев Лаврентьевич выполнял приказания.

— Ты почему, урод, в ботинках вошел? Не знаешь, где ботинки снимают? Может, тебя пол вымыть заставить? Я быстро!.. Что стоишь? Снимай здесь, раз вошел!.. Брюки снимай! Пиджак можешь оставить...

Лев Лаврентьевич залепетал что-то о несимметричности, не в том плане, что оставить пиджак в отсутствие брюк — это явная асимметрия, а в том плане, что как же насчет солидарности быть, когда одна в штанах, а другой как бы нет...

Тут госпожа совсем рассвирепела:

— Ты мне что, гад, раздеться советуешь? Ты еще вякнуть посмел? Слушай, умник, если хочешь сказать, прежде скажи: госпожа, позвольте сказать, а сказать тебе или не сказать, это уже мое дело!.. Что уставился, как олигофрен? Сволочь, ты снимешь брюки или нет? До трех считаю! Раз... два...

Неизвестно, что бы случилось при счете три (может быть, выскочил бы тот, широкоплечий...), но Лев Лаврентьевич успел предупредить свою госпожу — брюки с трусами мгновенно снялись.

— Лицом вниз на доску! — скомандовала госпожа.

Лег. Он бы и без команды лег.

— Розги? Плетка? Линейка? Бамбук? Солдатский ремень?

Он понимал, что ему предлагают выбрать, но предпочесть одно другому он был не способен. Он хотел сказать: подождите, вряд ли я мазохист, ничего мне такого не требуется, просто я хотел побеседовать... Только онемел у него язык во рту, ничего внятного не мог Лев Лаврентьевич высказать.

— Рекомендую розги. Свежие, неиспользованные.

Слышал: она переставляет ведро (входя в комнату, он ведра не заметил). Неужели розги в ведре?

Его даже в детстве никогда не пороли, даже во втором классе, когда в паспорт дедушки он зачем-то вклеил почтовые марки...

Но ведь черным по белому было: «поркотерапия» — сам же читал! Чему теперь удивляться?! Или ты настолько во всем разуверился, что даже не веришь печатному слову?..

В воздухе свистнуло, и его обожгло.

— А!

— Нравится? Я тебе покажу, что такое депрессия!

— А!

— Я тебе покажу, как сопли пускать!

— А!

— Я тебе покажу...

Но прежде чем его в четвертый раз стегануло, Лев Лаврентьевич закричал, словно звал он на помощь:

— Ааааааа!

Ответом ему был громкий и резкий визг, явно не госпожой издаваемый.

— Зараза! — сказала мучительница.

Повернув голову, увидел что-то круглое на стене — вроде кастрюльки, и над этим предметом металось визжащее существо.

— Барометр, — сочла возможным пояснить госпожа. — При резком звуке выскакивает обезьянка. Если хлопнуть в ладоши или крикнуть, как вы. Это мне муж подарил.

И вовсе не властным был сейчас ее голос, а просто громким, чтобы обезьянка не заглушила слова. В голосе госпожи Льву Лаврентьевичу даже почудилась нотка нежности, но, возможно, только почудилась, хотя как знать, как знать...

Обезьянка замолкла.

— Госпожа... вы замужем?

Должно быть, она поняла, что дает слабину, и, собрав волю в кулак, вновь остервенела:

— Я тебе покажу замужем!.. Я тебе покажу, что такое семейные узы!.. Я тебе покажу, как жене изменять!..

Ему бы сказать, что он не изменяет жене, разве что только сейчас, если это можно назвать изменой, — но нельзя, определенно нельзя, ибо сказано ж: «без интима!»! Ему бы объяснить... да как тут объяснишь, когда:

— Вот тебе!.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

— Хватит! — взмолился Лев Лаврентьевич, боясь вспугнуть обезьянку. — Довольно!

— Молчать!.. Ты еще и на двадцать зеленых не получил!.. Получай!.. Получай!.. Получай!.. Нет, вы видали такого, он решил, я деньги просто так беру?! Я тебе покажу «хватит»!.. Я тебе покажу «довольно»!.. Вот тебе, гад!.. Вот тебе, гад!.. Суицид, говорит!.. Жалобы на жизнь, говорит!.. Падение нравов, старый хрен, говорит!.. А за кого ты голосовал, ублюдок?.. Я тебя научу, за кого голосовать!.. Я тебя научу не ходить на выборы!.. Я тебе покажу падение нравов!.. Я тебя научу любить человечество!..

— Госпожаааа!.. — простонал Лев Лаврентьевич и ойкнул, как икнул; это был последний хлест.

Выбившись из сил, госпожа тяжело опустилась в кресло. Он робко сползал с доски, боясь быть остановленным. Поспешно натянул трусы, брюки. Застегивался.

— Меня даже в угол никогда не ставили, — сказал Лев Лаврентьевич и всхлипнул.

— А зря.

Без ненависти сказала. Человеколюбиво.

Заправляя рубашку, не глядя на госпожу. Слышал, как она тяжело дышит. Все-таки скользнул взглядом: толстая, ручищи — во! Подумал: и хорошо, что без интима.

— Я на массажистку училась. Только сейчас этих массажистов хоть жопой ешь. Пришлось переквалифицироваться на психолога. Кофе хотите?

— Нет, нет, благодарю.

— Сеанс окончен. Могу угостить.

— Спасибо, я пойду.

— Будет плохо — милости просим. — И — уже в дверях: — Постоянным клиентам — десятипроцентная скидка.

На воздухе было свежо, прохладно. Он подставил лицо сверху падающему — на сей раз это был снег. Пешеходы повеселели и подобрили. Все было вокруг не таким, каким было давеча. Было лучше и чище. Изнутри тоже чем-то необыкновенно чудесным, казалось, высвечивалось, и легкость в груди такая была, словно взлетай. Всех прощаю, и меня простите. Аппетит разгорелся. Денег хватало на метро и на сосиску в тесте. Сначала сосиску в тесте, а потом уж в метро. Домой, домой!.. Ничего, завтра займет. Купит ей барометр с обезьянкой. Хорошая вещь.

## ПОЛТОРА КРОЛИКА

Жуть, а не погода. Особенно ветер.

От автобусной остановки до библиотеки было метров двести, зонтик бы все равно поломало. Рудаков натянул капюшон, прижал подбородок к груди. Вместо обещанного дождя бил в лицо снег — острый, как пыль стекловаты. На витрине магазина летней одежды с трудом сдерживали злорадность два манекена — там был у них рай.

Его заметили прежде, чем он перешел улицу. Магда Васильевна, встречая, предупредительно держала открытую дверь — она вышла без пальто,

только в шерстяном платке, накинутом на красное платье. Рудаков ускорил шаг, потом и вовсе побежал.

— Мы уже думали, не придете.

Входя, царапнул ее не по-доброму взглядом. Впрочем, быть неприветливым он не хотел.

— Неужели кто-то пришел? — прохрипел Рудаков.

— А как же!

И верно, в конференц-зале сидели какие-то личности, об их числе, находясь в вестибюле, Рудаков мог только догадываться. Он снимал куртку — так сказать, вешался. По всему судя, ему еще предстояло иметь дело с телевизионщиками.

Их наличие Рудакова искренне удивило. Камеру установили здесь же, при входе. Местный канал, обзор культурной жизни по понедельникам.

— Это недолго, — сказала Магда Васильевна, не прочтя восторга на лице Рудакова.

— Я не смотрю телевизор, — сказал Рудаков тем двоим.

— Мы тоже, — ответил один, затевая возню с микрофоном.

Он же был за оператора, другой — вопрошатель (в кадре не предусмотренный, он стоял слева от камеры).

Первый сказал:

— Снимаем, — второй спросил:

— Скажите, что вас побудило написать эту книгу?

— Что меня побудило? — повторил вопрос Рудаков, откашлявшись. — То и побудило, что написал. — Он еще произнес несколько фраз в том же духе.

Интервьюер помахал кистью руки у себя перед носом, призывая Рудакова смотреть на него, а не в потолок. Каждую фразу Рудакова он сопровождал одобрительным кивком — наверное, этому учат в их институтах.

— Объясните, пожалуйста, название вашей книги.

— То есть вы ее не читали, — сказал Рудаков, прищурясь.

— При чем здесь «полтора»?

— Не читали, — повторил Рудаков.

— Честно говоря, еще нет. Прочту обязательно.

— Для любого, кто читал мою книгу, название, полагаю, понятно. Но если угодно, я объясню.

Он объяснил.

— Как вы относитесь к современной литературе?

Рудаков глубоко вздохнул. Помолчал. Поморщился. Стал нехотя объяснять, как он относится к современной литературе. Собственно, никак. То есть как-то так никак, собственно. То есть как-то. Как-то так.

— Большое спасибо.

Магда Васильевна, деликатно исчезнувшая на время съемки, вновь появилась в вестибюле. Провожая Рудакова в конференц-зал, поинтересовалась:

— Не любите?

Рудаков посмотрел вопросительно. Магда Васильевна уточнила вопрос:

— Ну, давать интервью...

Промолчал.

— Плохо спали, наверное, — донимала догадками. Вместе вошли.

Конференц-зал был небольшим — просто комната.

Больше десяти, — прикинул Рудаков.

Больше десяти ненавязчиво приветствовали Рудакова, а он их.

Сел вместе с Магдой Васильевной за стол.

Читательницы. И один читатель.

Магда Васильевна представила Рудакова. Сказала:

— Несмотря на непогоду, у нас практически аншлаг.

Одиннадцать, — сосчитал Рудаков.

Мест свободных действительно не было — вероятно, стулья вносили по мере прибавления публики. Придет двенадцатый — внесут стул.

Магда Васильевна рассказывала о Рудакове и его замечательной книге. Она подготовилась.

Рудаков решил, что работников библиотеки здесь поболее половины. Но были явно и со стороны.

Телевизионщики тоже вошли, пристроились под портретом Белинского. Снимали то Магду Васильевну с Рудаковым, то пришедших послушать и посмотреть. Потом — крупным планом — книгу Рудакова, поставленную на стол обложкой к зрителям.

Минут через десять они убрались восвояси, вместе с камерой, а Магда Васильевна, когда их не стало, все еще говорила. Она очень хорошо подготовилась.

Рудаков не смог бы пересказать ее доклад.

Встречи с писателями здесь проводят раз в две недели.

Рудаков издал свою первую книгу. Еще весной. Последним здесь был — еще в ноябре — юморист Кувалдин.

Встреча с писателем, если посмотреть с другой стороны, — это ведь то же самое, что и встреча с читателями; под писателем в данном случае надо подразумевать Рудакова.

Рудаков не мог понять по лицам читателей, не скучно ли им слушать Магду Васильевну.

Ей похлопали.

Двенадцатый не пришел.

Рудаков стал читать свои короткие произведения. Он называл их сказками. По мнению критика Рузовского, опубликовавшего в начале лета рецензию на книгу Рудакова, стиль Рудакова отличается особым ритмом и лапидарностью.

Его слушали оживленно, иногда смеялись.

Самый короткий текст из прочитанных Рудаковым назывался «Во».

## ВО

*Иду по лесу, никого не трогаю, навстречу катится что-то кругленькое: зверь не зверь. Только принохаться хотел, а оно:*

*— Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от зайца ушел, от волка ушел, а от тебя, медведь, и подавно уйду!*

*И куда-то в кусты укатилось.*

*Во, думаю.*

*Отчего нога деревянная? Так живу старик отрубил.*

*Вот пришел я к нему: скрип, скрип.*

*Вижу, лапа моя в горшке варится, а по полу шерстка разбросана — знать, щипала старуха.*

*Под рубахи спряталась на печи, думает, не замечу, а старик — тот под корыто залез.*

*Ну, съел я их.*

*Во, думаю.*

— Это все?

— Все, — сказал Рудаков.

Ему похлопали.

Стали задавать вопросы.

Рудакова спросили, что побудило его стать писателем. И что означает название книги. При чем здесь кролики? И что он думает о современной литературе.

Спросили, какая книга лежит у него на рабочем столе. И какие бы три он взял на необитаемый остров.

Он сумел не зевнуть. Он решил: не иначе, каждую работницу библиотеки обязали задать хотя бы один вопрос. Скоро, впрочем, он убедился: иначе. Вопросы задают здесь не по обязанности, а по безотчетным побуждениям неясного свойства. Потому, наверное, что не хотят выходить на улицу, решил Рудаков. Он и сам не хотел.

Полная дама в брючном костюме спросила Рудакова о тайне современного человека. Она сказала:

— Мне кажется, у современного человека нет тайны. Поэтому про него неинтересно ни писать, ни читать. А как думаете вы?

Рудаков думал по-разному. Человек сам тайна. Но что есть тайна? — думал Рудаков. И что человек? — предлагал всем подумать.

Рудакова спросили: да, что есть человек?

И чем современный человек отличается от вообще человека?

И еще: сколько просуществует человечество, спросили Рудакова.

И есть ли Бог, Рудакова спросили.

Есть ли, спросили его, ничего — в частности там, где ничего нет, и, если ничего все-таки есть, называя его «ничего» и тем самым внося в него содержание, не превращаем ли мы ничего в нечто?

— Вы пишете для взрослых, однако пренебрегаете матом. Почему в вашей книге совсем нет мата?

Этим обеспокоилась бальзаковского возраста леди в не по сезону темных очках.

— Должен быть? — спросил Рудаков.

— Нет, я не настаиваю на том, чтобы у вас на каждом шагу матюгались, но полное отсутствие мата бросается в глаза... или вы находите это естественным?

— Я не думал об этом, — пробормотал Рудаков, несколько сникнув.

Спор на тему мата взбудоражил аудиторию; Рудаков угрюмо молчал.

— Видите, какие дискуссии вызывает ваша проза, — шепнула ему Магда Васильевна.

Речь зашла об абсурде. Отношение Рудакова к абсурду интересовало обладателя клетчатого пиджака, единственного, если не считать Рудакова, мужчину в этом помещении. Он называл имена великих абсурдистов, освященные мировой славой. Ощущает ли Рудаков свое место в определенном контексте?

— Нет, то есть да, то есть нет, — заговорил Рудаков с внезапной горячностью. — Я под абсурдом понимаю другое. Допускаю, что у меня умозрительные схемы, искусственные конструкции, игры ума, это не есть абсурд... Абсурд — это реальность, реальность, увиденная под определенным углом. Он здесь. Он повсюду. Все зависит от ракурса — как взглянуть. Любое событие может оказаться абсурдным... Вот, скажем, сегодняшней вечер — вроде все пристойно, правильно... А ведь это как посмотреть... Можно представить себе, что кто-то напишет рассказ о нашей встрече, и она будет выглядеть крайне абсурдно.

— Разумеется, — сказала Магда Васильевна. — Если все исказить. Что-то затушевать, что-то выпятить. Окарикатурить.

— Да нет же, я о другом... Я о фатальности... как бы это сказать... неявных несоответствий. Представьте себе, что кто-то из нас мог бы оказаться не здесь, а в другом месте — в бане, или на свадьбе, или, может быть, в морге... Это я фантазирую в порядке бреда... Чувствуете холодок абсурда?

Никто не чувствовал.

— Ладно. Давайте в порядке бреда сочиним что-нибудь подобное... прямо сейчас. Хотите — о вас, Магда Васильевна?

— Обо мне?

— Ну, не о вас лично, конечно, а о некоем человеке, похожем на вас. Боже упаси, что это вы. Это не вы. Это я для наглядности.

— Лучше о вас.

— Хорошо. Пусть буду я. Не я лично, а некий автор, похожий на меня, который пришел на встречу с вами... то есть с читателями, похожими на вас. Нам важна ситуация.

— Оживление в зале, — констатировала Магда Васильевна.

Рудаков продолжал:

— Представим автора книги сегодняшним утром. Он, или как вам удобнее, пусть буду я, в общем, этот персонаж провел бессонную ночь. Тяжелые мысли и все такое. Утро настает, мрачное, холодное... ну и... — Рудаков сделал жест рукой, всех приглашая к сотворчеству, — наш персонаж закономерно решает...

— Принять снотворное, — громко сказала пожилая женщина в первом ряду и засмеялась.

— Повеситься, — сказал Рудаков и засмеялся тоже.

Он окончательно ожил. Его глаза заблестели.

— Вот что такое творческая кухня писателя, — объявила Магда Васильевна. — Так рождаются сюжеты. И почему же он решил, интересно, повеситься? В чем же, объясните, закономерность?

— Решил и решил. Жизнь не сложилась... мало ли что... какая разница... Короче, взял он веревку, сделал петлю, намылил...

— Сейчас не мылят, — сказал в клетчатом пиджаке, — это пеньковую мылили, а из синтетического волокна и так скользит хорошо.

— Век живи, век учись, — пробормотал Рудаков, слегка сбитый с толку.

Все та же в первом ряду подсказала:

— Встал на табуретку.

— Привязал к люстре, — обратился к ней Рудаков, как бы благодаря за поддержку. — Голову в петлю просунул. Стоит. Делает глубокий вдох. И тут...

— Звонит телефон...

— Телефон слишком банально. И тут взгляд его падает на будильник. Он видит часы, и он вспоминает вдруг, что в семь вечера у него выступление в библиотеке. И так тоскливо становится, нехорошо... Ему, конечно, и без того тоскливо, а теперь — просто гадко. За окном какая-то дрянь, ветер, циклон... А ведь придут по такой погоде читатели, будут ждать его, звонить ему, перемывать ему косточки... Подождут-подождут и разойдутся в недоумении. Или еще лучше: к семи уже все известно станет, ну и представьте картинку — вы пришли на встречу с автором, сели, сидите, ждете, появляется Магда Васильевна и говорит: «Вечер отменяется, писатель повесился». Дикость! Как ни посмотри, все дикость. Вот он и решает, с петлей на шее: надо идти. Схожу вечером, а потом и повешусь. А то неправильно как-то, малодостойно. Надо завершать начатые дела.

— Занятно, — сказала Магда Васильевна.

— А дальше — все как здесь. Пришел, а тут телекамера — спрашивают, как вы меня, этого автора: что вы хотели сказать вашей книгой?.. почему так назвали?.. при чем тут кролики?.. почему «полтора»?.. ваши планы на будущее?.. есть ли тайна у современного человека?.. Он, как я, отвечает, пыжится выразить мысль... Абсурдность ситуации видит лишь он. Ну и тот, кто воспринимает этот рассказ, — по отношению к персонажам этот восприниматель существа высшего порядка. Неплохой мог бы получиться рассказ, пожалуй... если опуститься на землю...

— Напишите? — спросила дама с большой малахитовой брошью.

— Нет, пусть другой кто-нибудь.

— Одна неувязка, — сказала Магда Васильевна. — Этот персонаж должен был поступить проще. Если он такой обязательный, он бы вот что сделал. Он бы позвонил в библиотеку, она уже в десять открыта, и сказал бы, что заболел. Мы бы отменили вечер, и он бы мог тут же повеситься со спокойной совестью.

— Кстати, да, — сказала полная дама в брючном костюме. — Почему же он не позвонил?



Рудаков плечами пожал — не знал, что ответить.

— Потому что абсурд, — сказала старушка, у которой слегка фонил слуховой аппарат.

Магда Васильевна встала:

— На этой оптимистической ноте предлагаю и завершить наш вечер. Позвольте, в посрамление упомянутого абсурда, сказать большое спасибо нашему гостю и подарить ему, разумеется, со смыслом... отнюдь не абсурдный... небольшой бюст Белинского — человека, именем которого названа наша библиотека.

Рудаков под аплодисменты принял дар. Бюст Белинского был не выше стакана.

Потом Рудаков раздавал автографы.

Потом в узком кругу работников библиотеки он пил чай с печеньем. Коньяк, предназначенный для почетных гостей, тоже не преминул обнаружиться на столе. Беседа была душевной.

За разговорами о геополитике, провожаемый библиотекарями до метро, он и не заметил, что ветер стих. Стало скользко, однако. Полная дама в брючном костюме долго не хотела отпускать его одного.

Турникет, со своей стороны, почему-то не хотел его впускать. Вмешалась дежурная.

Абсурд не всегда деструктивен, он иногда конструктивен, иногда он спасение для человека. От этой оригинальной мысли Рудакова отвлекло звонкое объявление: всех на эскалаторе учили не касаться оставленных вещей и не подходить близко к краю перрона.

Держась за поручни, он по своей вагонной привычке ревностно вычислял отношение читающих к слушающим — получалось оно не пользу первых, а точнее, равнялось нулю — за досадным отсутствием сегодня в вагоне что-либо читающих; если, конечно, не причислять к ним разгадывателей кроссвордов.

Во дворе из люка валил пар. Пар — до сих пор. Он и утром валил.

Между вторым этажом и третьим Рудаков был вынужден перешагнуть через бомжа, притулившегося около батареи. Рудаков этого не любил, но всегда был готов, раз дело такое, с этим мириться.

Вчера на многолюдной улице ему повстречался бородач, несший на плечах — именно так! — мешок с мусором. Он попросил у Рудакова сто рублей, чтобы «уехать отсюда». Рудаков не дал. Тогда тот сказал Рудакову: «Ты злой, брат».

Кто-то поднимался на лифте. Значит, работает. Рудаков думал, что нет. «Ну ладно», — сказал себе Рудаков, поднявшись на пятый.

Сволочь какая-то залепила звонок жевательной резинкой. К счастью, звонок не нужен был Рудакову — он открыл дверь ключом.

Пахнуло мылом.

Рудаков прошел по прихожей, оставляя следы на линолеуме, — мыльная лужа давно высохла.

Он держался спиной к дверному проему, ведущему в кухню, чтобы там не увидеть веревку. Завтра снимет, завтра все уберет.

Упал, не раздеваясь, на тахту и провалился, как в яму.

Завтра, все завтра.

## БЕЛЫЕ ЛЕНТОЧКИ

Ксюшу укусил клещ.

Уж лучше бы два клеща укусили Глеба. Он так и сказал: «Лучше б меня два клеща укусили».

Клещевая атака на Ксюшину ягодицу была позловреднее почти непрерывного дождя, со среды до пятницы омрачавшего всем пятерым отдых.

И вовсе не потому, что клещ обязан был быть инфицирован вирусом энцефалита, — в это никто, кроме Ксюши, не верил, просто надо знать, какая Ксюша ранимая.

Даня и Таня, а также дизайнер Зайнер, не говоря уже о Глебе, пытались кто как мог успокоить укушенную Ксюшу — дизайнер Зайнер, например, сказал, что его каждый год клещи кусают, и ничего, до сих пор жив, но Ксюшу слова утешения, от кого бы ни исходили они, только еще больше расстраивали — она так поняла, что к судьбе ее все одинаково равнодушны, никто, никто, даже Глеб, не любит ее, и рыбная ловля им куда важнее Ксюшиной жизни. Всем стало понятно: отпуски подпорчен.

А ведь дни предвещались очень хорошие. Уже ночью прекратился дождь, к полудню на небе ни тучки не было, ласточки летали высоко, обещая и на завтра отличную погоду, и солнце, добросовестно весь день сиявшее, не за тучу в конечном итоге село, а по чистому небу сползло, и стрекотали в поле кузнечики, что тоже очень хороший знак. Тогда на закате и обнаружился клещ. Ксюша полезла в палатку снять наконец купальник и нащупала рукой на левом полупопии рядом с резинкой, то бишь на границе, где загар переходит в сокровенную белизну, лишнее что-то, чего раньше не было, — не то родинку, не то болячку. С помощью зеркалаца установила истину:

— Глеб! Ты где бродишь? В меня клещ вцепился!

Клещ был большой, напитавшийся, величиной уже почти что с брусничину, знать, ловил он свой кайф неутолимый часов уже пять-шесть, а поскольку зеркальце немного искажало действительность в сторону увеличения размеров объектов, клещ показался Ксюше сущим чудовищем. Почему она его раньше не заметила, Ксюша не понимала.

Вытаскивали всей командой — методом утопления клеща в подсолнечном масле. Полагали, что, когда клещу нечем будет дышать (а дышал он, покуда кусал, предположительно задом), он сам изымет свою головку из тела Ксюши. Есть такой способ, хотя и небесспорный. Непосредственным исполнителем взялся быть, естественно, Глеб, Таня светила фонариком, а те двое давали советы. Все Ксюшу согласно подбадривали: клещ-де напился уже, сейчас выйдет сам. Но сам отчего-то выходить не торопился, несмотря на то что все полупопие Ксюши уже было заляпано маслом. Пришлось Глебу вооружиться иголкой и пинцетом.

— Ты мне все расковыряешь там! — хныкала Ксюша. — Постарайся, чтобы там не осталась головка...

— Лежи спокойно, — приказал Глеб.

В конце концов клещ был извлечен и помещен в стеклянную баночку — для будущей экспертизы. Ксюша долго рассматривала вредителя, не веря, что головка при нем.

— Точно энцефалитный.

— Маловероятно, — сказал Глеб.

По идее, надо отправить в лабораторию. Но, во-первых, завтра воскресенье, а во-вторых, еще как добраться хотя бы до районного центра? Пробный выезд из низины не удался сегодня ни Глебу, ни Дане — машины и того и другого решительно буксовали сразу же за ольшаником на первом подъеме. По лесной трехкилометровой дороге до грунтовки после дождя тем более невозможно будет проехать. То, что они все в западне, стало ясно им в среду еще, когда разверзлись хляби небесные. Оставалось уповать на сухую погоду (за сегодняшний, первый по-настоящему солнечный день уже заметно подсохло), в худшем случае — на помощь трактора, за которым, если что, придется чапать по грязи в поселок.

В обычных полевых условиях — ничего особенного, веселое приключение. Но когда ЧП — это проблема.

Самая большая проблема в том, что это проблема с Ксюшей.

Лучше бы 22 клеща, 222 клеща укусили Глеба.

— Больше чем уверена, энцефалитный. Я так и знала, что этим кончится. И не надо меня успокаивать! А где вы раньше были? Он меня несколько часов кусал, а вы никто даже внимания не обратили, как будто меня рядом не было. Так и померешь, никто не заметит.

— Ты, конечно, всем хороша, — отвечал Даня с напускной серьезностью, — но подумай сама, как вот лично я заметить мог? Я скромный, стеснительный. При всем к тебе уважении, при всем тебя обожании от поппы твоей неповторимой глаза отвожу. Или ты думаешь, я только на нее и смотрю?.. А Глеб еще? Вдруг ему не понравится?

— Хорошо бы без пошлостей, — сказала Таня.

— Видишь, Таня тоже ревнивая.

Это уже был разговор за водочкой, у костра. Туман с озера надвигался на берег. Звезды зажигались одна за другой. На складном столике дымила спиралевидная противокмарная вонючка. Пили из принадлежащих дизайнеру Зайнеру металлических дорожных стопариков, способных вкладываться один в другой (когда их вкладывали) и находить место в кожаном чехольчике.

— Выпей, Ксюша, и не думай о грустном, алкоголь любую заразу убьет.

Ксюша выпила и ушла спать в палатку, досадуя на несерьезное отношение к ее злоключению. В этом уходе никто не приметил демарша. Спальный мешок по случаю теплой ночи она обратила (мешок позволял) в одеяло. Она слышала, как говорили у костра о малозначительных предметах, но только не о клеще. Таня чему-то смеялась. Чоканья, хотя и не были слышны, угадывались безошибочно. После одного Глеб сказал, что в понедельник поедут. Он сказал, что если дорога подсохнет. «Если!» — повторила про себя Ксюша с обидой.

А потом они обнаружили, что бутылка была последней. Никак не могли поверить тому, долго искали, хлопали дверцами обеих машин. Решили, что дождь виноват, он, затаившись, сбил всю компанию с ритма, со счета... Так вам и надо, думала Ксюша.

Тушили костер. По местам расходились.

Дизайнер Зайнер долго боролся в своей палатке с бытовыми трудностями, невнятно комментируя скромные, но убедительные победы. Из палатки Дани и Тани раздавались их веселые пререкания. Одного только Глеба где-то носило. Он мог пойти в поле на звезды смотреть, это вполне в Глебовом стиле, а мог отправиться за камышовую заводь с фонариком, там у них приманка для раков. Ксюша ждала. Он явился, когда уже все угомонились. Ксюша хотела сказать, чтобы не привлекал фонариком комаров, но сдержалась: пусть будет им хуже обоим, раз не мыслит мозгами. Он лег, помолчал, потом, никудышный психолог, надумал к ней приласкаться, Ксюша гыкнула на него, и он сразу отстал.

Посреди ночи Ксюшу разбудил истошный вопль из леса. Будто кричала женщина, причем сумасшедшая, потому что это были не крики о помощи, не крики от боли и не что-нибудь другое, умом объяснимое, а что-то совершенно бессмысленно беспричинное, если только в том не было умыслу всех напугать. Но все спали, одна Ксюша проснулась. Наверное, ночная птица, быть может — филин, иначе надо признать, что безумная баба ходит по лесу и зачем-то кричит, но разве так кричат птицы в наших краях, даже ночью, если это действительно птица? Глеб похрапывал безмятежно, и как ни хотелось Ксюше его разбудить, она не стала будить Глеба. Она спряталась под одеяло с головой и стала думать: а пусть, пусть придет эта сумасшедшая баба с острым ножом и всех зарежет к чертям, так нам и надо. Вот так!

Ксюша встала последней, когда солнце уже раскалило палатку, так что больше не было сил прятать в спальный мешок от назойливой мухи лицо. Она попыталась муху поймать и вспомнила сразу, что на ночь выпила

водки, — всего-то делов, стопку-две, а чуть-чуть повело. Куда-то зеркальце запропастилось, Ксюша даже заглянула под надувной матрац, но не идти же к тому круглому, что висит с рукомойником на одной березе, — Ксюша очень тщательно ошупала место укуса и, воздержавшись от выводов, решила пока ограничиться одним только этим тактильным исследованием.

Все уже позавтракали, а Таня мыла посуду.

Могли бы и разбудить.

Дизайнер Зайнер сумел уже поймать щуку на спиннинг и клятвенно обещал поймать еще одну.

Белый самолетный след на небе, как заметил Даня, быстро рассеялся, а значит, верно вчера решили: погода будет что надо.

Вчера в новостях говорили, что не допустят дождь над Москвой, а стало быть, торжествам и гала-концерту быть.

На самом деле, хорошо отдыхать без новостей. Что, собственно, они, по большому счету, и делали.

Глеб призвал снарядить экспедицию за грибами. Кому-то одному надо остаться в лагере. Дизайнер Зайнер с удовольствием останется в лагере и будет чистить четырех щук, которых он непременно поймает.

Таня увидела, как переплывает озеро уж. Кто бы мог подумать, что ужи на такое способны? Голова ужа высывалась из воды. На ужа пошли все смотреть, кроме Ксюши.

Ксюша доела пшеничную кашу. Специально для нее, чтобы не остыл, около костра был оставлен чайник.

Неожиданно перед честной компанией образовался незнакомый человек лет сорока пяти. Первое, что в глаза бросилось всем, — это его клочковатые усы и кудрявые рыжие брови, а уже потом — кожаная сумка-планшетка на ремне через плечо. На нем была форма какого-то непонятного ведомства, но она так сильно выцвела, что надо было еще догадаться, форма ли это. Никто не заметил, как он спустился в низину.

— Здравствуйте. Я инспектор леса. Вот мое удостоверение. Извольте заплатить за отдых.

В какой степени инспектор леса был инспектором леса, это еще вопрос; по вескости представления был он не просто инспектор леса, был он — Инспектор Леса.

Было похоже на шутку.

— Что еще за фокусы? — возмутился Даня. — Почему мы должны платить?

— Да, — возмутилась Таня, — согласно какому правилу?

Инспектор Леса достал из сумки блок отрывных квитанций.

— Согласно постановлению районной администрации за номером двести двадцать семь. Могу предоставить текст документа. Коллеги! — обратился Инспектор Леса к собравшимся. — Прошу не пугаться, сумма терпимая, не кусачая! Сколько вас? Пятеро? Сколько полных дней проживаете? Сколько предполагаете жить?

Он довольно проворно — причем в уме — перемножил число людей на число дней и на тарифную ставку в рублях. Отчитался по результату:

— Пятьсот сорок рублей. Если есть калькулятор, проверьте.

— Кредитки не принимаете? — пошутила Таня, ставя на стол стакан с вымытыми ложками.

Дизайнер Зайнер заплатил за всех, сказав «потом разберемся».

— Вот квитанция. — И с небольшим опозданием Инспектор Леса ответил: — А что до кредиток, то нет.

Ксюша спросила:

— Вы не знаете, кто кричит по ночам женским голосом?

— Ты о чем, Ксюша? — удивился Даня. — У нас только ты да Таня могут кричать женским голосом.

— Очень смешно. Скажите, пожалуйста, этой ночью, когда мои товарищи спали, кто-то кричал в лесу, словно женщина, — это филин?

Инспектор Леса, похоже, прочно дружил с арифметикой и любил числа, он сказал:

— Сорок процентов из пятидесяти это филин.

— А остальные... десять? — спросила Ксюша.

— Остальные десять кто-то другой.

— А скажите, пожалуйста, меня вчера укусил клещ, есть ли здесь разносчики энцефалита?

— Точной статистикой не располагаю, но имеются случаи. В прошлом году часто случалось.

— Ну, «часто случалось» — это единицы все-таки, — встрял Глеб. — На тысячу укусов один опасный.

— Да, примерно так, — прикинул Инспектор Леса. — Один процент из пятидесяти.

— Странно вы как-то считаете, — сказал дизайнер Зайнер. — Вы хотите сказать, два процента из ста?

— Просто два процента, — сказал Даня.

— Из ста?

— Ясно, из ста.

— А он говорит, из пятидесяти.

Инспектор Леса не спорил. Он сказал примирительно:

— За каждым процентом стоит человек.

Дизайнер Зайнер и Даня переглянулись, Глеб почесал затылок.

— Правильно, — сказала Ксюша, — а есть ли в Первомайске санэпидстанция... или не знаю что... лаборатория, куда бы можно было сдать клеща на анализ? Ну и самой показаться врачу?

— Зачем тебе Первомайск? — спросил Глеб. — Завтра понедельник. Подсохнет — и поедем в областную больницу. Сто километров каких-то. Потом вернемся.

— Завтра будет поздно, солнце мое. Необходимо сегодня, — сказала Ксюша. — Ходит ли сегодня автобус в Первомайск?

Инспектор Леса ответил загадочно:

— Полагаю, что есть. При больнице.

Все напряглись. Следовало догадаться, что это ответ на первый Ксюшин вопрос (о наличии санэпидстанции в Первомайске); потом он сказал об автобусе:

— По расписанию — да.

— Вы знаете расписание? — спросила Ксюша.

— Конечно. — Инспектор Леса обратился к Дане и Глебу: — Три раза в сутки: утром в семь пятьдесят, днем в двенадцать тридцать и вечером...

— Извините, им неинтересно. Пожалуйста, мне. Клещ укусил — только меня.

— Ну зачем же ты так, — сказал Глеб.

Глядя на Ксюшу, Инспектор Леса продолжил:

— ...И вечером без десяти шесть. Если пойдете, остановка рядом с карьером, отсюда километра три с половиной. Хотя сегодня может и не быть дневного. Вы же знаете, какой день. В деревнях все по домам сидят. Ждут, когда привезут листы. И потом — телевизор... Программа... Но по расписанию — да.

Вновь подошла Таня (пока говорили, она отлучилась к машине за кремом против загара):

— А вы — уже?

— Мне не в чем каяться, — обратился Инспектор Леса ко всем присутствующим.

Усмехнувшись, Даня Глебу заметил:

— Что-то в этом есть диссидентское.

— Нонконформизм какой-то, — отозвался Глеб.

— Это как посмотреть, — сказала Таня, выдавливая из тюбика на ладонь.

Инспектор Леса сказал:

— В волости праздничный концерт днем, но у них свой автобус от администрации. В любом случае попутку всегда можно поймать.

— А вы сами пешком? — спросила Ксюша, не взяв у Тани протянутый тубик.

— Я сам — да. На машинах сюда редко добираются. Счастливо отдохнуть! Ушел.

То есть это он так сказал о себе: «Ушел».

И действительно, Инспектор Леса — ушел.

Даня, Таня и дизайнер Зайнер долго еще обсуждали встречу с Инспектором Леса, его непрямолинейные высказывания, а также его гражданскую позицию в свете общественных настроений последнего времени.

Ксюша демонстративно пошла готовиться идти пешком — демонстрация была замечена только Глебом, он поспешил за Ксюшей в палатку. Потому что идти пешком был не готов.

— Ну и что ты придумала? — спрашивал Глеб, сидя перед ней на корточках: Ксюша лежала на спине с поднятыми ногами и напяливала на себя тугие джинсы вместо только что снятых шорт. — Я что, тебе несчастья желаю? В чем дело? Ты так себя ведешь, словно все виноваты, что клещ укусил именно тебя.

— Где клещ? — спросила железным голосом Ксюша.

— В баночке.

— Где баночка с клещом?

— В кармане рюкзака. Сегодня в Первомайске ничего не работает! Завтра поедем на машине!

Она его, конечно, не слушала.

Вслед за Ксюшей Глеб вылез из палатки, «ну ладно» сказал. Пошел к друзьям договариваться, что купить. И относительно водки — сколько.

Когда миновали первое поле, Глеб догадался посмотреть на часы — было без пяти одиннадцать. Рано вышли — за сорок минут до карьера дойдут и будут целый час ждать автобус.

Глеб знал цену Ксюшиной раздраженности. Собираясь куда-нибудь, они не могли не поссориться, но, как только отправлялись в путь, немедленно забывали о разногласиях, как будто и не было ничего. В дороге если и ссорились, то только во время остановок, не считая тех редких случаев, когда Ксюше позволялось сесть за руль (тут она получала от Глеба по полной программе, смиренно терпя). Почему передвижение в пространстве, независимо от способа и цели передвижения, действовало на Ксюшу умиротворяюще, дисциплинирующе, а в плане психического здоровья даже целебно, Глеб объяснить не мог, но было бы глупо ему этим не пользоваться. Он знал, что Ксюша рано или поздно повеселеет. Так вроде бы и получилось, когда колея, вдоль которой они, обходя лужи, шли полем по направлению к лесу, обнаружила приблизительное сходство с дорогой. Ксюша словно выдохнула — и таким замечательно отрезвляющим выдохом, какой только и ждут, когда говорят: «Выдохни!» А развлекла ее не какая-нибудь природная достопримечательность, но собственная забывчивость: она не узнавала пути, уже преодоленного ими прежде в другом направлении на машинах.

— Неужели мы ехали здесь? — сказала она, самокритично улыбаясь (вероятно, своей способности не замечать очевидного). Впрочем, сегодня ее веселости — это Глеб почувствовал сразу — оттенок обреченности все же будет присутствовать.

— Извини, я вспомнила, просто у меня двоюродный брат умер от энцефалита.

— Во-первых, почему «извини»? Во-вторых, как это «просто»? В-третьих, ты никогда не говорила этого.

— Или троюродный. Даже не знаю, как его зовут. Я еще на свет не появилась. Просто вспомнила, кто-то из родни умер от энцефалита ребенком.

— Прямо сейчас вспомнила?

— Ну да. А что такого?

Он не сказал, что думает. Умереть мог, но если бы действительно умер, сразу бы вспомнила. Еще вчера.

— Что же, по-твоему, я придумываю?

— А зачем ты напела про женщину, которая кричала в лесу?

— Ты ничему не веришь, — сказала Ксюша.

Веришь, не веришь. Какая разница, чему верит Глеб и чему он не верит? Да мало ли чему он не верит? Он, например, не верит в искренность тех, кто называет ее куколкой, потому что он знает, как им обоим завидуют. А притом что глаза у нее огромные и что искусственная блондинка, каждому, верит он, видно за версту, какая она непростая, нетривиальная, нестандартная.

Или вот, например, Глеб не верит тому, что Ксюша способна состариться. Разумеется, все стареют. Он может легко представить стариком себя: лысым, сутулым, хромым. Он даже может, дурачась, убедительно изображать из себя мемекающего маразматика. Но он не может представить старухой Ксюшу.

А еще он верит ее поощрительным откровениям, этим ее «ни с кем как с тобой», потому что он верит в себя и не верит, что она знает по-настоящему правду, потому что откуда ж ей знать, если у нее, верит он, было других с гулькин нос и никогда больше не будет.

Верит он Ксюше по крупному счету, а не верит по мелочам. Иногда мелочи выводят его из себя, особенно когда Ксюша на них с упорством настаивает, но чаще он воспринимает их как занятную данность. Единственное, в чем не всегда Глеб уверен, — это верит ли она сама своим выдумкам; иногда он верит, что да, иногда он верит, что нет.

Дошли до шебенки. Автобусная остановка была обозначена бетонным сооружением, похожим на коробку, опрокинутую набок.

Карьер напротив остановки был весьма живописен. По краям карьера высокие сосенки кривыми корнями цеплялись за кромку обрыва. Судя по заржавелости оставленных внизу железяк, карьер уже давно не разрабатывали.

Захотели подняться, посмотреть с высоты на окрестности.

По левому склону огромные проплешины были покрыты мягким мхом.

Ксюша шла впереди. Глеб почувствовал потребность сказать хорошее.

— Как твой укус?

— Тебе интересно?

— Было бы неинтересно — не спрашивал бы.

— Откуда я знаю. Мне же не видно.

— Дай я посмотрю.

Она, не оборачиваясь, остановилась, расстегнула ремень и приспустила на одну сторону джинсы, — он увидел красное пятнышко. Подошел поближе, присел, приблизился глазами к нему. Прикоснулся губами и обнял ее ноги. Посмотрел наверх.

Она глядела вниз через плечо — снисходительно-укоризненно.

— Хочешь, я исполню брачный танец? — спросил Глеб.

— Ты хочешь меня рассмешить? — Но она и без того рассмеялась, а это означало, что и танца не надо. — У тебя одно на уме, — нашла она необходимым зачем-то сказать и сама поняла, что произнесла ну очень истертую фразу, миллиарды раз на всех языках мира уже прозвучавшую до нее — может быть, даже больше раз, чем «я тебя люблю». — Какая чушь! — и, бросая вызов зазевавшимся комарам, стянула с себя футболку.

Комары, муравьи, клещи те же — все эти представители мелкой фауны просто не успели опомниться.

Мушки, мошки, травяные блошки.

Все зазевались.

Так ведь не в Индии живем.

Собственно говоря, как нечто автобусоподобное проехало по дороге, слышали оба, но что тут можно поделывать? Ничего ровным счетом нельзя поделывать.

Ксюша, Ксюша.

Глеб, Глеб.

По этому склону рос еще ландыш. Ландыш уже отцвел. Ландыш украшали большие бледные ягоды.

— Съешь одну ягоду и умрешь.

— Хочешь, съем две ягоды? — спросил Глеб.

— Два раза умрешь, — сказала Ксюша. — Не ешь.

Так и не поднялись наверх.

Смешнее всего было потом читать корявые надписи на бетонных стенах автобусной остановки. Ничего смешного в надписях не было, но почему-то было смешно. Ксюша подбивала Глеба что-нибудь изобразить свое, она даже нашла свободное место. Глеб достал шариковую ручку, но и первую букву не сумел вывести — ручка не хотела писать.

— А что бы ты написал? — спросила Ксюша, когда Глеб отказался уже от затеи.

— Не скажу.

И сколько она ни пыталась его, не сказал.

Скоро стало понятно: дневной автобус не придет, ибо то, что проехало тогда, было скорее всего автобусом.

— Но как же так? — изумлялся Глеб. — Где логика?

Он легко мог представить, как опаздывает автобус на полчаса, но чтобы автобус прошел на полчаса раньше — этого он представить не мог.

— Или тот злодей нам сказал неверное время?

— Он мог ошибиться в любую сторону. Если прошел действительно наш автобус, нам лучше идти вперед самим, а если автобуса еще не было, лучше не отходить от остановки.

— Так ждать нам или не ждать?

— Давай подождем.

К числу оживленных дорог эта щебенка точно не относилась.

Ждать еще пришлось на обочине около двух часов. Проехал микроавтобус, переделанный в грузовичок. Проехали старые «Жигули», переполненные детишками (на заднем сиденье было четверо), — Ксюша, разглядев, опустила руку, а чадолюбивый дед с бородой, отпустив на секунду руль, руками развел: мол, не могу. На грибников не очень похожи. Еще проехали мотоцикл с коляской и два лесовоза, груженные длинными бревнами. Вот и все. Этак можно здесь до автобуса до вечернего проторчать, и нет никакой гарантии, что его не отменят.

Решили идти. И пошли. Демон зловредности, заставлявший их бессмысленно ждать, сразу дрогнул и отступил: тут же появилась попутка.

Дядечка в бейсболке был за рулем, рядом с ним — весьма полнотелая дама.

У обоих приколоты, как знаки отличия, белые ленты к одежде.

Ехали в Первомайск. Глеб и Ксюша возликовали, садясь.

Водитель и полная дама продолжали, по-видимому, прерванный разговор:

— Что-то очень простая печать, — говорил он. — Я посерьезнее ждал. Типа голограммы, как на водочной наклейке бывает. Вот ту сложно подделывать. А эту легко.

— А зачем подделывать? Что с нее толку? Есть она, или нет ее...



— Ну не скажи. А зачем тогда в паспорт ставить? Для чего-то ставят ведь, или как?

— Лось! — закричала Ксюша.

И точно: с левой стороны прочь от дороги, теряясь за деревьями, уходил лось.

— Где моя двустволка?! — возопил водитель таким тоном, как если бы он сокрушался «где мои двадцать лет?!».

С километр-другой говорили о лосе.

Ксюша поехала и, придвинувшись к Глебу поближе, положила голову ему на плечо. Они там — в ландышах, а тут, представляла, он — огромный — с рогами.

В зеркале заднего вида поймала взгляд водителя. Спросил за рулем:

— По каким делам в Первомайск? Листы подписывать?

— У нас открепительных талонов, — сказал Глеб, — нет. Мы на озере отдыхаем.

— Меня клещ укусил, — сказала Ксюша, — в больницу едем. Как у вас тут с энцефалитом дела обстоят? Остерегайтесь?

— То-то я смотрю вы без ленточек, — сказала дама.

— Надо людей остерегаться, не клещей, — высказался водитель. — А клещ он и есть клещ.

— Лосиные блохи — это да, — говорила его пассажирка. — Вцепится такая в волосы — замучишься, отдирая. Но они ж безвредные, говорят. Этих блох лосиных у нас пруд пруди на деревьях. Клещи есть, но немного.

— Немного, — сказала Ксюша, — а меня укусил!

За рулем поинтересовался:

— Из каких краев? Из Питера? Из Москвы?

— Из Питера.

— А чем занимаетесь?

— Схемами, — кратко ответил Глеб (он не любил допросов).

За поворотом часть дороги смыло дождем — медленно объезжали промоину. Из ямы торчала сигнальная палка с насаженным на нее ведром.

— Мы на лисичках, — сказал водитель. — Вы же знаете, как они в Европе идут. Раз в двадцать дороже, чем здесь. На лисичках посредников много. А мы почти что в самом низу. Ниже нас только собиратели. Есть более выгодные направления, чем лисички. Банные веники, например. Вот в Питере как дела с вениками обстоят?

— У нас бани закрываются, — сказала Ксюша.

— Это государственные, общественные, а частные, наоборот, они только открываться будут. Куда же без бань? И без веников?

С ним рядом сказала:

— Мы можем весь Питер вениками завалить.

Ксюша представила Питер, заваленный вениками.

— Дубовые? — спросил Глеб.

— Березовые. Зато много, — ответил за рулем.

— И дешево, — сказала его компаньонка. — Очень дешево. Не продадите. Возьметесь?

— Что возьмемся? — не понял Глеб.

— Найти веникам сбыт.

— Ваши условия? — спросила Ксюша по-деловому.

— Попролам, — сказал за рулем. — Все по-честному. Веники у нас дико выгодные. Но чтобы партия не ниже пяти тысяч веников, да, Тоня?

Тоня, вот как звали ее, она сказала:

— Договариваетесь, когда и куда, сообщаете нам, и мы — грузовик.

— Не исключено, что рынок веников уже захвачен, — сказала задумчиво Ксюша, игнорируя Глебово «перестань». — Я видела в Гостином дворе банные наборы с вениками, натуральными мочалками, французским мылом.

— Это дорогие, подарочные.

— Элитные, — подсказала Тоня.

— Нам не надо элитных. У нас простые, народные.

— Народный веник, — прикинула Ксюша бренд на звучание. — А что, хорошо.

Антонина продиктовала ей номер своего мобильного.

Въехали в поселок и остановились возле дома с ветряной вертушкой на крыше. «Мы ненадолго». Водитель и Антонина пошли в дом, оставив Глеба и Ксюшу одних в машине.

— Зачем ты эту комедию ломаешь? — Глеб спросил. — Они же будут на тебя рассчитывать.

— Почему комедию? Совсем не комедию. Может быть, дизайнер Зайнер заинтересуется. А то совсем без дела закис. Машину купит.

— Ну-ну, — сказал Глеб.

— Между прочим, это ты первым заговорил. Березовые или дубовые.

— Про березовые я ничего не говорил. Я только спросил, дубовые ли. Не надо.

— Иногда мне кажется, я тебя понимаю с одного только слова. Но боюсь, мне это только кажется.

За как бы восточные запахи отвечал подвешенный к зеркальцу заднего вида серебристый мешочек с искусственным ароматизатором. Ксюша опустила стекло, свежий воздух проник в машину.

Издалека, из-за старых могучих усадебных лип (по другую сторону дороги), из глубины поселка доносились обрывки музыки, центр здешней общественной жизни был где-то там. Расстояние и препятствия искажали звуки до неузнаваемости, и все же Ксюше показалось, что из далеких динамиков раздается какой-то вальс (это действительно был «Синий вальс» композитора Одноралова, только ни Ксюша, ни Глеб все равно не знали этого вальса).

К машине приближалась процессия. Первой шла Тоня, за ней водитель — он нес ящик, а за ним еще два мужика, тоже с ящиками в руках. В ящиках, как оказалось, были лисички. Два ящика поместили в багажник, а один на сиденье рядом с Ксюшей, ящик словно был пассажир, и Ксюша теперь сидела между Глебом и ящиком.

Тронулись, но не проехали и тридцати метров, как водитель резко затормозил, — какой-то хмырь, размахивая руками, перебежал дорогу. Он был в стельку пьян. Увидев остановившуюся перед ним машину, он тоже остановился, вытянул в ее сторону правую руку и попытался что-то изобразить на пальцах: не то знак победы — это сразу двумя, не то по отдельности: средним пальцем — знак неприличных, тогда как указательным вроде бы угрожал...

— Назююкался, — проговорил водитель, объезжая пьяненького, — а еще ленточку нацепил.

У него действительно была приколата белая ленточка к лацкану пиджака. Он был в пиджаке. Вообще говоря — был он в костюме, и вполне дорогом. Вообще говоря — многие были одеты тут празднично (смотрела Ксюша в окно), не так затрапезно, как Ксюша и Глеб.

— Сегодня можно, — ответила Тоня, оглянувшись на пьяненького.

Другие жители были тоже при ленточках. Ксюша вспомнила, как перед отъездом видела передачу по ящику: обсуждали, какой длины должны быть ленточки и хватит ли их на всех по стране.

На выезде из поселка снова пришлось остановиться, теперь уже из-за коров. Стадо хоть небольшое, но все-таки стадо. Коровы расступались нехотя, не теряя достоинства. Пастух им доверял и не вмешивался. У одной к рогу была привязана белая ленточка.

— А вот это уже зря, — сказал водитель.

Оно, конечно, из лучших побуждений, но довели Ксюшу и Глеба не совсем туда, куда Ксюша и Глеб стремились, — до травматологи-

ческого пункта. «Славику здесь вынимали клеща», — сказал водитель, не сказав, кто такой Славик. Попрошались. То, что это травматология, оба поняли, когда уже вышли из машины и машина уехала. Вероятно, основные травмы получают в Первомайске в районе вокзала, потому что травматологический пункт размещался на вокзальной площади.

На вокзальной площади толпилась публика. Справа от автобусной станции возвышался помост. Дети в нарядных костюмах демонстрировали хореографический номер.

Дежурный костоправ развеселился:

— Вы бы еще в медвытрезвитель обратились. Нет, мне нетрудно клеща вытащить. Но когда сами справились, я вам на что? Вам нужна не первая медицинская помощь, а как минимум вторая. А я, извините, первая. Тут вечером народные гуляния со всеми вытекающими последствиями, особенно по черепной части. Вот это будет работка. Поезжайте-ка на автобусе, на двоечке, в Люксембург...

— Куда, куда?

— В имени Люксембург. В городскую больницу имени Розы Люксембург, забыл, что вы приезжие. Сейчас Покровская называется, но мы ее по привычке Люксембург зовем. На первой остановке после моста выйдете.

Прежде чем отправиться в Люксембург, Ксюша и Глеб зашли на автобусную станцию уточнить расписание. До вечернего автобуса оставалось не менее трех часов. Диспетчер клятвенно обещал, что автобус будет. Это что касается из Первомайска, а что касается по Первомайску, то тут произошел небольшой сбой, и именно с «двоечкой», только об этом Ксюша и Глеб узнали, когда уже, обойдя помост и толпящуюся перед ним публику (теперь выступал жонглер), пришли на остановку обычного городского автобуса.

Оказалось, что № 2 сегодня в связи с футбольным матчем, приуроченным к общегородским торжествам, перенаправили по другому маршруту, о чем и поведали Ксюше и Глебу болельщики, ожидавшие автобус на остановке.

Первомайск не слишком велик. Пошли пешком.

В центральной части города сохранились строения позапрошлого века. В здании бывшей пожарной части размещался краеведческий музей.

Прохожие выглядели празднично, дети гуляли с воздушными шариками. С лотков продавали сахарную вату и леденцы.

Напротив городской администрации стоял на пьедестале бронзовый Ильич. У его ног лежали букеты красных гвоздик, перевязанные белыми лентами.

Удивил один пешеход, по всем признакам трезвый, но, как видно, со странностями. Глеб заметил его, когда тот целенаправленно переходил улицу. Он тем на себя обратил внимание, что явно направлялся к ним обоим. Поравнявшись с Глебом, он неожиданно схватил кисть его руки и крепко пожал. Ксюшу он не обременил рукопожатием, но, положив ладонь себе на сердце, поприветствовал то ли поклоном, то ли кивком. Затем быстрым шагом пошел своей дорогой.

— Твой знакомый, — сказал Глеб.

— Разве не твой? — спросила Ксюша.

— Таких не знаю.

— Не похоже, что обознался.

У реки было больше всего гуляющих. В городском саду крутилась карусель. Глеб и Ксюша остановились у вагончика с надписью «Хачапурня», обоим страшно хотелось есть. Сели за пластиковый столик под старой березой. За соседним супружеская чета предавалась внутрисемейному спору — правильно ли сегодняшней день считать праздником? Их дочь-младшеклассница, отведав колы, пыталась привлечь к себе, играя прутиком, осторожную кошку.

Минут через двадцать Ксюша и Глеб предстали перед очами доктора, дежурившего по ведомству санитарно-эпидемиологического надзора. Судя

по тому, как эта черноглазая, сильно немолодая женщина произнесла первый же вопрос в одно слово: «Жалобы?» — голосом она обладала мощным, сильнодейственным, волевым.

К отвороту белого халата была приколата белая лента. Белое на белом вызывающе не сливалось, напротив, усиливало, дразня взгляд, одно другим.

— Меня клещ укусил, — молвила Ксюша.

— А вас?

— Меня нет. Мы вместе.

— Выйдите в коридор.

Глеб вышел.

На журнальном столике лежали всевозможные памятки — брошюры, листовки, книжицы-раскладки. Крысы, бешенство, туберкулез... Глеб выбрал страшилку про клещевой энцефалит и стал читать от нечего делать. Приятного мало. Воспаление мозга. Возможность фатального исхода. Кома. Инвалидность. А есть еще клещевой боррелиоз, вызываемый не вирусами, а какими-то особыми спирохетами, передающимися теми же клещами.

Минут через пять появилась Ксюша, вид у нее был удрученный.

— Ну как? — спросил Глеб.

— Записали в журнал — где и когда меня укусили.

— А что клещ? Не берут? — Он увидел знакомую баночку в ее руке.

— Только завтра, — сказала Ксюша. — Похоже, мы не успеем на вечерний автобус.

— Я ж тебе говорил, надо было завтра приехать.

— Ну я не знаю, — сказала Ксюша нараспев. — Придется в гостинице ночевать.

Из кабинета вышла в белом халате.

— Вы кого привезли? — обратилась она к Глебу. — Он же неживой!

— Даже очень живой, — сказал Глеб, покосившись на баночку (интуиция ему подсказывала не принимать никаких упреков).

— Где живой? Вы его уморили.

— Полуживой, — сказала Ксюша. — Вон — шевельнулся!

— Неживых не принимают, — сказала доктор. — Это в Москве можно по фрагментам мертвого. А мы не Москва. — Она обратилась к Глебу: — Завтра покажете вирусологу. Сегодня лаборатория все равно закрыта. А завтра откроют с утра. Поместите его в холодильник, но только не в морозилку. Может, и доживет.

— А чем кормить надо? — спросила Ксюша.

Доктор посмотрела на нее как на идиотку:

— Идемте, укушенная, вам укол сделают. Профилактический.

Увела в другой кабинет.

Согласно бейджику консьержку звали Юля.

— Мы хотим переночевать. И нам обязательно нужен холодильник.

— Нет проблем, — ответила Юля. — Все номера с холодильниками. Ваши паспорта, пожалуйста.

Она полистала один, потом другой.

— Извините, но у вас нет печати.

— И что?

— Я не могу вас разместить, если у вас нет печати.

— Как это? — не понял Глеб. — На каком еще основании? Печать — дело добровольное. Вы нас обязаны разместить.

— К сожалению, у меня указание без печати мест не давать.

— Да это же противозаконно!

— У нас тут свои начальники, а противозаконно или нет, я не буду спорить. У меня приказ — не пускать без печати. Что вам мешает получить печать?

— Что нам мешает? Мы из другого города, мы отдыхаем в лесу. Кто нам поставит печать?

— Вы не хотите каяться? Вы отказисты?

— У нас нет открепительных талонов!

— Ой, ерунда какая! Идите в пэпэ — откайтесь, и вам поставят печать. Это же рядом, на той стороне площади.

— Подождите, вы не понимаете, без открепительных талонов нам на вашем участке никто не разрешит откаяться.

— Да я что, не знаю? Вы не первые. Сегодня уже человек пятнадцать приехало, и ни у кого открепилок не было. И все получили в паспорт печать. Никто не жалуется.

— Ничего себе порядки, — изумилась Ксюша.

— Это они для отчетности, — догадался Глеб. — Процент нагоняют.

— Я бы вас разместила, но это не в моей власти. А пункты работают до восьми.

— Хорошо, мы попробуем. Но пока мы будем каяться, не могли бы вы это подержать в холодильнике? — спросила Ксюша.

— Что такое? — насторожилась Юля.

— Ну, это... как бы вам объяснить... короче, мы биологи... изучаем различных... — она сдержалась и не сказала «вредителей», — представителей... короче, это хранить в холодильнике надо...

— Я не могу.

— Почему?

— Получите печать, это минутное дело, и поставите сами в свой холодильник.

— Мы теряем время, а он... оно... оно может умереть. Вам что, трудно? Оно есть не просит.

— Я не знаю, что это такое... Мне нельзя. Нам вообще брать вещи на хранение запрещено...

— Это не вещь.

— Тем более... Тем более сегодня...

— Слушайте, — вмешался Глеб. — Вот вам за аренду холодильника. За полчаса. Мы придем и переставим в свой.

— А вы точно придете?

— Нам надо где-то жить — как мы можем не прийти?

— А если вы все-таки не придете, что мне делать с этим?

— Мы придем, и вы ничего не делайте — до нас. Поставьте и забудьте.

— Ну я, конечно, поставлю... хотя...

Когда вышли из гостиницы, Глеб спросил:

— Может, объяснишь, зачем ты изобрела биологов? Была необходимость?

— Конечно. Иначе бы она не поверила!

— Так она и не поверила! Хуже того, ты ее напугала. Сегодня и без нас террористов бояться. А тут мы, неизвестно с чем. А вдруг это оружие бактериологическое!

— Что-то у меня голова немного кружится... Почему ты сегодня так нехорошо о людях думаешь?

Ксюша и Глеб пересекли площадь. В здании школы размещался ПП, о чем извещала табличка «Пункт Покаяния № 4 г. Первомайска».

Прошли в актовый зал. Члены комиссии за столами сидели, на каждом столе указатели с названиями улиц и номеров домов — все как на избирательном участке, когда выбирают. Только не было урн для бюллетеней. Бюллетеней тоже не было — на столах лежали покаянные листы.

Основная масса жителей микрорайона уже, несомненно, покаялась — кроме Глеба, Ксюши и одной старушки, дремавшей за столиком над покаянным листом, кающихся больше не было.

Глеб сразу направился к председателю комиссии:

— Здравствуйте. Мы хотим покаяться, но у нас нет открепительных талонов.

— Без открепительных талонов, строго говоря, не положено.

— Мы и сами знаем, что не положено, но нас не пускают в гости-нищу.

— Вообще-то каются по зову сердца, а не по соображениям выгоды.

— Мы именно по зову сердца. Просто мы проводим отпуск в лесу. Мы специально приехали подписать листы, подпишем — и завтра обратно.

— Паспорта есть?

— А как же!

— Хорошо. Главное, чтобы был документ. А он в любом случае будет учтен. Это ж не выборы, в конце концов, мы не бюрократы. Вы правильно поступили, что приехали. Я вам разрешаю покаяться. Вон столик для приезжих. Пожалуйста, исполните ваш гражданский долг.

Ксюша и Глеб подошли к нужному столику. Член участковой покаянной комиссии встретил их доброжелательным приветливым взглядом; он предложил им присесть. Ксюша и Глеб отдали свои паспорта и получили по одному покаянному листу. Текст составлен был в самых общих чертах: преступления большевизма, сталинизм и ГУЛАГ, но можно было по желанию вписать что-нибудь от себя в специально оставленные графы. Чтобы не было затруднений, на этот случай предлагался рекомендательный список тем. Глеб его не стал смотреть и сразу же подписал покаянный лист с типовым текстом, а Ксюша обратилась к дополнительному списку.

— Наверное, все Ивана Грозного вписывают?

— Ну зачем же все. Кто что.

— А правда это все в музей пойдет?

— Да, все подписанные листы будут храниться в Москве, во Всероссийском архиве Всенародного Покаяния, при нем будет музей. Только что в новостях показывали.

— Ксюша, подписывай и пойдем, — сказал Глеб.

— Просто у вас тут до Ивана Грозного нет ничего. Можно подумать, история с Ивана Грозного начинается.

— Это рекомендательный список. А я не историк, — сказал член комиссии.

— Хочу вписать начало правления Владимира Мономаха.

— Ксюша, зачем тебе Владимир Мономах?

— Тогда был первый погром.

— Это не наша история, — сказал Глеб. — Пусть с ним украинцы разбираются.

— Как ты можешь так говорить? Почему это не наша история?

— Есть проблемы? — спросил, подходя, председатель комиссии.

— Нет, все в порядке, — ответил член комиссии. — А вы, — обратился он к Глебу, — не давите на человека, каждый поступает, как ему велит совесть.

— Просто я диплом писала по Мономаху, я знаю.

Она вписывала Мономаха в свободную графу.

Председатель комиссии, оценив Ксюшину обстоятельность и информированность, по-видимому, проникся доверием к молодым людям.

— Я тоже считаю, что не все продумано. Можно было бы вполне обойтись без открепительных талонов, — сказал он. — Это на выборах важно, чтобы никто не проголосовал больше одного раза. Но никто же не будет каяться дважды. Вы же не будете дважды? — спросил он Глеба.

— Разумеется нет, — ответил Глеб.

— Может, еще что-нибудь впишете? — спросил член комиссии Ксюшу, заметив, что она не торопится ставить подпись.

— Нет, полагаю, достаточно.

Ксюша подписала покаянный лист. Член покаянной комиссии сказал:  
— В соответствии с поправкой от второго марта к Положению о паспорте гражданина РФ вам, по вашему желанию, можно поставить в паспорт памятную печать, извещающую о вашем участии в акции всенародного гражданского покаяния. Хотите ли вы этого?

— Да, — сказала Ксюша, — нам надо.

— Печать символическая, — информировал член комиссии, штампуя тыльную сторону обложки паспорта Глеба. — Ее наличие или отсутствие не может быть, — он проштамповал паспорт Ксюши, — причиной последствий. — Вернул паспорта. — Ни административных, ни каких-либо других.

— Некоторые начальники думают по-другому.

Это замечание Глеба осталось без ответа.

— В другой день уже не поставят, — сказал председатель, — только сегодня.

Ксюша вспомнила:

— У нас друзья отдыхают на озере. Можно, мы и за них покаемся?

— Хватит, Ксюша, — сказал Глеб, — обойдутся.

— Почему ты так? Они же не могут, а мы бы за них могли.

— Я ни за кого не собираюсь больше, — сказал Глеб с раздражением.

— Необходимо личное присутствие, — мягко объяснил председатель, выражая голосом сожаление.

— Хотя бы за Даню. У него подпись простая, я могу.

— А вдруг он против, — сказал председатель.

— Что вы! Он двумя руками за!

— У вас есть его паспорт?

— Нет. Паспорт с ним остался.

— Жаль, но нельзя.

— Так ведь обязательно в паспорт печать ставить. Пусть будет без печати, а лист я заполню.

— Как же вы заполните лист, если у вас нет паспортных данных?.. Или есть?

— Ксюша, достаточно. Я устал.

— Почему ты думаешь только о себе? — возмутилась Ксюша.

— Давай без сцен, хорошо?

— Молодые люди, не надо сегодня ссориться. — Член комиссии встал и произнес торжественно: — Поздравляю вас с участием во Всенародном Гражданском Покаянии. Вот вам белые ленточки в знак того, что вы покаетесь.

Дав ленточки, он пожал руку — сначала Глебу, потом Ксюше.

Глеб в момент рукопожатия вспомнил недавнего встречного — как тот ему тряс руку на улице. Теперь Глеб понял, в чем дело: у них тогда не было ленточек, и прохожий, тоже без ленточки, принял их тогда за своих. Он решил, что они, как и он, отказисты.

— Вы здоровы?

Резко повернув голову, посмотрел на Ксюшу. Это спрашивал член комиссии, пожимая ей руку. Ксюша была бледна, у нее как-то странно потускнели глаза.

— Воды? — спросил председатель.

— Нет... на воздух...

— Что с тобой, Ксюша? — встревожился Глеб.

— Идем, идем...

Они пошли к выходу, она держалась за Глеба, словно боялась упасть.

Другой член комиссии говорил старушке за столом справа:

— Не надо вычеркивать. Здесь не вычеркивают. Здесь, наоборот, вписывают.

И уже из-за спины до Глеба доносилось:

— Вы бы лучше не приходили, раз не хотите... Виктор Андреевич, пенсионерка «преступления большевиков» вычеркнула!.. Что делать?..

Они не дошли ста метров до гостиницы.

— Давай сядем, — сказала Ксюша.

— Что, так плохо? — спросил Глеб, садясь вместе с Ксюшей на ступеньку лестницы в чебуречную.

Табличка «Мероприятие» висела на двери.

— Знаешь, Глебушка, что мне больше всего в тебе не нравится? Твое безразличие.

— К чему же я безразличен?

— А ко всему. Ты ко мне безразличен. Ты к людям безразличен. Тебе безразлично, Мономах чьей истории принадлежит. Нашей, не нашей... Ты не хочешь ни за что ответственности нести. Ни за то, что в стране происходит, ни за то, что между нами с тобой... Ты не знаешь обо мне ничего. Потому что тебе я безразлична. И здоровье мое тебе безразлично. И все, чем я живу.

— Несешь чушь какую-то, сама себя не слышишь, — проговорил Глеб, рассматривая гирлянды над головой.

— А ты сам-то не хочешь покаяться? Не за других. За себя.

— Пред кем покаяться? В чем?

— А в чем-нибудь. Какая разница в чем. Передо мной. Пока здесь. А то так и умру. Или дурочкой стану. Будешь локти кусать, что не сказал.

— Что я тебе не сказал? Почему дурочкой станешь? Или умрешь?

— Мне холодно. И трудно дышать. И голова.

Он поцеловал ее в лоб:

— Ого. Ты ж горячая.

— Если тебе не в чем, тогда я буду. Я тебе так покаюсь, что у тебя волосы дыбом встанут. А то больно ты у меня спокойненький, безразличненький...

— Ксюша, у тебя температура. Надо что-то делать.

— Ты мне «нет» хочешь сказать? Ха-ха. — Она засмеялась и тут же закашляла. — А я тебе — «да»! А я тебе — «да»! — пыталась выкрикнуть сквозь кашель.

Глеб встал. Он стоял, озираясь по сторонам, и не знал, что делать.

— С Даней, с Данечкой — вот с кем!.. Съел? Не ожидал, что с Данечкой?

Глеб склонил голову набок.

— Ну и как это называется? — спросил он спокойным голосом. — И что это значит? Это ты что, каешься или как?

— Да, это я каюсь, да!

— Если бы ты каялась, ты бы раскаялась, а ты не раскаиваешься, ты, наоборот, меня позлить хочешь. Не знаю зачем. Грош цена твоим словам.

— Так ты не веришь, что я с Данечкой?..

— Чушь несешь, просто чушь какую-то!.. Даня на Таню надышаться не может, а ты говоришь!.. Даня — святой человек!

— Четыре раза с Данечкой. Не раз и не два, а четыре!

— Ты бы сказала — с дизайнером Зайнером, я бы, может, еще поверил... Но чтобы с Данечкой... Никогда...

Ксюша заплакала:

— Ты мне никогда не верил!.. Ты думал, я и с этим клещом шутики шучу. Достукался? Видишь?.. Ты этого хотел? — Она глядела на свои руки, ее лихорадило. — Что — доволен теперь?

Он попытался еще раз испытать ее лоб, на сей раз не губами — рукой, Ксюша резко отпрянула.

— Как ты ко мне безразличен!.. Как ты ко мне безразличен!..

Из чебуречной вышел человек в форме, похожей на форму Инспектора Леса.

— Здесь не сидят, — сказал охранник. — У нас банкет.

— Ей плохо, — сказал Глеб, — у нее инфекция. Надо вызвать «скорую».

— Больница рядом — быстрее дойдете.



— Я ж говорю, она идти не может.

— Могу, — сказала Ксюша; она попыталась встать, но Глеб не дал, надавив на плечи.

— Сиди! Я мигом.

Ксюша всхлипнула.

— Умерла бы... или дурочкой стала... а ты бы так ничего и не узнал... Вы кто? — спросила охранника.

Охранник поправил белую ленточку на груди слева и не ответил.

— Не вставай, — сказал Глеб. — Добегу до больницы, и мы к тебе на «скорой» приедем. А вы не слушайте ее, — обратился он к охраннику чебуречной.

— Не бросай меня, Глеб...

— Ксюша, я быстро.

Он побежал.

Глеб промчался мимо гостиницы, повернул направо, перебежал улицу наискосок, напугав делающий левый поворот автобус № 1, и устремился по направлению к Люксембургу. И трех минут не прошло, как он уже был там, куда совсем недавно приходил с Ксюшей.

— Я у вас был сегодня. Инфекционный энцефалит. Ей плохо. Она на улице с незнакомым. Надо вызвать «скорую» и надо забрать.

Из-за стойки регистратуры ответствовали:

— В сад и первая дверь.

Глеб выскочил наружу, забежал в сад и влетел в первую дверь:

— Жена на улице с незнакомым. Ей плохо. Надо вызвать «скорую» и надо забрать.

Он услышал:

— Без паники. Что стряслось?

— Энцефалит. Все признаки. Отправьте «скорую». Здесь близко.

— Что за признаки? — спросили Глеба.

— Не надо меня экзаменовать, я не студент! — выкрикнул Глеб. — Высокая температура, озноб, головная боль, удушливый кашель, мысли о смерти... Вот она! — Он увидел ее в окно, идущую по улице за оградой.

Глеб выбежал и помчался перехватывать Ксюшу (а то бы прошла мимо).

— Ксюша, куда ты?

— Глебушка, я думала, ты ушел...

На ней лица не было.

Он схватил ее на руки и понес через сад в первую дверь.

Там были не только в белых халатах, но и в синих, и в обычной одежде, но все, кто был тогда в вестибюле, — все оказались в положении «стоя»: кто стоял, тот так и остался стоять, а кто сидел, те немедленно встали.

Глеб с Ксюшей на руках произвел сильнейшее впечатление.

Забеспокоились.

В какой-то момент Глебу показалось, что о нем забыли. Что произошло что-то ужасное и что теперь им не до него. А ведь он виноват больше всех в том, что случилось. Он не знал, в чем виноват, но знал, что больше всех виноват. Также ужасна вина обстоятельств. Неужели так трудно раз и навсегда вывести этих клещей — потравить их какой-нибудь дрянью, напустить на них клещеедов каких-нибудь?.. Должен же быть у этой заразы естественный враг? Почему так трудно построить дороги, которые не размывались бы дождем, и почему нельзя пускать автобусы по человеческому расписанию?

Глеб не находил себе места, притом что коридор был вместительный, длинный — ходи и ходи. Иногда он останавливался: там ли он, где ему следует быть? На том ли этаже, перед теми ли дверьми? Надо пойти и спросить — хватит отмалчиваться, отвечайте.

— Молодой человек, не могли бы вы здесь не курсировать? Вы нам очень мешаете.

Глеб уставился, не понимая смысла сказанных слов, на двоих обитателей клиники — один был похож на больного, а другой на больного не был похож, — оба рядом сидели. Потом посмотрел на экран телика, смотреть на который он им помешал. Шла программа новостей. Сообщалось, что по числу участников Всенародного Гражданского Покаяния лидируют Северный Кавказ и Тува, — 97 и 99% соответственно. В целом по стране покаяние проходит очень активно. В аутсайдерах находятся обе столицы, хотя и в них процент покаявшихся превысил усредненный процент принимающих участие в думских и президентских выборах (если брать во внимание последнее десятилетие). Говорилось, что еще в тринадцать часов по московскому времени число покаявшихся по стране превысило 50%, так что уже тогда стало ясно: Всенародное Гражданское Покаяние состоялось!

Непохожий на больного говорил похожему:

— Как-то забюрократизировано все. Мы боролись не за это, мы не таким это все представляли...

— Ну а что вы хотите? — спросил на больного похожий. — Иного и быть не могло. Слышали, как президент выступал? Нет, все равно это гигантский, просто гигантский шаг вперед. Мы сегодня стали друзьями.

Глеб не двигался. На экране телевизора проценты мелькали.

Не обращающая внимания на Глеба, похожий на больного спрашивал непохожего:

— Вы действительно думаете, что борцы с режимом и жертвы режима должны каяться наравне со всеми?

— С одной стороны, никто ничего никому не должен, а с другой стороны, и это будет по сути вопроса, — конечно должны. Мы все принадлежим этому социуму и этому времени, мы каждый отвечаем за то, что было, даже если это было не с нами...

Глеб пошел по коридору к окну. На стенах коридора висели картины — лесные пейзажи. На одной был изображен лось. Глеб вспомнил водителя и его предложение.

Внезапно ему пришла в голову мысль продавать веники прямо с грузовика. Причем вдали от бань. Где-нибудь, скажем, на Сенной площади. Он словно разговаривал с Ксюшей. Представь, говорил, ты идешь по Садовой, ни о каких банях не думаешь, а тут грузовик стоит и продают банные веники прямо с борта. Дешевые. Не важно, ходишь ты в баню или нет, — увидев такое, сразу поймешь, как тебе повезло. Что это шанс. Шанс — не упустить веник. Мало ли что. А то уедет. И купишь веник, да еще не один. Не себе, так друзьям, родителям, знакомым. Неужели не купишь? Я бы купил.

Боже, о чем это я? — испугался Глеб своего монолога.

— Вы — муж?

Врач приближался.

— Муж, — сказал Глеб и сглотнул слюну.

— Ей, оказывается, делали инъекцию иммуноглобулина. Час назад, она правильно говорит?

— Где-то так. Еще не было пяти. — Он удивился: неужели прошел только час и так уже много произошло событий? — Но я не знаю, что за укол.

— Иммуноглобулин. Вообще-то иммуноглобулин обычно легко переносится, но в некоторых случаях бывают небольшие осложнения, чаще всего после первой инъекции. И потом, знаете ли, индивидуальная непереносимость, это все такие материи тонкие!.. А что за сыворотка? Чье производство, не знаете?

Разговаривая, врач теребил рукой белую ленточку.

— Наше? Австрийское?

Смотрел он чуть в сторону, мимо Глеба.

— Я же сказал, я не знаю, что за укол. В соседнем здании делали. Можно узнать.

— Да не надо. Все хорошо, ложная тревога. Сейчас все пройдет, уже, считайте, прошло. Температура упала, пациент успокоился, дремлет. Ну, будет слабость час-другой, это не страшно.

— То есть это не энцефалит?

— Когда присасывание клеща состоялось? Вчера?

— Вчера вечером сняли.

— Сутки всего. Нет, это не энцефалит и не боррелиоз. Там как минимум суток двое-трое пройти должно, а обычно болезнь себя обнаруживает через неделю после укуса, может и позже. Инкубационный период где-то до двадцати дней, где-то так... Должен вам сказать, что, насколько мне известно, нынешний эпидемсезон на инфицированных клещей не богат. Шансов заболеть у вашей жены немного. Ничтожно мало, я бы сказал.

— Ух, как вы меня успокоили!

— Тут у нас два варианта. Через полчаса, максимум час мы убеждаемся, что ваша жена жива и здорова, и отпускаем ее с вами на все четыре стороны. И второй, но это уже исключительно для успокоения вашей совести, так сказать. А наша совесть всегда спокойна, можете не сомневаться. Короче, мы помещаем ее до утра в отдельную палату. У нее есть страховой полис?

— Нет, мы не взяли.

— А печать в паспорте?.. ну, вы понимаете, я о чем?

— Печать есть!

— В общем, в отдельную палату, пусть отдохнет, выпится. Дадим витамины. Без присмотра не оставим. Только должен предупредить, палата — платная.

— Хорошо. Я заплачу. Сколько?

— Вам скажут, — небрежно произнес доктор. — Вот и ладненько.

— Доктор, а можно, я тоже останусь с ней — на всю ночь.

— Это что, в качестве сиделки, что ли?

— Ей будет спокойнее, я уверен.

— Необходимости в этом не вижу, но... У вас есть печать в паспорте?

— Конечно есть!

— Мы можем проще поступить. Предоставить вам обоим палату на два места. Она стоит ненамного дороже — примерно на треть.

— Я согласен, доктор, — сказал Глеб. — А рано утром мы домой.

— Уже? Вы так торопитесь? Нет, нет, я не задерживаю... Погуляйте-ка чуть-чуть, у нас черемуха в саду, шиповник, вон вечер чудесный какой, а вам пока подготовят. А насчет финансовых вопросов потом подойдут, не волнуйтесь. Я денежными делами не занимаюсь.

Доктор уже хотел повернуться и куда-то к себе подняться по лестнице, но Глеб вспомнил еще об одном:

— Последний вопрос, доктор. Как вы считаете, она могла в таком состоянии... бредить?

— Бредить? Гм... Теоретически при очень высокой температуре элементы бреда возможны. Не знаю, как в данном случае... Температурный скачок был кратковременным... А в чем, собственно, бред заключался?

— Она говорила невероятные вещи. Просто что-то совершенно невообразимое, немислимое. Я, конечно, не буду пересказывать, это касалось нашей частной жизни.

До сих пор врач говорил с Глебом, глядя куда-то в пол или в лучшем случае Глебу на правое ухо, а сейчас посмотрел прямо в глаза, словно хотел там обнаружить что-нибудь необычное; потом сочувственно взял Глеба за руку выше локтя.

— С высокой степенью достоверности готов утверждать, что это был бред, — тихо, почти ласково сказал доктор и ободряюще улыбнулся. — Забудьте. Я старше вас. Поверьте моему жизненному опыту, женщины... женщины даже в ясном уме часто говорят очень странные вещи. Ну? Так, значит, на двоих и с телевизором, да?

— Да, доктор, спасибо!

Он вышел на воздух. Остановился у доски объявлений. Ходячим больным этим вечером обещаны танцы. Вечерело, становилось прохладно. Только здесь, только на садовой дорожке, перед клумбой, засаженной чьими-то глазками или, как там ее, календулой, Глеб почувствовал, как взмокла его спина. Впервые за полтора месяца захотелось курить. Плоды шиповника походили на огромных божьих коровок, были они в белую крапинку, — вероятно, шиповник чем-то болел. Своего здесь присутствия странность Глеб ощущал едва ль не физически. Что они делают в Первомайске? Почему такой длинный, такой нескончаемый день? Интересно, относится ли объявление о танцах к нему и Ксюше, — они ж хоть и ходячие, но не больные? «Уф», — сказал Глеб и глубоко вздохнул. Вспомнил, что не купили водки на озеро. Завтра купят перед отъездом утром — на вокзальной площади круглосуточный магазин. «Уф», — повторил Глеб и посмотрел на небо, на скользящие облака.

Консьержка Юля Баранова вышла на дежурство в четверг. Понедельник по ее графику был нерабочим днем, а на вторник и среду ее отпустили в Саратов — на свадьбу брата. Уезжала Юля с нехорошими предчувствиями: за подозрительной баночкой те двое так и не пришли. И вот сейчас она первым делом устремилась в служебное помещение, к холодильнику. Все так и было — баночка стояла на месте. Вряд ли кто-нибудь из коллег ее трогал. Юля взяла двумя пальцами эту непонятную баночку и, вынув из холодильника, посмотрела на свет, — какая-то козявка лежала на дне. По идее, надо было бы обратиться в милицию. Но что еще скажет Валерий Витальевич? Юля представила, какой нагоняй устроит ей старший менеджер. Она подумала-подумала и решила ничего никому не говорить, не показывать. Баночку задвинула в левый угол на верхней полке и заслонила от посторонних глаз пакетом с инжиром. Пусть там стоит, авось обойдется.



---

---

ДМИТРИЙ БЫКОВ

\*

## ПЯТЬ ПЕСЕН

### Новая одиссея

Пока Астреев сын Борей мотал меня среди зыбей,  
Прислуга делалась грубей, жена седела.  
Пока носился я по морю под названьем Эге-гей, —  
Итака тоже сложа руки не сидела.  
Богов безжалостных коря, мы обрывали якоря,  
В сознание путались моря, заря рдела,  
Дичают земли без царей, и, помолясь у алтарей,  
Она отправилась ко мне, а я к ней.

Теперь мужайся и терпи, мой край, сорвавшийся с цепи,  
Мой остров каменный и малогабаритный.  
Циклоп грозил тебе вдогон, швырял обломки лестригон,  
Проплыл ты чудом между Сциллой и Харибдой,  
Мой лук согнули чужаки, мой луг скосили мужики,  
Служанки предали, и сын забыл вид мой,  
Потом, накушавшись мурен, решил поднять страну с колен,  
Потом, наслушавшись сирен, попал в плен.

Когда окончится война, нельзя вернуться ни хрена.  
Жена и дочка вместо книг читают карту,  
И мать взамен веретена берет штурвал, удивлена.  
Не знаю, как там Менелай попал на Спарту,  
Не знаю, как насчет Микен, — ведь мы не видимся ни с кем, —  
Но мир, избавившись от схем, готов к старту.  
Под Троей сбились времена: стационарная страна  
И даже верная жена идет на.

И вот нас носит по волне, то я к тебе, то ты ко мне,  
Невольник дембеля и труженица тыла,  
Твердела твердь, смердела смерть, не прекращалась круговерть,  
А нас по-прежнему друг к другу не прибило.  
Вот дым над отчею трубой, и море выглядит с тобой  
Обрывком ткани голубой с куском мыла, —  
И, проплутавши десять лет, ты вовсе смылишься на нет,  
А там и след сотрется твой, и мой след.

---

Быков Дмитрий Львович родился в 1967 году в Москве. Выпускник факультета журналистики МГУ. Поэт, прозаик, литературный критик, публицист. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе новомирской поэтической премии «Anthologia» (2006).

В погожий полдень иногда, когда спокойная вода  
 Нам не препятствует сближаться вдвое-втрое,  
 Я вижу домик и стада, мне очень хочется туда,  
 Но что мне делать, господа, при новом строе?  
 Седой, не нужный никому, в неузнаваемом доме  
 Я б позавидовал тому, кто пал в Трое.  
 И нас разносит, как во сне, чтоб растворить в голубизне.  
 Кричу: ты помнишь обо мне? Кричит: да.

### Обратный отсчет

До чего я люблю это чувство перед рывком:  
 В голове совершенный ревком,  
 Ужас ревет ревком,  
 Сострадания нет ни в ком,  
 Слова ничего не значат и сбились под языком  
 В ком.

До чего я люблю эту ненависть, срывающуюся на визг,  
 Ежедневный набор, повторяющийся, как запиленный диск,  
 В одном глазу у меня дракон, в другом василиск,  
 Вся моя жизнь похожа на проигранный вдрызг  
 Иск.

До чего я люблю это чувство, что более никогда —  
 Ни строки, ни слова, ни вылета из гнезда,  
 И вообще, как сказал один, «не стоит труда».  
 Да.

Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет.  
 Надежды, смысла, человека, искусства, Бога, звезд, планет —  
 Нет.

Однажды приходит чувство, что вот и оно —  
 Дно.

Но!

Йес.  
 В одно прекрасное утро идет обратный процесс.

То,  
 Которое в воздухе разлито,  
 Заставляет меня выбегать на улицу, распахивая пальто.

Ку!  
 Школьница улыбается старику.  
 Господь посылает одну хромающую строку.  
 Прелестная всадница оборачивается на скаку.

С ней  
 Необъяснимое делается ясней,  
 Ненавистное делается грустней,  
 Дэвида Линча сменяет Уолт Дисней,  
 Является муза, и мы сплетаемся все тесней.

Ох!  
 Раздается сто раз описанный вдох.  
 Пускает корни летевший в стену горох,  
 На этот раз пронесло, ступай, говорит Молох,  
 У ног в нетерпенье кружит волшебный клубок,  
 В обратном порядке являются звезды, планеты, Бог.

А если я больше не выйду из ада,  
 То так мне и надо.

### Газета жизнь

Из Крыма едешь на машине сквозь ночь глухую напролом меж деревнями небольшими меж Курском, скажем, и Орлом, — сигает баба под колеса, белесо смотрит из платка: «сынок поранился, Алеша, езжай, сынок, спаси сынка», прикинешь — ладно, путь недолог, еще подойдет человек; свернешь с дороги на проселок, а там четырнадцатый век: ни огонька, забор, канава, налево надпись «Горобец», «Большое Крысово» направо, прикинь, братан, вообще пипец, дорогой пару раз засели, но добрались; «сынок-то где?» — «сынок у доме»,ходишь в сени — фигак! — и сразу по балде. Не пикнешь, да и кто услышит? Соседей нет, деревня мрет. На занавеске лебедь вышит. Все думал, как умрешь, а вот. Я чуял, что нарвусь на это, гналось буквально по пятам, кому сестра — а мне газета, газета жизнь, прикинь, братан.

Сынок-дебил в саду зароет, одежду спрячет брат-урод, мамаша-сука кровь замочит, машину дядя заберет, умелец, вышедший сиделец, с трубой в желудочном свище; никто не спросит, где владелец, — прикинь, братан, пипец вообще, приедет следователь с Курска, проверит дом, обшарит сад, накормят грязно и невкусно и самогоном угостят, он различить бы мог у входа замытый наскоро потек, но мельком глянет на урода, сынка с газетой «Зятек», жигуль, который хитрый дядя уже заделал под бутан, — да и отступится не глядя, вообще пипец, прикинь, братан, кого искать? Должно быть, скрылся. Тут ступишь шаг — помину нет. Он закрывает дело, крыса, и так проходит десять лет.

Но как-то выплывет по ходу: найдут жигуль по волшебству, предъявят пьяному уроду, он выдаст брата и сестру, газета жизнь напишет очерк кровавый, как заведено, разроют сад, отыщут прочих, нас там окажется полно, а в человеке и законе пройдет сюжет «Забытый грех», ведущий там на черном фоне предскажет, что накажут всех, и сам же сядет за растрату бюджетных средств каких-то там, и поделом ему, кастрату, ведь так трындел, пипец, братан, ведь так выделялся люто про это Крысово село, а сел, и это почему-то, прикинь, обиднее всего.

### Русский шансон

Я выйду заспанный, с рассветом пасмурным,  
 С небес сочащимся на ваш Бермудск,  
 Закину за спину котомку с паспортом,  
 И обернусь к тебе, и не вернусь.

Ты выйдешь вслед за мной под сумрак каплющий,  
 Белея матово, как блик на дне,  
 И, кофту старую набросив на плечи,  
 Лицо измятое подставишь мне.

Твой брат в Германии, твой муж в колонии,  
 Отец в агонии за той стеной,  
 И это все с тобой в такой гармонии,  
 Что я б не выдумал тебя иной.

Тянуть бессмысленно, да и действительно —  
 Не всем простительно сходить с ума:  
 Ни навестить тебя, ни увести тебя,  
 А оставаться тут — прикинь сама.

Любовь? Господь с тобой. Любовь не выживет.  
 Какое show must? Не двадцать лет!  
 Нас ночь окутала, как будто ближе нет,  
 А дальше что у нас? А дальше нет.

Ни обещаньяца, ни до свиданьяца,  
 Но вдоль по улице, где стынет взвесь,  
 Твой взгляд измученный за мной потянется  
 И охранит меня, пока я здесь.

Сквозь тьму бесстрастную пойду на станцию  
 По мокрым улицам в один этаж —  
 Давясь пространствами, я столько странствую,  
 А эта станция одна и та ж.

Что Суходрищево, что Голенищево  
 Безмолвным «ишь чего!» проводит в путь  
 С убого-слезною улыбкой нищего,  
 Всегда готового ножом пырнуть.

В сырых кустах она, в стальных мостах она,  
 В родных местах она растворена,  
 И если вдруг тебе нужна метафора  
 Всей моей жизни, то вот она:

Заборы, станции, шансоны, жалобы,  
 Тупыми жалами язвящий дождь,  
 Земля, которая сама сбежала бы,  
 Да деться некуда, повсюду то ж.

А ты среди нее — свечою белою.  
 Два слезных омота глядят мне вслед.  
 Они хранят меня, а я что делаю?  
 Они спасут меня, а я их нет.

\* \*  
 \*

В полосе от возраста Тома Сойера  
 До вступленья в брак  
 Я успел заметить, что все устроено,  
 Но не понял, как.



Примеряя нишу Аники-воина  
И сердясь на чернь,  
Я отчасти понял, как все устроено,  
Но не знал — зачем.

К тридцати годам на губах оскомина.  
Разогнав гарем,  
Я догнал, зачем это все устроено,  
Но не понял — кем.

До чего обычна моя история!  
Самому смешно.  
Наконец я знаю, кем все устроено,  
Но не знаю — что.

Чуть завидю то, что сочту структурою, —  
Отвлечется взгляд  
На зеленый берег, на тучу хмурую,  
На Нескучный сад.

Оценить как должно науку чинную  
И красу систем  
Мне мешал зазор меж любой причиною —  
И вот этим всем.

Да и что причина? В дошкольном детстве я,  
Говоря честней,  
Оценил чрезмерность любого следствия  
По сравненью с ней.

Наплясавшись вдоволь, как в песне Коэна,  
Перейдя черту,  
Я не стану думать, как все устроено,  
А припомню ту

Панораму, что ни к чему не сводится,  
Но блесит, —  
И она, как рыцарю Богородица,  
Мне простит.



---

---

ВЛАДИМИР РАФЕЕНКО



## ФЛЯГРУМ

*Поэма*

**Часть 1**

**КАЛИНА**

Большинство людей подобны древесной стружке, свернутой кольцом вокруг собственной пустоты.

*Святитель Феофан Затворник*

### **К**онцерты на укв

Что такое белка? Ерунда на четырех лапах с хвостом. Симпатичная, ловкая, ядра чистый изумруд. Что за ядра? Может быть, все-таки яйца? Да, верно, скорее всего яйца чистый изумруд. Такие изумрудные яйца чистой воды были у того пушистого самца, которого мы поймали в лесу и привезли в поселок, чтобы показывать детям. Каким детям? Непонятно каким. Дайте-ка подумать. Неимоверно, кстати, кружится голова. Вы не в курсе, отчего это бывает?

Да. Но если разобраться по совести, то получается, что мы привезли эту белку самим себе. Поймали и привезли. Да, так почему-то получается, но это ведь неправильно? Не могли же мы быть одновременно и мужиками, которые по пути с речки заехали в лес, поймали белку, закинули ее в машину и поехали дальше, и той, никогда не выдавшей белки детворой, сгрудившейся вокруг старого синего «запорожца», который, виляя, въехал во двор практически вместе с воротами? Ох, как же мы испугались, когда из него стали вываливать матерящиеся, частично окровавленные мужики, воняющие кровью, рыбой, табаком и мочой!

Да, мы испугались очень сильно. И паника началась, как всегда, с Мити. Митя — тогда еще очень маленький мальчик — терпеть не мог всякую страшную жуть типа крови, серых мышей, подстреленных, но недобитых грачей, а также чужих непривязанных собак. Увидев кровь и услышав крики, он громко пукнул и дико, по-актерски, зарыдал, страшно подвывая сквозь слезы. Точно так же реагировала на все печальные события жизни его мама, Софья Вениаминовна, полная красивая женщина с усиками и вдохновенными ангельскими глазами. Кристина и Аня обнялись и заплакали вослед. Хотя им было уже по пять лет, но поплакать они любили. Эту страсть они в себе воспитали самостоятельно. Впрочем, за слезы им давали конфеты, поэтому

---

Рафеенко Владимир Владимирович родился в 1969 году в Донецке, окончил Донецкий национальный университет (русская филология и культурология). Прозаик, поэт, автор романов «Краткая книга прощаний» (Донецк, 2000), «Каникулы магов» (Донецк, 2005), «Невозвратные глаголы» (Донецк, 2009). Живет в Донецке. В «Новом мире» печатается впервые.

их понять можно. Близнецы Валя и Валера тесно прижались друг к другу и заоченели. Что это, сказал Валя тихо. Смерть, ответил Валера, смерть пришла страшная. Мама, охнули сестры Парамоновы. Стойте тихо, дуры, посоветовал Валя. Крысы, сказал Валерка, крысы. А-а-а-а, заорали Парамоновы, именно как две великовозрастные дуры, к ним на спасение поспешила вся семья Парамоновых и быстро смешалась с толпой.

— А-а-а-а, бозе мой, бозе мой, а-а-а-а! — орал Митя, сморщив мордочку и театрально воздев свои маленькие ручки к небу.

— А-а-а-а! — что-то неразборчивое закричали женщины в пристройках, выбегая к машине.

— Ошел, млять, ошел! — громко, но неразборчиво орал один мужик на другого, стараясь унять кровь, бегущую из зияющей в щеке рваной дыры. — Ошел, шука, долбаная белка, долбанько, млять, любижель природы, пажла. Убью, шуку жыжую! Лови ее, млять, лови! — кричал самый толстый рыбак, дядя Женья. — Давай ружье, я ее убью, я стрелять в нее буду. Дайте мне патронов!

— Какое ружье, какое ружье, они же выпивши! — орали женщины.

Храбрый и смелый Белка, позванивая изумрудами, легко бежал по высокочному пирамидальному тополю к вершине, туда, где в глубоком теплом небе уже появился ранний тонкий серп.

Нет, его можно понять. Он испытал ужас, когда его, легковерного, пришедшего на человеческий цык поесть с ладони подсолнечниковых семян, схватили за загривок и швырнули в машину. В какую-то долю секунды промелькнула перед зверьком вся его жизнь: мама, папа, кедры, сосны, небо, Иван Семенович — лесник, его волосатая тихая дочь. А ведь предупреждали его — не ешь с руки, не пей с нее! Пятипалая лапа — символ опасности, признак наступающей тебя вечности. Но он позарился на орехи.

И вот теперь «запорожец». В нем все ужасно, а люди вульгарны и пьяны. Это звездац, горько подумал зверек, прости меня, мама! — и, взяв себя в руки, уже на подъезде к дому коротко, но сильно укусил водителя первым.

Поэтому, конечно, когда «запорожец» открыл свое нутро, оттуда, как пчелы из горящего улья, полезли мужики, а затем со своими изумрудами, сверкавшими на весь мир, вылетел самец. Он влетел прямо в толпу детей, крутнулся у них под ногами и уже через секунду сидел на самой макушке гигантского пирамидального тополя.

Нет, все-таки с головой что-то не то. Как будто в ней живет океан и в настоящее время начался прилив. Надо будет как-нибудь сходить к врачу. Вы случайно не знаете кого-нибудь, чтобы по голове был специалист? Нет, серьезно, у нас с вами такая голова, такая больная голова, такая огромная голова...

Так, но дело все-таки не в этом. Все-таки, все-таки, все-таки могли или не могли мы быть и рыбаками и детьми? С одной стороны, не могли, потому что мы же не шизофреники с вами и отчетливо отделяем себя как от тех, так и от других. Последних к тому же было довольно много, несколько, пять-шесть, семь или десять.

А с другой стороны, может быть, и могли?

По правде говоря, думается, что не меньше дюжины детей разных возрастов стояло вокруг машины, которая, отчаянно сигналив, въехала... куда? Вот же история. Хрен расскажешь. И голова еще кружится. Так, соберемся. Куда? Да, куда. Ну, скорее всего это был дворик частичного домостроения. Точно. Частичный дворик домостроения. Как-то надо сказать. Как правильно сказать? Частично припоминаемый дворик? Дом, частичный в памяти, фрагментарный, сложенный из камня и деревянного бруса, прогретый августовским солнцем, сладкий по цвету, неопределимый по размерам. Как описать эту гениальную геометрию сырых и прохладных комнат, сухих пыльных кладовок, чердаков, веранд, переходов, подвалов, задних дворигов, пристроек, флигельков. И везде, везде представляются нам детские лица.

Какие это были лица? О! Это были лица. Смуглые, светлые, темные, желтоватые, глуповатые, умненькие, чумазы, сопливые, наглые, симпатичные. Дети, что еще тут скажешь.

Приехавших мужиков обработали йодом и временно отправили отдыхать. Улов занесли на длинную общую веранду, где женщины сразу приступили к чистке, чтобы к ужину сварить уху и пожарить. Мелочевку солили, развешивали во дворе, окутывая марлей от мух. Хитро поблескивая глазами, рыбешка длинными гирляндами покачивалась на длинных бельевых веревках, оглушительно пахла, создавала ощущение праздника.

Мальчики топтались вокруг. Им нравилось смотреть на рыбу, трогать ее, заглядывать ей в рот, оттопыривать скользкие, кровящие розовым огромные твердые жабры. Мы отчетливо помним, каково это залезть пальцем в глаз рыбе. Засунешь туда палец, а там глубоко, кровь или слизь и несколько мерзко, но, в сущности, отлично. Просто отлично.

Дети. Они, конечно, больше всех радовались всему, что случилось тогда вечером в августе. И белке, и рыбе, и шумной многолюдной крикливой толпе, в сумерках собравшейся наконец-то за длинным столом, накрытым во дворе, и разноцветным, самодельно окрашенным лампочкам, которые светились в ветках груш и вишен, молодых яблонек и слив. Дядя Витя, отец Мити, директор средней школы и вечно выпивший кандидат технических наук, ходил между деревьями с папиросой и, пьяненько шурясь, говорил, глядя на лампочки: вот, висишь, млять такая, светишь, молодец!

А потом была затеяна лотерея. Шумная, веселая, славная дворовая лотерея. И многие выиграли. Затем все танцевали под вынесенную во двор громадную коричневую радиолу, которая, кажется, называлась «Урал».

### Концерты на УКВ.

Non! Rien de rien...  
 Non! Je ne regrette rien  
 Car ma vie, car mes joies  
 Aujourd'hui, a commence avec toi!<sup>1</sup>

Кто еще сможет, вспомните мерцающий разноцветными теплыми огоньками огромный двор и теплый ветер, полный августовских звезд и листьев. Софья с Кристиной обнялись на стуле и плакали то ли от утомления, то ли от обилия сладкого. Слишком уж много всего было в этот долгий день. Несколько мужичков, выпив, полезли на тополь, чтобы все-таки достать Белку, и больше их в этот вечер никто не видел.

Митя, объевшись разнообразной ерунды, ходил по саду и бесшумно какал под деревьями, хотя немного в стороне за домами была отличная просторная электрифицированная уборная. Но Митя туда идти не хотел, потому что боялся. Он знал, что там, в кустах крапивы и зарослях чистотела за уборной, живет Песочная Фея, но пока еще не решил, добрая она или нет.

Я добрая, говорила она, добрая. Раньше я служила на железнодорожной станции. А потом умерла и стала Песочной Феей. Почему Песочной? Ну, потому что ты же любишь песочное печенье твоей мамы! И я его люблю! Поэтому и Песочная. А еще я люблю таких мальчиков, как ты, очень люблю! Твой ангел-хранитель всегда рядом с тобой! Ты знаешь, кто такой ангел-хранитель? Не знаешь? Ну тогда не важно. Но еще с тобой всегда буду я! Толку от меня будет не много, но все же как-то веселее тебе будет! Веселее! У меня такой же мальчик мог родиться, как ты, если бы я не умерла!

<sup>1</sup> Нет! Ничего понапрасну,  
 Нет, я не жалею ни о чем!  
 Потому что моя жизнь и мои радости  
 Сегодня начинаются с тобой! (франц.)

Ах, как печально умереть посреди жизни! Но еще печальнее быть таким мальчишкой, как ты! Да, Митя, да, я добрая, добрая, добрая. Потому что я убиваю только злых. Ты же не злой? Вот и я не злая! Ты приходи еще, когда захочешь. И печенье приноси, договорились?!

А наверху, между ветками пирамидального тополя, сидел и смотрел на Млечный Путь Храбрый Белка Изумрудные Яйца.

Голова кружится, но с этого момента мы с вами замечаем, как горизонт неудержимо раздвигается. Надвигается та жизнь, где нас нет. Какие-то чужие дома, улицы, города и люди. От этого бесконечно увеличивается дистанция между нами и нашим собственным детством, душу наполняет грусть будущих расстояний. Жизнь представляется навеки утраченной и безвозвратно прожитой. Необъятное пространство, его решительно необозримая даль и сверхъестественный объем равносильны смерти. И, как смерть, должны быть преодолены.

Тополь раскачивается все сильнее, а Млечный Путь кружит голову...

Но чью, чью, ради всего святого, голову? Где эта голова, как нам ее найти?

### революция сознания

Февраль дал слабину, с крыш капало, и карнизы за окном звучали разными голосами. Шел Великий пост, и поэтому Калина, когда встал, почувствовал слабость. Чувствовал он себя слабым, но легким и тогда, когда шел по пахнущему талой водой проспекту в серо-синюю даль, лежащую где-то внизу у реки, у трамвайного депо, у сказочных тополиных и березовых рощ. Там где-то, в маленьком палисаднике за деревянной калиткой, ждала его женщина, которая должна была в скором времени стать той единственной, которая будет принадлежать, безусловно, только ему.

Во время поста грешно мечтать о плотской любви, но Калина тем не менее мечтал. Тут же обрывал себя, читал какую-нибудь молитвочку по настроению и шел дальше. Еще он думал о том, что президенту, кажется, стоит обратить внимание на вопрос чистоты расы. Очень запросто может быть, что браки русских и украинцев недопустимы с точки зрения возрождения нации. Ведь как дело обстоит сейчас? Калина русский, а его любимая непременно украинка. Непременно! Вообще в мире этого хотят многие! Чтобы украинка. Многие! Калина перепрыгнул через лужу, прищурился на плывущую в далеком сине-сером туманном пятне не то луну, не то солнце, представил себе образ *своей женщины* и даже внутренне загордился. Поглядите на ее косы, хотелось сказать Калине всякому, кто встречался на его пути, посмотрите на ее рушники, завернитесь в ее запахи: поля, пшеницы, меда, чистоты и невинности, невинности и в то же самое время чувственности! Но стоп. Дальше нельзя. Дальше тайна и полог. Завеса разума.

Но завеса завесой, продолжил размышлять Калина, прикурив от слабосильной подмокнувшей спички, а ведь будут и дети. И кто они будут? То есть какие? И скажите мне на милость, как можно допускать такие браки? И какие могут получиться от этого дети? С какой психологией? Представьте, мама передает этому ребенку гены Мазепы Ивана Степановича, а папа — Петра I, русского царя и самодержца. И что, по-вашему, должен делать такой ребенок?! Уже не говоря о том, что он должен думать. Приходит он к обеду из детской в кухню, а там мама готовит вареники с вишней, сальцо нарезает, пампушки с чесночком под борщок на сале на тарелку выкладывает, а папа курит «Беломорканал» и читает Карамзина «Историю государства Российского». Садится такой ребенок за стол, играет желваками, кусает губы и не выдерживает: «Хватит, млять, — орет он внезапно, — хватит, достаточно, прекратите, ахтунг, найн, нэ трэба бильшэ, пся крэв! Или ты читай Грушевского, или ты готовь щи, уху, стерлядь, черную икру и блины! Прекратите, в конце концов, смешивать! Мне пять лет, а я не

знаю, как себя и, главное, с кем идентифицировать!» Достает револьвер и начинает стрелять в проходящих по Унтер-дер-Линден хасидов.

Калина думал все это, сердито и задорно вдыхал носом прекрасный мохнатый туман, хлюпал своими немецкими сапогами, еще с прошлого вечера слегка размокшими и оттого какими-то ноздреватыми и тяжелыми, отчаянно размахивал ногами и руками, разговаривал немного сам с собой и улыбался. И было от чего. Знает ли мой читатель, как упоительно пахнет земля! Как чисты эти ранние февральские утра! Вы замечали, как вкрадчиво и таинственно звучит трамвай в тумане? Буквально как глухарь на току. Лужи, темный снег, мягкая земля, тонкие стебельки зеленой травки, а если присесть в стороне от дороги, от случайных прохожих, в глубине промерзшей за четыре недели морозов посадки сирени, прекрасного растения семейства маслиновых, на случайный пригорок, расстелив целлофановый пакет, то можно слышать шаги новой весны...

Чаечка моя, думал Калина, глядя на низенькие домики-халупки в староукраинском стиле, заглядываясь на большие и нелепые дома старосоветского времени, томно рассматривая небольшие, но внушительные включения бестолковой новоукраинской застройки, где ты? Где ты, мечта моя? Да, где-то именно тут, на окраине города, процентов на двадцать пять еще говорящей на суржике, по предположениям Калины крылась его будущая судьба, его суженая, его счастье. Но где она крылась? Где скрывалась?

Прожив четыре десятка лет и выдержав ряд изматывающих многолетних влюбленностей, он понял, что судьбе надо помочь, надо пойти туда, где еще можно найти жемчужины настоящего женского характера. Мужчина не должен полагаться только на зов плоти и связывать свои мужские мечты и житейские устремления с первой попавшейся городской сумасшедшей. Тем более что время пришло. Оно пришло и требует отделить временное от вечного, случайное от закономерного, прошлое от будущего, а то, что действительно существует, — от того, чего на самом деле нет, совершенно нет. Время требует решительной революции сознания.

Поселок за трамвайным депо, на самой окраине города, у реки, оказался достаточно подходящим для этого дела. Именно отсюда решил он начать свои поиски. Ведь не годится просто какая-нибудь девица. Нет, нужна только такая, как в затаенных уголках своего напряженного сознания подразумевал Калина: нечто среднее между Наталкой Полтавкой и Ким Бэсинджер. Чтобы был и черный и голубой глаз, чтобы коса, губы, хороший или хотя бы сносный украинский язык при полном знании русского классического наследия, чтобы при всем при этом замечательный тесть — сасечник, рыбак и пьяница, любитель самогона и политических казусов современности. Но непременно добряк, душа-человек, сильный, мощный, широкий, как пролив Босфор. Чтобы вечером в хату набивались казаки, чтобы приходили знакомые парни из депо и металлургического завода, чтобы заглядывал кто-нибудь из учителей, преподавателей русской и украинской словесности, культурных и политических деятелей современности, музыкантов, поэтов, актеров, декламаторов, в конце концов циркачей. Спросят, а как же мляди? Да что там! пусть и мляди приходят! Пускай! Они ведь идут над барьерами, поверх этнических, ментальных и половых различий! Ну и потом среди них так много учителей, преподавателей русской и украинской словесности, современных культурных и политических деятелей, музыкантов, поэтов, актеров, декламаторов и, чем черт не шутит, циркачей.

И — ах! — как в старые времена — чаепития дотемна! С разговорами, с мыслью, дребезжащей и поющей в каждой чайной ложечке, в каждой рюмочке, охотно звенящей, потеющей, влажной и холодной!

Чтоб, выпив, металлурги были вежливы, а казаки не были однообразны, чтобы волны Босфора, захлестывая маленький домик, все ж таки не вытаптывали дотла растущие кусты смородины, малинку, а также бледно-зеленую петрушечку, робко встречающую божью осень на укрытых листвою грядках. Чтобы было всем счастье!

А тещу чтобы схоронили как-нибудь давно, задолго до всего, лет уже десять как, а то и пятнадцать. И нужно было бы ходить иногда к ней на могилку с женой и с тестем. Скажем, на Родительскую субботу. Травку прорвать, поправить покосившуюся плитку. И не обременительно, и на свежем воздухе, и жена умиляется.

А печку, друзья мои, лучше всего топить угольком, угольком! Хотя чад и провоцирует головные боли, но угольком, ни в коем случае не торфом, не навозом, не соломой, не сухим и ломким ивняком. Антрацитом, братья мои! Красивыми блестящими черными грудками, уплотненными и отшлифованными кусками доисторической флоры. Восемь миллионов лет назад тут было болото и в нем росли гигантские болотные кипарисы. И вот для чего.

Зима. Суббота. Раннее утро. Еще темно. Встаешь, выходишь во двор. Становишься под яблоню и мочишься на белый свежий снег, побряхтывая, поглядывая на низкое, богатое грядущими осадками небо. Твой одинокий пенис болтается между землей и небом, и во всей его внешности сквозит некое брезгливое барское удивление. Холод быстро пробирает до самых костей, ветер хлещет лицо и грудь ледяными вениками. Остатки сна, покружив над головой, исчезают, растаивают в предрасветной тишине.

Ах, холодок, холодок!

Берешь под крылечком ведро, идешь в сарай, набираешь уголь. Заносишь в дом и пока отставляешь в сторонку. Закладываешь в предварительно вычищенную печку дрова, разжигаешь. Это чудный момент. Щепка медленно занимается, идет первый пахучий смолянистый дымок. Печь старая, хорошая, чистилась недавно. Ну, давай же, мысленно помогаешь ей. И вот затрещало. В три-четыре затяжки она раскурила табачок, и покати-лась первая легкая волна жара.

Идешь на кухню, на ощупь находишь чайник со вчерашней заваркой, пьешь прямо из носика, то и дело языком заталкивая в этот носик норовящие попасть в рот холодные чайники. Крепкая перестоявшая жидкость сразу меняет вкус жизни и собственного тела, корректирует восприятие мира, появляются какие-то новые обертоны темноты и серости, утро летит. Садись на крохотную, сколоченную как раз для таких случаев табуреточку, открываешь дверцу плиты. Дрова горят во всю ивановскую. Набираешь маленькой стальной лопаткой уголь из ведра и аккуратно кладешь сверху стремительно прогорающих дров. Угольная пыль вспыхивает. Огонь довольно ворчит, как ухватившая кусок мяса собака. На мгновение вспыхивает ярко, потом чуть глуше, начинает лизать черные камни. На твое лицо, на стены комнаты, на потолок падает свет. Ты, чувствуя жар на лице, выхватываешь из огня догорающую щепку, прикуриваешь и, сделав первую затяжку, медленно выпускаешь из себя дым.

### штирлиц

Да, горящая печь — это хорошо. Но кого, кого мы желаем согреть в белом безмолвии воображаемого февраля?

Мне неловко писать об этом. Почему же неловко? Разве ты совершил что-нибудь двусмысленное? Ну, что-нибудь такое, что может быть истолковано двояко? Может быть, ты подглядывал за кем-нибудь в щель, когда этот кто-то мылся вечером в летнем душе? Или наконец-то поладил с рядом прелестниц, фотографиями которых полны как журналы, так и книги по истории искусств? А возможно, тебе приснился один терапевт, рыжая женщина пятидесяти двух — пятидесяти трех лет?

Все дело в том, коллеги, что я практически женат!

Вот тебе и раз! И кто она, счастливица?

Ким. Кто такая Ким? Или даже «такое». Что такое «Ким»?

А! это давняя, давняя моя знакомая! Кстати, совершенно не понимаю вашего удивления! Мне сорок лет, и я имею полное право жениться на ком угодно! И сколько пожелаю раз.

Хорошо, но раз ты почти женился, значит, живешь самостоятельно, сам топишь углем печь, не боясь отцовского окрика, прикуриваешь от щепы и, как взрослый мужчина, мочишься под яблоней белого налива? Да, все верно, все именно так.

Прекрасно. Хорошо. Ты живешь самостоятельно, без родителей, без друзей, в первой трети двадцать первого века, ходишь босиком, носишь джинсы и рубашку навывпуск. А разнообразные животные — твои знакомые, родственники и приятели — ведут непритязательную жизнь в пристройках возле дома, который тобою скоро будет отстроен во всей его красе. А также на прилегающих к реке улицах и проспектах. Они свободно и вольно руководимы тобою, их мудрым управителем и другом. И тебе нравится такая вольная жизнь без родительских наставлений, без глупейшего резонерства наставников, без общения с другими индивидами, бездарями и тупицами!

Да, все совершенно так. И мотоцикл.

Пусть даже мотоцикл, но, Митя, если ты почти женился, значит, учел ошибки и недоразумения, возможные в делах подобного рода, которые допускались ранее людьми, заключавшими браки до тебя?

Разумеется, я учел. В этих делах вообще нельзя без учета. Я все учел, проанализировал, вывел нужные закономерности и в настоящее время нахожусь на пути к счастью.

На пути?

Именно на пути. Кроме того, мне чрезвычайно нравится мой тесть, добрый отец моей Ким. А как его зовут? Как зовут отца моей Ким? Именно, Калина, как? Ну, это я еще не выяснил до конца. Не это сейчас главное. Может быть, Босфор Эмильевич Бэсинджер. Вероятно, как-то так.

Хорошо, Митя. Но нам теперь придется выяснить, как относятся твои отец и мать к тому, что ты балансируешь буквально на самой грани заключения брачного контракта со взрослой женщиной? Как?

В самом деле — как? Это, братцы, вопрос вопросов. У меня есть ряд предположений. Но точно я помню только то, что был поздним ребенком. Да, запоздавшим, припозднившимся ребенком. Ребенком, которого пришлось ждать. Есть такие странные дети. Их приходится как-то торопить, настаивать на их приходе. Да, друзья, приходится быть настойчивым. Говорить с Богом, просить Его. Боже, говорить ему, мы с мужем старые идиоты, нам уже по пятьдесят пять, но, может, получится все-таки? Маленький, голенький, красненький? Сыкун и засранец? А мы посвятим его Тебе, Боже! Мы родим его во имя Твое!

Ну вот, я вспомнил. Они все умерли. Я их всех схоронил, если хотите знать. Какой ужас! Отчего же это произошло?

Они умерли от любви к восточной империи. Как же это могло произойти, если эта страна давно в вечности? Вероятно. Думается, именно там. Но вот в чем дело. Он был известным русским ученым, директором средней образовательной школы, а мать изумительной красавицей, еврейкой и тайной христианкой, ученицей апостола Павла.

Но при этом, вот тут надо сделать усилие, они были настоящими советскими людьми! В этом состояла трагедия эпохи. Их самоидентификация была роковым образом ущербна. Они пытались как-то приспособиться, но у них не вышло ничего. Как же можно быть по-настоящему советским человеком и притом продолжать дело Лейбница и Декарта, Ньютона и Аристотеля? Как можно быть одновременно профсоюзным работником и ученицей апостола Павла? Но дело не только в этом. А в чем же, Митя?

Мне кажется, все дело в том, что в мире, где мы живем, все меньше и меньше настоящей русской христианской речи, христианских мыслей и поступков, грамотного кириллического письма. Что ты говоришь? Да. Все меньше их, раздольных и витиеватых, лаконичных и выразительных бесконечных русских строк и строчек, без которых русское сердце умирает. И это понятно, ведь мы же живем теперь в Европе. А ей русское сердце ни к чему, а истории его ей и вовсе противны.



А ты помнишь эти истории? Если помнишь, расскажи нам их. Несколько. Две-три, может быть, историй семь-десять для ровного счета, возможно, даже стоит спеть ряд песен, где это показано со всей силой. Если захочешь, Митя, то разверни ясную картину, в которой слаженно и гармонично предстало бы все, что ты можешь и захочешь представить.

Несомненно, безусловно. Слаженно и гармонично. Прямо сейчас. Вот одна из них. Русскому разведчику Штирлицу во время ужасной войны с фашизмом пришлось внедриться в немецкую глубь. В самую глубокую немь. Фашистскую немь и глубь. Он был вынужден носить красивый черный гестаповский мундир, сапоги лакированные, красивых кожаных ремешков разных целую уйму на стройном и гибком теле и черный прекрасный плащ, в карманах которого всегда было что-нибудь для жены, которую звали, естественно, Ким.

Да, жену звали Ким. И ее фамилия, вероятнее всего, была Бэсинджер.

Она страстно, нестерпимо любила своего мужчину и позволяла ему делать с собой самые разные вещи. Не смей даже думать об этих вещах!

А я и не думаю. *Latinoamerikanka razdvigaet svoi yagodicy.*

Но, с другой стороны, как же не думать об этом, если их взаимоотношения были так невероятно сложны?

Ну да. Представьте, она живет в одной стране, он в другой, она в одно время, он в другом, она одной жизнью, а он совершенно другой. Он в пригороде Берлина, а она в Москве в особняке на Лубянской площади. Целый особняк? Ну конечно. И все благодаря кому? Известно кому, риелтору (*англ. Realtor*).

Кто такие? О, это замечательные в своем роде люди! Если кому-нибудь нужен особняк, он просто подходит к *Риелтору* и говорит: будьте добры, мне бы особняк в центре. Туалет и ванна раздельно, балкон и лоджия, метрополитен, огромные антресоли для консервированных продуктов, отдельная ниша с подсветкой для мамы, она больна, и ей нужен простор, а также длинная стена для ее рисунков и черно-белых фотографий отца, умершего в позапрошлом году от цирроза.

Ну отчего же, Митя, врачи ведь говорили о сердечной недостаточности. Если вы не прекратите меня перебивать, я начну материться, а это нехорошо. Прости, мы больше не будем.

Он умер от цирроза, потому что в последние дни, месяцы, а также годы и десятилетия своей жизни почти нигде не работал и выходил по утрам из дома только для того, чтобы где-нибудь чего-нибудь выпить. Он не мог понять того, что произошло с его Родиной — великой восточной империей, с его обменом веществ и предстательной железой, с его школой. И поэтому не мог нормально жить. Он пил, слушал радио, смотрел телевизор и после этого еще больше хотел выпить, коллеги, потому что ему было противно.

*Риелтор брезгливо посматривает за окно, гасит сигаретку в черепаховой пепельнице и говорит, очень интересная история, а мать, стало быть, жива? Да, мать живая. Или нет, скорее не живая, трудно сказать, она как-то отчасти. Да вы сами можете посмотреть. Вот это? Да, вот это. Но это же горшок с геранью! Да, но что поделать? Ясно, говорит Риелтор. Смотреть вашу квартиру придут завтра. В полдень. Чудесно. Полдень — это прекрасно.*

И проходит немного времени, обычно всего ряд дней, в худшем случае некоторая совокупность недель. И все готово. Ты выезжаешь в особняк.

А как же общались, как строили свои взаимоотношения Ким и Штирлиц? Ну, я думаю, для этих целей как раз и придуман известный европейский экспресс. 2/253 РЖД, Москва — Берлин — Москва, спальный вагон 1-го класса ежедневно.

Ах, берлинский Центральный вокзал! Первый Центральный вокзал германской столицы за всю 170-летнюю историю немецких железных дорог! Туалетов тут нет, но, несмотря ни на что, это символ преодоления раскола! И конечно, этот архитектурный шедевр германского гения — место потаенных надежд, радостных ожиданий и томительных предвкушений *Макса*

*Otto фон Штирлица*, штандартенфюрера СС (*Standartenführer Max Otto von Stierlitz*).

Представьте. Весеннее утро. Останавливается теплый, с пылу с жару экспресс. Она спускается на перрон, и тут уже он с цветами, а если это ранняя весна, то с веточками вербы, с лукошком свежей клубники, с маленькой стеклянной баночкой молока или сливок! Да, сливок даже лучше! Насвистывая Гершвина. *Rhapsody in Blue*.

В его новеньком, пахнущем свежей дорогой кожей портмоне невиданное количество дойчмарок, долларов, фунтов стерлингов, иен. Он богат, он сорит деньгами ради нее. По пути в его загородный опрятный коттедж они украдкой целуются в трамваях и на улице. Она, совершенная шалунья, берет из лукошка ягоду за ягодой и кладет ему в рот. А он своей крепкой мужественной рукой тайком под тоненьким, но теплым верблюжьим пальто поглаживает ее изумительные колени, уверено и стремительно проникает под резинку ее белейших трусиков, нежно и настойчиво раздвигает и поглаживает все те горизонты, которые следует раздвигать и поглаживать...

Наконец-то оказавшись вдвоем, они просто уже в неистовом возбуждении набрасываются друг на друга, он на нее, а она на него! Срывая одежды, буквально захлебываясь друг другом! Представьте, представьте только себе эту картину! Все в клубнике, с нашивками гестапо, с талончиками московского метро в карманах, со Сталиным там, с Гитлером здесь! И немецкие междометия перемежаются с русскими!

Что за страсть, что за счастье!

А что говорят по этому поводу берлинцы, жители этого города, что они думают, какова позиция власти по поводу происходящего?

А что? Им нравится. Они же европейцы, у них самые широкие взгляды. Например, правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт сам мужчина хоть куда. Вот что он говорит на страницах официального сайта: «Берлин приглашает вас — к экспериментам, к инвестициям, к удовольствию!»

### конь и герань

Да, да, я иду, минутку, у меня тут замок трудно открывается. Заходите, да, я продаю, да, пожалуйста. Конечно, проходите. Ну вот. Слава богу, вы пришли! Слава богу! Я так боялся, что никто не придет, что никому не понадобится эта квартира. Прекрасное, в сущности, помещение для жизни в городе!

Мне Риелтор сказал, что лучше никому ничего не рассказывать, иначе эту квартиру мы с ним будем продавать до серых мерингов. Но я все равно кое-что расскажу. Приоткрою завесу. Вот смотрите, в этой комнате жил отец до своей смерти. Вы смотрите? Смотрим, смотрим. Хорошо. Здесь он клеил свои авиамодели, красил лампочки, вот эти, что везде у нас тут висят и горят, я их никогда не выключаю, смотрел телевизор, сюда к нему приходила мама, когда еще могла ходить, а потом те, другие женщины. Какие другие женщины? Какие? Странно даже, что вы спрашиваете. Да Анна Австрийская хотя бы.

Французы называли ее *Anne d'Autriche*, а испанцы *Ana de Austria (de Habsburg)*. Кстати, похожа на нашего терапевта районного. Не видели никогда? А зря, тысячу раз зря! Образцовый врач, прекрасный человек! Зовут ее Покатила. А как делает внутримышечно — каждая жилка поет в тебе, каждый нерв! Такая же она рыженькая, румянькая, неказистенькая, славенькая. Точь-в-точь Анна-Мария на портрете Рубенса 1622 — 1625 гг. Только платья такого, как на портрете у Рубенса, у нее никогда не было и, кажется, уже и не будет. Вы не поверите, какая нынче дорогая одежда.

Впрочем, зачем ей платья? Ей наоборот, друзья мои, отличным образом идет всякое отсутствие платьев! Вы бы видели эту замечательную попку — пухлую двудольную, зернышко кофе, выросшее уже сразу с молоком, чтобы потом не надо было добавлять. Имеется у нее и животик, кругленький

такой смешной животик. Пуп. Очень красивый пуп. Есть женщины, у которых пуп категорически никуда не годится! А этот пуп великолепен, роза мира! Самая завязь.

Здесь у нас зимний сад. А это мама. Горшок для нее я подобрал совершенно случайно на блошином рынке. Но, по-моему, очень подходит. Вам нравится? Кстати, некоторые люди от запаха герани в бешенство приходят, некоторые в обморок падают. А я ничего, как видите. Мать все-таки. На горшочке, смотрите, здесь малиновые узоры в восточном стиле. Красиво? На мой взгляд, пресимпатично. Но хорошо.

А вот это — кладовка. В ней раньше у нас невесть что хранилось, потолки-то высокие, а теперь тут может какое-то время, покуда я его от вас не заберу, пожить папа. Но он же умер? Умер, а никто и не говорит, что не умер. Конечно умер. Но он обязательно вернется! Вы думаете? Обязательно. У нас в семье все возвращаются. Кто растением, кто кошкой, кто собачкой. Прибежит! Ему не впервой. Не впервой? А то как же! Он, я думаю, возвратится конем. Возможно, даже Пегасом. И в самом скором времени. Конем. Почему конем? Ну, это долгая история, не имеет значения, почему конем.

Так вот, если он придет, то вы его на первое время сюда в кладовку поместите, а сами позвоните мне по телефону. У меня к тому времени будет свой огромный дом в лесной части страны. Вблизи будет речка, речной вокзал, красивая, но небольшая железнодорожная станция, похожая на пресловутый Павловск, красивый мобильный телефон, костюм или два, магазины разные, пристань с лодкой. А к дому будут примыкать множество прекрасных пристроек. Там будут жить мои бесчисленные родственники и знакомые, которые никак не могут завершить карусель своих бессмысленных перерождений.

Так вы что же, буддист получается? Я? Буддист? Да бог с вами! Я — нет, никогда, я православный христианин! Больше, правда, пока в душе, потому как еще не крестился. Но уже как бы оглашенный. Готовлюсь, значит, книжки читаю, с людьми говорю, на службы прихожу, когда голова болит не очень и я могу сообразить, куда мне идти. Ну то есть я пока еще разбираюсь что к чему. Без спешки так схожу в церковь, постою, посмотрю. А что? Мне нравится.

Когда-нибудь, я вам это могу сказать по секрету, а на самом деле в самом ближайшем времени, я думаю, что завтра-послезавтра, мы с моей невестой по фамилии Бэсинджер станем венчаться. И непременно в нашем Свято-Преображенском соборе! Да, да! Закажем по телефону лимузин и поедем, сигналя! Эх, люблю я быструю езду! Просто-напросто Чичиков какой-то, ей-богу!

Поздравляем! Поздравляем!

Ну-ну. Не так громко! Что ж вы так кричите! Не надо так орать, дорогие мои! Придут соседи, и всем нам тут тогда несдобровать. Я на прошлой неделе им залил туалет, а на позапрошлой скинул их кошечку в лестничный пролет восьмого этажа. Да, в наш лестничный пролет.

И что? Что — и что? Полетела эта кошечка вниз, как птица Сирин. Только крик ее истошный раздавался в небесах. Млять, кричала кошечка, я не буду больше гадить у вас под дверью, только верните меня на место!

И что вы? И что я? Конечно вернул! У меня, видите ли, очень доброе сердце. Очень. Это еще замечали мои школьные учителя. Вот, например, учителя физкультуры я как-то утопил в школьном туалете за то, что он был слишком повадлив на молоденьких девочек. Все, понимаете, норвил ухватить за попу то одну, то другую, козел, млять, безрогий! Попы их ему покоя не давали! Подъем переворотом тренировал до умопомрачения, падла! У самого штаны спереди просто палаткой торчат, нос побледнел, глаза жирные, руки потные, а он все подсаживает тринадцатилетних девчонок на турник. Вот я его и утопил. Но тут взмолилась завуч, Ирина Георгиевна. Говорит, Митя, пощади Сергея Леонидовича, вытащи его из говна! Ну, я и

вытащил его. Не сразу, конечно, не сразу. Зачем спешить? Пусть поплава-ет, пусть подумает, как и что! Так и плавал до утра.

Так он, поди, был уже мертв?

Естественно! Как самовар! Мертвее мертвого!

Но коллеги положили его лицом вниз, учитель географии левую руку на затылок, учитель пения правую на сердечную чакру и три раза прокричали хором «*ньер-де-кубертен*». Все. Встал, живет живых. Только соображал с тех пор плохо и говна боялся.

Да, я женюсь обязательно, как только куплю себе дом. Но для начала все же мне надо продать вам вот эту квартиру и получить от вас какие-никакие деньги. Вы, кстати, деньги принесли? Это плохо. Вы знаете, мне очень нужны деньги.

Во-первых, нужно обязательно купить дом и жениться. Понимаете, мне уже пора. Да. Я ведь был уже женат раз. Я вам не говорил? Да-да. А чему вы удивляетесь? Был. Меня женщины любят. Во-вторых, мне подлечиться надо. У меня все время, знаете ли, болит голова. Дело в том, что я в свое время переболел арахноидитом. Арахна — это паучок такой. Вот он мне в голову залез и до сих пор плетет там свои сети. И я все время путаю то, что действительно со мной случилось, с тем, что не случилось со мной вообще.

Да вы что? С чего мне врать?! Никогда не могу сказать точно, что было, а чего не было. Паучок, понимаете. А у меня и без него был аутизм в легкой форме. Я бы сказал, в легчайшей. Сейчас по мне этого совсем не скажешь. Но когда-то... И вот теперь проблемы с женщинами. Нет-нет, не в том смысле, что вы! С этим как раз все в полном порядке! Ого-го! С этим все более чем, друзья мои! Мне могут позавидовать многие наши коллеги. Непорядок в другом! Я не помню, с кем я был, а с кем не был, и все такое. Понимаете, в чем дело?

Мучительно, честное слово.

Трудно с этим на работе бывает. Особенно если вы, как в настоящее время ваш покорный слуга, работаете менеджером бизнеса. Да, представьте! При всей своей загруженности еще и ухитрюсь работать то тут, то там. Сiju в офисе за ноутбуком, продажи осуществляю. А куда деваться? Да, несмотря на болезнь, ухитрюсь как-то! Работаю то там, то сям. И тут я должен помнить, с кем был! Помнить должен. Но не помню! Хоть убей меня, не помню, и все!

Но хуже, хуже всего, что я помню то, чего на самом деле абсолютно не было! Понимаете, что за интрига тут может быть? Представьте только. Прихожу в драматический театр. Вижу: она, насколько мне помнится, моя пассия, сидит и в бинокль партер разглядывает. Чулочки черненькие, ноги длинные, торс обворожительный. Я к ней, кладу руку на колено и говорю, как дела, милашка, не пора ли получить катарсис?! А она в крик. Неприятность, одним словом. Оказывается, что мы с ней и вовсе незнакомы!

Но как отличить то, что было, от того, чего не было вообще?! Вот вопрос вопросов! Камень преткновения в своем роде! Я даже, знаете, книжки разные стал читать. Нет, что вы, не медицинские! Ни в коем случае! Я же понимаю, что медицина наша с вами недалеко ушла. Нет. Философов разных. На предмет? На предмет, чтобы найти у них верный рецепт отличия того события, которое имело место быть, от того события, которого не было и быть не могло. Мне же больше ничего от них не надо! Мне бы только это. Только бы отличить, а смысл и прочее — это все Христос! Иисус Христос, Сын Божий.

А вот бывшее событие отличить от не бывшего — это уж, мне кажется, и философы в силах? Или нет? Что-то вы замолчали? Вы деньги-то с собой, конечно, не взяли? Нет, не взяли. Ну да, ну да. Понимаю.

Да вы садитесь, садитесь, чай уже совсем остыл, как говорится. Я вас сейчас песочным печеньем угошу. Его моя мама печет. Удивительное печенье, я вам доложу. Какое печенье, она же умерла? Умерла, а никто и не

говорит, что не умерла. Конечно умерла. Но вот верите мне, я ведь сам себе не готовлю! Однако каждое утро встаю, иду сюда к себе на кухню, а оно, то есть печенье, тут себе и лежит на блюдечке! Чай, знаете, стоит, дымит. Слева располагают стакан с охлажденной водой, а взбитые сливки в креманке ставят справа. Кто ставит? Так в том же и дело, что неизвестно!!! О чем же я вам и толкую! В чем же чудо каждодневное. Прихожу, а тут и салфетка тебе, и сервиз в стиле *Art Deco*, и что хочешь.

Но все это, допустим, можно как-то устроить. Но вот откуда берется печенье, я в толк не возьму. А ваша мама точно умерла? Куда точнее, куда точнее, братцы. Посмотрите хотя бы на эту гераньку. Это же ведь она. Ау, маменька, ау. Хотя, знаете, иногда некоторые мысли закрадываются. А вдруг все-таки эта геранька ни при чем. И почему я, собственно, так думаю? Да, в самом деле, почему? Потому что...

Слышите, кто-то скребется в дверь? Нет, это не конь, нет, не он. Ему еще рановато. Это кошечка. Да, именно, та самая, как птица Сириус. Ага, вот и ты, лапушка. Привет! Смотри, я тебе молочка налил! Вот молодец, вот умница!

Вы знаете, после того случая мы с ней совершенно неожиданно сладили! Да, представьте. И гадить перестала, и ластится, и молока просит. Один полет с восьмого этажа — и личность меняется напрочь...

### мама

Эх, ма-а-аамочка, мамочка моя, мама! На кого же ты меня оставила, на кого? Ты ведь прощаешь мне мой бред насчет герани и прочего? Я не со зла, а с горя. Я ведь знаю, что если бы даже была на свете где-нибудь эта самая реинкарнация... А я знаю, что ее скорее всего нет. Я знаю, мама, знаю. Мы христиане, и нам ли не знать, что одной жизни человеку вполне достаточно?! Но если бы все же она и была, реинкарнация, решила ли бы ты к ней прибегнуть? А если бы и решила, чтобы не оставить меня, твоего сына, калинушку, душу озябшую, наедине с этим миром, ты ни за что не стала бы воплощаться в герань! Я же знаю, мама, как ты ее ненавидишь! Почти как я. Да и как бы ты смогла так точно реинкарнироваться, чтобы попасть именно в этот кустик у нас на окне?! Никак, мама. Я знаю, что никак.

И реинкарнации нет, и герань ты ненавидишь.

А даже если бы ты и любила ее, что бы дальше? Ну герань. Ну вонючая, как смертный грех. И что? Ничего. Глупость только одна и псевдоиндийские мотивы.

Но вот что не глупость, мама.

Не глупость — это кто-то, кто приходит ко мне, когда я не вижу. Он готовит мне еду. Стирает белье. Стирает, мама, и гладит. Кто это, мама? Убирает в доме. Покупает йогурты и сапоги. Я же не вижу никого рядом, я не знаю, кто бы это мог быть. Теперь я думаю, что это Ким, ты знаешь, моя Бэсинджер, о которой я столько рассказывал тебе и которую мы давным-давно с тобой видели в кинотеатре, помнишь?

Стояла сухая прохладная осень. Несло пожелтевшие листья, пустые оболочки стрекоз, облака. И мы пошли с тобой в кино. Отец, как всегда, остался дома, а мы пошли.

Ты долго прихорашивалась возле зеркала. И не потому, что хотела кому-нибудь понравиться. Совсем нет. Я всегда это понимал, что ты никому не хочешь понравиться, кроме Христа. Но ты желала выглядеть хорошо, чтобы быть в духе той сухой и ветреной осени, богатой осами и чистотелом, крушиной и боярышником, божьими коровками и лебедой.

Ты собрался, Мальчик, сказала ты мне и провела своим чуть влажным взглядом по моему лицу и узловатой, еле оформившейся фигуре. Подростковой, ужасной подростковой фигуре юного естествоиспытателя и лесбияна. Да, я был ужасный лесбиян, всегда причем. Я ведь тебе боялся

признаваться в этом. Не мог же я прийти к тебе в комнату и сказать: мама, смотри же, мама, я лесбиян? Тем более что есть же все-таки разница между лесбияном и онанистом! А тогда я этой разницы не знал. Я называл себя лесбияном, но, в сущности, просто онанировал, глядя на репродукции Рубенса. Онанировал и не знал, что слова «лесбиян» просто не существует, что это я просто перепутал что-то, по своему обыкновению. Я никогда не мог упомянуть точные значения нужных и полезных терминов! Это все моя болезнь, мама. Но сейчас это уже не важно.

Имеет смысл только тот факт, что все-таки мы пошли. Хлопнула наша входная дверь. Я помню, как пахнула в лицо прохладная сырость лестничного пролета, запах ступеней, камня и мха. Массивная темная дверь.

Это было так важно, что мы вместе шли по улицам города. Шли, держась за руки, садясь на скамеечки, разглядывая птиц, считая пролетающие над нами и осенним городом облака, болтая ногами, откусывая мороженое большими белейшими кусками! Ах, что ж это было за мороженое! Холодное, сладковатое. Сладко-ватое. Ватно-сладкое, холоднющее, но вата ведь сладка и колка! Потому, мама, что она стéкло-. Стекловата была та осенняя холодная вата! Она царапала мне нёбо и язык своими холодными острыми краями! Как что-то обоюдоострое, многоострое, невозможное. Как любовь.

И от каждого укола я наполнялся блаженством и благодарностью Богу за эту осень, за этот изумительный ветер, за мое стремительно оканчивающееся детство и за тебя, мама, мамочка моя! И от счастья хотелось плакать и смеяться! Но так делать не следовало.

Мы пришли в кинотеатр. И легко, совершенно без очереди взяли билет на сеанс, начинающийся в три часа пополудни. Да, именно в три! А было только двенадцать! И мы могли с тобой вместе провести эти три часа. Что мы и сделали.

В парке, осеннем воскресном парке, среди желтеющих и краснеющих кленов и акаций, прямо на входе для самых маленьких крутили карусель перерождений. Для взрослых посетителей и деток с родителями запускали огромное кармическое колесо, с которого можно было с легкостью обозреть весь наш город вместе со всей его несчастной столетней историей, чахлую речку, лодочную станцию, два-три банка, почту и морг. Дальше по аллеям можно было отыскать кривые зеркала, березку и ракету, тир и еще множество таких же грустных аттракционов. От которых иной развитый во всех отношениях человек мог совершенно невыразимо затосковать.

А еще здесь продавали сласти, пирожки с вареньем, удивительные вкусные московские конфеты, маленькие ручные флюгеры, да, смешные разноцветные флюгеры для ловли пространства и ветра. Фотограф предложил развлечься с обезьяной, но мы не стали. А пошли, наоборот, кататься на пластилиновых лошадках и детском поезде. Возможно, это был тот самый 232-й экспресс Берлин — Москва.

— Курт, — сказала ты начальнику поезда, — милый, пусть нас с господином офицером никто не беспокоит!

Паровоз свистнул, жизнь окуталась облаком пара, лязгнули вагоны, действительность стронулась и, постепенно разгоняясь, полетела и устремилась.

Два часа мелькнули и исчезли, а когда они закончились, пошел слепой дождь, совершенно слепой. Мы стали стремительно мокнуть и стали искать такси. Бряцающая шпорами, отряхивая росу с погон, я открыл дверцу «Волги». В синематограф, любезный!

И мы поехали.

И приехали снова в кинотеатр и пили в кафетерии кофе с заварными пирожными.

Капельки дождя высохали у тебя в волосах и сверкали красным, зеленым и голубым светом, когда слепой наш друг поглядывал в нашу сторону своим солнечным диском, и становились темно-синими, когда он нагонял

облака. Мы ели пирожные, пили кофе, и нам было вкусно. Верно, мама?! Нам же было тогда вкусно ожидать кинофильм, смотреть друг на друга?! Потому что ты же родила меня когда-то давным-давно. А я всю свою жизнь лучше всего знал именно тебя и больше никого, в сущности, не знал. Да, я так плохо знал других людей, я не понимал их, и только ты освещалась для меня светом красоты и истины, мама, истины и красоты!

А я, что я был для тебя?! Мальчик, говорила ты мне всегда. Сын, говорила ты. Калинушка, Митя, зайчик. Да, мама, зайчик. Как это верно. Заяц. Лысая голова, пушистые лапы, хвост, раскосые монгольские глазки, жировые наросты, мощные задние толчковые лапы! Хвост и зубы. О-о-о, мама, какие у меня страшные желтые зубы! И все прочее. Но не будем об этом.

Ты смотрела на меня серьезно и улыбочиво, иногда пыталась пригласить своей теплой красивой рукой мои несуществующие вихры. Ка-а-а-кие там вихры! На моей голове всю жизнь все было приглажено до тех самых пор, пока вконец не облысело! Но ты касалась меня своей рукой, и я от страха и уд-д-довольствия закрывал глаза, как именно заяц, детеныш зайца, которого взяли на воспитание люди и чью теплоту он склонен считать единственной в мире теплотой. Я жмурился и переставал жевать. Пирожное сладким комком застревало у меня в горле, а кофе тек не в пищевод, а в легкие и наполнял их кофеином. Кофеин моментально всасывался в них. Как это происходило?

Все дело в том, мама, что воздух, прошедший через носовые коридорчики и очистившийся в них, насколько это возможно, от ненужных взвесей, а также крепкий натуральный кофе, даже если он удачно миновал все эти коридорчики и попал сразу в рот, дальше проникает в трахею. Да, мама, именно в трахею, состоящую из хрящевых полуколец. Это неизбежно происходит, если ты погладила меня, а я пью в это время из чашки. Это время твоей теплоты и нежности я пью из чашки, мама, и оно бесконечно, как любовь! И в двадцать пять миллионов моих бронхиол поступает густой горячий напиток, насыщенный сахаром и кофеином! Легкие при этом выглядят как виноградная кисть, наполненная ароматом арабики, робусты или либерики. Да, ароматом зерен кофейных деревьев Аравийского полуострова, Африки, мамами, звуками и запахами реки Конго, кофейными миражами Шри-Ланки, Индонезии, Филиппин.

Я смо-о-отрел на тебя только краем глаза! Ты ведь помнишь, я на все в мире смотрю только краем всегда, ободком сетчатки? И никогда не смогу по-другому! Виноград внутри рос, ширился, светился, и я как за-а-а-хотел в туалет!

А когда я вышел оттуда, уже звенел первый звонок. Ты помахала мне рукой издали, я на всякий случай проверил, застегнута моя ширинка или нет, и побежал к тебе, держа кулаки перед собой, стараясь никого не сшибить. Потому что я мчался огромный, как лакированный танк, такой же тяжелый и стремительный, как он! Я бежал к моей маме! И мы зашли в кинозал.

А там показывали фильм о том, как Ким во время ярмарки влюбилась в мужчину. Я был очарован, подавлен, достигнут! Все это меня застало врасплох! Нет, действительно, это явилось для меня откровением, было неожиданно, я вовсе не предполагал, что это возможно! Но оказалось, мама, что самые смелые мои мечты в сравнении с реальностью пусты и напыщенны! Мечты юноши и естествоиспытателя. Я знал, исходя из собственного опыта, сколь велика может быть разобщенность человека и внешнего мира, но то, что я увидел, меня потрясло! Да она же просто сумасшедшая, хотелось мне радостно воскликнуть несколько раз кряду в тех или иных моментах фильма!

Я видел, чувствовал, что и ты была несколько смущена этим фильмом, его правдой и трогательной красотой, но главным образом — моим присутствием в зрительном зале. Ким была прекрасна, а ты была простодушна в своем смущении и заботе и желании досмотреть до конца.

Я ужасный лесбиян, ма-а-ама, но в эти прекрасные минуты я не чувствовал ничего такого. Только смотрел и смотрел на экран. От кресел пахло темно-синим дерматином, за спиной кто-то курил и шелкал подсолнуховые семечки. Я оглянулся, увидел вверху слепящий квадрат света, распространяющего вперед и в разные стороны свет невозможного прекрасного фильма и чьи-то целующиеся силуэты где-то на последних рядах.

А когда мы вышли из кинотеатра, вернее даже, когда мы выходили из продуваемой сквозняком трубы времени, которая соединяет время до фильма и время после фильма, то в какой-то момент снова оказались в сухой шуршащей осени. Тебе на голову приземлился ярко-желтый высохший, как мумия, рябиновый лист. Ты засмеялась и сказала: а тебе понравился фильм? Да, сказал я, мне понравился фильм. Мне кажется, мама, это был лучший фильм, который я когда-нибудь смотрел в жизни.

Ах, вот как, засмеялась ты легко и заразительно и снова коснулась моих несуществующих вихров, а как же «Семнадцать мгновений весны»? Я застыл от страха и судорожно сглотнул от счастья. И в мои бронхиолы, мама, попала осень. Сухая и странная осень. Она и поныне там. И я никак не могу ее выдохнуть.

Дело в том, мама, что мы внутрь себя вдыхаем атмосферный воздух, однако состав выдыхаемого нами воздуха уже иной. Я думаю, что мои бронхиолы в тот день жадно вдыхали в себя сливочный крем и какао, летящие тени стрекоз, танин, ваниль и робусту, а выдыхали они что? Может быть, закат, кровавый пряный октябрьский закат? Ведь на город стремительно надвигалось ненастье. И от счастья хотелось плакать и смеяться. Но так делать не следовало.

### **пароходик по имени мита**

Время можно смывать с себя горячей водой в замкнутом пространстве без окон. Время и глупую память. Да и почему же не помыться, особенно если готовишь себя к супружеской жизни? Конечно, надо помыться. Мытый человек, он мыслит по-другому и двигается. И Калина, прогулявши между окраинных улочек города весь день, пришел в старую баню. Здесь его знали. Он часто сюда ходил, иногда помогал вязать веники, несколько раз, когда никого не было, помог бабе Лизе вымыть мужскую раздевалку.

По пути зашел в кочегарку к дяде Петру. Тут было тепло. И можно было посидеть, глядя перед собой, молча и тихо. Вообще хотелось немного посидеть и подумать, прежде чем идти раздеваться догола перед множеством мужчин: шахтеров, металлургов, летчиков и моряков, бизнесменов, политических и культурных деятелей современности, которые наверняка сегодня тоже пришли в баню. Они туда ходят почитай каждый день.

Все дело в том, что практическая жизнедеятельность этих людей сопряжена с грязью и ужасами этого мира. Даже лучшие из них грязны невероятно, и ангелы морщатся, когда слышат их запах! Но люди, люди-то они не плохие! Поэтому чувствуют, что грязны, и ходят безудержно в баню.

Вот они-то и могут разглядеть узловатое тело сорокалетнего умудренного жизнью лесбияна и задать кое-какие вопросы. А вопросов Калина боялся больше всего. Он с огромным трудом разговаривал в такие минуты, когда был голым. Если честно, он и одетый подчас не знал, о чем с кем-нибудь поговорить. А уж голый он мог только искоса посмотреть, криво и смущенно улыбаться, с готовностью смеяться над чужими шутками и мечтать об одиночестве...

Ну и потом он просто продрог.

Дело в том, что он, как всегда, потратил уйму своего человеческого времени, рассматривая отражения в витринах магазинов и окнах домов. Вообще его очень интересовали отражения. Любые отражения. В лужах, кстати, тоже, почему и сапоги, прекрасные немецкие сапоги, которые он как-то обнаружил у себя в прихожей и понятия не имел, откуда они взялись, были



так часто мокры. Он часами мог стоять в тихом зеркале мелкой воды и наблюдать за отражениями в ней. Все, что отразилось, было на самом деле.

В кочегарке узкие высоченные, в шесть, а то и восемь метров высотой грязные стрельчатые окна. Как в готическом соборе. За много лет их покрыла разноцветная грязная патина. И смотреть через них на окружающую природу красиво. Посидев еще немного, Калина выпил чай, который ему налил Петр, и пошел мыться.

— Здорово, му-у-у-жики, — сказал он окружающим мужикам, глядя на них в гораздо большей степени снизу и искоса, чем ему бы этого хотелось, судорожно, но аккуратно разделся и направился в душ. Здесь он быстро смыл с себя всю налипшую за последнее время ахиною, надел свою беленькую толстую шапочку и пошел в парилку.

В парилке на полках сидело человек пять. Он снова поздоровался и на секунду остановился. На камнях лежали веточки полыни, стоял легкий сухой пар. Вот именно он и схватил Калину и повел на самый верх. Сунув полотенце под голову, Митя лег на верхний полок и закрыл глаза.

Рядом негромко беседовали двое. Один — сухой, высокий, в черной шапочке, на которой корявенько было вышито «Король бани», а второй — квадратный, мускулистый, с выцветшими глазами, лысый. Лысый, снимая указательным пальцем пот со лба, неторопливо говорил:

— Бес, он как поступает? Он тебе ласково так нашептывает: обозлись, обозлись, кто они такие тебе, что они такое все, обозлись. Ударь, говорит он. А ты его не слушай.

— Не слушать?

— Не слушай! Всенепременно не слушай! Это он на твою погибель тебе мысли такие внушает. Как внушит, так и радуется, что мы тут друг другу морды бьем.

— А что же тогда делать?

— А ты молись.

— А как же молиться?

— Известно как. Приступил к тебе бес, смущает, чувствуешь, мочи нет. Кричи: «Матерь Божия, Пресвятая Дево Богородице, спаси, погибаю!»

— И что же?

— Да что же, и дальше живи.

— И поможет?

— И не сомневайся! Никогда в этом не сомневайся!

— А если Фея приходит?

— Какая, на хрен, Фея?

— Песочная Фея. И говорит, не верь, Ваня, либерализму, не верь ему, сучья это религия, задушит она тебя, Ваня.

— Ну, насчет Феи ничего не скажу, ничего не знаю. А либерализму, Ваня, в самом деле у нас среди мужиков доверья нет...

Наверное, летчики, подумал Калина, или моряки. А может быть, и металлурги.

Он почувствовал, что голова поплыла, горячий пар вошел в сознание, расслабил тело, душа размягчилась, рубчики на ней немного разгладились, и она успокоилась.

Приглушенный желтый свет, горячее дерево полков, кто-то справа начал махать веником, и на Калину задул горячий ветер. Мысли стало выдувать этим ветром. Голоса отдалились, приблизилась жизнь — недавние дни, недели, месяцы замелькали, потом схлынули — и пришло безвременье.

— Эй, Митька, ты тут не помер?

Калина открыл глаза, повернул голову. На него в упор смотрели расплывчатые неясные лица.

— Мы уже третий раз заходим, а ты все лежишь. Заснул, что ли?

— Да нет, я нормально, все нормально.

Нашупав в изголовье тапочки, он свесил ноги и осторожно, буквально по миллиметру, двинулся на выход.

Скинув шапочку и обернувшись простыней, Калина побрел на улицу, на ветер, отдышаться. К полудню природа рассупонилась вконец. Солнце топило снег, и он таял и плыл. Но ветер был божественный, хлесткий, холодный, северный. Он дул так, как будто ему было наплевать на близящуюся весну. Он обещал серьезные проблемы. Он как будто говорил: что такое, какой март? Какой март, к свиньям? Да я вертел ваш март вместе с его апрелем. Я вам еще принесу такое весны дыханье, что плакать будете кровавыми слезами.

Солнце стояло высоко и тихо. Небольшое оно было, это солнце. Среднее такое, ближе к маленькому. И вялое какое-то, припухшее, болезненное.

«Нет, — сказал себе Калина, — Пасха не скоро, ой не скоро». Набрал в ладони мокрого тяжелого снега и растер им лицо. Было больно, распарившуюся кожу снег царапал и ранил.

«Зря я это, — подумал он, — зря. Лицо будет болеть». Он сел в мокрый сугроб, похлопал себя по коленям и стал вспоминать, как тридцать лет назад у школьной стены, залитой декабрьским солнцем, стояла в белейшем фартуке умершая Валечка Флоренская.

Калина глянул на нее и передернул плечами. Мышцы предплечий и горла стали произвольно сокращаться, и ему стоило усилий прекратить это. Вечно она приходит, когда он не готов. Он просто кивнул и прошел мимо. Сегодня был важный день. Для него и его одноклассников. Дети класса собрались и решили пойти на Митю всем миром, поскольку ни в одиночку, ни группами у них ничего толком не выходило.

Дело в том, что они пришли в школу из одного детского садика и за многие годы привыкли вместе гадить, спать и кушать. Эти маленькие люди давно знали друг друга, а Митю не знали, и, если разобраться, в этом было все дело. Может быть, если бы они узнали его раньше, все бы обернулось иначе. С третьей стороны, некоторые дети быстро становятся недобрыми, если их собирается больше одного, максимум полутора человек. И эти были именно такие.

Две математика и русский прошли быстро. На переменах не шалили. Были взбудоражены и напряжены. Собирались по несколько человек, жужжали. Калина почти не боялся. Он знал, что рано или поздно это случится. Он искоса снизу вверх глядел на окружающий мир и даже не делал усилий, чтобы посмотреть на него иначе. Сейчас он меньше всего хотел казаться здоровым. Ладони были ужасно мокрые, и сильно сохло горло. И в туалет он зайти боялся из-за краников, которые отбрасывали на стены ужасные тени, похожие на огромные, нечеловечески величественные пенисы. Звать на помощь или вмешивать сюда взрослых было немисливо и бессмысленно. *Бессмыслемо*, повторял он, сжимая руки в кулачки, *бессмыслемо*, *бессмыслемо*, и в том, что слово было искажаемо им по собственному усмотрению, он чувствовал некоторое утешение. Один раз только ему захотелось крикнуть «мама!», когда он представил себе, как выйдет за порог школы в морозные, пахнущие курным углем сумерки, а там его будут ждать тридцать два его одноклассника. Но вместо этого быстро стал рисовать пальцем на оконном стекле розу. Огромные оконные стекла сильно потели от работы центрального отопления, а также дыхания сотен детей и были благодарны за любой рисунок, который появлялся на их прохладной туманной поверхности.

И наконец, он вышел вон. Школа вывалила из дверей, покрутилась секунду на месте и побежала, не оглядываясь, в разные стороны. А-а-а! — орала она, радостная и могучая. Его класс, покачивая портфелями, стоял и ждал. Он вздохнул и на неслышных ногах пошел прямо в эту толпу.

Неожиданно она расступилась, и он, не останавливаемый никем, побрел дальше к своей троллейбусной остановке. Выкрикивая что-то обидное и зачем-то распевая при этом песни из репертуара Александра Розенбаума, популярного ленинградского медика, одноклассники шли сзади, никак не решаясь навалиться разом. Так и не решились. Все-таки Калина был рослый, как вяз, узловатый, и много дало ему плавание по водоемам Родины.

А он плывал, как настоящий пароход по Миссисипи, везущий Гекельберри Финна и Тома Сойера. Его сильные руки могли совершать такие мощные огребательные движения, что каждое из них моментально валило с ног любого, кто пытался остановить этот пароход на его славном ходу! И если приходилось встречаться с драчливыми детьми, пароходик по имени Митя, одинокий, исполненный смысла, иногда просто растерянно наблюдал со стороны за происходящим, покачиваясь на зеленых волнах жизни, а иногда разворачивал свои лопасти и плыл на обидчиков. Как Чапаев, млять, в свои лучшие годы...

Внезапно все разом оказались на остановке. Она была большая, продуваемая ветром — металлическая фигу с козырьком. Здесь можно было обратиться за помощью к двум-трем взрослым, впаянным в снег в ожидании электротранспорта. Но по их застывшим лицам было ясно, что им страсть как не хочется вмешиваться в забавы детей, *которые играют со своим сверстником*. Подошел троллейбус, люди зашли в него и поехали. В огромных окнах отъезжающего троллейбуса мерцала освещенная электричеством их молчаливая жизнь. Митя мог заскочить в среднюю дверь, но не стал. Это бы ничего не решило. Праздники пришлось бы провести в тоскливом и тягостном ожидании грядущего понедельника, а потом все бы началось заново. «Нет уж, — подумал он, — пусть бьют сегодня».

И наконец, они начали его бить, причем первым ударил кто-то из девочек. Однако в этот момент появилась тетья Фея на своем волшебном самокате, который она называла на иностранный манер *scooter*.

Этот *скуутэрррррр*, говорила она и жестким коротким движением головы отбрасывала назад пряди сухих желтых и длинных волос, просто чудо какая машина. Я на нем могу слона переехать дважды. Калина так никогда и не выяснил, почему слона и почему дважды. Ее желтые волосы и меланхолическая улыбка наводили ужас на злых детей. Впрочем, если хорошенько вспомнить, то не только на детей. Да и не только на злых.

Кто-то из детей в толпе немедленно начал плакать. *Их висков и сердце коснулась печаль и тревога.*

— Ну что, Калина, — сказала она, — чего они снова хотят?

*Кто-то ударил его раз, и еще, и еще*

— У нас с ними несовместимость, — сказал он, не обращая ни на что больше внимания, достал из портфеля домашнее песочное печенье и протянул его Фее. — На, это я тебе сегодня целый день берег, так и знал, что ты появишься.

— Спасибо, дружок! — обрадовалась Песочная Фея. — Обалдеть, что за печенье всегда делает твоя мать! Обалдеть, что за мать, которая растит такого сына! Обалдеть, что за страна, в которой такие прочные семьи!

— Да уж, — согласился Калина, — в нашей стране, если хочешь знать, все матери именно такие. И прекрасные одноклассники.

— Хочешь, я съем их сердца и выпью их кровь?

— Нет, тетья Фея, пожалуйста, не надо, я прошу тебя!

— Ну ладно, становись рядом, поехали, а то ты совсем замерзнешь. Или тебя тут забьют насмерть.

— А что же мне делать? — указал он на кричащие рты своих одноклассников. — Как мне быть?

— А что такое?

— Ну как что? После праздников все ведь начнется заново.

— Да брось, — тетья Фея оттолкнулась от поземки левой ногой, потянула руль на себя, — они в понедельник уже ничего помнить не будут.

Самокат полетел над землей в порывах ветра.

— Точно не будут? — прокричал Калина, чувствуя в своих легких обжигающую снежную крупку и горячую соленую кровь на холодных губах.

— Я тебя умоляю. Они же просто дети.

### менеджер продаж

На работу очень трудно устраиваться. Не просто, в самом деле. Особенно придирчиво относятся к людям, которые приходят и претендуют на должность менеджера, вне зависимости от того, чем нужно управлять, и главного менеджера по продажам. Не важно в принципе чего надо продавать. Это могут быть кокаиновые спреи голландской фирмы «Йорген Бозе» или графитовые стержни для дуговых электросталеплавильных печей «Erft Carbon». Важно иметь резюме и внешний вид. Если у вас есть такой костюм, как надо, компьютер и принтер, чтобы набрать и распечатать резюме, а также бланк трудовой книжки, то на работу устроиться проще пареной репы.

Нужен, конечно, опыт работы. Но необходимо заметить, что некоторый опыт в принципе есть у всех.

При прохождении собеседования главное — не нервничать. А для этого рекомендуется надеть жилет, в котором имеются вшитые свинцовые пластины. Действительно, некоторое давление одежды, как правило, успокаивает нервную систему. Для лучшего результата жилет надевают на сорок-пятьдесят минут, а потом снимают на некоторое время. Это предотвращает привыкание.

Надевши такой жилет, необходимо накинуть поверх него костюм. То есть носки надеть, белые симпатичные трусы, белую рубашку, неброский галстук, в котором важнее всего узел. Некоторые предпочитают консервативный элегантный «Windsor». Его легко узнать по треугольной форме. «Windsor» завязывают так же, как «Half Windsor», добавляя еще один виток со стороны правого уголка воротника.

А уж после жилет и костюм. В аккуратный портфель следует положить ручку, карандаш, ластик в виде желто-зеленой собачки, резюме, копии самостоятельно заполненной трудовой книги, жевательную резинку, очки с цветными стеклами, легкий специальный пластмассовый пистолет, стреляющий несмываемым раствором черных чернил и воды, маленькую бутылочку воды, на случай внезапного захвата офиса террористами, а также немного маминого песочного печенья.

Здравствуйте. Я пришел на собеседование по вакансии. Заходите. Присаживайтесь. Где ваше резюме? Вот мое резюме. Где ваш опыт работы? Вот мой опыт работы. Святой Никола, какой специалист! Но у нас очень ответственная работа, как у вас с самообладанием? Вот мой жилет. Здесь двадцать восемь килограммов чистого свинца! Чтобы не дрожали руки и ноги. Если только вы под самообладанием не подразумеваете чего-нибудь совсем другого.

Благодушный немолодой Специалист по кадрам морщит лоб и, немного склонив голову набок, изучает ваше лицо, светящееся осторожной пугливой изнанкой. Небольшой уютный кабинет с видом на центральный проспект. В декоративной кадочке китайская роза, на стенах успокаивающие пейзажи.

А что, по-вашему, можно подразумевать под этим словом еще? Ну, вы знаете, об этом немного неловко говорить, но, на мой взгляд, всякое самообладание все-таки довольно интимно.

Вы, вероятно, холерик? Да, немного, но местами я такой безудержный сангвиник, что оторопь берет, честное слово! Просто оторопь! Ну хорошо. А почему вы решили работать именно в нашей фирме? Потому что логотип вашей фирмы мне напоминает лошадку! Лошадку? Да, говорит Калина и доверчиво улыбается, лошадку.

Так, говорит Специалист, достает из шкафчика бутылку коньяку и две маленькие рюмки. Света, сделай нам, пожалуйста, кофе. Да, Света, задумчиво соглашается Калина, два кофе.

Но я вас предупреждаю, сообщает он, встрепенувшись, мне много пить нельзя!

Да пей, не волнуйся! Все дело в том, что я знал твоих родителей, сынок, говорит Специалист и делает малюсенький глоточек кофе — мы вместе с

ними много чего повидали. Бывали и там и сям. И в горах и в низинах. Вдвоем и втроем. В палатке и вертолете.

Я так и думал, говорит Калина и, зажмурившись, выпивает. Я почему-то так и предполагал, что мне повезет! Я, видите ли, немного болен, стеснен в средствах, только с поезда и, кажется, сирота! Хотя это и спорный вопрос. Но факт, что мне необходима работа, нормальная работа с высокой зарплатой, особенно в преддверии моего брака с одной прекрасной женщиной. Не спрашивайте меня, кто она, а то мы до вечера не кончим!

Но теперь, поскольку так хорошо все сложилось, я скажу сразу следующее. Во-первых, стулья у вас сильно стучат, а я не переношу громких звуков, когда работаю, так что ножки стульев придется обернуть тряпочками. Лучше фланелевыми. На звонок наклеим изоленту. Я у себя в квартире наклеил уже давно. Слишком грубо звенит, как нейроны перед смертью.

Во-вторых, мониторами телевизионного типа я пользоваться не могу, потому что вижу это постоянное мелькание. У меня очень тонкое зрение. Так что давайте пользоваться ноутбуками или плоскими экранами, хоть как-то чтобы было по-человечески. Кроме того, надо решить вопрос со Светой!

Какой вопрос со Светой? Такой вопрос! Мне кажется, что она слишком легко доступна. Вы находите? Да, она слишком доступна! И ее надо об этом предупредить. Предупредить? Да, и чем скорее, тем лучше. Я надеюсь, что как опытный человек вы представляете себе, как это сделать?

Не думаю, милый мой...

Послушайте, Специалист, придумайте что-нибудь. Это, в конце концов, весьма важный для моей будущей карьеры вопрос. Вы же бывали с моими родителями вдвоем и втроем, в вертолете и в палатке. Так вот ради всего этого не могли бы вы?

Хорошо, но до завтра потерпит? Конечно, потерпит до завтра, до послезавтра, до послепослезавтра! Я думаю, что потерпит еще неделю-полторы, но не больше! Я, видите ли, уже слишком долго терпел, будучи без работы, без своего рабочего места, ноутбука, коллег по работе, планов, без срочных и необходимых продаж!

Что вы! Так долго терпеть даже и не понадобится. Вы так думаете? Да, я практически уверен! Дело в том, что я, если честно, давно стал замечать, что Света сама прекрасно знает, что она легкодоступна. Вы уверены? Ну конечно!

Я попрошу нашего пресс-секретаря, действительно, пусть обернет все стулья в офисе фланельками и также напомнит Свете о ее доступности прямо завтра с утра.

И звонок. Да, и звонок в обязательном порядке.

А что, собственно, мне необходимо будет делать? Продажи в контексте общего понимания вопроса мне ясны. Как некоторая довольно древняя философия. Древняя, хотя и не очень приглядная. «ОАО Христопродакшн» и все такое. Но что конкретно я могу сделать для нашей фирмы? В онтологическом смысле этого слова?

## Часть 2

### ТЮТЧЕВ

Там убоятся они страха, где нет страха; ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их.

*Пс. 52: 6*

#### **ни мертвых, ни живых**

Мальчики и девочки, пришедшие на похороны Валечки Флоренской, были все приблизительно одного возраста. От девяти до одиннадцати лет.

Было их почти тридцать человек. Да еще человек двадцать пришло родственников и знакомых. В общем, было много народа.

Кто-то решил, что Валечку должны на кладбище снести детки. В общем, справедливо. Но кто именно? Митя вызвался. Близкие посоветались в том смысле, что можно ли доверить идиоту гроб, и решили, что можно. Тем паче что и классная дама, Ирина Николаевна, высказалась в том духе, что ничего страшного, что Митя *очень ответственный мальчик*.

И его поставили впереди с правого края.

Нести надо было далеко. Несли мальчики, и этих мальчиков меняли через каждые сто-двести метров, но Митя сразу отказался меняться. Ему льстило, что он идет впереди такой важной процессии, что вокруг так много людей, что взрослые незнакомые люди с участием и некоторым даже уважением периодически спрашивают его, не устал ли он. Он устал, но предпочел идти дальше, несмотря на ломоту и боль в мышцах.

Один раз какой-то высокий улыбающийся мужчина попытался отобрать у Мити его край гроба, но Митя внезапно даже для самого себя оскандальился и зарычал. Мужик в ужасе отпрыгнул в толпу провожающих и пропал в ней. Осмотревшись сквозь застилающий глаза пот, Митя больше не обнаружил желающих оспорить его право быть в центре события. Ему было торжественно, и он чувствовал непривычно большую ответственность.

Митя нес маленькую, в смерти очень серенькую недвижимую девочку. Она была похожа на Валечку, но очень отдаленно. Валечка Флоренская была другая. Это была болезненная, красивая, тихая, добрая, улыбочивая, но очень живая девочка. Она так редко появлялась в школе, что Митя на цыпочках ходил вокруг нее и не спускал с нее глаз, когда она все-таки присутствовала на уроках. Ходил и молчал, отчаянно кося и подергивая подбородком.

В другие дни, недели, месяцы и даже годы учителя ходили к ней домой сами. По слухам, училась она очень прилежно. Ее ставили в пример всему классу.

Когда это происходило, Митя всегда испытывал странную неловкость. С одной стороны, он был всецело согласен с тем, что Валечка для всех пример. Но, с другой стороны, было не совсем ясно, при чем тут учеба. Да и учителя, когда говорили об учебе, кажется, сами понимали, что говорят о чем-то другом. Просто о Флоренской можно было сказать только теми словами, что вылетают у людей изо рта. Как только слова эти вылетали, сразу становилось понятно, что их надо понимать в каком-то совершенно другом смысле. Как вообще все слова всех учителей в мире.

— В каком смысле вас понимать, учителя? — часто хотелось спросить Мите мужчин и женщин, которые потом, уже после похорон Валечки, рассказывали Мите о мире, о том, как он устроен и что в нем полагается делать. А что, соответственно, не полагается.

И каждый раз, когда он всем своим видом, всем своим недоумением и всей своей маленькой человеческой нелепостью как бы задавал им этот вопрос, они, рассудительно помолчав, как бы отвечали приблизительно следующее:

— Деточка, мы у тебя сейчас на голове расколотим этого мраморного Будду. Ты хочешь нас заставить сделать это, маленький уродец?

— Это не Будда, это Сталин, — упрямылся Митя.

— Ты не понял, засранец. Если мы сейчас возьмем этот бюст, то у тебя будет болячка не только в голове, но и непосредственно на ней!

Но всем этим диалогам должно было случиться потом, а сейчас Митя нес по проспекту имени композитора Огинского труп маленькой девочки, своей недолгой одноклассницы. И был горд этим, сам не зная отчего. Может быть, оттого, что впервые участвовал в спектакле под названием «Смерть в быту» и с первого же раза удостоился пусть маленькой и бессловесной, но все-таки роли. Он не ощущал свою потерю как следует. Она пока еще не была потерей, эта потеря. И смерть эта пока еще не была

смертью. Однако, если хотите знать правду, он хотя и был горд, но ему все-таки было и отчего-то стыдно! Вот уж действительно неизвестно почему.

Он несколько раз оглянулся назад, чтобы увидеть, как красиво смотрятся белые платья девочек и отупоженные родителями костюмчики мальчиков, обилие цветов, венков, машин. И где-то впереди этой процессии шел он, Митя Калина, мальчик с дико ноющими мышцами спины и рук. Постепенно от боли в руках и спине, а также от усилия по преодолению этой чисто физической боли в душе разрушились какие-то оковы, что-то освободилось, и Митя стал плакать. То есть слезы сами собой начали катиться по его щекам. И так получилось, что когда гробик поднесли к могилке и поставили на специально привезенные для этого стулья, Митя уже беззвучно рыдал. Когда у него забрали его неподъемную ношу, Митя испытал несказанное физическое облегчение, но слезы от этого только усилились, потому что внезапно он понял — Валечка действительно умерла, и это нестерпимо! В автобусе на обратной дороге к дому Валиных родителей он тихо смотрел в окно.

Прямо во дворе накрыли длинные дощатые поминальные столы. Они ломались от еды и питья. Пахло цветами, ладаном, воском, оливье, изюмом и сдобой, наваристым красным борщом с плавающими в нем кусками жирного вкусного мяса. Беспрестанно лаяли собаки в соседних дворах. Собака Валиных родителей, большущий матерый кавказец по кличке Бек, исходил пеной в будке, крест-накрест заложеной досками.

Мальчики и девочки, как случается со многими детьми этого возраста, в ходе поглощения угощений разошлись не на шутку. Стали бросаться друг в друга едой, хохотать, ползать под столами.

Было немного стыдно за них. И как-то не очень понятно, что именно происходит. Близкие родственники терпели, сколько смогли, а потом подошла мать и что-то начала говорить. Стало нестерпимо. Митя встал из-за стола прямо с пирожком в руках и пошел к воротам, возле которых курили мужики, ожидая своей очереди сесть за стол. Среди них стоял и тот самый мужик, что хотел давеча отобрать у Мити его первый в жизни гроб. Он сделал вид, что не узнал Митю.

Потом Ирина Николаевна стала собирать класс и выводить его на улицу.

Мужики обрадовались, что дождались своего. Столы быстро накрывали заново, и можно было наконец-то спокойно выпить и закусить.

Дети шли по улице, орали, плевались, мальчики пытались курить украденную у безудержных родителей «Вегу». В глаза им светило солнце.

— Дети! Дети! — кричала нетрезвая Ирина Николаевна. — Не смейте курить! Кто курит, тот умрет, как Валя Флоренская! Умрете-умрете! Умрете-умрете!

— Здравствуй, Митенька! — сказала Валечка, подходя к Мите откуда-то сбоку и беря его за руку.

— Валечка! — сказал Митя и расплылся в улыбке. — Ты же умерла?

— Да, я умерла! — сказала она и застенчиво опустила глаза. — Теперь могу ходить где хочу! Я теперь здоровенькая!

— Как хорошо! — сказал Митя и посмотрел на ее бледное, будто присыпанное мукой лицо. — Только ты на здоровенькую девочку не очень похожа! Ты, Валя, на труп похожа, на мертвую!

— У Бога, Митя, нет ни живых, ни мертвых! — поучительно сказала Валя. — Для Него все равны! Хочешь, я теперь к тебе приходите буду иногда?

— А зачем?

— Чтобы разговаривать и играть!

— А тебе что, там играть не с кем? — заинтересованно спросил Митя. — Там что, совсем пусто?

— Да нет, тут полно людей разных, но они все мучаются сильно. И ни на кого, кроме себя, больше не обращают внимания.

— А чего ж они мучаются?! — Митя даже остановился, сжимая в ладонях холодную ладошку Валечки. — Они же уже умерли! У них же теперь ничего уже не болит!

— Ты ничего не понимаешь, Митя, — снова опустила глаза Валечка, — если кто умер взрослым, тот почти всегда после смерти мучается.

— А дети?

— А дети почти все уже ушли отсюда, — грустно сказал Валечка. — Ушли, дети всегда уходят. Да и детей все меньше и меньше остается.

— А ты ж чего вместе с ними не ушла?

— Родители меня своими слезами дальше не пускают! Я б и хотела, да они теперь плакать год будут. Или два. А может, и больше, кто их знает. И все это время я тут буду ходить между вами.

— Скучно, пооди?

— Да чего веселого! Это вы себе сами тут только веселыми кажетесь. А на самом деле, Митя, у вас тут вообще ничего веселого нет! Одна надежда, что, может быть, у мамы кто-нибудь снова родится.

— Девочка или мальчик?

— Да, Митя, девочка или мальчик. Ты не хочешь еще раз родиться, только уже у моих родителей?! Они любят болезненных детей! Они так их любят, так любят! Так сладко страдать! Так здорово чувствовать приятность горя! Это так возвышает над толпой! И потом, ты же тоже способный мальчик, хотя и больной! Они тобой будут гордиться! О, они умеют гордиться! Помоги их горю снова стать сладким! Сделай милость, Митька, родись заново, но уже у них!

— Бог с тобою, Валечка, что ты такое говоришь!

— Не бери в голову. Это я так шучу, — сказала Валечка, презрительно усмехнувшись. — Что я тебе говорила, тут никто не понимает настоящих шуток.

### чтение старикам

Здравствуй, папа! Помнишь, как, глядя из телевизора, предыдущий президент проникновенно говорил *дорогие друзья*? Помнишь? Мордочку умильно сложит, вот так ручки развернет! Глазки искренние, всеми членами движет легко, выразительно! Ну просто Майя Плисецкая! Кто б мог подумать, что он окажется такой сухой?!

Тот президент, который сейчас, говорит *Соотечественники!* Смотрит внимательно и говорит мне — *Соотечественники!* Страшный гражданин.

Но вот откуда они, папа, оба знают, что меня много? А ведь они знают, иначе не обращались бы ко мне во множественном числе! Вот в чем дело! Они смотрят и видят, что внутри меня есть кто-то еще! Кто-то, кто не вписывается! И не выписывается. Ты его выписываешь, а он — ни в какую!

Утром открываю глаза и понимаю, что проснулся последним! Эй, говорю, осторожно! Эй, лю-ди! Они сразу замолкают. Только какой-нибудь *Калина* что-нибудь бормочет тихо.

Весьегонск, бормочет он, Весьегонск...

А чё Весьегонск? Ну чё это за город, папа? Выдуманный городишко, дрянь какая-нибудь. Леспромхоз да винзавод. Вот тебе и весь Весьегонск. Другое дело село Пашуково Ногинского района, где ты родился. Речки Жмучка да Пруженка. Видишь, я все помню! Да-да! Все-все! Например, я помню, папа, как ты меня стыдился. Везешь, бывало, меня в автобусе и стыдишься. А как тебе стыдно было вести меня в свою школу?! Помнишь, как тебе, директору школы, было стыдно, что твой сын такой уродец?

Можешь рассказать о рисунках в комнате твоего сына. Да, да, непременно. Смотрите, вот они. Митя специально, чтобы сделать приятно Риелтору, развесил в пространстве рисунки, начертанные рукой его матери.

На больших, ветхих, пожелтевших за эти годы листах ватмана, заключенных в рамки и взятых под стекла. Привлекают простота, четкость и



непосредственность черного цвета на белом фоне; изображения полнятся жизнью и светом. Они производят хорошее впечатление и могут расположить к себе умудренного жизнью человека.

Особенно хорошее впечатление производит черно-белая Стрекоза. Изящное узловатое насекомое из отряда ложносетчатокрылых. Насекомое-вамп. Длинное, тонкое, сильное и сексуальное тело, две пары больших прозрачных крыльев, производящих при полете характерный шум. *Жарче роз благоуханье, звонче голос стрекозы.* Тютчев. || *перен. О слишком живом, подвижном ребенке: непоседа, егоза (разг.).*

С длинным тонким телом и двумя парами больших прозрачных крыльев. Егоза, непоседа. Тютчев. Именно таким ты, Митя, был в те годы, когда моя жена еще считала нужным водить тебя в школу: ломкие юношеские крылья, фасетчатые глаза, егоза, непоседа, тютчев. И последнее всегда относилось к тебе не менее, чем первое. Егоза и тютчев — так тебя и называли в школе твои добрые отзывчивые сверстники — наш тютчев! Ты всегда был такой — ветреный любитель женщин со сложными от рождения глазами!

Да, папа, я очень любил женщин. Помнишь, как ты краснел в автобусе, когда я, подняв высоко палец, громко кричал тебе, папа, посмотри, мне нравится эта женщина! Папа, она мне нравится! И ты говорил мне, ничего, ничего, успокойся, сынок, успокойся, успокойся. И мучительно, страшно краснел! Потому что ты же был учитель, директор школы, кандидат наук, а у меня часто на губах была пена, и рот бывал открыт, я бы сказал — доверчиво распахнут навстречу всем ветрам.

Эти ветра, холодные, сизые и бодрые ветра провинции, залетали мне в рот и через него по трахеям и альвеолам забирались мне в душу. Я помню, отчетливо помню эти улицы, эту грязь, стоящую по колено в любое время года. И иногда, папа, я помню снег! И тогда его было много. Он падал, сыпался мне за шиворот, он проникал мне в сапоги и варежки на резинках! Он тихо сыпался мне в рот, когда у меня получалось открыть его пошире и постоять какое-то время вот так с закрытыми от восторга и ожидания глазами! Тихо постоять в тишине нашего двора. Я любил тишину, но я не был тихим ребенком, папа.

Нет, кричал я в автобусе во все свое горло, во весь свой исполненный души и снежных комьев рот, ты не понимаешь! Мне нравится эта женщина! О, этот крик, вырывающийся из самого сердца! И затем сразу пронзительным звонким шепотом: папа, можно ее погладить?! И тянулся рукой к телу женщины, нашей невольной спутницы, смущенной и не знающей, что в данной ситуации ей предпринять. Я помню, как сбивчивым яростным шепотом ты в ответ: нет, сынок, не гладь ее, не надо! Ну папа! Нет, сынок! Ну папа же!

Народ в автобусе, естественно, начинал смеяться. А чего им было смеяться, папа? Вот рассуди сейчас по-человечески, было ли им чего смеяться, а тебе стыдиться? Было ли чего? Ведь это так естественно — влечение одного тела к другому, забота мужчины о продолжении рода, поиск возлюбленной! Ведь это все необходимым образом заложено в нас самим Богом! Так чего было смеяться? И смущаться? Не стоило ли тебе, отец, внимательно отнестись к столь решительным и определенным порывам моего естества?! Подумай, может быть, стоило тебе подойти, не чинясь, к той или иной представительнице рода человеческого и сказать ей, без ложного смущения и того дьявольского страха жизни, который в тебе всегда жил: милочка! Мой сын желает вас! Он как раз вошел в ту пору своего развития, когда способен самостоятельно определять выбор между тем, что хорошо, и тем, что плохо, между тем, чему должно быть, а чему быть и вовсе не должно!

Да, он слегка косит. Да, я сам пошил ему жилетку со свинцом внутри, чтобы нагрузить его шальные и разболтанные с самого младенчества нервы. Да, он способен работать в офисе только за ноутбуком и не переносит громких звуков! Но боже мой! Разве это самое главное в мужчине?! Разве

его мужественность, его готовность к продолжению рода, его решительный настрой на это продолжение умяются тем, что он смотрит на мир немного снизу вверх? Что за нелепость, милочка, эти ваши вечные отговорки! Вам нужно сейчас спешить? Вы торопитесь на работу? Хорошо! Пускай! Настоящее чувство как раз и определяется теми препятствиями, которые оно способно преодолеть, теми трудностями, которые ставят время и рок на его пути! Мой сын готов сейчас уехать вместе со мной в наш дом или, скажем, куда-нибудь за город дышать свежим воздухом, рыбачить на просторах Ладоги или, еще лучше, Белого моря! О, простор морской необъятный! О, Беломорье, край привольный и дикий!

Но нынче же в полночь мы оба будем вас ждать у себя! И если это не так, то пусть я забуду все три закона Ньютона! И ноосфера пусть отвергнет меня! Да простит нам Вернадский эту поэтическую вольность!

Ну что вы, я смущена, я не готова, говорит молодая дама в кашне и с желтым смешным зонтиком, украшенным по краям какой-то нелепой бахромой, я не готова. Нам с отцом понятно, что она страшно рада, но еще не может до конца поверить своему счастью. Я никак не ожидала, что все так обернется! Дело в том, товарищ директор школы, что для меня это рядовая поездка в Пашуково! Я просто ехала туда, чтобы провести свою одиночную мать! Понимаете, я для нее снимаю дачу с мезонином в большом дачном поселке у реки и каждую неделю вот так, в субботу с утра, предпочитаю для собственного успокоения и здоровья навещать старушку. Именно в силу этого я вряд ли смогу быть у вас нынче. Дело в том, что мать моя нездорова и мне в Пашукове нужно будет целый день хлопотать! Сами знаете, как воняют эти старые люди! Их следует часто мыть, переворачивать с места на место, смазывать пролежни, закапывать глаза и уши, ставить клизмы, требовать соблюдения лечебного режима. А потом, уже глубокой ночью, начинается мойка тарелок и мисок, ножей, вилок, галош, старых дачных велосипедов, бидонов из-под молока, давно не мытых полов, стирка и глажка трусов и подштанников.

Только, умоляю вас, осторожно! Не разбудите их!

Кроме этого, при выполнении всех этих дел нужно помнить, что старики нуждаются в общении! Да, да! В простом человеческом общении! Лучше всего, если старик поделится с вами воспоминаниями. Расскажет об утраченной юности, о годах любви и дерзаний. О том, что ему мило и дорого сейчас, а тогда он вовсе не ценил. Если же у больного нет такого желания или же он не помнит уже ничего ни об утраченной юности, ни о годах надежд, то ему следует почитать вслух.

А что ему почитать лучше всего, спрашиваю я, чтобы как-то поддерживать едва-едва завязавшуюся беседу. Дело в том, что мне крайне небезынтересна вся эта материя насчет стариков и старух! У меня на руках, можно сказать, два полноценных будущих старика, стопроцентных маразматика, и кто, кроме меня, обеспечит им сносную жизнь?! Это вопрос сакраментальный, милочка!

Сами подумайте, кто, если не я? Кто будет мазать им пролежни? Кто будет их переворачивать? А клизмы? Я уже предвижу всю значимость этой материи для меня как для любящего сына! Но, безусловно, самое важное — как общаться со стариком! Как завлечь его уместным разговором или толковой книжицей! Как разбудить его угасший разум для общения и дружеской болтовни о делах давно минувших дней!

О, это не важно! То есть важно, конечно, но не имеет никакой разницы, что именно вы будете читать! Хорошей литературы сейчас имеется довольно! Главное — читать что-нибудь такое, чтобы вам самому нравилось. «20 000 лье под водой», «Нюрнбергский процесс», «Мертвые души». Особенно хороши последние, ибо насыщают духовно, а не только дают повод для размышлений.

Да, да, я вас понимаю, мертвые души, говорю я. Это так естественно, старикам — и мертвые души! И мои глаза радостно блестят. Согласитесь,

трудно встретить просто так в общественном транспорте человека, женщину, которая так легко бы, буквально с ходу, могла бы расставить читательские приоритеты в таком нелегком деле, как чтение старикам!

Сами видите теперь, сударь, мои дела таковы, что, вероятно, я смогу прилечь в свою девическую узкую постельку только к утру. А уж о том, чтобы в полночь быть у вас, и речь, как видите, не идет!

Как не идет?! — ахаю я и замыкаюсь в себе.

Оставим ее, говорю я вежливо, но сурово и дергаю тебя за рукав. Оставь эту даму, отец! Я вижу уже, что не вызываю в ней тех эмоций и того желания, что переполняет сейчас меня! Так зачем? Ради чего?! Если нет взаимности в нас, то ничто другое не важно! И не горюй, не смей лить слезы! Неужели ты думаешь, отец, что твой сын, универсальный менеджер продаж, не найдет себе другой пары, если посвятит какое-то время путешествиям в пригородных автобусах или, тем паче, в ночных электричках?! Мало ли в них можно встретить достойных особ женского пола?! Не унижайся, отец, я смогу пережить этот отказ с гордо поднятой головой!

Что вы! Вы не так меня поняли! Постойте, милый юноша, я умоляю вас, не делайте ложных и далеко идущих выводов! Они, как правило, случайны и неверны! Скажите мне только ваш адрес, только адрес, и больше ничего! И завтра же, в воскресенье, ровно в полночь я дважды осторожно постучусь вишневой веткой в ваше всегда приотворенное окно!

Вот мой адрес, говорю я. Вот он всегда записан на внутренней стороне моей кепки, а также на подкладке моего клетчатого пальто. Его записала моя мать не сгорающими в вечности чернилами. Читайте его, милая незнакомка, переписывайте, учите наизусть, ибо время нашей встречи приблизилось! Ибо не смыкает глаз тот, кто готов к продолжению рода! Ибо чресла его горячи, ум пылает в пронзительной пустоте и призывает он лишь только тебя, о радость моя в кашне с зонтиком и мамой в Пашукове! Тот, кто готов к продолжению, — тот будет ждать тебя завтра с воскресенья на понедельник в доме по адресу, в городе этом, в этой стране, замкнутый в тело, из которого выхода нет!

### **персей и андромеда**

Где найти средство, чтобы отличить событие, которое было, от события, которого не бывало? Как мы отличим выдумку, не имеющую под собой никаких оснований, от зрелого, коренящегося в самом существе вещей вымысла? Ясно, что такое средство есть. Ведь мы помним массу вещей! Как тех, что были, так и тех, что не были. Сотни, тысячи разнообразных событий теснятся в этой голове и просятся на свободу! На волю, в рассказ, в повествование, в душу!

Но чему отдать предпочтение? Где критерий истинности или ложности происходящего здесь?

Папа, в конце концов, что ты молчишь?! Ты можешь не делать вид, что тебя нет?! Скажи что-нибудь! Что я могу сказать? Я вспоминаю, как в полночь с воскресенья на понедельник в наше окно на третьем этаже постучали вишневой веткой. Стояла дождливая серая осень, грязи было по колено. Выпив, по своему обыкновению, водки, я заснул прямо в пальто над таблицами четырехзначных логарифмов и натуральных тригонометрических величин Брадиса. В те времена я часто допоздна проверял их на предмет неизбежно вкравшихся ошибок. Кто он такой, этот Брадис, в самом деле, Господь Бог, что ли? Что, у него ошибок быть не могло? Могло, и очень запросто! Я всегда был и остаюсь в уверенности, что они есть!

Папа, мы здесь не об этом!

Окна нашей квартиры горели и мерцали в сине-зеленой темноте запойного ноября. Листья летали. Из стратосферы любому любопытствующему взгляду хорошо был виден Тютчев, сурово сидящий за своим письменным столом и всецело погруженный в изучение картины Рубенса «Персей и

Андромеда». Он смотрел и смотрел, не отрываясь, неспешно, несуетливо, как истинный ценитель. Митя остро чувствовал красоту Андромеды и завидовал смертной тоскливой завистью Персею, так уверенно и властно разглядывающему ее юное, спелое и свежее тело! Ему было ясно, что Персею мало того, что он, вот буквально с расстояния в полметра, имеет возможность разглядывать все подробности ее тела! Очевидно было, что в следующее же мгновение он заставит Андромеду опустить руку с платком, которым она едва-едва, только для вида, прикрывает до поры до времени то самое сладкое и самое томительное место, тот изгиб и ту впадину, тот зияющий страстью отверстый рот плоти, о котором ты столько лет безуспешно мечтал!

Сука! — в сердцах сказал Тютчев и даже привстал от возбуждения и негодования. Ведь он же педераст, этот Персей, вырвалось у него! Трансвестит! Не верь! Не верь ему, Андромеда! Он с Гермесом спал! О боги, какая мука!

Встав, Тютчев пробежался несколько раз по комнате, успокаиваясь и начиная думать о чем-то о своем. Не верь, не верь поэту, дева; его своим ты не зови — и пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви! — пробормотал он и тут вдруг услышал, как стучит в его окно ветка.

Нет, он сразу даже не понял, что это за ветка. Мало ли веток летает под окнами старого дома в ноябре, когда так ужасающе откровенно и страшно разверсты хляби небесные? Это могла быть и ветка акации, старая, сучковатая, мокрая, пахнувшая дождем и ветром. Или веточка осины, или тяжелая от впитавшейся в нее влаги тополиная ветвь. Это мог быть упавший на землю метеорит, небольшой, стремительно остывающий кусок межгалактической материи. В конце концов, кто-то мог метнуть камень снизу в окно Тютчева. От горя и щемящей тоски. Допустим, Тургенев. Или, что вероятнее, Фет. А что, вы думаете, просто стоять одному в измокшей одежде, под дождем, изнемогаю от одиночества, тоски и сырости? Зная, что вокруг тебя не просто пространство, но пространство СНГ? Нет, не просто.

О чем ты воешь, ветр ночной?

О чем так сетуешь безумно?..

Но вслед за стуком окно само собой раскрылось, хлопнула створка, в комнату ворвался ветер и дождь. Капли упали на пол. Запахло осенью, свежестью, мокрым, тлеющим в распаде листом, темным беременным небом.

Грехи наши тяжкие, сказал Тютчев и, пристально глядя в темноту, стал поправлять окно и штору. И тут вдруг увидел ее, полную цветов вишневую ветку! Она была бела и пышна, она была удивительна и нежна! Ее аромат вскружил голову юному идеалисту и лесбияну! И он всецело окупился в необычайное приключение, которое сулила ему приближающаяся полночь!

Здравствуй, здравствуй, мой нежный юноша, сказала вишневая ветка, доверчиво улыбаясь. Вот я, та, которая обещала быть к тебе из Пашукова! Ты мне позволишь сбросить свое кашне и поставить в угол насквозь промокший зонтик? Ведь скоро полночь!

Да-да, конечно! Будемте без церемоний! А где твой в высшей степени достойный отец? А, мой папа прилег уже. Он допоздна возился с тригонометрическими функциями. Понимаете, градус туда, градус сюда — и ты оказываешься за пределами допустимых погрешностей. Тебя несет не в тот сектор пространства, а возможно — даже и времени.

Да-да, мне это очень близко, улыбнулась незнакомка и протянула руку. Меня зовут П. Очень редкое имя. Да, древнегреческое. Но это не важно.

А что важно? А важно то, что я нашла в себе мужество ответить на ваш призыв и прийти сюда, к вам, глубокой ночью, когда никто не знает, где я и с кем! Да-да, это так важно и для меня! Я ждал вас, ждал, ждал! Вот присядьте сюда! Вы можете даже и прилечь. Вот так, да. Вот сюда. Хорошо. Хорошо, что вы пришли. Потому что если бы вы не пришли, вся моя ярость осталась бы неутоленной! Какая ярость?

Моя кипящая гневом ярость! Дело в том, милая моя, что я ненавижу Зевса! Да вы что?! И даже не столько его самого, как его вот эту гнусную привычку проникать к девушкам, к чистым невинным девушкам в виде дождя!

О, как я вас понимаю! Даже не знаю, что бы я сделала, если бы в мою девическую постель, в мою белоснежную постель, пахнущую моим невинным, но давно уже созревшим телом, пробрался дождь! О, не говорите мне об этом! Ярость, ярость, ярость терзает меня! Ведь посудите сами! Хорошо, ты пробрался углом ее тела, о, горе мне! А сами подумайте, как легче проникнуть в самые сокровенные уголки любого тела? Конечно, если ты всепроникающий бессмысленный и невообразимый ноябрьский дождь! Осень, ее прелости и туманности предполагают и расслабляют! Этот монотонный стук капель вызывает инстинктивную зевоту и доверчивость! Девушка приотворила окно — и все! В ту же самую минуту он уже здесь! Бросается в нее и впитывается, моментально проникая везде! Заполняя, насыщая своей влагой, вызывая сладострастную дрожь и спазмы! И, о горе мне, экзистенциальные судороги!

О да, милый юноша, говорите дальше, говорите, говорите, это так возбуждает меня! Это заставляет меня все теснее касаться ваших рук и ног, вашего изысканного узловатого тела. Вашего жезла, так гордо и упрямо пронзающего темное пространство времени! Так говорите же мне! Да, на чем я остановился? Он проникает... Но даже не это самое скверное! Самое скверное, что после этого рождается ублюдок Персей! Сын Данаи?! Да-да, кланюсь Олимпом, сын этой суки, ставшей причиной смерти своего отца!

Но чем он вызвал твой гнев, о милый юноша?

Чем?! Это ты спрашиваешь у меня — чем?! Ты, что уже возлегла тут бесстыдно и раздвинула свои голубые громадные форели, обнажив рот похоти?

Ну, во-первых, этот ублюдок Персей метнул диск и убил старика Акрисия, своего безутешного деда! А старик так хотел жить! Кому что в своей жизни он сделал плохого?! Но нет, его лысину расколосил диск его собственного внука! Персей убил старика вместо того, чтобы ухаживать за ним, переворачивать его, смазывать ему пролежни, ставить клизмы! Видно, решил сэкономить на даче в Пашукове! Хрясь каменным диском в темя — и нет царя Аргоса! И правильно, нет старика — нет и проблемы! И не надо мучить себя вопросом о том, что ему почитать на ночь, «20 000 лье под водой» или «Ворота Расемон»! Не нужно поддерживать с дедом долгие и бессмысленные разговоры об ушедших годах надежд и красивой, но мятежной юности!

Ну, а во-вторых, он убил жениха Андромеды и овладел ею! Вот смотри, я тебе сейчас покажу! Рубенс. Прекрасно рисовал, между прочим, дядька. Вот, полюбуйся! Тут изображен, по-видимому, момент, когда этот любовник Гермеса решил овладеть прекрасной Андромедой! Смотри, смотри на него! И на нее! Смотри на нее. Это млядская полуулыбочка, этот изгиб бедра, это томление во взгляде! Да она мокрая уже, млядь такая! А он, смотри, возбудился, но щита не бросает! Наученный опытом! До самого последнего момента подозревает подвох! Я думаю, что он до совершеннолетия тоже был аутистом! А потом ему Зевс мозги вправил. Но она, она! Ты посмотри на нее! О, как я ненавижу это женское непостоянство! О, как оно разъедает мне мозг! Как оно сжигает мне вены! О, как оно... О, Андромеда!!! О!!! О.

Папа?

Ты спишь?

Папа, ты все слышал? Папа?! Спит. Геометр, страж истины, алкоголик педагогики. Как все-таки сыро. Надо встать и захлопнуть это дурацкое окно! Какая сырость! Как зябко и неприютно! Почему мне всегда после Рубенса так одиноко! Что за несчастный талант был у старика!

А что стоило тебе, отец, действительно подойти к ней, к той прекрасной, прекрасной женщине, вчера в автобусе и сказать ей: милочка! Мой сын желает тебя! Он желает тебя! Он так устал онанировать, что готов простить тебе и твой отвислый зад, и твои обвисшие до колен груди, и твой рот, полный пошлейших золотых коронок и невыразимо отвратительных запахов! Он готов привести тебя в свой дом, ввести в свою семью, поселить тебя в своей комнате на кушетке под книжными полками, дать тебе плед и подушку. Да, он даст тебе простыню, гигиенические принадлежности, много бутербродов с ветчиной и сыром, а также маминого песочного печенья! Море маминого печенья ожидает тебя, о немолодая нимфа ноября!

Он немного робок. Да, в нем есть юношеская робость и застенчивость. Безусловно. Но это и понятно. Ему только сорок лет. Он еще ничего не знает о жизни, он только готовится познать те сладкие и страшные истины, которые тебе, судя по всему, уже просто осточертели! Он как Персей, не познавший своего Гермеса! Да и вообще ничего еще не познавший! Так приходи к нему, ты, Андромеда провинциального блюда, старая страшная сука, ляг безмолвно на диван и раздвинь свои гребаные ноги! Пусть мой мальчик утолит своего Рубенса, пусть его очарованность барокко наконец-то перейдет в мягкий покой и гармонию фламандской школы!

### осенние свадьбы

Вот, Валентина, это наш сынок Дмитрий! Он будет тебе мужем. Митя, иди сюда поближе, не бойся, это Валентина Владимировна, мы тебе о ней рассказывали! Она будет твоей женой! Да-да, сынок, посмотри, какая красавица. Э, а чё он руками закрывается? Совсем больной? И косит как сильно! И слюни! Вы же говорили, что он разговаривать может и все такое? А теперь что, выходит, что он совсем у вас идиот? С идиотом на этих условиях я не согласна!

Слушай, ты! Он не идиот, он книг больше прочитал, чем ты видела! Я тебя прошу, держи себя в руках! А чё ваш муж со мной так грубо разговаривает?! Я не нанималась тут выслушивать ваши грубости! Это он сгоряча! Он просто сына очень любит, потому так реагирует!

Да вы проходите к столу, что мы все на ногах! В ногах правды нет! Проходите к столу, вот у нас тут и оливье, и холодец, и мяско, и водочки сколько душе угодно! Проходи, проходи, не смотри на меня так! Просто ты при мне моего сына идиотом никогда не называй, ясно? Ему наедине можешь все что угодно рассказывать! Ну, это если, конечно, вы приживетесь вместе! А при мне, Христом Богом прошу, не смей! Я ж ведь отец, как-никак, имей совесть и уважение!

Да что вы, папаша, я что ж, зверь какой или сама не хочу в семью войти в хорошую и своим человеком стать?! У вас тут все ученые, вон одной библиотеки тонны три, сдавать ее в макулатуру не пересдавать! Да у вас и впрямь слезы! Царица небесная, да чем же я вас так обидела, папаша! Вы уж не обижайтесь на меня, дуру! Просто и вы ж меня поймите! Может, он у вас и не идиот, а самый что ни на есть читатель! Но мне с вашим академиком сопливым жизнь дальше как-то жить нужно! Пусть он хоть Ломоносов, но если у него слюни все время и он ходит под себя, то что?! Мне ведь тоже не хочется вросак попасть!

Да не ходит он под себя! Он вполне социален в своем поведении! И весьма воспитан, между прочим! Просто когда он волнуется, у него все эти симптомы усиливаются, понимаете, Валечка! Да вы садитесь, садитесь! В любом случае мы же все это наготовили, чтобы кушать, а не смотреть на это все!

Да, Валентина, садись. Полненькую? Ну, давайте, если не жалко. А чего ж мне жалко! Ты только сам не увлекайся, ты меня понял? Я тебя прошу, ради такого дня не увлекайся! Да все я понял! Да когда я увлекался последний раз?! Я тебе сейчас расскажу, когда...

Митька, иди сюда за стол с нами! Иди-иди! Да не волнуйся ты так! Валентина очень добрая! Она тебя любить будет! Садись! Будешь оливье? Будет! Конечно, мой мальчик будет оливье! Вы знаете, если что он и любит в жизни, кроме бани, так это оливье!

А, так вы его и в баню водите? А чё не в ванной? Что вы! Он сам ходит! Сам? Да! Сам, и более того, Валентина, я по второй сразу, чтобы не застаиваться, он оттуда еще и деньги в семью приносит! Как так? А так вот и так! Веники там вяжет! Он мастер у нас по веникам, как оказалось! Неужели? Да, представьте себе! И прекрасные веники, люди говорят! Просто прекрасные!

Я люблю Ким Бэсинджер!

Это что он такое сказал?! Кого это он еще любит? Ой, да не обращайтесь ради бога! У нас, понимаете, большая фильмотека, и он очень любит фильмы смотреть, вот и понравилась ему одна американская актриса, зовут Ким Бэсинджер! А! Понятно. А мне нравится Мэрил Стрип, если честно! Я все фильмы видела с ее участием! Особенно «Женщина французского лейтенанта» мне нравится! Не смотрели?!

Ну, давай, Валентина, еще по одной, чтобы вы друг другу в конце концов понравились!

Давайте! Хорошо! А что за водка? Смотри ты, дорогушая небось! Я такую никогда и не пила! А скажите, у него с этим делом все в порядке? Ну, вы понимаете, о чем я. Я к тому, что сопли соплями, а импотент мне и вовсе не интересен! Вы ж понимаете, мне зимой только пятьдесят два, и мне еще очень даже все эти дела интересны! Вы уж извиняйте, папаша, что я так прямо говорю, но я вообще такой человек открытый! У меня, если хотите знать, всегда так, как что надумала, сразу говорю, никогда в себе не скрываю! Меня за мою открытость и в коллективе уважали всегда!

Валентина, как отец тебе говорю — об этом, как говорится, не переживай! Уж чего-чего, а этого у тебя будет сколько душе угодно! Слушай, давайте за столом о чем-нибудь о другом! А о чем? Ага, тогда вот вы еще мне скажите сразу, извините, папаша, что так прямо. Вы квартиру сразу на меня переписете или потом как-то оформлять будете? Я вам сразу говорила, что мне нужны гарантии! А то, как говорится, много таких охотников было попользоваться! Я только душу открою, только настроюсь, а у него то жена уже есть, то еще одна любовница!

Валя, у него точно нет жены. И никогда не было любовницы! А в квартире мы тебя пропишем пока, а потом ведь завещание будет на Митьку. Если официально станешь его женой, то мы тогда...

Ты что, боишься меня? Я не знаю. Обожди, сейчас только в туалет схожу, а то там твой папашка, кажется, заснул. Помоюсь, лягу, а потом мы с тобой поговорим. Поговорим? Поговорим. Это хорошо, я люблю разговаривать, особенно когда выпью, если честно. Подождешь меня? Подожду. Спать не будешь? Нет. Вот и хорошо.

Папаша, выходите, сколько можно! Хватит там книги читать! Теперь я знаю, зачем вам такая библиотека!

Привет! Привет. Вот и я. Да подвинься ты, в самом деле, я ж не помещусь! Вот так. Хорошо. Хочешь меня обнять? Да ближе ляг, ближе! Да, вот так. Укрывайся, а то застудишься, осень в этом году страсть какая холодная! А у вас тут дует изо всех щелей! Надо будет по весне вам тут все щели замазать! Ну, это не проблема! Я это все могу! И замазать и покрасить. Э, а ты чё, плачешь?!

Вот, елки! Что это вы с твоим папашей весь вечер рыдаете! Он в начале, ты в конце! У вас с ним горе от ума, я думаю. Так, а ну повернись ко мне! Кому сказала, повернись! Э, нет, так не пойдет! Совсем не пойдет. Ты не плачь. Чего, в самом деле, плакать. Вот доживем до весны, ремонт сделаем. Слышишь, как ветер свистит за окном? И дождь стучит. Вот ничего этого не будет. Скоро наступит снежная долгая зима. Мы с тобой елку нарядим. Ты любишь елку наряжать? Вот видишь! И я люблю. Просто очень люблю!

У вас-то в доме игрушки елочные есть какие-нибудь?! Ну не беда. Купим. Я люблю знаешь какие игрушки? Вот чтобы они были большие и круглые. Это если шары. А если не шары, то тогда лучше всего вешать шоколадные конфеты!

Да, соберем гостей. Кого ты позовешь? Ким. Хорошо, пусть Ким. А еще кто придет? Питер Пауль Рубенс. С женой. Хорошо, пусть с женой. Вот уже трое. Потом, само собой, Андромеда, три. Потом Зевс, Гермес, Персей, Вакх. Афродита и Венера. Каллиопа, Мельпомена, Талия. Петрович с ребятами придет с металлургического, и девчонок позовем с моей бывшей бригады, хорошо? Они такие заводные, страсть! Наши соседи снизу тоже пусть приходят, Мить, а? Ну те, что учителя в школе, муж и жена. Да я согласна, что они не очень, но пусть все равно приходят. Он так хорошо на гитаре играет.

Петр Сергеевич, истопник из бани, будет обязательно, вот как хочешь! У него никого уже не осталось, что ему всю новогоднюю ночь дома сидеть самому?! Да не ори ты так! Пусть будет, что я, против?! Только ты ему скажи, что как выпьешь, ссать нужно в унитаз, а не в раковину! А то привыкли вы там в своей бане ссать куда захочется! Да никогда он не ссал в раковину! Расскажи мне! Да я вас как облупленных вижу! В позапрошлом году...

Не надо, Валя, пожалуйста! Хватит! А что Дима?

Я с ним говорила. Дима не придет! Почему?! Слушай, хватит уже об этом, а? Ну сколько можно?! Как праздник, так снова об этом начинаем говорить! Ты думаешь, мне приятно это все? Мне тоже неприятно! Но я считаю, что Дима прав. Пусть поживут немного, пусть оботрутся. А там видно будет. Может, нам и не нужно с ней знакомиться. Знаешь, как молодые, поживут три месяца и разбежались! А мы? Да что мы, что мы! Митя, ты же не даун! Ну ты же должен понимать, что мальчику стыдно, что у него такой отец! Какой отец? Нездоровый отец! Ты же понимаешь, что ты нездоровый отец?! Понимаешь! И мы с тобой об этом уже тысячу раз говорили! И хватит снова возвращаться к этой теме! Скажи спасибо, что я тебе сына родила на старости лет! Что сын здоровый получился, не в тебя! Что у него все хорошо, что училище закончил, что девушку хорошую нашел, что свою жизнь устраивает! И, слава богу, без нашей подсказки знает, что ему делать, а что нет!

Э, ты чё, плачешь? Так, а ну повернись ко мне! Кому сказала, повернись! Э, нет, так не пойдет! Совсем не пойдет. Ты не плачь. Чего, в самом деле, плакать. Сын у нас с тобой. Даже я не думала, что так все выйдет, а, видишь, вышло! Нет, Митька, серьезно! Я как тогда стала у вас жить, вначале думала, что года не протяну! А вот, смотри ж ты, сколько прожили вместе! Да не рыдай ты так, господи! Вся подушка же уже мокрая! Нет, Митька, серьезно. Уж лучше в раковину ссы, но не плачь ты так горько! Можешь даже вместе с Петром Сергеевичем! Не плачь. Не плачь. Вот доживем до весны, ремонт сделаем. Слышишь, как ветер свистит за окном? И дождь стучит. Вот совсем скоро ничего, ничего, Митька, этого не будет. Совсем ничего.

### **весьегонская волчица**

Ты помнишь, мама, как мы ехали всей семьей на теплоходе по Волге и как три дня подряд по берегу нас преследовала огромная красно-бурая волчица? До двух метров в холке, до семи метров в длину она бежала и сверкала своими глазами, каждый величиной с небольшой величины квазар. От ее рыка у капитана судна случилась диарея. Ты еще говорила мне, смотри, весьегонская, весьегонская волчица бежит!

Прошло много лет, и повстречал вдруг я весьегонскую волчицу у нас на бульваре Пушкина. Приветтики, сказала мне она, как живешь-можешь, Митька? Я онемел. А как раз апрель, снежок только-только местами сходить начал, но ветер еще холодный, свежий, сильный, ее холку треплет.



Она стоит, смотрит на меня своими квазарами и вся сияет красно-бурым сиянием! Снегурочка, да и только!

Глазами повела, лапой по сугробу слежалому ударила, взметнулся снег до небес, посыпались мелкие льдинки сверху прямо мне на личность. Что молчишь, обделался небось от такой встречи? Не обделался, отвечаю, но могу запросто. А ты не торопись, ласково говорит она. Вот садись мне на спину, в гости к тебе поедем.

Тут подалась она вперед, прилегла на вытянутые лапы грудью, подставила мне холку. Дрожащими руками вцепился я в ее густую длинную шерсть, перекинул ногу, поерзал немного, устраиваясь, и мы поехали. Раз, два, три — и полетели мы над бульваром, только ветер в лицо, да солнце, да грачи, да ветки! Еще выше поднялась волчица и еще выше. Весь город как на ладони! А потом раз, крутанулась она вокруг своей оси, и очутились мы с ней у нас в квартире.

Потолки у нас, сами видите, очень высокие! Здесь почти шесть метров! Не верите?! А между тем тут даже больше. А иначе как бы сюда волчица влезла?! Никак бы не влезла. Разлеглась тут, золотые кольца на стол побросала, шубу в угол швырнула, из рюкзака гостинцы доставать начала. Я глянул и обмер. Там и красная икра, и черная, и яхонты, и бирюза, и малахит в шкатулках! Говорит, неси мне, Митька, мамино печенье! Ну, я, естественно, мигом на кухню. А она говорит: водку ты пьешь?

Не-е-е, говорю я, мне нельзя пить! Я и без нее болен.

Выпила она водки, печеньем закусила и говорит: не думай, Митька, обо мне плохо. Никакая я на самом деле не волчица, а просто бабушка твоя по отцовской линии издалика приехала. Рассказывай, говорю, бабушка! А цвет, а рост, а возраст, а громадные глаза?! Так глаза, говорит, — это чтобы истину лучше видеть!

Какую истину, бабушка? А такую, внучок, тяпнула она еще водки стакан, занюхала печеньком и взберишила седеющие волоски на моей голове. Вот скажи мне, Митя, как ты думаешь, Христос есть? Есть, говорю, бабушка. Хорошо.

А что в нем такого хорошего, спрашивает она и внимательно мне в глаза смотрит. Что в Христе самое что ни на есть главное?! Ну как, говорю, возлюбите друг друга да не сотвори себе кумира, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай брата осла своего...

Ясно, махнула рукой бабушка. Так вот, Митька, что я тебе скажу. За эту всю ерунду апостолы умирать бы не согласились! Как это не согласились бы?! А так, сказала бабка. Это все нравственные императивы, и нормальный галилейский рыбак за них на смерть бы не пошел! А вот скажи мне, за что они все-таки пошли на смерть?!

За веру, говорю, пошли на смерть! Какую такую веру? Ну в Христа! Так что ж в него верить-то было, внучок! Он же между них живьем ходил, мертвых оживлял, бесноватых и расслабленных исцелял! Тогда не знаю.

Слушай сюда. Рыбаки умерли за то, что видели своими глазами. Не за нравственность какую-нибудь и даже не за любовь к ближнему! Они умерли за ту истину, которую видели своими глазами! Они умерли потому, что Христос — Бог! И все. Истина — это не что, Истина — это Кто!!! Каждый из них дал самое высшее из всех возможных свидетельств — свою жизнь. И свидетельствовали они о том, что Христос умер и воскрес! Именно этот факт настолько безмерно важен, что все остальное перед ним ничто! Своими жизнями апостолы свидетельствовали о том, что видели своими глазами, о том, что Христос был распят, умер, а на третий день воскрес! Да, именно за этот факт они отдали свои жизни.

И больше ни за что им умирать не следовало, да они бы и вряд ли согласились! Они же были рыбаки, а не тупицы! Они были очень простые, рассудительные и основательные люди, не склонные к экстазам и умозрительным теориям! Это ж были не украинские аутисты, Митя, а еврейские рыбаки!

Вот скажи мне, Митя, что они стали делать после того, как Христа распяли? Не знаю. Да то же самое, что и до него, рыбу они ловить стали!

Они ведь рыбаки, так что ж им еще делать?!

А потом что случилось? Что? А потом Христос воскрес! Это мог сделать только Бог! И вот за это уже стоило умереть, Митька! Потому что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, внук ты мой недалекий! Да если он не Бог, то страшнее существа вообще не рождала земля человеческая! Сам посуди, сколько за него народа на смерть пошло?! А кроме того, вспомни, кто еще в истории человеческой говорил о себе, мол, я есмь истина и свет?! «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня». Да никому такое и в голову не приходило! И вот после этого всего если он не Бог, то вера наша не просто тщетна! Она отвратительна и невозможна! А Христос — чудовище!

Но Христос воскрес, внучок! Христос воскрес! А воскреснуть мог только тот, кто Господин над жизнью и смертью, то есть Бог!

Ты слушаешь меня, Митя? Э, брат, да ты с пятидесяти граммов охмелел! Это с непривычки. Нет, все нормально, я слушаю. А вдруг у него была просто клиническая смерть?

У кого клиническая смерть? У чудовища клиническая смерть. Вот я знаю, что у меня была клиническая смерть, а я потом встал и пошел.

О, Митька! Вообще, Христос есть, и он Сын Божий, а Бог триедин, и имя ему любовь. Если ты христианин, то тебе и доказательств никаких не нужно. Самое главное доказательство — твоя собственная душа. В ней Христос, и она христианка. Душа жива только Богом.

Но за твой вопрос следует выпить отдельно! Хочешь, можно пойти и по этому пути. Я, конечно, выпившая волчица, но давай попробуем! Итак, у Христа, по-твоему, была клиническая смерть? А потом в день своего воскресения он встал и километрах так в десяти-пятнадцати являлся двум своим последователям? Ты это хочешь сказать, чадо? Ну, допустим! Давай разбираться.

У нас есть свидетельство римского центуриона! Ты хочешь мне сказать, что римский центурион врал Понтию Пилату, пятому римскому прокуратору Иудеи, Самарии и Идумеи при императоре Тиберии? Не смейся меня, отрок! Не смейся, ради всего святого! Потому что у меня кроме моих кварзов есть еще мои клыки!

Ладно, сказал Митька, клыки так клыки. Но вдруг центурион ошибся?

Хорошо, сказала бабушка, тогда я покажу тебе вот что! И она бросила на стол длинную черную плеть. Это что ж это такое?!

Это флягрум, *flagrum taxilatium*, так называемая язвющая плеть. Вот видишь, здесь пять концов затвердевшей кожи, на которые привязаны деревянные кубики, овечьи кости и свинцовые гирьки. Вот этой штукой Христа избивали в течение сорока минут! Вот этой? Да, именно этой, сказала бабка, достала из кармана широкой цыганской юбки беломорину и закурила, лихо выпуская дым в потолок. Из Христа сделали кусок окровавленного мяса. У Него, Митя, не осталось кожи на теле! Те, что избивали Его, особо старались попасть по самым нежным и самым болезненным для ударов частям человеческого тела! И смею уверить тебя, им это удавалось! Они не спешили. Били втроем, вчетвером. Менялись. Переводили дыхание. Обменивались соображениями по поводу того, когда Христос упадет на колени, потом заключали пари на то, когда Он не сможет уже на них стоять. Последнее пари заключали на то, в какой момент Он потеряет сознание. Они пили медными ковшами сильно разведенное холодное вино со льдом и снова возвращались к своему занятию. Они были очень разгорячены, Митя!

А потом на Него накинули одежду, связали длинными веревками за шею и ноги с двумя иудейскими разбойниками, так что веревки провисали и волочились в пыли, и повели к месту казни в терновом венце. И на

протяжении всего пути к Голгофе Его продолжали избивать. Затем дали выпить уксус и желчь, распяли, а потом после нескольких часов мучений ударили под сердце копьем. После этого мертвое тело положили в пещеру и привалили камнем, у которого выставили стражу.

Так вот, Митя, давай мы тебя или лучше кого-нибудь другого, повыносливее, например меня, будем избивать в течение часа флягрумом, потом наденем на него терновый венец и станем бить тростью, потом напоим желчью и уксусом, потом распнем, а затем пронзим ребра копьем! Пускай мы положим его во гроб на пару дней, и вот если он вернется из мертвых, вот потом мы и потолкуем о клинической смерти! Хорошо?

Согласен, сказал Митя. Но что мне в этом? Пускай, Христос — Бог! А мне-то что? Зачем мне все это?

Ага, Митька! Зачем! А затем, что если Христос — Бог, принявший крестную смерть за нас, выкупивший нас у смерти, значит, и наши жизни с тобой, Митя, подобны Его! Значит, и они устремлены в вечность! Он принял страдания и крест и мы, следовательно, должны! Христос пришел к Отцу своему, не миновав мучений и скорбей, значит, и нам к Отцу небесному есть только один путь! Страдания целительны, Митя! Их горькое счастье — свет для заблудшей души! Надо идти на маяк собственной боли, как идет корабль сквозь мрак и холод, не различая берегов земли! Верь своей боли, как корабль маяку, и ты никогда не утонешь!

Это ты меня утешаешь как советского инвалида детства?

Нет, я просто хочу, чтоб ты понял — болезнь имеет смысл! Смысл, Митя, и смысл великий!

Так что ты чуток поменьше жалуйся и читателей не жалоби без дела! Хладнокровней, Митя. Ты пойми, твоя болезнь, твое безусловное и очевидное ничтожество, неумение жить и приспособляться к жизни, все тщетные желания и оскорбленные чувства — это все пока только флягрум! Только флягрум, детка! А тебе предстоят еще желчь, уксус, распятие и копьё!

Да ты с ума сошла, бабуля!

Да какая я тебе бабуля, сучий потрох, зарычала весьегонская волчица и оскалила свои громадные желтые зубы! Тамбовский волк тебе бабуля! Ударила лапой по западной стене и исчезла, будто в тартарары провалилась! Далекие апрельские звезды закачались в темнеющей синей высоте. Холодный морозный ветер ворвался в комнату, я лег на пол и закрыл лицо руками.

Будь здоров, уродец! — донеслось издалека.

И ты не болей, прошептал Митя. Ты что хотела? Укрепить в вере или разуверить?

Так и прошептал! Не верите? С трудом, если честно. И правильно. Я, в сущности, и сам не верю. Так что, вы точно деньги не принесли? Жаль. А может, друзья мои, дали бы пока задаток? Смотрите, какие потолки, а? А коридор какой широкий! Да только в прихожей этой бывшей коммуналки кого угодно распять можно! Хоть одного, а хоть, пожалуй, и троих! Что скалитесь, черти?! Дали бы все же задаток! И вам бы спокойнее было, да и мне было бы веселей! Да ведь не дадите, не дадите. Вы не дадите, вы только отнять можете! Прости меня, Господи Боже мой! *Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любви сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя, а ще бо от дел спасеши мя, несть се благодать и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянных, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель...*

---

---

НАТАЛИЯ ЧЕРНЫХ



## РОССИЯ-САЛОМЕЯ

### Память о памяти

Желала бы — не часто желаю, мутит меня от пищи и питья, —  
желала бы увидеть и осязать,  
такой набросок памяти:  
как у одра стою, черчу карандашом свинцовым  
по плотному листу  
её фигуру и головку,  
а она уже не движется. Уснула  
память.

Наплакавшись до сладости под языком,  
как девочка в компании мужской,  
когда одно лишь чувство  
подсказывает воинам, что перед ними не мальчишка,  
насмешки сыплются, ни за что и ни про что, а так,  
живи и привыкай.  
Нет, жить она не будет.

К чему зерну божественных кровей, святыне юной —  
мир с игровым началом. В ней нет и не было игры,  
она острее настоящего.

Изобразить бы мне свинцовым остриём  
усталость памяти: так бледная жена в неубранной квартире  
сначала сетует и ропщет, а потом вдруг вносит аромат сырого дерева,  
вдруг — веянье гвоздик и хвои. Люблю гвоздики,  
особенно белые и красные, у икон, и не люблю тюльпаны — это шельмы.

Вот так ещё изобразить бы память: она до жути медленно стремится  
к Чаше в молчаливой и встревоженной причастной чередке,  
чуть, из-за тесноты, неловкая, как поют «Тело Христово».

Ещё вот следующий ракурс: в нервическом волнении,  
истощённая, как в испанской кинокартине, с лазурной яростью,  
в той ярости не вижу злобы, а только тепло незаданных вопросов,  
расшвыривает мягкими руками всё: иронию, досужие предположенья,  
насмешки, Всё сминает и сжигает ладонью рыжеватой.

---

Черных Наталия Борисовна — поэт, прозаик, эссеист. Родилась в городе Челябинск-65 (ныне Озёрск), в семье военнослужащих. С 1987 года живет в Москве. Окончила библиотечный техникум, работала по специальности. Автор нескольких поэтических книг. Живет в Москве.

Человек и его память — вдовец у гроба жены,  
несчастный у гроба возлюбленной,

человек и память — как женщина и денди,  
её нельзя любить, и верить ей нельзя.  
Ведь человек глупее и слабее.

Отрадное, Покров.

### К пище

Смешное слово: пища.  
Поди скажи младенцу: не пищи. Приём дешёвый,  
с него жизнь начинается.

Любовь и пища — пища и любовь;  
еда как утешение и радость.  
Что греет, веселит и силы прибавляет,  
а после — сладкий сон.

Мир вестницам и радуге.  
Начну, однако, с грустного.

Мне радоваться нечем; съела всё,  
в рот крошки не попало. Всё раздала весёлым тунеядкам,  
а по счетам — сама и виновата.

Надеялась, вымаливала, ожидала,  
работала на свой воскресный мир,  
где творога стакан, да хлеб, да чай с лимоном,  
пожалуйста, несладкий —  
всё доступно.

Одна и в праздности. В печали, да на воле.  
Стирать лишь; а готовить и не надо; всё купится.  
Так годы отошли,  
лежат рядком в сосновых домовинках,  
по лицам хитроватые улыбки.

Всё вышло навпаки.

Как юная монашенка таскала камни к храму,  
так я таскаю пищу. К чему-то мне она.

Размешивать, отмеривать, следить,  
да всё равно сожгу, и не хочу готовить.

Лишь голос этот: людям надо есть,  
даже когда не просят — люди просят есть,  
по всей округе солнечной и лунной,  
на Марсе и Венере — просят есть.

Так что несу, разогреваю, мою, раскладываю,  
порой сквозь сон, иду, несу тарелки —  
ешь, Лисонька, ешь, Петя-петушок.

Пока несу, поэты разворуют.  
Обидно; ну да наедятся всласть,  
зачем и пища — и зачем готовка.

Мне ж есть невмочь. Зернистый сыр да чай,  
всё купится. Да песня не о том.

### Друзьям

Глубоко в памяти моей друзья мои;  
вас люблю, и не звоню, и не прошу прощенья.  
Так бывает: руку в благодарность жмут, глаза сверкают,  
а потом ни глаз не надо, ни руки,  
лишь в голубоватом свете глубже  
образ друга, на котором время запеклось.

Не звоню, а помню тяжче; не прошу прощенья.  
Что звонки из прошлого; порой гнетут они.  
Ухожу от вас; но дружбы нерушимы,  
пусть гуляет лебедь в городском пруду.  
Это вам, друзья, расти и золотиться  
образами над моей могилой.

Что тиха — не верьте; я страшна,  
я земля под вами, я волнуюсь.

### Россия-Саломея

Так утопленница ходит по дну,  
Саломея,  
то пяточкой дна достанет,  
а что та пяточка дну:  
поживее, соня, живее.

То звездой рубина позвякивает,  
то гимнасткой без ленты вскакивает,  
влечет течение донное,  
холодное-холодное.

Танец страны-Саломеи:  
утопленница в омуте так  
пляшет,  
не растёт из ран мак,  
никто целины не пашет.

Не в маке и целине страна.  
Всё плывёт она,  
не достигла дна.

Саломея от танца бледна.

Всё так же — бомжи и соседи,  
да автобус китовый едет.

Саломея речную куделю вьёт.  
А на лбу стал мартовский лёд.

### Веяние

Так зёрна от веянья, так шелуха беззащитна.  
Самые слабые, сиюминутные — как зёрна от веянья, зеница всполоха.  
Люди, а не стихи — обычная пища Молоха.  
Все шелушинные в Лете надкрылия яко шелка,  
Силы Небесные у жерновов и на гумне мироздания:  
телега стара, лошадка солова.

Изнемогаю от праздности.  
Ясность не требует блёсток, блёклость всегда не одета.

Как ясность суметь удержать и как блёклость преодолеть:  
сердце размазано с тушью по боку фарфоровому,  
капли спадают в единое озеро.

Не переступить через предательство,  
шельму не ошельмуешь.  
Ложь миловидна, заботлива, в ней сострадание дремлет,  
врагиня лишь кукла печальная с дикой мигренью,  
черноволосяя тварь, о которой печётся сам Бог, как и о каждом из нас.

Но таков человек: не пересилить очарования праздности,  
не перейти сквозь минное поле мелких коварств,  
а лжи монголоидный лик, нос каплевидный да волосы дымные,  
рыхлая кожа — долго ещё будут мучить тебя.  
Нет на земле крепче любви, что собирает в одно жертву и хищника.

В озере чёрном тонут и безответственность лжи, и бездарность её,  
обаяние бледное, жажда помочь и простить, тонет всё.  
Остаётся неведомый, выплеснувшийся из озера океан,  
над которым ночь навсегда.

Не развести боль руками, не исправить суставы судьбы  
ни знахарю, ни эрзя, ни мокше, ни удмурту.

Лишь на гумне мироздания веянье, ходит великое веянье,  
дивным дыханьем взметая судьбы, часы и вещи:  
косынку да хлеб.

Нет различения, выбора нет  
между тщетным смиреньем, отказом от битвы — он только на время —  
между тщетным смиреньем и яростью битвы.  
Победа, конечно, приносит то, что едва победил.

Не затем боль терплю, чтобы прошла, и не ради здоровья.  
Не затем мы снисходим к предателям,  
не затем предаемые — ангелы и хранители верных своих иуд,  
а затем, чтобы прекратился привычный порядок вещей.

Как выходишь на нужной тебе остановке,  
 оставляя и шум разговоров, и шёлк дорогой шелухи,  
 оставляя и трепетный город, в котором всё родинки милые,  
 лица, голоса, жесты, — всё, что любил,  
 ради праздника и ради чуда,  
 ради безлюбия благословенного,  
 шелухи бессловесной любви.

На столе — крест и хлеб.  
 Так свобода от Бога,  
 но и сильная тяга Его.

### Памятник

Уж время памятник ваять, уж время выбирать металл:  
 медь, бронза, сталь Дамаска, сиречь, магниторогского завода,  
 уж время, время. Оттого ли, что угол солнца так весною мягок,  
 что асцендент прекрасен и недостижим,  
 что полузнание царит, а начала знаний отдалены за преступленья  
 каждого и всех.

Мы все преступники.

Но памятник живёт, не просит есть, ни пить, желанием не дышит,  
 что делать с ним, не знает и художник, мастер вездесущих средств.  
 Уж время, думаю, а памятник растёт.

Все мои просьбы стёрлись и покрылись ложью, предательство ест шоколад  
 вокруг,

теперь уже нельзя и доказать, что я когда и у кого просила,  
 просила ли. А только: я жила, была как ветер, разметала пламя,  
 жгла, согревала, нежила, несла,  
 с богатыми не ела, не водилась с двуличными, не знала подлецов,  
 да много что ещё. И мне к лицу даже сплетни обо мне.  
 Так перед ликом бронзовым идола  
 жгут жертву.

Но крови жертвы нет на бронзовых руках.

А пепел переходит с рук на руки.





---

---

## СУХБАТ АФЛАТУНИ



# ЖАЛО

*Повесть*

**С**разу чтобы потом не докапывались говорю что УБИЙСТВО произошло из-за случайности самообороны, не я на него первый а он на меня первый я вообще против убийства, я позитивный, реально редко дерусь, почитай характеристику на меня дали матери в махалле ей адвокат посоветовал и она туда пошла там такое про меня не знаю сколько она им сунула, ошибок дофига я и то лучше справку напишу, мать там наверно плакала чтобы они хорошо написали вот это меня реально БЕСИТ зачем она везде плачет?!?! Там еще что занимаюсь спортом провожу здоровый образ жизни. Блин! Все из-за этого УБИЙСТВА жил нормально работал даже хотели отправить на компьютер. И продукты были но я против их чтобы на них Азиз-акя нам деньги на холодильнике клал, я бы научился компьютеру и уехал в Ташкент они меня бы там вообще с руками и ногами. У меня же талант математики я бы так заработал и ремонт в ванной бы а то унитаза гостям показывать стыдно. А тут такая лажа человека убил по случайности, я правду говорю но мать права что Азиз-акя меня отмазал только зачем она всегда это вспоминает я и так ему спасибо! А Азиз-акя она не любит просто благодарность, что он отмазал и материально дал денег но она же сама не материальная она много читала а потом стала инвалид и я думал всегда что буду ее поддерживать от других и тут блин это УБИЙСТВО!

Удар.

Падает.

Снова удар.

Остановка замирает.

Светит солнце. Для старухи, для парня, для всех людей на остановке. Для парня, который наклонился над упавшим.

Для упавшего — уже не светит.

Он уже под другим солнцем.

Под совсем другим солнцем.

Я хочу быть КУЛЬТУРНЕЕ не только из-за матери Например я пишу вот этот дневник для себя чтобы в старости поприкалываться но я не пишу некоторые слова я их пробовал написать ну да выглядят как будто харып писал а когда в разговоре то они ничего нормально только не с матерью, от обычного х.. ее трясти начинает «Марат, эти выражения при мне не говори!» Ладно ладно.

Всю ночь за стенкой кричала женщина может кайф а может били, я хотел постучать вместо этого закурил. Опять вот кричит я пытаюсь вспомнить кто там вообще за этой стенкой может садисты конечно реальные садисты хочу постучать чтобы задумались садисты суки засыпаю.

---

Сухбат Афлатуни (Абдуллаев Евгений Викторович) родился в 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Лауреат «Русской премии» (2005), молодежной премии «Триумф». Как прозаик в «Новом мире» печатается впервые. Живет в Ташкенте.

Утром спросил мать, она мне нет за стенкой не садисты интеллигентная семья и учителя. А кто ночью кричал блин учителя? Мать ничего не понимает ее послушать кругом интеллигенты-учителя, в то же время кругом харыпы и хамло и ночью орала хамло реально.

Витек достал травы, надо прятать чтоб мать не нашла, я же не наркоман только иногда как дядя Саша он тоже только иногда. Сегодня мы ругались, мать хотела чтоб я рожком, а у меня есть свой способ одевать обувь пальцами да.

Чем дальше пишу тем больше хочется чтобы это читали другие, наверное надо было сперва о себе биографию жизни и еще фотку когда мы в горы ездили Витек сделал, я там такой как вылитый качок, не верят когда говорю что качков не перевариваю а мышцы родные, правду говорю даже мать на меня смотрит когда я летом без майки, я знаю ей при этом приятно что она меня не зря и если бы не убийство, она бы еще больше гордилась и смотрела на меня, я бы закончил компьютер уехал в Ташкент лучше даже Казань, у матери там двоюродная, мать говорит, надо пользоваться родственной связью пока не поздно потом умрет будем локти кусать. Работу я бы там нашел раз у меня уже был компьютер, а еще там все бухают, а я алкоголь почти не пью, и моя цель жизни не быть как отец бабник-алкаш, только мать запрещает мне так говорить о нем, но я правду говорю. И если бы не убийство я бы конечно уже в Казани и мать туда взял, она один раз там была у сестры на свадьбе, море впечатлений. А тут убийство, суд и теперь на эту работу «альтернативку».

Попросил у матери почитать литературу только не Пушкина, я его уже читал, мать обрадовалась полезла куда-то, сейчас читаю, Витек это уже читал, у него семья полная с отцом мать учительница глухонемых, отец у него на рыбалку и вообще энциклопедированный, и у Витька мозги есть только пользоваться не может. А моя мать считает Витек что оказывает влияние это она еще про траву не знает, но я ее и не курю, просто лежит на всякий случай и все. Только один раз с Витьком, детская доза, даже смешно просто.

Вик-Ванна не помнила войны.

День был жаркий, она проснулась мокрой и старой, хотя, в общем-то, и была старой.

Но день был жарким с самого утра. Нечем дышать.

Кошка вернулась с воздуха и терлась мордой о стекло.

На стуле лежало платье.

Вик-Ванна позавтракала кефиром и приободрилась.

Вчера перекалывала медали. Со старого платья на новое. Уколола безымянный палец. Уколоть безымянный палец — это к денежным затруднениям.

Новому платью тоже лет двадцать. Одевала только на мероприятия. Оттого оно совсем как новое и модное.

Палец болит, а зеленки нет. И йода нет. Но зеленкой лучше.

Позвонила соседской Нинке и посоветовалась. Насчет зеленки. И насчет расценок на такси, какие сейчас.

Она всегда звонила куда-то и советовалась, на всякий пожарный.

А встреча в половине десятого. Или в половине одиннадцатого. Надо посмотреть. Приглашение на телевизоре. Нет, на трюмо. Плохо, что зеленки нет, зеленка лучше йода. Что по телевизору? Наверное, опять это. Включает.

Телевизор нагревается. Кошка прицеливается, запрыгивает на стул, обнюхивает медали.

Приглашение на телевизоре. Очки — на трюмо. Она старается обходиться без очков, только вдаль. Вблизи — каша-малаша. Смотреть только вдаль. И с памятью так. Что было недавно, помнит плохо. А далекое — хорошо.

Кроме войны.

Войну она не помнит. Хотя она ее участница. Хотя платье провисает под гроздью медалей; вчера перевешивала с платья на платье — укололась, к денежным затруднениям. Хотя имелась фотография, где она молодая в форме. Хотя что-то смутно-смутно припоминалось, но не то. Хотя.

Она держит приглашение. В половине одиннадцатого, возле Театра имени Алишера Навои. «С уважением, Оргкомитет». Кошка сидит на медалях. «С уважением» и подпись.

«Уйди, девушка, мне нужно сейчас надеть платье и идти на День Победы».

На военной фотографии Вик-Ванна с подругой. Никакой подписи, военная форма, улыбки. Не помнит имя подруги. У подруги было хорошее имя. Пусть она будет «Настя». Хорошее имя для подруги — Настя. «Настя» еще жива и даже слышит, когда Вик-Ванна разговаривает с ней. Сердцем слышит.

Вик-Ванна смотрит телевизор.

Вик-Ванна боится трех вещей.

Боится поломки телевизора, смерти кошки и своей собственной смерти.

Своей смерти она боится меньше всего. Деньги на похороны ею накоплены, обменены по приличному курсу на доллары (долго советовалась, прежде чем довериться) и зашиты в подушку, соседская Нина знает.

Смерти кошки она боится сильнее. Раньше у кошки бывали котятя, она даже хотела ей лекарство от них купить, потом кошка упала, и котятя прекратились сами собой.

Про поломку телевизора Вик-Ванна даже думать страшится. Чтобы купить новый, придется резать подушку, вынимать похоронные деньги, менять обратно, еще какой курс выпадет, и пересчитывать, а вокруг — обман. А новый телевизор будет бракованный, сейчас все бракованное.

И ни похорон тебе, ни телевизора.

К сексу я равнодушен, большинство девчонок неразвитые самки на уме тряпки и замуж, от этого я с девчонками не отдыхаю, а не что мне нравятся ТЕ, которые только со своим полом, забыл, как это сказать медицински без мата, я их ненавижу, однажды читал в Гипнозе, среди них было много великих певцов и деятелей, и что они не виноватые, что у них там такое, но все равно не надо это по российскому каналу на полную громкость. А я честно имел всего пять контактов секса не считая Ленки но эти случаи были от безделья, хотелось провести время ну вот и секс. И еще чтоб было о чем с Витьком говорить общая тема, думает он Декаприо, а сам ничего не знает о жизни, я уже человека УБИЛ пусть и по неосторожности но все-таки убил я правду говорю.

Она родилась в простой семье.

Отец воевал, участвовал в коллективизации, дочь назвал Викторией. У каких буржуев экспроприировал он это прихотливое имя? Жена, правда, на Викторию сразу согласилась: лучше Виктория, чем снова аборт. «Ви-ика!» «Ви-и-ка, домой!» Ее звали Викой. Виктория — для документов. Да и какая она Виктория? Курносая, хохотушка, конфеты любила. А где конфеты — там и мужчины. Но она, хоть и хохотала с ними, близко ни-ни. Ждала чего-то своего светлого. Его. Личность. Для чего-то же ее называли так волнующе — Викторией. Пока мечтала о светлом, началась война.

Накормила кошку. «Девушка, остаешься за старшую!»

Постояла у зеркала. Правильно ли развешаны медали? Некоторые вот потускнели. Надо протереть. И палец смазать. А зеленки нет.

Приходил МЕНТ, мать открыла я же ей говорил им не открывать, все козлы, но она же такая, назло мне будет открывать унижаться. Однажды блин прихожу, а она чай с участковым. Я ей человеческим языком, что они козлы все и суки, а она говорит, нет, этот интеллигентный, ничего о тебе плохого не сказал, только чай пил спрашивал какие у тебя

интересы. Орешки ему поставила и конфеты, я же ей рассказывал, как они меня тогда к батарее наручниками, а она говорит «а один же тебе дал воды попить и телефон позвонить» я говорю: один реально не считается. А она им все равно открывает, на нее что ли их форма действует и что они мужчины то есть «сильные» как она думает.

И теперь тоже открыла и говорит с ментом, показывает ему все: паспорта документы душа блин нараспашку. А я на кухне слушаю мент говорит: а где сам гражданин Назаров Руслан прячется что ли? Ну тогда я вышел из кухни прямо на него мать испугалась а я культурно! Здорово, начальник! он обалдел, говорит, здравствуйте я лейтенант Хамроев, и смотрит да. Еще бумагу протягивает — вот говорит ваше место работы теперь на три года это очень хорошее место, туда возили иностранцев в том числе.

Я взял бумажку начал читать мать из-за плеча, а там все на узбекском я его плохо знаю в основном мат и одно стихотворение Навои которое в школе нужно для экзамена. А мать по-узбекски немного говорит, татарский же напоминает, зато я английский учил и на компьютере. Мать взяла у меня бумажку, говорит, «этот латинский шрифт», в смысле не поняла. Мент говорит я его тоже его плохо понимаю зато мои дети его учат, это главное. А мать говорит: главное чтобы дети и русский язык тоже хорошо знали, на нем много написано и классики. А мент взял бумагу и говорит: тут сказано гражданин Назаров должен явиться завтра в организацию Фаришта для своей работы в данном месте, слышали про такую организацию? Не, говорю, начальник не слышали. Мать подумала, говорит: что-то слышала про нее по радио, случайно не фирма что ли? А Хамроев говорит: эта серьезная организация лучше чем фирма туда японцев возили сам хаким ее смотрел, такая организация, вам реально повезло, что такая альтернативка, вы будете за столом как человек, а могли бы улицу веником. А мать говорит: а что он там будет делать? А мент: а я не знаю, я вообще просто решил занести, потому что недалеко проживаю в доме с парикмахерской, начальник сказал про вас: у них хороший родственник есть, иди унеси. А мне, говорит, разницы нет, родственник не родственник, я просто в доме с парикмахерской живу недавно уже евроремонт сделал, вот занесу, раз мы соседи. Мать говорит, да, я этот дом знаю поздравляю, что там планировка московская, идемте хоть чаю давайте пиалушку. Да вот мать всегда такая, ей бы блин всех чаем. А этот Хамроев говорит: другой раз, говорит, я сейчас домой тороплюсь, вы к нам заходите а завтра идите явиться по указанному месту адреса улица Ганиева три. И улыбается гад, потому что другой конец города.

Мент ушел я пошел Витьку звонить у него всегда телефон дебильный не работает. А мать меня от телефона отталкивает, говорит, мне срочно-срочно. А мне не срочно, что ли? Она говорит, ну нет, тебе не так. Я говорю: Азиз-акя будешь звонить, да? Она говорит, не твоего дела иди посуду помой пока вода есть. Ну значит точно ему. Хоп, не стал базар поднимать, ушел курить все равно у Витька телефон не работает, но может сейчас работает. Надо мобильник купить, денег нет, но я что хочу сказать оттого что мы не купим деньги не появятся. Хопчик, пусть звонит Азизу-акя, он теперь из-за того, что меня отмазал, ее бог, а раньше сама говорила жмот.

Курю, мать выходит. Иди, говорит, звони своему Витьку «драгоценному». А ты, говорю, мамочка не дозвонилась? Она: там его новая жена взяла трубку. А, говорю, тогда понятно. Она: что понятно? Я: ну что жена. А она вдруг размахнулась меня ударить, я еле успел. Губу укусил, стал вещи собирать, вообще уйти. А она заходит сзади мокрая, говорит: что на ужин хочешь, скажи?

Вик-Ванна на специальные деньги берет такси.

Специальные деньги, в отличие от похоронных, лежат не в подушке, а в железной банке «Сахар».

У нее целый комплект таких банок. «Соль», «Перец», «Рис».

Все разных размеров, некоторые — с запасами.

От сахара она отказалась, когда было подозрение на диабет. Отнесла сахар соседям, себе только банку. Диабет не подтвердился, но от сахара уже отвлеклась, а если иногда хотелось, то доставала остатки варенья и устраивала себе «презентацию»: так называла вечера, когда в чае тает варенье, за стеной не шумят, по телевизору — что-нибудь для души. В остальное время о сахаре почти не думала, наслаждалась экономией. Каждый месяц высчитывала деньги, которые могла бы профукать на сахар, и откладывала в банку. Эти деньги она называла «специальными», иногда, в шутку, — «сладкими». Запасов получалось немного, на ремонт телевизора, конечно, не хватит, но на такси раз в год с комфортом — это получалось.

Раньше еще посылала из них Зойкиному Андрею, инвалиду ума. Правильно сказать, он был не инвалид, а дурак, что себе эту инвалидность своевременно, как все, не оформил. А Зойке все не до того было, она думала, что если она терпит его отношение, когда он выпьет, то ей уж и памятник из золота. «Вы ему сами, Вик-Ванна, про психиатра скажите, я уже устала, не семья, сплошной мат». А потом Зойка проявила характер и умерла; у Андрея вообще мозги пошли шиворот-навыворот, на кладбище так кричал, так кричал, даже прохожие замечание сделали. А ведь руки золотые, сантехникой занимался, где что прорвало — сразу к нему бежали. Но жить стал плохо, очень плохо, плюс здоровье. В этой своей дыре, от Ташкента ночь на поезде, а в дыре какая медицина? Никакая, только на одних словах. Вик-Ванна, конечно, могла его как-то в Ташкент, но боялась, что он хоть и дурак дураком, а вдруг захочет сделаться наследником, а уж это спасибо. А он ей каждую неделю звонит и начнет свою дудку: «Вик-Ванна, квартиру берут от меня за неуплату воды, бомжой делают!» В смысле, денег от нее выжимал. Она ему и напоминала, кто она и кто он, она пенсионерка, а он сам ей мог бы деньги слать или хотя бы приехал потолок на кухне подкрасить. Сказав это, она быстро клала трубку, потому что дальше можно было слушать только мат, в этом он уж был мастер. Хотя иногда, редко, когда ей вдруг делалось так одиноко, что даже кошка с телевизором не спасали, она не вешала трубку и слушала тихонько все его концерты. А он вначале матерится, угрожает, не в полную силу, конечно, все-таки со скидкой на ее возраст и участие в войне. Потом помолчит немного и начинает всхлипывать: «Теть Вик, ну хоть немножечко, все возвращу!» — «Уж да! Возвратитель какой, — говорила Вик-Ванна, глядя кошку. — Ты бы лучше не на телефон тратился, а человеческую жизнь начал». Андрей объяснял, что телефон он себе бесплатным сделал («золотые руки!»), а деньги ему как раз и требуются для этой новой жизни. Вик-Ванна вешала трубку и ковьяляла на кухню: вытряхивать из банки «Сахар» на новую жизнь придурка Андрея — последнего ее здесь, в этом Узбекистане, родственника, алкаша и седьмой воды на киселе.

А теперь вот и Андрея-алкаша нет. Без Андрея денег в банке «Сахар» стало, конечно, больше. Скоро их, наверно, станет так много, что можно будет не бояться даже поломки телевизора. И не хвататься за сердце каждый раз, когда ерундит звук.

Может, даже купить сахар. Не для еды, про запас. Она еще до войны поняла: самое важное в жизни — запасы. Чтоб как судьба ни сложилась, а хоть какая-то крупа была и мучицы немножко. Она в таких случаях вспоминала двоюродную сестру, которая в тридцать девятом вышла себе за питерского и умерла от блокады. «Все от того, — говорила Вик-Ванна, — что не умела делать запасы!» Это была правда.

То, как она сама провела войну, Вик-Ванна не помнила.

Но каждый год ходила регулярно на встречи ветеранов.

А деньги на такси брала из банки с надписью «Сахар».

Витек предложил читать под траву, попробовали, Витек Гоголя принес, я говорю: школьная лабуда, а он: «да ты че, знаешь, как это под это классно». Попробовали, чуть от смеха не погибли, я кашлять начал, Витек

вообще под диван закатился. Можно следующий раз попробовать Толстого, только не Анну Кареевну, мне мать ее в детстве рассказывала что она на вокзале сделала. А Витек говорит, не, Толстой это не так смешно, ну если только дозу увеличить. Я говорю: не надо, мы же наркоманы, мать и так прошлый раз когда я ночью в холодильнике все схавал, что-то почувствовала, на меня смотрела. А Витек говорит: «а я что — наркоман?» Я говорю, что орешь, и вообще мне завтра на работу, слушай, пойдем завтра со мной? Неохота туда одному переть. Он вначале: «хоп ладно; потом: нет, не могу, завтра не могу». Не можешь — не можешь, говорю. «Да нет, честно не могу», говорит. Да, говорю, че мне твое «честно», на масло что ли мазать буду, не можешь — так и скажи. Он: «да я уже сказал». Я: ну и все. И он ушел.

Поехал утром на эту Ганиева. В маршрутке жара, окна задвинуты бумажкой затолканы, вонь, я еще недавно заметил, русские тоже стали вонять, вот те, которые умывались, уехали, а остались которые воды не видели. А я чистую рубашку надел с галстуком, мать мне каждый день чистенькое на стул, но говорит, что не ценю вот это меня бесит.

Еду думаю что сказать на новой работе если спросят про убийство им же интересно. Я вообще заметил людям нравится когда им про кровь и СМЕРТЬ по телеку а когда в жизни то еще лучше я правду говорю. Одна девчонка, не хочу вспоминать имя ну Ленка почти мне дала когда я ей рассказал про убийство прямо губами меня обтерла дура, одно смягчающее вину обстоятельство что она была бухой ну я выпил как все а она на эту бутылку как с голодной Африки вообще. И начала потом меня губами и слюной так так я ее оттолкнул, говорю, ну хоп, я пошел, советую на будущее: пей с мозгами, а она: «я не пила, это просто вот этот корейский салат отравленный, а ты сволочь». Я брюки обратно надел, говорю, ладно, я сволочь да ладно а ты несволочь и сиди сама себя целуй слюнями, а меня это бесит, и дверь за собой закрыл потому что еще были люди. Она там выла я слышал, но у меня ничего с ней не было кроме того что она сама, когда рассказывал, ну и вой дальше. Ненавижу женский вой, мужской еще хуже ненавижу ты молчать должен если ты мужик, даже если тебя пытаются хоть бандиты менты киборги Силы тьмы ненавижу их всех ВСЕХ!

Поездка в такси была утомительной. Всю дорогу боялась, что водитель увезет ее к другому театру, не Навои. Или обманет, хотя поздравил с праздником и посмотрел на ее медали.

Не обманул, довез. Мог, конечно, и денег не брать. Праздник все-таки, и она в медалях.

Около театра уже топтались участники. Раньше с каждой майской встречей они все больше старели. А потом дальше стареть стало некуда. Качество лиц на встречах сделалось постоянным. Изменялось только их количество. Иногда, между Днями Победы, Вик-Ванну звали на поминки. Она ехала на них на общественном транспорте, играя сама с собой в игру под названием «уступят — не уступят». Искала глазами сидящую молодежь и играла. Загадывала. Если уступали сразу, значит, она доживет до следующего Дня Победы здоровой и пенсию повысят. Если молодежь уступала неохотно и без уважения, то повышения пенсии не жди и за здоровьем нужно проследить. Если на нее совсем не обращали внимания и сидели, как баре, то Вик-Ванна холодела и перед глазами возникала подушка с похоронными сбережениями. Потом, конечно, люди начинали шипеть на сидящих, и ледяную Вик-Ванну усаживали на законное место... На поминках ее тоже сажали на почетное место, она старалась запомнить, как все организовано, и тактично узнать, во сколько все это удовольствие обошлось. Цифры она записывала на салфетке, чтобы, когда будет умирать, дать Нине последнее ЦУ. Записав, вытаскивала пакетик и просила положить ей туда остатки блюд, для кошки. Возвращаясь с мероприятия, сортировала гостинец. Она знала, какие продукты кошка не станет есть, и съедала их сама, чтобы не выбрасывать напрасно добро. Потом вызывала соседскую Нину и показы-

вала ей салфетку с цифрами: «Хотелось, Ниночка, и мне на поминочках чего-нибудь такого же...» — «Ой, Вик-Ванна, вы еще нас переживете!» — шутила Нина, которую эти салфетки, как она жаловалась своему сожителю, «достали по самое горло».

— Здравствуйте, товарищи, с праздником!

Ей обрадовались. Один инвалид, Пал Петрович, прижал ее к своему пиджаку. От этого объятия Вик-Ванне стало как-то нехорошо; ей всегда делалось нехорошо, когда ее неаккуратно обнимали таким образом.

Подошел другой ветеран, Джахонгир Умурзакович, достал из кармана список. Вик-Ванна нашла себя в нем и испугалась — много было новых и подозрительных фамилий.

— Это нам чирчикских добавили, их на автобусе привезут.

— Очень интересно, — сказала Вик-Ванна, — зачем нам чирчикских, у них отдельный праздник, и их всегда в ресторане кормили.

— Нас тоже один раз в ресторане, в девятьсот девяносто третьем году.

— Это был не ресторан, а кафе с курицей. Знаете, чирчикских сейчас на автобусе катают, а мы тут — стой.

— Это организаторы решили, чтобы нас с чирчикскими объединить, — говорил Джахонгир Умурзакович, прикрываясь списком от солнца.

— А кто организаторы? — спросил кто-то.

— Говорят, российские. Одна российская организация, бизнес.

— Посольство их?

— Может, и посольство.

— Если посольство, это хорошо. У них путевки дают.

— Одним — дают, другим — не дают.

— Это всегда. Они же посольство. Важные.

— Нет, сегодня не посольство. Там женщина одна есть.

— Наверно, нефтью торгуют. Все сейчас нефтью торгуют, а по телевизору — одна проступность.

— Может, в театр зайти, попить воды с газом.

— Ходили уже. Там никого нет, закрыто. А вечером будет балет.

— Лучше бы нам сейчас балет показали. Мы еще с моей покойной всегда любили «Лебединое озеро». Ей там танец этих маленьких очень нравился, всегда хлопала.

— Ну... может, они сейчас нам все лучше балета сделают. Все-таки праздник. Сто грамм — обязательно!

Японец опять приходил но он не само-убийца, Опа сказала: «Он — псих», я ей сказал: Ну и что? он все-таки японец. А она: «Японцы психами не бывают, у них там уровень жизни!» Опа мне мать напоминает, что сына одна кормит а муж в миграции у него от миграции уже другая телка, а что здесь жена и сын-дебил наплевать.

Я сегодня уже два месяца здесь работаю на альтернативке она называется Фаришта и спасает людей от само-убийства они звонят а она их отговаривает. Мне пока нравится работать я еще никого не спас и читаю книжки по психологии про «активное слушание» они под столом, иногда звонят но это не само-убийцы а ошиблись номером или Японец. Нас работает двое, я и Опа, я должен оказывать психологическую помощь на русском языке, а она на узбекском но ей тоже звонят не само-убийцы а только подруги и ее дебилный сын Шох. Еще Опа торгует Арифлэймом, у нее на столе везде Арифлэйм, она даже моей матери хотела Арифлэйм. Опа говорит что она кандидат наук но наверно не кандидат а справку купила за Арифлэйм. А мать ее как всегда чай пить то да се и еще карандаш для ресниц купила, чтобы говорит, не обидеть и чтобы Мухаббат Мансуровна о тебе хороший отзыв давала, Опа полностью Мухаббат Мансуровна но ее так никто не называет потому что она Опа и всё, в смысле ей Опа очень подходит.

А Японец взаправду полу-японец, у него отец японец был пленный, было много пленных, они Театр Навои в Ташкенте строили, я там был еще

в школе на экскурсии в Ташкент. Японец собирает открытки с театром, который построил его отец настоящий Японец, одну мне подарил потому что я над ним не смеюсь. Еще он мне рассказал про харакири и что правильно харакири надо называть сепуку, я начал смеяться на пукать немного похоже, Японец встал и ушел. А потом пришел Витек, и Опа нас вместе с ним выгнала.

По-моему, Японцу нравится Опа. Но он мечтает уехать в Японию. Я тоже начал мечтать уехать, когда альтернативка кончится. Но Казань лучше Японии, там язык учить не надо, но и уровень жизни конечно слабее.

Сегодня опять женщина за стеной кричала. Я проснулся на кровати и думал какая вещь секс. Даже Витек говорит, что в нем разочаровался, а еще всегда понты и пальцы веером. Когда у человека есть цель, то секс и даже трава не так нужны. А у Японца мать русская, но читала ему книжки и газеты про Японию и воспитывала как самурая, закаляла его водой, а своему военнопленному которого любила на могилу колокольчик вешала, Японец рассказывал, в детстве она его на японское кладбище за руку брала, а там на любой могиле колокольчик звенит потом местные колокольчики тырили лохи.

А Опа когда я вначале пришел, меня боялась как убийцу и тапки от меня прятала. Японец назвал Опу «гейша», Витек заржал думал гейша это жена гея, а Японец снова обиделся ушел, а Опа стала по «горячей линии» Арифлэйм по-узбекски, думает, мы с Витьком не видим ее бизнес. Еще она заполняет журнал само-убийцами которых не было, которым она оказала по-узбекски психологическую помощь которую ни фига не оказала. Но мне ее жалко потому что сын ее дебил свет в окошке, и курит траву, она об этом знает, я тоже иногда курю но мужик должен держать такие вещи за зубами и не расстраивать мать а можно сказать я и не курю.

Вчера у Опы был день рождения, принесла пирожные рассказала, что один раз позвонила настоящая само-убийца прямо из петли, и Опа ее спасла и даже продала ей Арифлэйм. Вообще Опа нормального говорит по-русски, просто, говорит не обязана за копейки и по-узбекски и по-русски сидеть здесь «горячей линией», поэтому я с русскими разговариваю, а я не могу с ними разговаривать потому что они реально не звонят и не знают про нашу линию, раньше объявления в газету давали и висела реклама, само-убийцы видели рекламу и звонили, а теперь там сок «Вкус победы» и пиво «Сарбаст» нормальное пиво, я пил, кислое немного, но горячую линию надо было там оставить, хоть рядом с пивом пускай висит. А потом пришел Шох сын Опы и мы пошли покупать краску, я его спросил: Ты где траву достаем? Потому что теперь когда я читаю книги по психологии мне легче общаться с такими.

А вечером прихожу, мать чай пьет со стовосьмой которая газ пришла проверить и мои карточки детства перед ней на стол положила, правду говорю. Женщина ушла, а я высказал матери все что думаю про чай с моими карточками где я там голый или в трусах какая разница. Мать заплакала, не хочу даже передавать, что она говорила, ну она говорила: вот, дома она сидит, у нас ни телевизора, ничего вообще нет, и лучше бы она умерла, это она всегда так говорит, если кто-то с ней не соглашается, а когда я говорю, что лучше, чтобы я умер, ее это бесит. «Ты со мной никогда не посидишь, чашку вместе не выпьешь, сожрешь свою тарелку и уходишь с Витьком матом разговаривать», она не права, и с Витьком я в последнее время не разговариваю, потому что Шох его лучше но он сильно закомплексованный, над ним еще придется поработать. Поэтому я ушел в туалет, я так иногда так делаю, захожу в туалет как будто надо, сажусь на закрытый унитаз и думаю ну о жизни вообще. Я подумал, родители маленьких детей любят просто так, а потом когда вырастают начинают любить своих детей за деньги, которые те им приносят если бы у меня были деньги, она бы со мной себя так не говорила, я бы ей сразу телевизор на, ешь. Я вышел из туалета говорю: Хоп, давай чай попьем! А она меня обнимать, это она так всегда.



Автобус явился не запыхавшись. На лучших местах уже эти, из Чирчика. Водитель никого не поздравил: или садитесь, или как хотите, товарищи. Вик-Ванна вскарабкалась, села на свободное. Ей хотелось у окна, но там уже сидела какая-то женщина с бантом, слишком много медалей, полная безвкусица.

— Вы из Чирчика? — обратилась Вик-Ванна.

— Что?

— Вы из Чирчика?!

— Да, да. Не кричите так... Я из Чирчика, из Чирчика.

«Сидит у окна, как королева, а я еще и кричу». Вик-Ванна стала наблюдать, как водитель затаскивает ветеранов в автобус. Подъехала еще машина, вышла женщина, организатор всего этого. Стала ругаться с водителем, тот бросил ветеранов, и они сами заползли в автобус, не хватило места, устраивались стоя. Вик-Ванна хотела выйти, чтобы высказаться, но испугалась потерять место, пусть и не у окошка, как хотелось.

— Я из Чирчика, — сказала женщина. — А вы откуда? Вы Ташкент?

Вик-Ванна кивнула. «Как много медалей, и висят все невпопад». Не то что у нее. Каждая на собственном месте.

— А сколько у вас здесь хлеб стоит? — спросила женщина.

Водитель влез обратно. Музыка.

— Когда поедет?

— Ее спрашивайте, она знает, — махнул в сторону женщины-организатора. Та стояла с мобильным снаружи, опершись бедром о машину.

— Да вот они у меня уже где все, — жаловалась в мобильный, щелкая ногтями по капоту. — Да за такую зарплату сам с ними возись!

Автобус потел, играла музыка.

— Сейчас людям с сердцем плохо станет, давайте уже ехать! — Вик-Ванна пыталась перекричать музыку, но музыка была ее сильнее.

А вчера позвонил один, «так и так, я этот самый и буду сейчас вены». И голос такой, что точно. А я, из-за того что до этого они не звонили, я офигел, говорю: точно, да? Ну, что такой и собираешься это прямо сейчас. Он говорит: «Около ванной стою». И молчит, а я испугался, что он молчит потому что делает это, а что сказать, надо сказать, чтобы отвлечь от поступка, говорю: ванна зачем? А он: «Мне психолог нужен перед смертью». Я говорю: стой, я психолог перед смертью. Тебе на каком языке объяснять: на русском или узбекском? Это я спросил, чтобы, может, с ним Опа поговорит, она все-таки кандидат. А он мне: «А на своем нельзя?» И дышит мне в ухо через трубку.

Я немного сосредоточился, как советуют и говорю: да, давай на своем языке, на нашем. Вот ты раз около ванной стоишь значит у тебя проблемы были, да?

А он: «Были и ЕСТЬ». Я ему: да и есть тоже, только от ванной лучше отойди, у меня в жизни тоже такое было... только я не к ванне, в ванну тогда мать рыбу бросила, чтобы пока не сдохнет, плавала, а я не мог это сделать над рыбой. А потом мать из ванной гонит, *чего ты там*, а из туалета не гонит, только говорит спичку после себя жги, думаю, хорошо, а ей после этого спичку зажгу, ну вот, короче был у меня такой же случай... Ну че?

Он: «Че ну че?» Отошел, говорю спрашиваю, от ванной? «А какой у тебя случай был?» Сейчас, говорю. Скажи, тебя как зовут? «Тебе зачем?» Меня, например, Руслан... «А меня, например, Андрей». Ты не тот Андрей, который у котельной? «Нет, а че?» Ниче, говорю, один просто Андрей около котельной живет, ну реально есть такой. А он: «А твой случай?» Какой, спрашиваю. «Который ты сказал у тебя был, ты в туалете закрылся...» Я там не закрылся, я просто свет включил, чтоб было понятно, что я внутри. «А дальше че?» Ну, ниче. Стою, смотрю на унитаз в нем вода ржавая какая-то наверное трубы проржавели, а нож в руке и тоже ржавый, еще приколотся думаю вода ржавая и ножик ржавый.

Он помолчал и спрашивает: «А зачем ты это... ну там стоял?» А ты зачем сейчас стоишь? «Проблема, говорит, одна есть». Деньги? «Деньги — говно!» Да, деньги говно, говорю. «Ну ты почему стоял?» а я говорю: я человека убил меня забрали, потом вышел, потом в туалет, а там вода ржавая.

И рассказал ему все, сам не знаю почему может наверное из-за его голоса который есть у людей такой голос им хочется просто все от самого детства душу рассказать. И как на остановке тогда стоял а этот лох подошел и все видели что он бухой и ко всем докапывался. Все рассказал, он слушал, а я вдруг понял: Витек, это ты, сука?! Показалось, что Витек, что точно Витек, а он уже трубку бросил. Я потом целый день... Витьку позвонил, но он бухой или притворялся или накурился мог бы меня позвать чтобы вдвоем, но он мне последнее время уже ну не друг. Опа советует: «Позвони в морг, узнай про новые поступления», я говорю: он Андрей, а больше о нем ничего не знаю, если морг спросит, и он конечно не Андрей. Опа говорит: «Вот когда я в регистратуре работала, мы на каждого новенького заводили анкетку, там все было, и год рождения, и национальность, и вредные привычки!..»

Автобус двигался по городу. Несколько раз что-то ломалось, водитель выходил. Одному ветерану сделалось плохо, стали вызывать «скорую», «скорая» не ехала, ветеран с расстегнутым воротником валялся на газоне, Вик-Ванна глядела и сочувствовала сквозь пыльное стекло. Ветеран пошевелился и сказал, что он в порядке. «В полной боевой готовности». Автобус поехал, нужно было успеть в Дом культуры, откуда уже звонили и ругались. В салоне было душно, пахло старостью и запасами корвалола, автобус подпрыгивал, звякали медали. Особенно громко звякала женщина рядом с Вик-Ванной, она то молчала, то начинала расспрашивать о хлебе, яйцах, электричестве и жаловалась на внуков, которые пьют кровь. «Сколько у вас внуков?» — спрашивала она Вик-Ванну. «У меня нет внуков, — отвечала Вик-Ванна. — Я одна». — «Раньше надо было думать», — сочувствовала ей соседка.

Вик-Ванна поджимала губы. Хотя сама не понимала, отчего не «подумала раньше». Нет, она думала. У нее даже после Землетрясения был один вариант. Страсти, конечно, не было, ну — общие интересы. Искусство, телевизор. Пару раз ходили на концерты; она терпеливо ждала антракт с песочным кольцом и березовым соком. Потом он один раз приглашал ее к себе посмотреть телевизор. Хотя из этого «телевизора» тоже ничего не вышло. Нет, он старался. Галантно держал ее за руку, но ей, неловко сказать, почему-то казалось, что он при этом пугает. Она пыталась задержать дыхание и уверяла себя, что это все просто нервы. Но это отравляло впечатление и от телепередачи, и от его двухкомнатной квартиры, которая ей, в общем-то, приглянулась, не считая мебели, мебель требовалось, конечно, срочно переставить, а о занавесках она вообще молчит. И еще ей было неприятно, как он держал ее руку. Она вспоминала, как ювелирно ее ручку держали до войны, а чтобы воздух испортить, об этом даже в самые тяжелые годы не могло быть речи. Культура была. Ну вот. И когда он пришел к ней с тортом «Пахтакор» и предложил свое сердце, она ответила отказом. Без объяснений. А что объяснять: гороха ешь меньше, что ли?

Иногда, правда, особенно весною, она просыпалась какой-то другою, посторонней. В голове звучали мелодии, хотелось чего-то такого стремительного. Вик-Ванна спасалась гимнастикой. Иногда ей представлялось, что она целуется с киноактером Кадочниковым и он шепчет ей удивительные вещи...

А соседка с медалями снова интересуется:

— Вы на каком фронте сражались?

— На Берлинском, — отвечает ей Вик-Ванна. — Я до самого Берлина дошла.

Она всегда так отвечала. Временами ей казалось, что она помнит этот Берлин и людей, которые приветствовали их как освободителей. Особенно много было гвоздик. Целое море. Где они их брали?

Наконец автобус доплелся, остановился посреди продавленной солнечными лучами площади. Люди поднимались, оставляя на дерматине влажные пятна.

— Сидите! Сидите, вас позовут!

Женщина-организатор пыталась их усадить — дистанционно вмяная обратно в сиденья. И громко кричала.

Вик-Ванна закрыла глаза. Попыталась заняться йогой и настроиться на хорошее. Про эту йогу она лет десять назад прочитала в журнале, специальные упражнения с дыханием, в тяжелые минуты их выполняла, был эффект. Сквозь йогу она слышала, как женщина-организатор кричит, задыхаясь, почти воет от своей организаторской скорби, а ветераны все бестолково наползают на нее, как дети...

Дверь открывается, их начинают выводить. По одному, по двое, в пекло, где-то музыка разносится. Вик-Ванна забывает сумочку, пытается вернуться, ей выбрасывают сумочку из окна автобуса, мимо ее протянутых рук, все падает и разлетается по площади, Вик-Ванна — нагибается. Ее нечаянно толкают, извиняются, снова толкают, уже не извиняются. Некоторые помогают ей — нагибаясь, касаясь горячего асфальта медалями. Вик-Ванне кажется, что она что-то недособрала, и она начинает тихо плакать. Хорошо хоть платочек смогла поднять, он пахнет духами, которые она забыла как назывались, французское слово...

Ее торопят, уже всех выстроили, героев, ведут к Дворцу культуры, там — столы, там ждут их. Кто-то остался в автобусе, не смог выйти по состоянию здоровья, хотя выгоняли всех; вот и чирчикская женщина там осталась, только просит водичку ей на обратном пути. А Вик-Ванна глядит под ноги, пытаясь еще высмотреть предметы из своей сумки, могли бы вынести, зачем бросать? Но ветераны уже у входа, музыка слышнее, «этот День Победы... порохом пропах...». Те, кто выступали в ветеранских хорах, подтягивают: пропах, пропах... Их снова останавливают, две женщины преграждают телами дорогу: ждут телевидения! Телевидение приезжает, распаковывается. «Почему они у вас такие вареные!» Выбирают парочку невареных ветеранов, снимают их, преподносят гвоздики, снимают... Стоп! Мать вашу! Почему советские медали? Отколите советские, или ладонью прикройте, да... хотя бы вот так. Переснимаем. Но невареные ветераны уже тоже вареные, для телевидения ищут других, вытаскивают Вик-Ванну, гвоздик на нее уже не осталось, извиняются. «Бабуль, смотрите в камеру! Сюда! В камеру! Скажите ей, чтобы в камеру... Еще раз...» «Я дошла до самого Берлина», впивается она в камеру, ой, где же камера? Камера, блеснув, отъезжает, оставляя Вик-Ванну с отходящим, как после пощечины, лицом. «Когда, когда?! — кричит она людям, — когда меня покажут?»

— В семь тридцать по новостям!

Их снова выстраивают, уже три женщины, две худые, а одна как торт, губы розочкой, а та, которая орала в автобусе, теперь выволакивает детей с поздравленьями. Дети держат рисунки с дымом и огнем про войну. Стульев нет, один ветеран, чирчикский, оседает на корточки, его поднимают, губы розочкой стыдят его, дети дарят ему рисунок, подбитый фашист с калякой из хвоста, бегут дальше. Вик-Ванне рисунок не достается. «Куда рисунок дел, сволочь?!» — трясут перед ней мальчика с перламутровой соплей под носом. «У меня Закиров отнял...» — дрожит соплею мальчик и глядит на Вик-Ванну. «Сволочь! — Лица женщин похожи на две шипящие сковородки. — Тогда стишок читай, слышишь, стишок!» — «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...», мальчик увертывается от плевков масла, «„только очень жди...” Дальше не помню-у!»

— А теперь, наши дорогие, — праздничный стол!

Зал, мраморный пол с громкой музыкой, на низких частотах у ветеранов начинают прыгать внутренности. «Здравствуй, мама... Бум! Возвратились мы не все... Бум-бум!» Пластиковые столы, расставленные кругами, один круг в другом, возле одного мальчик что-то быстро ест и засовывает в

карман. «Закиров! — летят на него организаторши. — Сволочь, это же для ветеранов! Тебя в другом месте покормят!» «В детской комнате милиции его покормят!», хватают его за руку и протаскивают мимо ветеранов; из Закирова веером сыплются конфеты.

Эти же конфеты лежат кучками на столах; на тарелках — бутерброды, на бутербродах — под музыку, бум, бум, движутся мухи. Мужчины изучают напитки: «беленькой» не видно, одна фанта... «Как он был от нас далек...», песня идет по третьему кругу. «Русским языком вам говорю, водку в смету не закладывали!» Вик-Ванна пытается укусить бутерброд; колбаса как гранит; откладывает ее в сторонку... Достает кошачий пакет, кладет туда колбасу, еще колбасу и оглядывается. «Вы это куда продукты уносите?!» Вик-Ванна испуганно прячет пакет. Один раз ее так же пристыдили в церкви, где взяла бесплатные свечи, чтобы дома зажигать по святым праздникам и если отключат свет... Рядом Джахангир Умурзакович, сам с собой разговаривает: «Сто грамм за Победу... Жалко им...»

Потом всех поздравили в микрофон, микрофон начинал визжать, и поздравления шли непонятные сквозь визг. Пытались наладить шнур, не получилось, вышли дети, пели и плясали для ветеранов войны, все, кроме того Закирова, который был наказан и стоял в стороне, глотая конфеты, которые доставал откуда-то из трусов. А Джахангир Умурзакович смотрел на детей и рассказывал, все пытаясь попасть своим рассказом в ухо Вик-Ванне: «Их отлавливали, на базаре, на хлопковом поле, отлавливали — и в военкомат, а они даже русский язык не знали, как ими командовать? Всех, кого наловили, в вагон и под Сталинград, я в сопровождении. Привезли, стали из вагонов выпускать, там немцы бомбят, а наши вылезают, оглядываются: „Э?! Чойхона-пойхона борми?“ Чайхоной интересовались... Все погибли...»

Ветеранов начинают торопить, чтобы освободили зал, там еще одно мероприятие по плану. Вик-Ванна падает, ее подхватывают, подталкивают к автобусу, она вцепилась побелевшими пальцами в сумочку, чтобы та не упала и ничего снова не рассыпалось, не дай бог!

Витька похоронили я говорил матери не иди, но она пошла не смотря что его не любила за влияние я говорю ты куда с костылем? «ничего, не на праздник же», косынку завязала и со мной туда. Я все думал что это опять витьковский прикол и когда его мать из школы глухонемых позвонила я еще думал ну да знаем знаем прикалывается наверное как-нибудь а она: «вскрытие» я — нет! НЕТ! даже моя испугалась, а я не верил, у меня вообще никто не умрал чтобы вот так, чтобы можно было мертвого рукой потрогать, все в голево что прикол, только когда землей его стали ну еще со звуком таким бум бум тогда вот еще мать рядом с букетом и про свое: «и меня и меня так когда-нибудь и меня в ближайшем будущем». Блин! А я когда его уже землей ну тогда пипец уже все ясно. А Японец, он говорит: в Японии сжигают, там цивилизация, а я ему: пошел на х..! мать услышала отодвинулась. А я хотел только сказать ему ну и езжай в свою Японию.

Витек резал вены так мне шепотом сказали. Значит, он тогда мне звонил? Голос подделал, я же говорил он прикалываться любил, он еще в школе голос нашего по химии очень похоже изображал и вообще он девчонкам нравился реальный клоун. И мне наверное звонил прикалываться а потом взял и по-настоящему.

А я вспомнил что когда я ТОГО убил он же еще был не мертвым и в мертвом состоянии я его не видел его увезли в больницу не мертвым и он мертвым уже там стал, а я в ментовской сидел и футбол смотрел, там телек работал, но я не болел хотя я всегда болею, просто смотрел и думал: они там бегают а у меня рубашка в крови, а потом они забили гол, менты заорали «вой, джальяб!» в этот момент позвонили из больницы и сказали: всё.

Я вечером после кладбища мать спросил, а ты с самоубийцами в жизни встречалась? Она говорит, ну вот сегодня. Я говорю: кроме Витька. Она

говорит, «встречалась». А дружила с ними? А она говорит, что ей родителей Витька жалко, скоро пенсионеры, а самого Витька не жалко он давно к этому уже катился. Я говорю: а мне Витька жалко!!! а она: «ты себя жалеешь, я молчу как ты на кладбище матом разговаривал». Я вдруг заплакал потому что тут любой бы человек заплакал, мать стала мне голову гладить говорит «у тебя волос как у отца ранняя лысина может быть, надо чеснок втирать».

Ночью уснуть не мог, про Витька думал и на свои руки смотрел. Отчего Витек их порезал? Когда первый раз траву пробовали он сказал, что не знает зачем живет, что раньше думал, что для того чтобы сделать такое ну чтобы все офигели, сказали вай Витек! а потом ну хоть бы кафель класть, но это тоже не получилось.

А за стеной эта опять завела свою лавочку крика, мать говорит она точно учительница блин ну если она ночью такой оргазм то как утром она в глаза ученикам смотрит? Потом мне показалось, что она так от боли как мать Витька сегодня на кладбище выла что это оргазм горя и несчастья, не помню читал в психологии. Потом вдруг она заткнулась и такая тишина что я подумал: а вдруг где-то рядом Витек, как призрак, что тогда, а? Витек, зову, а Витек?.. Витек...

Она вернулась с праздника. Сердце бьется в прижатую к груди сумочку, предметы прыгают, кошка ноет и трется об окаменевшие ноги. «Сейчас, девушка, — говорит ей Вик-Ванна. — Сейчас».

Лезет в сумку, достает пустой пакет, вспоминает. Кошечку лишили праздника. Кисочку ее. Злые люди лишили. Встает, добирается до холодильника. По дороге проверяет банку «Сахар», все-таки почти целый день ее не было, мало ли...

Кошка захрустела над миской; Вик-Ванна вернулась в комнату. Поглядев на часы, пошла к телевизору. Там должны были ее показывать. В новостях. На всю республику. Первый раз в жизни. Где она рассказывает о себе и о войне.

Включила.

Телевизор щелкнул и задумался. Он всегда так, прежде чем набрать изображение; иногда Вик-Ванна его даже торопила: «Ну, барин какой!», или: «Давай, кудрявый, заводи мотор!» Хотя кудрявым телевизор был разве что от пыли, которую Вик-Ванна боялась протирать, чтобы случайно не повредить чего-нибудь.

И теперь Вик-Ванна тоже хотела как-то подбодрить его, но сил не было, и она только его погладила.

Телевизор молчал.

Вик-Ванна похолодела. Серый экран отразил ее лицо, морщины, глаза. Нажала кнопку еще раз.

Проверила, включен ли в розетку.

Включен.

«Вот безобразник...»

— Как же так? Как теперь... жить-то?

Встрепенулась: «Свет! Свет отключили, паразиты...»

Нет, лампочка в коридоре горела. Свет был. Тек по проводам жизненной своей силой. Но телевизор эта сила почему-то не оживляла.

Нагнувшись, обняла его.

— Ну, кудрявый... Кудрявенький! Родненький мой, сыночек мой!

Телевизор был мертв. То, что пело, разговаривало, раскрашивая долгие пенсионные вечера, теперь отдавало холодом, запахом какой-то гари, пыли, еще чего-то.

— Ну, родименький, ну включись, а завтра я тебе и мастера приглашу, лучшего, ты только не... только не оставляй меня одну. Ну хоть новость покажи, я же им про войну рассказывала столько, они мне букет, такой роскошный букет подарить хотели, они мне стихи читали, они... Ну постарайся, ну, миленький, ну, кровиночка моя...

Она сидела долго, лицом в экран, слезы текли и стекали по экрану.

Потом она будто уснула, но не целиком, и продолжала чувствовать лбом экран.

И тут показалось, что телевизор включился, и экран, к которому она прислонялась, зажегся светом. Она попыталась отодвинуться, но что-то не давало. Новости с нею уже прошли, тянулся какой-то фильм, которого она не видала раньше. Фильм был о войне, она это поняла по взрывам, фонтанам земли и бегущим в разные стороны людям. Она пыталась разобрать сюжет, но сюжет ускользал, а земля все вздрагивала и вздрагивала. Музыка не было совсем, один раз только какой-то солдат запел, но через секунду его накрыло взрывом, и больше песен не звучало. Происходило огромное отступление, с криками, много крови, Вик-Ванна даже подумала: для чего в фильме про войну столько крови и музыки нет?

И увидела себя.

Себя, как на той фотографии. Молодую, худую, перепачканную какой-то дрянью. В той самой форме. Она что-то говорила, потом ушла за вагон, вокруг были вагоны. Потом небо завывало, «ложись!», она бросилась от вагонов, знала, что немец бьет по вагонам, за вагонами ее сразу охватил со всех сторон лес, «ложись», и она упала. Ее оглушил взрыв, еще несколько уже дальше, дождем сыпались земляные комья. Она продолжала лежать, не чувствуя тела, только шум. Оторвала от земли голову, выплюнула песок. Вдалеке горели вагоны, там еще взрывалось, выплескивалось пламя. Попыталась сесть — голова шумела, в глазах радужные пятна. Поднялась, куда идти? Пошла от станции — переждать налет, споткнулась. Наклонилась — а там человек, вгляделась сквозь пятна, Боже... «Клара... Кларка!» Подруга, с которой только неделю назад фотографировалась («улыбаемся, девочки!»), лежала, раскинув в прерванном танце руки. Нет, она не испугалась, она уже видела мертвых, мертвые — такие же обитатели войны, как живые, только беспомощнее; но вид подруги, о которую споткнулась, которая только неделю назад хохотала с ней на фотографии... Она осела, не зная, что делать, даже как-то опьянев от быстрого горя, от бабьей беспомощности перед шумом в голове и телом подруги, с которым нужно было что-то сделать. Но что же делать? Думай, думай, Вика! Виктория... Вот если бы оказались рядом мужчины, хоть бы посоветоваться...

Только подумала, и все сбылось — как в кино. Но страшно, тёмно сбывлось. Мужчины шли, бежали, хромали на нее из горящего леса. Какой-то огрызок отступавшей части, дезертиров, или кто это был, русские и нерусские, черные, полусонные от голода, пропахшие дымом и нечистотами. Она вцепилась в бесполезную Кларку, пытаюсь заслониться ею, отползала, отбивалась, они лезли и кричали, она не слышала из-за гула и пятен в глазах. Они упали на нее и стали разрывать на части, на две продольные части, она не знала, что мужчины — это страшно, так горячо и страшно, до этого у нее не было этого, а рядом лежала Кларка, она ей завидовала и еще жалела этих, вот этих черных... А потом сама умерла, стала как труп и немного успокоилась. Она видела свое тело сверху, хотя оно было завалено мужчинами, делавшими с ним что-то свое, быстрое. А потом погасло и это изображение, телевизор не мог показывать ничего больше.

А больше и не нужно... Больше не нужно, да. Вик-Ванна сама видела — и взрывы, и небытие, и госпиталь, где ее залатывали, затаскивали обратно в жизнь зачем-то. И как она сопротивлялась этому втаскиванию, как своровала веревку, чтобы употребить. И как вырезали ей там по женской части — словно память удалили, она уже не помнила ничего, ни леса, ни липкой мужской подлости. И, забыв все, покатила на поправку, продолжала помнить, что участник войны, что воевала, и эта память постепенно овеществлялась в медалях, которыми стала обрастать, и в прибавке к пенсии, во встречах 9 мая у театра имени Алишера Навои... А другое участие, слезное, бабье, с обмороком на залитой кровью и спермой земле, забылось — может, и не было его...

Вик-Ванна стояла на единственном прочном стуле.

Над головой качалась люстра. Машинально протерла с нее ладонью пыль. Попробовала веревку. Выдержит? Не выдержит... Посоветоваться бы... На столе — записка Нине с инструкциями. В конце приписала просьбу пристроить кошку в хорошие руки.

Только в хорошие, слышь, Нин!

— Организация «Фаришта»!

— Алло...

— Мама, ты?

— Алло, я, я туда попала? Я.. я вам из Ташкента звоню.

— Мама, какой Ташкент? это я, Руслан! Ну, говори!

— Алло, алло... Ой, я, наверное, ошиблась... Я в газете ваш телефон прочла.

— Алло... Какой телефон? Какой газете?

— Где полезные советы... Салат... Ой, я перезвоню, наверное!

— Подождите!.. Подождите, я перепутал... Не вешайте трубку! Алло, алло!

— Я здесь.

— Извиняюсь, я это... У вас с моей... с ней голоса похожи! Да, организация «Фаришта», с вами... с вами говорит дежурный психолог, и мы готовы вам оказать помощь. Я очень внимательно слушаю вас!

— Мне посоветоваться надо... Алло, вы меня слушаете?

— Да, да, говорите.

— Мне надо... Понимаете, хотелось бы точно знать, как надо... А то веревка, веревка — она, понимаете, старая, я ведь не специально для этого ее покупала, там какая была, такую и взяла, а может, она и неподходящая... Алло!

— Да, я слушаю, алло...

— Слушаете... Скажите, а может, лучше лекарства? Много сразу, с гарантией. Только я боюсь лекарства, все-таки химия... Понимаете, мне нужно все точно! Я сейчас по межгороду звоню...

— Да.

— А пенсия знаете какая?!

— Да... у меня мать на пенсии.

— Вот видите. А я межгород. А я еще ветеран войны, и до самого Берлина...

— Вы не плачьте... Я вас с праздником поздравляю.

— Спасибо... Меня сегодня тоже все с праздником. По телевизору снимали. А под вечер, вот... И кошку жалко, Нинка же ее не пристроит, Нинка ж сама дура непристроенная... Киска одна останется, а она у меня...

— Алло, алло. Говорите... Не плачьте.

— Что говорить?.. Вот, войну воевала, до Берлина дошла. А сегодня что-то примерещилось...

— Что?

— Да... А знаете, случай один был. Военный. Из Ташкента ребят молодых навезли, узбеков, а я медсестрой была, все видела. Они ж по-русски ни бе ни ме. Привезли их нам под Сталинград, кругом бомбят, наши эшелоны горят синим пламенем, у меня подруга была, Настя, то есть Клара, и вот ее ранило, сильно так... А эти, с Ташкента, меня спрашивают: а где здесь чайхана? Я потом их с поля боя выносила, кто жив остался. Сил уже нет их на себе таскать, лежу... А в небе... вдруг журавли! Много-много журавлей. Целый клин. Думаю: кончится война, вернусь домой и буду жить, буду просто жить... Вас как зовут?

— Руслан.

— Руслан? Да... Руслан, а вы курите?

— Я? Да.

— Вот это плохо. У нас на войне тоже все курили. И после войны. Потому что тяжело было, я ж разве осуждаю. А сейчас надо бросать. Вы

молодые, вы должны быть здоровыми, молодыми... Можно, я вам еще вопрос задам?

— Да.

— У вас есть любимая?

— Кто?

— Подруга или невеста... Алло...

— Да... Есть.

— Вы ее любите?

— Кто? Да...

— А она вас?

— Да, наверно.

— Любите друг друга! Всегда!

— Спасибо...

— Что?

— Спасибо!

— Да. И вам благодарность. За поздравления. У меня ведь в вашем городе родственник был, племянницы муж. Руки золотые, а его хулиган избил, так я и осталась одна. А теперь думаю, жалко, что я ему при жизни ваш телефон не дала, вы бы с ним как с человеком поговорили, может, он и пить бы бросил... Люди ведь сейчас друг с другом не разговаривают, уткнутся в телевизор или в это... компьютер! Алло... Руслан, Русланчик... Можно, я вас так буду называть?

— Да.

— Ну я тогда... Ой, наговорила, наверно! Все этот межгород... Руслан, скажите, а к вам иногда звонить можно? Я бы... я бы вам знаете еще сколько о войне и той жизни рассказала!

— Да.

— Руслан...

— Да.

— А когда я буду звонить, вы можете мне перезванивать? Я вам только скажу, что это я, а вы мне потом по моему телефону. Вам же, наверно, бесплатно... Можно?

— Да.

— Спасибо! А то пенсия... Она ж на межгород не рассчитана... А я вам... а я вам благодарное письмо напишу. Или на радио песню лично для вас закажу, любимую, я для Нинки соседской заказывала, она потом целый день на крыльях летала. Русланчик, я вешаю трубку. Хорошо? До свидания! Только не курите, обещаете?..

Телефон она нашла, когда вдруг засомневалась. Испугалась, что самоубийство получится неправильным, не так, не как у людей. «Посоветоваться...» На глаза попала областная газета, где был некролог на дурака Андрея и еще рецепт салата, который она так и не сделала. Номер был междугородный, она заколебалась, не зная, стоит ли выбрасывать деньги на межгород, да еще неизвестно с кем разговаривать, может, там жулики. Но звонить в справочную и узнавать, есть ли в Ташкенте такая же организация, с которой можно посоветоваться по такому личному вопросу, как предстоящая смерть, она боялась.

Теперь, накричавшись в трубку, она сидела, остывая и с ужасом думая, какой счет ей придет за межгород. Потом поднялась, отвязала с люстры веревку, спустилась. Кошка стала играть с веревкой. Вик-Ванна вздохнула: придется вызывать телемастера, может даже покупать новый телевизор, ужас...

Загремел салют, на улице закричали ура, снова салют, снова ура. Залаяли собаки, небо разрывали фантастические цветы. Отблески салюта выхватывали Вик-Ванну из темноты; вспыхивали и гасли медали. «Ура-а-а!» — кричали внизу, верещала сигнализация на машинах. Ура-а-а!



— Да бабка какая-то ненормальная, говорю. Голос у нее показался вначале как у матери...

Они сидели с Японцем, курили.

— Хоп, пойду, — поднялся Японец.

— Что «пойду»? Смотри, пиво еще есть. Может, Опа подойдет...

— Что Опа?

— Ничего.

— Я еще пять иероглифов должен сегодня выучить...

— Не кизди. Сегодня День Победы.

Японец сел.

— А ты прикольно по телефону разговариваешь. Я даже думал, спецом голос подделываешь.

— Иди ты!

Японец отпил пиво и потянулся:

— «Смерть, где твое жало?»

— Что?

— Вот, над столом написано. Сидишь, а сам не видишь.

— А, это... Миссионеры какие-то. До меня сюда ходили. Потом Опа им под зад дала.

— Прикольно. У смерти — жало. Как у мухи.

— У мухи нет жала.

— А что у нее?

— Не знаю... Да посиди еще, говорю, куда торопишься!

Японец конечно не Витек, Витек все понимал, а Японец только свои иероглифы. Но Витька уже не вытащишь.

Потом я пошел домой опять вспомнил убийство не знаю почему, как он тогда подвалил: «дай денег!» Я говорю, «а зачем, можно спросить?» Ну, вежливо. А он: «хочу начать новую жизнь», а от самого блин как от вина вода. «Мне, говорит, в Ташкент нужно, у меня там бабка при смерти, мне ее похоронить надо! А денег нет!» А у меня реально тоже не было, только на проезд, я ему так и сказал. А он: «что, запахло?» И поехал на меня матом. Я его оттолкнул, а он на меня полез, и опять своим матом, я терпел, но когда он сказал ТВОЮ МАТЬ я не смог и ударил ударил что он отлетел и об столб черепом потому что человек любые слова может вынести а такие не может я и ментам это сказал а они суки улыбались но потом сами сказали что про мать нельзя. Но чтобы смертельно об столб этого я не хотел, мне его самого жалко было и я об этом много думал. Мне еще его слова про НОВУЮ ЖИЗНЬ как будто их слышу я ведь тоже хотел в Казань к тетке новую жизнь а получилось что из-за своих слов никто из нас новую жизнь не начал. Правда теперь я знаю Психологию, но компьютер же все-таки лучше, компьютер всем нужен, а психолог только тем у кого психологические трудности как у Японца, который ошизел на своих иероглифах уже. Ушел тогда их учить а я домой, прихожу мать телевизор какой-то дебильный фильм про войну, повернулась ко мне: «чего нового?» Да, говорю, одной бабке психологическую помощь оказал, она до Берлина дошла. Мать говорит: «Иди тимуровец, картошка на плите».

Я поел и лег чтобы заснуть, так за стенкой опять концерт начался, руку даю, что там не кайф, а горе, она нечеловеческим голосом воет, я быстро оделся, мать: куда? я говорю: туда, она опять орет! Мать вскочила: «не ходи, слышишь? Если орет, значит надо!» А я уже в подъезд выбежал, потом во двор, потом в их подъезд, добежал до их этажа, стою, звоню, звоню, ОГЛОХЛИ они там что ли?!



---

---

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ



## ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА

\* \*  
\*

Замедлен отсчет. Оклемаемся за год.  
В забитом поселке — достаточно выгод.  
Спокойное русло и тихая заводь —  
из дней непутевых приемлемый выход.

Вот так и должно быть. Автобус уехал.  
И следует оцепененье, в котором  
тебя забывать — с переменным успехом,  
в себя приходиться — с пасторальным восторгом.

Вот так и должно быть. Поля в отдаленье:  
за розовым — синее. Клевер. Люцерна.  
И всё основательней рубишь поленья,  
от гиблой любви отвыкая усердно.

И так погода затеряешься между  
чужими, утетишься рядом с чужими.  
И впору зарыть документы, одежду —  
и впору другое прикидывать имя.

Дальнейшие действия неторопливы,  
чтоб длить равновесие — жгучее счастье в  
укромном дворе, в обрамленье крапивы.  
Уют устаканен. Крестьянин участлив:

«Сойдешься с приезжей учителькой умной...  
А можно — какую попроще деваху.  
И живностью обзаведешься и уймай  
детешек. Отъешь себе круглую ряху».

Везде обещание свежей фактуры —  
сопутствует местность, потворствует климат.  
И глупыми глазками пелятся куры —  
и лишнее прошлое на смех поднимут.

---

Дмитриев Андрей Владимирович родился в 1972 году в городе Доброполье Донецкой области. Окончил факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко. Стихи публиковались в альманахе «Стрелец». Соавтор и составитель сборников «Дикое поле. Стихи русских поэтов Украины конца XX века» (2000), альманаха «ДвуРечь. Харьков — Санкт-Петербург» (2004). Инициатор и редактор издательской серии «ДвуРечь». Автор книги стихотворений «Сторожевая элегия» (2004). Работает редактором, живет в Харькове. В «Новом мире» публикуется впервые.

И станет не важно, чем был озабочен.  
 Чем был вообще. Ожиданье протяжно.  
 Опять тополями с дорожных обочин  
 ведется своя перекрестная тяжба.

Бухие крестьяне, как сонные мухи.  
 Степенное стадо прошествует мимо.  
 Столетняя утварь. Дыханье разрухи.  
 Избитые сумерки Третьего Рима.

Медлительный трактор виляет прицепом,  
 пылицу в глаза бестолково пуская.  
 Не так ли тебе досаждал я? При этом  
 вполне понимал, что затея пустая...

Чуть-чуть потерпеть — и уже ни прицепа,  
 ни пуха, ни перьев. Напомнят отныне  
 о желтой угрозе — разгул курослепа,  
 о вечной обузе — засилье полыни.

Останься, хозяин, не вяжущий лыка!  
 Как больше не в тягость чужая опека!  
 Лениво, размеренно эта волынка  
 пусть тянется хоть до скончания века...

.....

Но время, в котором успел затеряться,  
 неспешное, как разговоры старушек, —  
 едва отсчитали за кадром «тринадцать» —  
 уже понеслось, соскочило с катушек:

как если б, в колодце воды набирая,  
 ведро упустил — и оно отмотало  
 всю цепь, весь отрезок — от здешнего рая  
 до Судного дна и дурного финала.

И всё на себе — провороты, повторы...  
 Я всё подтвердил, проворонил, проверил...  
 И смерть, и автобус — минута на сборы.  
 А дальше... мелькайте, люцерна и клевер.

1996

\* \*  
 \*

*Ирине Евсе*

Сулит продолжение лазейка в заборе,  
 доступная даже ежу.  
 Сигналят цикады в незримом дозоре.  
 Я тоже — о том же дрожу.

Чем слух напрягаю и мучаю зреньё?  
Чему я значенье придам?  
Цепного волненья проворные звенья  
продвинулись к дачным садам.

Сверлят продолженьё. Стрекочут в затылок.  
Везде беспокойство сквозит.  
Куда б ни выскальзывал лунный обмылок —  
в пределах залива скользит.

А всё основное — осталось за кадром,  
откуда проследовал ёж,  
откуда дают порученье цикадам —  
вгонять в беспричинную дрожь.

Их вроде бы нет. Но поют внутривенно.  
В нездешние вхожи слои.  
Следят. И в наружную тьму непременно  
пошлют донесенья свои.

Казалось бы, кто? — насекомые твари,  
тем тише, чем ниже трава,  
однако всему побережью едва ли  
подобные снились права.

Весь мир — в ожиданье несметного гула.  
Вся жизнь — подготовка броска.  
И звездное небо к заливу стянуло  
свои основные войска.

Ночная вода подтверждает тревогу.  
Тревога пульсирует в ней.  
И знают цикады, зачем здесь так много  
посадочных звезд и огней.

И то, что в груди возникает накатом, —  
в конечном итоге спасем.  
Сигналят. И кто-то, подобно цикадам, —  
повсюду, всегда, обо всём...

Чьим золотом главный фарватер закапан,  
чьей волей стрекочущий сад  
имеет лазейку во тьму, а не клапан, —  
и можно вернуться назад.

Понятно, какая последует местность,  
цикаде, ежу и звезде, —  
как только в другую скользнем неизвестность,  
в ночной отразившись воде...

## Из цикла «Близорукость»

\* \*  
\*

Ночь вполне ориентальна.  
Не сподобился Синдбад  
в золотых садах шайтана  
стырить правильный гранат.

Промахнулся с непривычки.  
Выпив ряженую дрянь,  
прешься к черту на кулички —  
в непроглядную Рогань.

Все выходит неказисто  
в неразборчивой ночи.  
Слушай трезвый бред таксиста,  
утвердительно мычи.

Пререкаться бесполезно —  
говоришь как со стеной,  
что до самого Хорезма  
нужно ехать за женой.

Тормознуть у магазина  
с пиететом попроси.  
Ночь предельно аллюзивна  
в этом радиотакси.

Отвратительной отравой  
я несколько не согрет.  
*Нет руки со мною правой!*  
*От ментов защиты нет!*

Им ни холодно ни жарко  
в эти поздние часы...  
Нужно ехать мимо парка,  
мимо лесополосы.

Ночь размыта, иллюзорна.  
Слезы пьяные сморгни:  
как гранатовые зерна —  
габаритные огни.

Ночь беззвездна, безвозмездна,  
безусловна — впереди...  
У знакомого подъезда  
просыпайся — выходи.

Дверью хлопаешь — тирада:  
 «Закрывай... нежнее дверь!»  
 Ночь — почти из Фицджеральда.  
 Но не здесь и не теперь.

Возвращение Синдбада.  
 Чутко спят жена и дочь.  
 «Где ты шастал?»  
 ...Все как надо.  
 Вот и славно. Ночь как ночь.

\* \*  
 \*

На глаз обстановка прикинута.  
 Заранее снимешь очки:  
 стоят, ожидают какие-то,  
 гася торопливо бычки.

Нашел, где собаку выгуливать.  
 Такие стоят типажи —  
 не спросят ни денег, ни курева  
 (хоть загодя сам предложи).

Ни спичек не спросят, ни мелочи.  
 Кто здесь наиболее крут —  
 поведают (долго ль — умеючи?).  
 Собаку в расчет не берут.

Собака должна быть над схваткою.  
 Задумчиво смотрит сквозь них:  
 в бурьяне, за мусорной свалкою,  
 двусмысленный ракурс возник.

Покажут (умеючи — долго ли?),  
 чем славится жуткий пустырь:  
 не то упыря ухайдокали,  
 не то объявился упырь...

Поди распознай в современниках  
 — чего не видал отродясь.  
 Примчится собака в репейниках,  
 почуяв зловещую связь.

Привиделся кто-то?.. Кто именно?  
 Не сразу заметишь подвох.  
 Очки надеваешь — всё вымерло.  
 Всё мусор и чертополох.

\* \*  
\*

В слепом доверье к атропину —  
зрачок расширен и предвзят.  
Пейзаж размыт и опрокинут.  
Обескуражен прежний взгляд.

Остатки верного мне зренья  
— при беспощадном свете дня —  
ретировались в увольнение,  
залив глаза, как солдатня.

Стоишь, оглядываясь глупо,  
не различая ни черта.  
Куда ни ступишь — всюду клумба,  
бордюр, запретная черта.

Опасный мир себя покажет —  
слепя, сверкая, мельтеша!  
В миг *отчуждения* — вот так же  
замрет растерянно душа.

Минувший опыт выйдет боком...  
Психея-бабочка спешит  
покинуть скучный склочный кокон:  
он окончательно изжит.

Неловко будет на свету ей:  
и этот блеск солдатских блях...  
и колебания петуний  
при отягчающих шмелях...

Куда уволится Психея,  
когда скомандуют отбой?  
Куда подастся, не имея  
гроша и тела за собой?..

Куда ей дальше-то деваться,  
расставшись с тем, что было мной?  
Когда придется отдуваться  
за всё — одной.



---

---

## РОМАН ПЕРЕЛЬШТЕЙН



### ДЕНЬ ФЛАГА

*Маленькая повесть*

**М**не кажется, что я находился в той душной комнате с широким подоконником. Ветер вяло теребил марлевою занавеску. На забранную голубым колером штукатурку метнули полевой цветок. Этот нехитрый способ освятить барачные хоромы назывался накатом. Валик с трафаретом окунали в ведро с золотой краской, а затем одним точным советским движением наносили узор. Половину комнаты занимал черный дерматиновый диван, кишевший клопами. Кровососы не трогали хозяйку, медицинскую сестру Нюсю, но поедом ели постояльцев. Поэтому квартировавшая у Нюси семья Тарнопольских спала на полу, окатывая доски, по которым шли толпы оголодавших постельных клопов, водопроводной водой. Влажные плахи в этот утренний час тускло блестели. В них отражалось июльское серомолочное небо тихоокеанского побережья. Но и на полу Тарнопольские были атакованы клопами, которые сыпались с потолка. Так Владивосток встретил моих будущих родственников.

Посреди комнаты сидел совершенно голый, побритый наголо младенец. Перед ним стояла деревянная плочка с вареным черносливом. Морщинистые мешочки еще дымились, и поэтому хозяйский кабыздох по кличке Шут не решался притронуться к деликатесу. Пес только облизывался и поскуливал. Дите же запускало пятерню в плочку и, обжигаясь, уминало расплзающиеся в пальцах плоды. Это был их завтрак. Нюсиного ребенка и Нюсиного пса. Наконец Шут не выдержал и перебросил пару ягод с зуба на зуб. Прошелся языком по краю посуды, взвизгнул от боли и вылизал лицо, а затем и ладони своего перемазавшегося товарища. Через пару минут плочка сияла, и Шут футболил ее языком, пытаясь угнаться за призраком последней сливы.

Не могу отделаться от ощущения, что этот голый младенец, сидящий на мокрых досках, — моя мать. Маленький божок с бронзовым черепом, укротитель вареных слив. Однако это не так. Моя мать лежала на полу между тетей Раей и дядей Шурой, отчаянно борясь с материковыми клопами. Прибавшись к семье Тарнопольских, мать переезжала из Сахалина в Одессу. Почему-то южносахалинские рентгенологи решили, что девочка должна стать акробатом. Их внимание привлекли ее слабые, но длинные связки: Жанночка прекрасно гнулась под вальсы Дунаевского. И вот уже забывшая, что такое фрукты, худющая, похожая на головастика моя будущая мать глядела во все глаза и не могла надивиться на Нюсиного голомого сына и его четвероногого няня. Нюся весь день пропадала в медпункте угольного треста, а Шут занимался воспитанием мальчика и целиком отвечал за мальчугана своей беспородной головой. Так в свои неполные десять лет мать переплыла Охотское море, погуляла по холмам Владивостока,

---

Перельштейн Роман Максимович родился в 1966 году в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт, а также Литературный институт и заочное отделение сценарного факультета ВГИКа. Защитил кандидатскую диссертацию, член Союза российских писателей. Прозаик, печатался в журналах «Октябрь», «Юность», «День и ночь». В «Новом мире» публикуется впервые. Живет в Москве.



а затем две недели тряслась в одном вагоне с плененным полковником Квантунской армии, сухим, всегда аккуратно, хотя и бедно одетым человеком. Она вставала перед полковником на мостик, выполняла «лягушку», «собачку» и стоячий шпагат. В Москве, переходя с вокзала на вокзал и едва не потеряв акробатку Жанночку в метро, Тарнопольские взяли курс на город-герой Одессу...

Через три года умрет Сталин. А через шестнадцать лет мой отец на трет парафином лыжи и отправится в ближайший лес с балетмейстером Кензиловским. Снег будет хрустеть под моим молодым беспечным отцом как скорлупа грецкого ореха. Лыжная прогулка аккомпаниатора с балетмейстером. Что-то есть в этом антисоветское. Что-то от Теодора Гофмана. Липы аллеи Молодоженов, за которыми мелькнут две фигурки в хемингуэевских свитерах, и по сей день тянутся вдоль грузовой дороги стройными рядами, но стоит закончиться парковой разметке, как липы в панике бегут к Волге. Город здесь неожиданно обрывается складами, лодочной станцией, молом. Здесь же обрывается и моя детская память, уступая место тягучему страху. Наверное, я боюсь, что отец не вернется из леса. Или забудет принести из леса меня, еще не родившегося, но уже следящего за ним из-за осин. В этом замуранном осиннике любой жест, любой вздох превращается в осень, зажатую между двумя мостами, по которым грохочут товарняки. Промышленная зона легко принимает очертания потустороннего мира. Почерневшие от дыма и гари березы выстилают мелкой и тусклой монетой тропинки, ведущие в царство теней. Может быть, кое-что отец и пропустит в тот зимний день, но едва ли самое интересное: схватки матери и мой приход в мир.

Отцы должны брать лыжи и уходить, когда за дело берется природа. В полосе отчуждения, в промышленном осиннике непостижимым образом отцы ищут и находят наши души. Я до сих пор не понимаю, как это отцу удалось найти мою душу. В зимних осинах, прореженных березой, теряешь уверенность в себе. Лес гнет к земле, а земля уходит из-под ног. Да и существовал ли на свете балетмейстер Кензиловский? Я никогда не видел его. Он — страница семейной легенды, которая всегда и все преувеличивает. Может быть, поэтому с недавних пор любой прохожий превращается для меня в Кензиловского, стоит только посмотреть на него сквозь ветки того осинника, услышать посвист того запустения...

Особенно унылый вид улица Качалова имеет в конце августа. Берега необозримых луж петляют от одного перекрестка к другому, а на проезжей части образуют запруды и неполовозрелые моря. По улице плетется очередной Кензиловский с выдавшим виды зонтом. Над его головой во восьмигранный шатер, а целый горный ландшафт с бегущими по ущельям мутными потоками. За Кензиловским вальяжно следует небольшой мокрый диван, в котором далеко не сразу я признаю ротвейлера. Флегматичным выражением своих подушек диван сеет тоску. Известно, что мокрые животные — отличные переносчики тоски. Где у этих собак совесть или хотя бы подбородок, сказать невозможно. Выгуливающий мебель прохожий останавливается, закуривает и выпускает из-под зонта мятый дым. Именно так и начинается осень на улице Качалова...

С того дня, как Тарнопольские квартировались во Владивостоке, прошло без малого шестьдесят лет. Мать не стала акробаткой, зато она стала балериной...

Мне кажется, что это не я в начале восьмидесятых годов задохнулся в облаке апельсиновой цедры и рассыпал лоток с выпечкой. Хотя это был я. Наш класс дежурил по столовой. Будучи рядовым советским продуктом детского возраста, я честно, хотя и неуклюже исполнял свой долг. Если бы не металлический уголок, опоясывающий крыльцо, и флюиды завуча старших классов, которая следила за тем, как я управляюсь с тяжелым основным лотком, я бы никогда не загубил столько ватрушек.

Сарра Абрамовна походила на старого, сошедшего с ума грифа из батумского питомника. Она была высокой и горбатой. Старость просто вцепилась в ее лицо, но оставила молодыми ноги. Строгая юбка, рубашка в мелкий, задушенный лютик. Когда завуч старших классов Сарра Клопоух шла мимо цветочных горшков, герань пыталась вступить в пионеры. Огромные очки увеличивали и без того ужасную Сарру Абрамовну. Ее глаза и волосы были сделаны из огня, а ноги — из горного хрусталя. В глубоких морщинах мраморных рук водились рубиновые перстни и зеркальные карпы. Клопоух проглотила ржавый трактор и поэтому не умела говорить ласково. Доброту она надежно прятала в ленинской комнате своей души. Ее жизнь была переломана, но ее поступь и взор сами могли разломать чью угодно жизнь. Завуч старших классов переставляла ноги как танцовщица на проволоке. Мы боялись об эту адскую проволоку споткнуться. По струне шел ток высокого и гордого напряжения. Я отлично представляю себе социализм, когда вспоминаю об этой невидимой и уже истончающейся проволоке восьмидесятых годов. Своими молодыми ногами Сарра Абрамовна вступила в партию, потом в могилу, а теперь — и в мою память. Я понял это сегодняшним утром, когда мать поздравила меня с Днем флага. Тоже мне, патриотка. Она так ничего и не поняла в жизни. О флаге она помнит, о кошке своей помнит, а обо мне, о моей жизни она никогда ничего не знала. Иметь такую непомерную общественную позицию, столько сил отдать кошке — и так мало знать о своем сыне.

В восьмом классе мне стало известно, что Сарра Абрамовна приходит к нам дальней родственницей. К вечеру у меня поднялась температура. Вот почему Клопоух не укукошила меня, когда я споткнулся о крыльцо и рассыпал выпечку. Румяная ватрушка долго катилась, пока не ударилась о полуботинок Сарры Абрамовны. Человека опаснее я тогда еще не знал. И вот эта страшная женщина спокойно произнесла: «Не поваляешь — не поешь». Потом я стоял у окна и смотрел, как раскисшую в луже творожную массу расклеивают птицы. Сарра Абрамовна была моей засекреченной государственной бабушкой, но на ватрушках она погорела. Это был ее провал. Он оказался не замечен советским режимом, но оставил след в моей душе.

— Как здоровье? — спрашиваю я, не реагируя на поздравление с Днем флага.

— Я, сынок... лучше не бывает. По крайней мере, для меня сейчас.

У матери маленькая и тесная прихожая. Хрущевку по улице Качалова населяют угрюмые работники завода «Радиоприбор» и их сильно пьющие дети. Мать недавно переехала в дом из силикатного кирпича, но уже успела бросить вызов славным традициям завода «Радиоприбор». Она поставила на довольствие четырех помоечных котов, привадив их к своей двери. Прокуренный заводчанами подъезд тут же провонял килькой, куриными потрохами и грошовой шерстью. Мать пообещали прибить, но прибили котов.

Поскуливает хромированный чайник российско-немецкого производства. У чайников, которые мы ей дарим, регулярно отваливаются носики. Они просто отпаиваются. Если у матери кипит чайник, она никогда его не выключает. На каждую секунду жизни должен быть крутой кипяток. И время кипит у матери во всех часах. Надо бы ее за это отчитать.

— Ну а так все в порядке?

Звонко ударив в ладоши, она заявляет:

— Сосед у меня страшный.

— Что за сосед?

— Алкоголик.

— Один?

— К нему приходит женщина с ребенком, которая ему, видимо, как-то помогает жить на этом свете.

Я смотрю на потрескавшийся и словно залитый смолой фотоснимок. Он уже давно превратился в полезное ископаемое. На матери штапельный сарафан в горошек, белоснежные подвернутые носочки и тупоносые сахалинские ботинки. На этом снимке ей не больше десяти. Круглолицая худая девчушка с подрубленной по-кержацки челкой и повязанным драматично, с покушением на революционную романтику бантом. И ни одной черты на лице, которая бы говорила о тяжести будущих нанесенных обид. Черты эти, а их природа кладет сразу, так на ее лице и не проступили.

В жестяной банке из-под имбирного печенья она держит нитки, клубки мулине и орден Почета. В конце восьмидесятых мать укрепляла вставными па-де-де южные рубежи Родины. Ее забросили в Афганистан с культурной миссией. К каждому балетмейстеру-педагогу был приставлен телохранитель, однако русские специалисты представляли собой отличную мишень.

— Ну, вот я родился, а что было дальше? — барабаню пальцами по столу.

Я не смутил ее, не застал врасплох.

— Когда ты родился, отец съездил в «Зеленхоз» и привез толстолистые, какие-то невероятные цветы, которых я и названия не знаю. В январе! В Казани! Цветы! Это надо было как будто из-под земли достать.

С фотоснимка перевожу взгляд на циферблат. Вдруг я начинаю слышать все ее часы, плоские, как подносы, и неутомимые, как якутские лайки. Часы с римскими цифрами и с арабскими, со стрелкой, чеканящей шаг или волочущей ноги, часы без цифр, без стрелок, без руля и без ветрил. Разношерстная толпа механизмов неизменно показывает разное время. Чем ближе часы находятся к порогу, тем больше они спешат. Они как бы подстегивают хозяйку, поправляющую войлочную шляпку перед мерцающим в полутьме зеркалом. Теперь я понимаю, почему от матери ушел отец.

— Нет, ну как ты?

— Как я? Дохну! Дохну! Здоровья нет и нет.

Отвечает она бодро и, я бы сказал, изобретательно, хотя сама этого и не понимает. Вот еще за что можно ее отчитать. За ее щедрое чудачество. Нельзя же совсем не знать себе цены.

По жбанчикам для жаркого ползут хищные трещины. Так заколоченный старческой рукою сад зарастает свирепым сорняком. Ее вещи уже дрогнули. Плодоносящая сила времени, распирающая чебоксарские горшочки, не знает пощады. Как-то я притронулся к ложнокитайской вазе, и она буквально взорвалась в моих руках. Я бережно собрал осколки с изображением акации, китайца, ветра, дующего с Южного Тянь-Шаня, и опустил черепки на дно ушанки.

Сегодня я пришел проводить ее. Мать едет в санаторий «Волжские зори»... Моя родня прихлынула к Святой земле, омыла лицо этой земли и зацепилась за желто-бурые холмы одним поколением рослых и красивых мальчиков. Матери, к счастью, и цепляться было нечем. В Израиле она не прижилась. От обеспеченной старости под шестиугольной звездой отказалась... В санатории девственные сосны, и, как сказано в буклете, «можно будет увидеть красоту полета бабочки».

Путевку она выкупила за бешеные деньги, и я, с одной стороны, рад, что мать наконец-то начала тратить деньги на себя, а с другой — едва ли эта путевка ей сейчас по карману. И я еще не решил, за что же ее распечь — за мотовство или за то, что она слишком поздно стала позволять себе такие широкие и очень важные для здоровья жесты.

— Ну ничего, восстановимся, — шмыгает носом. — Я все же живучая девушка.

Она поправляет на шее болгарский платок с милым рисунком, за который даже при желании отчитать невозможно. Но я всегда начеку. Нет, здесь я бессилён. Довольно милый платок. Наверняка выбирала не сама.

— Девушка, — задумчиво усмехаюсь я. — А тебе сколько лет?

— Мамочке? Шестьдесят восемь. Шестьдесят девятый.

Я, конечно, знаю, сколько ей лет. Но ее возраст — это не те цифры, которые будут держаться в моей голове. И в этом виновата, конечно, она. На подоконнике залитая борщом брошюра: «Методика преподавания азбуки классического танца в младших классах балетной студии». В первом же параграфе говорится об ощущениях гравитации, пространства и времени. Похоже, она готовит своих подопечных для выхода в открытый космос, а не на сцену районного Дома культуры.

Топчемся в завешанной кацавейками и шальями прихожей. Тут же балетные юбочки, купальники, колготки, тапочки, ленты, которые мать красит сама. В прошлом году ее воспитанницы, эти неоперившиеся птенцы, выступали на отчетном концерте в белых как пух одеждах. Теперь им к лицу — телесно-розовый, и их наставница, их деспот, их богиня разводит в хозяйственном тазу анилиновый краситель цвета бедра испуганной нимфы.

В передней не принято днем включать свет. Мать рисует себе бровь субретки, прильнув к притягивающему полуденную тьму зеркалу. Цепляет на запястье дымчато-красный гематитовый браслет, поддерживающий давление. Наконец мы выходим. Не понимаю, почему нужно запереть на четыре оборота. Все равно красть нечего, кроме Соньки, такой же неблагодарной и своенравной особи, как и все ее прежние дармоедки. Кличка Соня переходит с одного хвостатого существа на другое. Лично я уже давно потерял счет ее бессмысленным и глубоко ранящим привязанностям. Усыпив одну Соню, вдребезги старую или больную, мать, обходя за версту кошачье племя, вскоре обзаводится другой Соней.

Я тараню чемодан. Девушка волочит сумку.

— Терпи, коза, — подбадривает она себя.

— Слушай, мам. А ты помнишь Сарру Абрамовну?

— Еще бы! Она была нашей родственницей по житомирской линии.

— А у нас есть житомирская линия?

— А как же? Сарра Абрамовна была такой гордячкой, такой страшно независимой, занимала пост и не могла покрывать своих. Сарра Абрамовна, ты подумай, сынок! Это надо было быть кристальной, чтобы Сарре, да еще Абрамовне быть завучем старших классов.

Я тут же вспоминаю эту особенность высоко взлетевших евреев, которые стеснялись своих корней и держали сородичей на почтительном расстоянии. Но в душе они оставались теми, кем их создал Господь. И глупо прокалывались на ватрушках.

На лестничной площадке стоит штамповщица Аня. Ане под девяносто лет. Седая косоватая прядь штамповщицы кажется металлической.

— Вчера видела вашего внука, — докладывает старуха с жестяной челкой. — Сколько ему? Тринадцать есть?

— Еще нет, но будет, — гордо отвечает мать.

— Конечно будет, если нет, — находится старуха. Ей обидно, что разговор так быстро закончился.

— Далеко собралась? — бросает штамповщица нам в спину.

— В санаторий, — краем рта отвечает Девушка.

Она не хочет, чтобы древняя старуха разнесла эту не бог знает какую весть по подъезду. Мало того что она, видите ли, балерина, так еще и по санаториям мотается. Мать в этом подъезде как белая ворона. Я целиком на стороне подъезда. Надо бы мать как-то исправить. Потому что так жить, как живет она, нельзя!

За порогом тамбура нас ждет солнечный и ветреный день. Нагуливают бока трехцветные флаги. Над улицей Качалова медленно, как теплоход, разворачивается пятипалубное облако.

— Может, повезет с погодкой?

— А, все обманчиво, — машет рукой мать. — Раз — и дождем все проливается...

По утрам улицу, названую в честь великого трагика, бороздят казанские собаководы. Все они находятся в тайном родстве с Кензиловскими, но как-то я наткнулся на самую древнюю представительницу рода — на мать Кензиловского и на ее шпица эпохи «Москвошвея». Маленькая старая собака была по человеческим меркам очень неплохо одета. Ее ребра облегал кусок стеганого одеяла. Наряд, как и положено кокетке, застегивался на спине. На голове несколько кривовато сидел вязаный чепец с металлическим значком «Калуга». На значке изображался спутник. Вокруг шеи этой уже и не совсем собаки хозяйка обмотала какое-то грустное тряпье. Не все пуговицы наряда были застегнуты и не все ленты завязаны. Пальцы и глаза уже плохо слушались хозяйку. Ленты волочились по земле, а накладные расстегнувшиеся петли топырились. Мать балетмейстера Кензиловского вышагивала на своих высоких ортопедических ботинках и что-то нашептывала трясущимися губами. Когда пса потянуло в мою сторону и он даже поглядел на меня, проявляя такое естественное в семь утра любопытство, старуха взяла его на короткий поводок. Страдающая одышкой скотинка со значком «Калуга» на лбу печально посмотрела мне в глаза и тут же и навсегда обо мне забыла.

Я вообще не знаю, нужна ли человеку напоследок жизнь. Ему нужен сухой остаток жизни, ее приметы: коробок, ключи. Человек черпает жизнь не из отпущенных ему под занавес дней, а из глубин своей памяти, из первых впечатлений детства, юности и зрелости. И хорошо бы сразу договориться с первыми впечатлениями зрелости, чтобы они тебя не подвели, не обманули...

Мой дед по линии отца закончил войну в Японии. Сохранилась фотографическая карточка тех легендарных лет. Под раскидистой криптомерией на низкой кавалерийской лошади сидит сдержанно улыбающийся победитель. Маленькая щетка усов над верхней губой и густые брови веселого упрянца. В сорок пятом году мой дед подозрительно был похож на японского режиссера Акиру Куроаву. На последних снимках, сделанных в безликих фотоателье восьмидесятых годов, он уже не был похож даже на самого себя. Возможно, дед стоял под одним грибным дождем с тем самым полковником Квантунской армии, с которым ехала в Москву десятилетняя Жанна. Только мокли лейтенант и полковник по разные стороны фронта. Дед почти ничего не рассказывал о войне, но в моей памяти осталась история, которую, как мне кажется, я придумал сам. Дед и его товарищ ползли через минное поле. Товарищ подорвался, а дед остался жив. Вот и вся история. В детстве я хорошо представлял себе небритого большого деда, который с целым мешком лекарств, в старых тренировочных штанах и стоптанных тапках полз через минное поле...

В автобусе Девушка умудряется завязать разговор с кондуктором. Мило невпопад задает вопросы деревенской девахе с фиолетовыми космами, которая ей с размаху, хотя и культурно отвечает. Я пытаюсь обратить на себя внимание:

— Кабул красивый?

— Мне нечего тебе сказать, — теряется Девушка. — Он был весь побитый. Посреди проезжей части воронка. А вот ночью — да. Горы поднимаются со всех четырех сторон. И на этих горах, как бы на ступеньках, живут люди. Огни, огни, огни, аж до самого неба!

— Ты что, правда ходила по Кабулу и раздавала конфеты?

— Не совсем так. Мы отоваривались в советском магазине. Девтора знала, когда у нас зарплата, и вот тогда они сбегались. Да, я раздавала им хлеб, сгущенку, какие-то шоколадки. Моя начальница стерженела и гоняла их, а я не могла. Они так меня и называли — тетя Чоклет.

— Чоклет — это конфета?

— Ну да. Им так хотелось конфет, что слово «тетя» они выучили.

Похожий на аквариум турецкий «мерседес» перестраивается в левый ряд. Я смотрю на ее изможденное, но все еще привлекательное лицо. Морщины у рта, в котором ни кровиночки, уже не кажутся мне такими резкими, как в ту зиму, когда она перенесла воспаление легких. В ее печальных от природы глазах столько торопливой радости и так быстро вспыхивает пламя, на котором она готова бескорыстно гореть, что невольно заражаешься ее совершенно беспочвенным и даже каким-то оскорбительным оптимизмом. Я с рождения знал это аккуратное лицо с тонкими чертами, эти легкие расправленные плечи, эту точность линий, этот ее всегда один шаг до странного страстного желания угодить мне или поставить меня на место любой ценой. Я едва не унаследовал ее способность совершенно неожиданно и смертельно обижаться.

Люди и животные злоупотребляют ее обостренным чувством справедливости. Девушка редко доносит до дома свою авоську нетронутой. На углу Качалова и Эсперанто она обязательно раздербенит коляску краковской колбасы. Когда она скармливает краковскую беспородному кобелю, ею движет принцип пролетарского интернационализма...

Когда за перевалом говорили подствольные гранатометы, домбра и зурна в их квартале не замолкали. Мать обучала бадахшанскому танцу юрких пигалиц в землистых шароварах, неграмотных девочек возраста гадких утят, которым, собственно, не на что было жить. Днем ее подопечные выступали перед солдатами афганской армии. С калашами за плечом, в гирляндах полевых цветов, защитники апрельской революции забирались на сцену и, не мешая девушкам, отплясывали своим кружком. А ночью ее ученицы зарабатывали себе на тряпки в кабаках и притонах. Гадкие утята рассыпали по плечам прегустую копну, окрашенную басмой или хной, и под их туфли на сбитом каблучке челядь опиумных баронов швыряла горсти афгани. Утром на уроке пигалицы не могли дожидаться перерыва, чтобы метнуться в лавку и набрать полные подолы лепешек, сыра и миндаля. У ее учениц была репутация потаскух — именно так называли всех представительниц слабого пола, которые имели возможность посещать танцкласс русской миссии. Но для матери они оставались несчастными четырнадцатилетними детьми...

Будучи ребенком, я любил расспрашивать мать о том, как она жила, когда меня не было на свете. Но с возрастом жизнь матери почти перестала меня интересовать. Да и мои собственные ощущения давно утратили четкие контуры. Сначала я переживал из-за этого. Потом научился извлекать выгоду из собственной черствости, которая явилась открытием для меня. На сорокалетие Девушка преподнесла мне свитер. Запершись в комнате, я натянул его, подошел к зеркалу и сказал: «Вот таким меня хочет видеть мать — мрачным типом в белой кофте».

В последние годы она взяла моду поздравлять меня с каким-то хорошо скрываемым административным восторгом. Свою утреннюю телефонную речь Девушка заканчивает словами: «Высокосознательный духовный сын. Это ответственно — быть родителями такого сына. И почетно». В полдень до России дозванивается Екатерина Ефимовна. Говорит, что стала старой. Нисходит до просьбы: «Внучек, я тебя прошу, если у тебя еще будет сыночек, дай ему имя Фимочка. Я тебя прошу. Так звали моего папу. Он был очень ответственный человек и на работе и в семье и чистюлочка-чистюлочка! На нем ни пылинки не должно было быть». Ее голос дрожит и скрипит от нежности. Она крупно целует меня в телефонную трубку, и в моей руке на манер флюгера проворачивается прозрачный пистолет из вареного сахара. Младшая дочь Екатерины Ефимовны сразу сыпет сахар в уши, не стараясь придать этому продукту форму рыбы или ракеты. Благие намерения Ларисы, ее распоясавшаяся доброта, мгновенно затопляют меня, и я начинаю захлебываться в глюкозе тетиных суффиксов. Блеющий голосок перепрыгивает с предмета на предмет, оставляя на них налет тревожного умиления. Я теряюсь. Я паникую. Я чувствую себя болваном в гирляндах. Я отпасовываю тете ее суффиксы, ее глюкозу, и разговор не клеится.

Потом прорезается отец из Израиля. Всплывает фамилия Кензиловский, чтобы снова на целый год кануть в Лету. Во втором часу дня меня поздравляет казанское еврейское общество и Белла Тарнопольская с того света.

— Ну и как вы жили на Сахалине? — спрашиваю, уставившись в окно, за которым бежит пыльная, пронзенная толстыми лучами улица Габдуллы Тукая.

— Ой, по-разному, по-разному.

Она отвечает так, будто мы каждый день возвращаемся к этой теме.

— Мама ведь завербовалась на Сахалин после войны. Что-то кусками, моментами помню. Растительность невероятно буйная, зимы снежные-преснежные, но морозов больших не было. И дом, в котором мы жили, уж такая деревяшечка. Двойные стены, и посередке была пустота. Туда засыпали угольный шлак, это для тепла, но горели они! Ух как горели!

Ее голос наполняется Сахалином. Я не могу объяснить себе, как именно это происходит, и от этого скриплю зубами.

— А метели какие! Все провода обрывало. И мы в полной тьме сидим одни. Собачка у нас была маленькая, японская, наша защитница. Вот что я вспомнила! — трясет меня за руку Девушка. — Мама купила за бешеные деньги Пушкина. Большую книгу с иллюстрациями. А иллюстрации были переложены тонюсенькой-растонюсенькой бумагой. Как я любила эту книгу! А потом мы страшно бедствовали, и мама ее продала. Я как будто бы пережила смерть близкого человека. А потом, уже в Одессе, мама снова ее купила. Мама же так любила читать! Если бы у мамы чтение не было первым или я уж не знаю каким занятием в жизни, то я бы никогда не увидела эту книгу. Ты, наверное, в бабушку пошел, такой любитель.

Смотрю на ее полипропиленовую сумку с разошедшейся молнией.

— У тебя же сумка новая, а замок не работает, — выговариваю строго.

— Сумка новая, да я старая.

— Мам, у тебя все отваливается.

— Ну я же всем пользуюсь! И я потихоньку отваливаюсь. Что поделаться...

Моя бабушка была инженером-химиком. Львиная копна смоляных волос, раздуваемая тихоокеанским ветром, опускалась на золотоносные сопки. Екатерина Ефимовна давно уже стала для меня родом созвездия. Малахитовые навывкате глаза за пузатыми стеклами, совиный нос, белый халат аналитика. Такой я себе представляю бабушку — благовидной, образованной и невесомой. Хотя рука у нее была тяжелая. На сопке стоял сталинский острог, под сопкой лежал шахтерский поселок. Железка, по которой бегал узкоколейный паровоз, связывала поселок с городом Макаровом. Чем же бабушка занималась в поселке? Она жгла уголь в муфельной печи и проводила анализ на зольность. Недра сахалинской земли, превращенные бабушкой-химиком в серую пудру, взвешивались на аналитических весах, которые хранились под колпаком. Каждая молекула в этом анализе что-то значила и имела вес куда как больший, чем человеческая жизнь. Из окон щитового барака, в котором ютилась Катерина с девочками, были видны сторожевые вышки Вахрушевской зоны. Бунты и восстания в послевоенных лагерях уже не считались редкостью. Объявил в пятьдесят первом году голодовку и сахалинский лагерь. Однако настоящая жизнь Екатерины Ефимовны протекала не в шахтерском поселке, где бараки горели как свечи и пламя норовило перекинуться на шахту и острог, — ее подлинная жизнь протекала в мире литературных героев. Она родила двух дочерей от Павла, который не вернулся с войны, и назвала девочек не Октябрина и Капитолина, а Лариса и Жанна.

— Мама, почему ты Ларису назвала Ларисой? — спросила бабушку моя мать.

— Я прочитала «Бесприданницу», — спокойно ответила бабушка.

— Ну ты же видела, как она кончила! А меня Жанной. Зачем?

— Я прочитала «Жанну д`Арк».

- Так ее же спалили живьем! Зачем?  
— Я детдомовка. Мне все можно, — отрезала бабушка-химик...

Когда мы сидим с Девушкой плечом к плечу в автобусном кресле или на троллейбусном диване, мы начинаем перебирать родственников. Наверное, так же перебирают книги или вещи, собираясь переезжать с одного края земли на другой.

- Как твоя двоюродная сестра?  
— Какая сестра?  
— Ну, тетя Белла.

Мать вздыхает:

— Всекие прибавляются хвори, симптомы. Но для этой стадии заболевания ничего. Тянет.

Последний раз я видел Беллу тридцать лет назад. Она бродила в черном пеньюаре по одесской квартире с булавками во рту и мелком в маленькой крепенькой руке. Вместо сантиметра Белла Тарнопольская пользовалась шкурой кобры, которую привез из Индии дядя Шура. Цепкие веселые Беллины глазки источали сахарный сироп и пищевой уксус. Ее кукольный рот с базарными проклятиями никогда не закрывался. Ее золотые зубы перегрызали нить. Я думаю, она была замаскированной лилипуткой.

Белла родилась от неудачного бабы-Раиного мужа, который был еще до дяди Шуры. Только ради нас тетя Белла становилась человеком невысокого заурядного роста. Все свое лилипутское белье, лилипутские книжки и лилипутский мармелад она держала в отдельном лилипутском комод. Белла обшивала пол-Одессы, и я уверен, что с нею расплачивались скорпионами. Наконец, она держала в прихожей живого мраморного дога, который в полумраке обнюхивал тебя влажными мраморными ноздрями и вежливо наступал на ногу каменной лапой. Лапа весила столько же, сколько колонна Эрмитажа. Местный храм искусства и начинался с Беллиной прихожей, потому что из-за дога выглядывала картина со скучной бурей. Вода на картине напоминала плохо прожаренную яичницу. Рядом с картиной стоял граненый флакон бледных духов, в котором плавала щепка. Я думал, что это обломки кораблекрушения. Желтая вода из картины как-то проникла во флакон и установила там свою власть. Точно так же считал и мраморный дог.

Одесская швея-мотористка, хлебнувшая израильского счастья, превратилась на пороге могилы в сплошное мужество. Она собирается справлять свой юбилей в ресторане, и весь Израиль в ужасе. И еще она собирается жить, хотя врачи в один голос запретили Белле даже и думать об этом.

Моя мать слеплена из того же сахалинско-одесского теста, но мать другая. В ней нет жизнерадостного хамства. Мать вышколена сценой, классическим репертуаром. Она все еще не забыла чуткого беспамятства седой Сольвейг, которая сидит на норвежском валуне, сколоченном из одесской фанеры. Да и житомирско-казанская линия, непотопляемая логика отца сковала миром условностей это экзотическое теплолюбивое растение. Ей непросто было играть малокровную скандинавку. Однако соленые сахалинские метели и колонны советских Пер Гюнттов, которых гнали через поселок вахрушевские вертухай, помогли входить в образ...

В мареве запорожской степи, под полуденным солнцем, раскалившимся лафеты орудий, я вижу парня в каске и ловлю на себе пепельный взгляд моего отца.

За высоким песчаным берегом, на котором была распялена их батарея, начиналось широкое азовское мелководье. Ноющим автоматическим огнем зенитки переворачивали и степь и небо. Где-то высоко в солнечном погребе бесшумно рвались осколочные шестикилограммовые патроны. Не отыскав законной добычи в небе, железо находило, чем поживиться в море. Металлический ливень опускался на азовскую волну, и прибреж-



ная полоса посверкивала серебром сеченой плотвы. Как ни бугри скулы, все равно раззявишь рот, когда сухими толчками отойдет патрон за патроном. Взбаламученная степь кормила артиллерийскую прислугу травой и землей. Но лучше наестся песка и горьких корешков, чем оглохнуть. Широкоскулый заряжающий Вайткявичюс заправил обойму в магазин. Подавшись вперед гибким корпусом, он взвел рычаг, закручивая пружину до шелчка. На последнем витке пружины плоское, сонное от природы лицо литовца побагровело. Сержант Коваль с ленцой дал отмашку. Оружие молчало. К несчастью третьего расчета, патрон встал наперекос, и затвор заклинило. В белом бешенстве из рыжего клуба пыли вышел капитан Сурмач, жилистый, усатый бог зенитки пятьдесят седьмого калибра. Он молча запрыгнул на платформу, оттолкнул заряжающего. «Как сосновая шишка в жопе, — процедил Сурмач сквозь желтые зубы. — Туда идет, обратно — йок. Коваль! Подгоняй тягач. Будем вырывать затвор». — «Не понял, товарищ капитан», — нервно осклабился Коваль. «Чего ты не понял? Ствол потрогай. Хоть куличи пеки. А там не кулич раком встал, а осколочно-трассирующий. Две минуты у тебя, сынок». Ковалья сдуло. Низколетящий самолет воображаемого противника тянул над белыми бурунами конус, напоминающий воздушного змея. С этим змеем и должна была разобраться батарея Сурмача. Комбат отмахал на прямых ногах несколько шагов, так чтобы его было и видно и слышно. «Первый и второй расчет — в укрытие! Третий расчет — к орудию». Долговязый Вайткявичюс и мой отец накинули петлю на затвор полевой пушки. Тягач прыгнул, натянул трос, и под звон колоколов, который лился прямо с неба в души третьего расчета, вырвал и затвор и снаряд. Описав в воздухе дугу, осколочная граната ударилась о край стальной платформы...

Нет, отец в армии не служил. Значит, парнем с пепельным взглядом был я...

Сольвейг научила меня шнуровать ботинки и срезать боровики. Она привила мне любовь к бродячим животным, к людям, стоящим в очереди, к речным трамваям, к вечерней воде, но жить не научила. Мне сорок два года. Я листаю «Исповедь» Августина Аврелия. Ноет сердце. Я снимаю с вешалки рубашку — откладываю, беру другую — откладываю, снова беру — откладываю, беру — откладываю, откладываю — беру, разговариваю по телефону — беру нож, кладу трубку — беру булку, падаю на табуретку, тру виски и ничего не понимаю. Я пытаюсь склеить разбитую вазу, свою, по сути, жизнь. Ужас состоит в том, что, кажется, это не моя жизнь. Это жизнь моего отца. Я собираю по осколкам чужую вазу. На вазе изображена плоскодонка в зарослях акации и дом китайца. Почему достаточно искры, чтобы между нами вспыхнула ссора? Я могу прийти к ней, выдуть стакан ледяного компота и наорать на нее так, как будто бы я ее бывший и совершенно спятивший муж. Вот я подношу стакан к губам, а она спрашивает: «Откуда у тебя такая миленькая рубашка?» Разве она не знает, что когда Пер Гюнты пьют компот, их ни о чем не нужно расспрашивать? «Так ты все время пьешь или ешь!» — «Значит, со мной вообще не нужно говорить!» Беру казанок с фаршированными перцами, который она приготовила для нас, и колочу каблуками по лестнице. Хоть бы я убился с этими перцами. Почему я не успеваю вспомнить, а лучше понять, как многое нас теперь связывает? Теперь, когда я гораздо лучше стал понимать ее...

В пятьдесят седьмом году в Москве проходили Дружеские игры молодежи. Над холмами Первопрестольной трещали флаги всех держав. Атлеты в синих и красных майках во имя мира на земле бросали друг друга через бедро. Потом они спортивно жали руки и, подрагивая молочными мускулами на загорелых лопатках, шли бить первых стилиг и фарцовщиков. Или шли в первые стилиги и фарцовщики. Мой отец не был ни спортсменом, ни стилигой. В пятьдесят седьмом он надел шевиотовый

костюм, купил букет гвоздик и пошел на свидание к своей первой девушке. На обходном балконе его припечатали кастетом. Для верности разбили о кучерявую голову бутылку. Затем с него сняли костюм, скатили с винтовой лестницы и сбросили в канализационный люк. Он выбирался из кирпичного, покрытого мхом и плесенью колодца, плохо соображая, где находится и кто он такой. Первые минуты, после того как отец пришел в себя, не задержались в его памяти. Он их не помнит. Я думаю, что это мои минуты. Мои первые минуты. Я уже давно хотел их примерить. Это я цепляюсь за скользкие углы и расшатанные чугунные скобы. Это я пытаюсь выбраться из канализационного коллектора. Вот только я не знаю, что такое свет, тьма, боль, кровь, гвоздики, лестница, объятия, полукеды, стыд и смерть. Со сломанным носом и трещиной в основании черепа юношу в армию не взяли. Он свое отвоевал, пока пересчитывал одухотворенным лбом чугунные ступени в доме по улице Галактионова...

Занесенная снегом, покрытая мелким мертвым кустом степь. Мой десятилетний сын сайгачит по сугробам. Вытянулся, стал неуклюжим. Мы одни здесь. Мы — мужчины. Нам нужны такие степи, такая тишина. День выдался пасмурным, и все залито хромом январской звезды. Худой, долговязый, упрямый мальчишка. Не причесать, не убедить. На голове не волосы, а гирлянды карандашной стружки. Никто его не торопит с выбором профессии, но, глядя вдаль, он уже делает безответственные и важные заявления: «Я бы хотел быть космонавтом, но только без космического корабля, без космоса, без шлангов и приказов. А так, чтобы сидеть где-нибудь на даче и пить чай»...

Наш аквариум медленно ползет к перекрестку. Витринные стекла «мерседеса» шлют друг другу телеграммы-молнии. Световая субстанция летнего дня плещется в зеркальных кубах. Девушка кладет голову мне на плечо. Ее каштановые волосы пахнут фиалками, гончарной глиной и бумажным снегом новогоднего утренника.

— Ну, расскажи мамочке что-нибудь о себе.

Пожалуй, этого я не смогу никогда.

— Работаю, мама, работаю.

— Как тебя на все хватает? Я вообще не пойму, из чего ты сделан, сынок.

Мне хочется замять разговор о ее единственном сыне. Тем более что это так легко.

— Вы, наверно, и не знали, кто сидел в лагере?

— Конечно не знали. Когда начинались пожары, дрожала земля, так мы с Ларисой боялись, что они вырвутся и нас всех переколотят. Там дядя Леня некий сидел, который маме записочки передавал. Но что за дядя Леня? Что от него осталось? Вот она жизнь. О господи, — философски вздыхает Девушка. — Куда едем, куда поворачиваем?

Улица Тукая укрывает нас тополиной тенью, и автобус уподобляется подводному гроту. На дне грота в затылок друг другу стоят полужесткие кресла. Вросшие в кресла пассажиры путешествуют не в пространстве, они стремительно перемещаются во времени, о чем свидетельствуют коралловые выражения их лиц и рук. Я вспоминаю голомого младенца, вымазанного сливой. Я продолжаю принимать его за маленькую Жанну. Его я отлично вижу, а ее — нет. Она лежит в углу, скрытая утренним полумраком, в котором пируют Нюсины клопы. Тополя остаются позади, и мы попадаем под упражняющийся в беглом счете закатный луч. Поручни, штанги, оконные переплеты отбрасывают целый веер розовых теней. В детстве именно в этот час начиналась мигрень, которую мать снимала легким поцелуем в макушку. «Мерседес» заходит на поворот, и солнечные прямоугольники летят через весь салон, подобно метнувшемуся вспять косяку камбалы.

— Владивосток красивый?

— Владивосток весь на холмах, весь на горах, и сверху смотришь на море, на порт — ну это сказка! Это что-то невероятное. Воздуха невероятно много, и моря невероятно много.

— До сих пор не понимаю, как ты вырвалась из Вахрушева.

— Я же тебе рассказывала. Был конкурс юных дарований. Я поехала, выступила. Все деньги просадила на ситро, зеленая водичка, и вдруг — боже мой! — мама. Ее вызвали. И ей сказали: «Девочка очень слабенькая, хрупкая, тонкая, но она создана для сцены». Мама стала засыпать письмами цирковые училища и балетные школы. Но брали только нацменов. А мы, как выяснилось, ни к какой нации вообще не относимся. И тут у тети Раи приспело такое дело, ну, неважно какое. В общем, врачи ей прописали Одессу.

— Ты хоть понимаешь, что ты чудачка?

— Есть люди, которые сразу меня отвергают. Еще слова не сказала, а они — уже. Хотя потенциально я не несу ничего такого, у меня как раз таки посыл нормальный.

Боже мой, неужели и я отношусь к этим людям? А может быть, она говорит обо мне, только обо мне, но не понимает этого и никогда не поймет.

— Существует норма равнодушия, а ты ее недовыполняешь. Сачкуешь. Конечно, это бесит. Она хорошая, а мы плохие?

Мать поднимает брови, выкатывает глаза, поджимает губы. Она вовсе не против, чтобы я ее за что-нибудь отчитал, но на этот раз я, похоже, хватил. Ее лицо, которое беспрестанно меняется, целую автобусную остановку хранит верность одному выражению — возмущенно-торжественному...

Раиса Тарнопольская была женщиной, которая всех кормила и всех проклинала. Баба Рая не могла пройти мимо голодного зяблика, а накормив его, тут же проклинала. По отдельности эти два креста она носить не умела. Все о себе узнавал вставший на дороге табурет и был проклят сразу до третьего колена. Червь, подгрызающий корни бабы-Раиноного табурета, вызывал подкрепление, и тогда куча невидимых и вездесущих ртов лакала янтарный клей, благодаря которому не рассыпаются табуреты и вообще вещи. Табуреты спали глубоким сном в еще не народившихся полтавских дубах, а баба Рая уже подсыпала им стрихнин в потапцы с помидорами. И на этом же табурете Рая плакала, проклиная своих неблагодарных детей. Ведь ради того, чтобы у них была на обед курочка, она могла гнать мужа в пасть к самому дьяволу. И дядя Шура со своим вовремя прооперированным, укороченным кишечником пер хрусталь из Кишинева. В конце концов она уездила его. У гроба Раю бунтовала: «На кого ты меня оставил?! Ты хоть понимаешь, на кого ты меня оставил?!» С ее стола не пропала ни одна крошка. Но тот, кто попадал ей на язык, уже не имел в жизни счастья. В конце концов все ее проклятия сбылись.

В начале шестидесятых электрики приехали поменять лампу в фонаре, который висел над улицей Шолом-Алейхема. Десятилетний Валерочка, племянник тети Беллы, стоял в ноябрьских сумерках посреди дороги. Он смотрел, как монтеры возятся с прикипевшим латунным цоколем. В санках сидел семилетний Олежка. Из темноты вылетел автомобиль. Все произошло слишком быстро. Белла записала Олежину смерть на Валерину совесть.

Моя мать узнала о смерти бабы-Раиноного внука за два часа до спектакля. В тот вечер мать танцевала партию Сольвейг. Она олицетворяла Север, в его чистоте, холодности, ясности. Пер Гюнт возвращался домой, отвергнутый всеми. Возвращался нищим, обворованным и преданным. Когда Пер Гюнт идет к ней с протянутыми руками, а Сольвейг, спеша навстречу, проходит мимо своего лагерника, мы понимаем, что Сольвейг ослепла. Зал плакал. В тот вечер мать не удержалась: побежали крутые горячие слезы. Вот она плачет, гладит Пер Гюнта по голове, валит сахалинский снег, и набегают ноябрьский занавес. Этих слез по Олежке ей не простили.

Белла Тарнопольская поедом ела племянника. Валера брал санки и уходил на весь день на кладбище. Он стоял у могилы брата и сгрызал до крови кулаки. После Олежкиной смерти Валера начал заикаться и мочить простыни. Потом он вырос, стал проводником, сел в тюрьму, приехал в Казань познакомиться со мной. Он повел меня на оперу «Князь Игорь». В буфете дядя Валера напился и решил навестить нашу еще до войны тронувшуюся умом родственницу, которая жила в доме с каменным дейнековским физкультурником. С сумасшедшими родственниками в конце семидесятых у нас все было в порядке. Мы взяли такси, но не доехали. Мой кишиневский дядя, вероятно под впечатлением от оперы в четырех действиях, залепил таксисту оплеуху.

Беллина дочь Нинка задержалась в моей детской памяти одним штрихом — молодая тень Беллы. Это все, что я могу о ней сказать. Молодая и бешеная Белла. На Святой земле Нинка спилась. Да и было от чего. Ее сына Олега, названного в честь убиенного Беллиного сына, призвали в израильскую армию. Олега направили в хорошее место, но Нининому сыну достался второй ярус. Во сне он упал с койки и убится насмерть. На Беллином Олежке ведь тоже не обнаружили ни единой царапины. Только гематома в области виска. Сын и внук Беллы, получив одно и то же имя, приняли одну и ту же смерть — мгновенную и необъяснимую. В мой день рождения Белла позвонила мне и сказала: «Пусть у вас будет все тепло, ласково и нежно». Это были ее прощальные слова.

Баба Рая тоже умирала от бронхогенной карциномы. Правда, Раиса Тарнопольская не знала, что у нее рак легкого. Детям сказали: «Готовьтесь», а Рае прописали народное средство. Баба Рая месяц жевала какую-то дрянь, полагая, что у нее бронхит, и чудесным образом излечилась. Рае даже не стали говорить, от чего она излечилась. А через неделю бабу Раю то ли от голода, то ли со страху укусила крыса. К тому времени Тарнопольские совершенно обнищали. Дядя Шура давно лежал в могиле. Крысы бегали у них по столу. Моя двоюродная бабка не придавала значения посиневшему мизинцу. Началась гангрена, и когда хватились, было уже поздно. Хоронить Раису Тарнопольскую было не в чем, и бабушка-химик отдала ей свое ситцевое платье...

Мы выходим на автовокзал. Отсюда рукой подать до промышленного осинника, в котором отцы ворошат палками листья — ищут наши души. Голубой смрад отработанного бензина, неподъемные сумки, все оттенки ржавого. Мы сидим с матерью на скамье, как и тридцать лет назад. Та же фанерная бессмертная серая скамья. Мы сидим и ждем автобус, который доставит ее в санаторий. Я очень строг, очень серьезен. Боюсь, что мать позволит себе очередную нелепость, и мне станет невыносимо стыдно, хотя, конечно же, нелепа не она, а этот автовокзал, эта скамья, этот мир, но я хочу, чтобы нелепой была именно мать. Так мне легче. Мать хочет поразить меня обещанными ей изысканными процедурами:

- Там бассейн с минеральной водой.
- Ты плавать умеешь? — спрашиваю строго.
- Нет.
- Зачем тебе минеральная вода в бассейне?
- Ну, побултыхаться! — весело отвечает она.

Я начинаю хохотать, хотя я не хочу хохотать. Я хочу быть невозмутимым. Она уже достает пакет с прожаренными, круто посоленными семечками. Собирается кормить наглых вокзальных голубей.

- А это что? — спрашиваю строго.
- Это птичкам.
- Каким птичкам! Ты едешь в Чебоксары.

Теперь хохочет она. А я смотрю на нее во все глаза и хочу найти в ней какой-нибудь дефект, за который отлично было бы ее распечь, разнести в пух и прах. Я хочу наконец понять, чтобы уже не возвращаться к этому

больше, почему она такая, в чем ее главный просчет, изъян? Но изъяна нет. Ни одного изъяна. И меня охватывает ужас.

К посадочному перрону подают полуторазтажный лайнер цвета жженого кофе. Автобус медленно заплывает под навес. Мы подхватываем шмотки и занимаем место в голове очереди. Пока я вожусь с чемоданом и сумкой, пристраивая их в закоулках багажного отсека, мать готовится сообщить мне нечто важное. Я понимаю это по ее заговорщическому взгляду, по тому, как она перебирает звенья кроветворного браслета.

— У меня сюрприз для тебя.

— Так, — собираюсь с духом.

— Мне позвонили из Министерства культуры. Предложили работу.

— Какую?

— Поднимать классический балет в Марокко.

Она не шутит. То ли ее распирает от смеха, то ли от гордости.

— И?

— Я их спрашиваю, вы знаете, какой мне пошел десяток? А они отвечают: «Это все не важно. Вы — наша последняя надежда».

Я подаю ей руку, помогаю взойти на ступень автобуса.

— То есть кроме тебя ехать в Африку некому. И бедуины без тебя не обойдутся.

— Мне сказали, они живут в таких условиях хороших, что уже могут себе позволить классический балет.

Я загораживаю проход. С места не сдвинусь, пока не узнаю всего.

— И что ты ответила?

Она замирает на секунду. Спohватившись, взмахивает руками:

— Куда, куда я поеду? У меня дети. У меня концерты, концерты, концерты, выступления, репетиции, репетиции, выступления, концерты!

И тут я понимаю, что она себя уговаривает. Мать пытается найти цивилизованное объяснение тому, почему она не может бросить нас. А это значит, что если она не найдет абсурдного объяснения, то она соберет чемодан и затеряется в песках...

Двенадцать лет тому назад родился мой сын. По традиции, заведенной отцом, я едва не опоздал к началу схваток. Оседлав велосипед, я отправился на ближайшее болото. Сырая земля чавкала под ободами. Вдруг в колесо впорхнула бабочка, и спицы не смололи ее в пыль. Желтое пятнышко вынырнуло с той стороны колеса и разумно исчезло в кустах малины. Бабочка, быть может, даже не заметила, сквозь лопасти какой смертоносной мельницы прошла. Вот так приходят в этот мир холодным летним днем, при шквальном ветре, обладая лишь крупницей плоти.



---

---

## ЗВИАД РАТИАНИ



## ПУТИ И ДНИ

Перевод с грузинского и вступительное слово Бахыта Кенжеева

*Звиад Ратиани — один из лучших грузинских поэтов. Я могу быть пристрастен, потому что, встретившись года три тому назад, мы ощутили мгновенную — и, смею надеяться, взаимную — симпатию. Впрочем, я слышал о его стихах задолго до этой первой встречи\*.*

*Он читал мне по-грузински, я следил за содержанием по подстрочнику. Даже при таком восприятии стихи поразили меня мгновенно и бесповоротно. За ними проступала — как и бывает с прекрасной поэзией — напряженная и благородная душевная жизнь, любовь не только к слову, но и к нашему незадачливому бытию. Небольшой цикл стихов Звиада, который я впоследствии с восторгом перевел, стоит в его творчестве чуть-чуть особняком. Он проецирует эту душевную жизнь на ее повседневный контекст: частые командировки, дорожные встречи, мысли о сегодняшней Грузии с ее не самой завидной судьбой. Как и полагается патриоту, Звиад смотрит на свою родину преданно, но без романтического флёра; порою кажется, что он в этих стихах постоянно помнит о знаменитом лермонтовском «люблю отчизну я, но странною любовью». Счастлива страна, рождающая таких тонких и бескорыстных поэтов.*

*В подлиннике эти стихи зарифмованы; я перевел их верлибром не по лени, а потому, что хотел как можно лучше передать их строй, — как бы нарочито сдержанный и насыщенный непростыми тайными страстями.*

Беспорядочная коллекция незавершенных мыслей.

Илья Чавчавадзе, «Записки путника», 1861

### I

Чуть ли не ежедневно переезжая на новое место, ты даже радовался; озябший, проголодавшийся, предполагал, что след путешествий останется где-то, хотя бы россыпью букв

---

Звиад Ратиани родился в 1971 году в Тбилиси. Поэт и переводчик поэзии. Получил техническое образование: в 1992 году окончил факультет связи Тбилисского технического университета. Автор четырех стихотворных книг. Переводил на грузинский язык стихи Райнера Марии Рильке, Томаса Элиота, Эзры Паунда, Роберта Фроста, Уистана Хью Одена, Роберта Лоуэлла, Дерека Уолкотта, Шеймаса Хини и других поэтов. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Института Гёте за переводы стихов Пауля Целана (1999) и премии имени Важи Пшавелы за поэтический сборник «Дороги и дни» (2005). Стихи Звиада Ратиани переводились на многие европейские языки. Живет в Тбилиси. Работает инженером в компании мобильной связи.

\* Пользуюсь случаем поблагодарить Николая Свентицкого, неумолимого организатора ежегодных грузинско-русских поэтических фестивалей, за возможность познакомиться не только со Звиадом Ратиани, но и с другими первоклассными поэтами Грузии. (Примечание Б. Кенжеева.)

на бумаге. Не вышло. Зато ты узнал о тайных недомоганиях странников, чьи силы то возрастают, то падают. Голос жены или дочери мерещится перед сном. Учащаются дежавю. Приступы беспричинной грусти одолевают все чаще. И еще одно чувство — боль, словно теряешь нечто неназываемое, неотъемлемое, взамен получая лишь возможность быть чужим, обладать тьмой лиц и имен. Быть чужим не для других (для них ты и так посторонний), но для себя самого, быть одним из бесчисленных «Я», который вступает в незнакомый город. Спрашивает дорогу. Переходит мост.

## II

Странствия по родному краю. Год: явно не первый. Причина: дела, то есть служба. Следствие: зарплата. Виноват. Худо, когда стихи нуждаются в предисловии, без которого (опасаешься ты) их вряд ли поймут, грех растолковывать, что ты и впрямь превратился почти в бродягу, привычно просыпаясь в разнообразных градах и весях, то в гостиницах, то в семейных домах. Впрочем, много ли в этом корысти? Открывая глаза, не помнишь, где просыпаешься, не понимаешь, когда. Скажем, вчера крик петуха тебя разбудил, позавчера — прибой. Или наоборот? Счастье, да, счастье, вот что, верно, было бы правильной целью странных и суетных лет, которые ты разменял на мелкую боль, жертвуя временем и покоем ради бессмыслицы: влюбляться во все, что увидишь.

## III

В эту страну часто тянет влюбляться. Бывает, и ты поддаешься соблазну, особенно если тонет дорога в июльских горах, вьется. «Мои славные, я вас люблю!» — хочется крикнуть придорожной деревне и коршуну, вывешенному, как флаг, на околице, и лесистому склону, откуда он спустился, и вотчине коршуна — небу меж горных вершин, и траве, ждущей кровавых перьев будущей жертвы, и самой этой жертве, что хищник не успел еще высмотреть. Лает дворовый пес, на забор бросаясь. Девочка-замарашка провожает взглядом твою машину. Что делать с внезапной радостью в сердце? Боль — проще, о ней так нетрудно писать, но что сочинить о радости, если справиться с нею недостает ни одиночества, ни таланта?

## IV

Да, другой лучше тебя знает трассу. Выходит перекусить в правильных забегаловках и по малой нужде отправляется в живописнейшие уголки вдоль дороги. А чему ты сам научился? Пять-шесть вековых деревьев, два-три кладбища, мирно распластанных в шелестящей высокой траве. Дети на железнодорожных рельсах. Зимнее море, морозный плеск его сизых волн. Столько картин, — и, должно быть, бесплодных, словно пустой орех. Хоть всю жизнь проиграй в этот пасьянс, хоть весь век тасуй свои жалкие карты — родины из них не составишь. А соперник твой, погляди — он и трассу освоил, и родину. Пусть же расскажет, какое выбрать кафе придорожное, чтобы оказался шашлык не только сочным, но и дешевым.

## V

На рассвете стираешь носки в холодной воде без мыла, в низком гостиничном умывальнике. Ночью шел дождь. Хорошо бы на весь день зарядил, лишь бы только не думать о том, куда пойти. Усадить рядом давешнюю веселую горничную (полурусскую, полугрузинку), выпить вместе (благо есть и законный повод — простуда), выслушать сотню забавных баек — другого проку не будет от твоей пожилой собутыльницы. А допьем — она унесет посуду, пахучую банку из-под кильки в томате, полную пепельницу. Ты запираешь дверь, хотя покушаться на твое одиночество некому. Перед тем как лечь, упрешься взглядом в высохшие носки на трубе отопления, начищенные ботинки. И подумаешь: для смешливой горничной ты, сегодняшней, неизменен, ты был, есть и будешь, а для себя — лишь одно из стремительно преходящих «я».

## VI

Как не хватает друга или приятеля. Прямо сейчас, в состарившемся храме. Мы бы поставили по свече Богородице и паре святых, а выйдя наружу, непременно присели бы побеседовать о высоком. Спустившись по склону, затемненному влажной тенью, снова бы взор обратили на бедный собор, белоснежное пятно среди буйной зелени. «Храм в контексте речи — лишь прилагательное к пейзажу», — ты бы изрек другу. Вряд ли бы он оценил — вы оба слишком утомлены. Но ты один-одинешенек, и пустым остроумием не утолить неожиданного тепла, разливающегося в твоём неверующем нутре. Замрешь, выкуришь две или три сигареты подряд, растерян, расстроен — где же тот друг-приятель, хотя бы просто свидетель, пусть бы порадовался, какой ты симпатичный, тихий, незлой.



## VII

Чуть ли не ежедневно переезжать на новое место. Осторожно спускаться с гор в незнакомый городок, который, увы, не особо отличен от прочих. Все города твоей родины схожи друг с другом, предсказуемы здания в центре: вокзал, кинотеатр, почтамт, гостиница, городская управа, предсказуемы выселки: домики и уж тем более огороды. В любом городе отыщется улица Г. Табидзе, 9 апреля, Царицы Тамары и Руставели. В любом найдется одна река с захламленным темным берегом и оживленный оборванец, который трясет тебе руку, словно старому другу, демонстрирует на главной горе бурые развалины древней крепости, доверительно врет, что именно там могила царицы, а под конец предлагает купить у него литруху домашней чачи.

## VIII

Скажись больным — вряд ли в таком состоянии ты сумеешь вести машину. Попроси товарища сесть за руль, а сам приляг на заднем сиденье, так, чтобы лицо не отражалось в зеркальце заднего вида. Всхлипывать постарайся неслышно, слезы утри ладонью. Твоя Борена дожила до утра, вопреки всем прогнозам. А дальше? Лучше не думать. Еще три дня назад она пусть с трудом, пусть с твоей помощью, но сама добралась до палаты. Легла. Кажется, попыталась взглядом что-то сказать, но ты ничего так и не понял. Что же теперь? Что теперь? Застать ее еще живой, чтобы успеть проститься и навек запомнить ее жалкий предсмертный хрип, или быть вдалеке, когда это случится, а до того — ждать звонка, ждать звонка, ждать звонка...

## IX

Доводилось тебе в незнакомом селе миновать истоптанный пятачок у столовой, где коротают время безработные всех возрастов? Право, холодный пот прохватывает, когда они настороженно и недружелюбно глазают, словно пришельца с Марса заподозрив в тебе. Проходя сквозь строй этих взглядов, не понимаешь, как быть: ускорить ли шаг, остановиться ли, поздороваться? Откуда такая растерянность? Разве ты виноват перед ними? Что же они тарачатся, будто на пойманного с поличным конокрада или карманника? Видно, есть на свете еще одна хворь в добавление к клаустро-, никто- и акрофобии: страх не суметь оправдаться, так и оставшись немой оболочкой для тех, кто тебя — Бог им судья — ненавидит. И ты прячешь в груди дыхание, словно вор — добычу, пробираясь сквозь темное поле враждебных взглядов.

## X

«Упаси Господь болеть одному, тем более ночью, тем более, далеко от дома. Одному и далеко от дома. Ах, никто меня не утешит, никто не подаст лекарства в тусклом гостиничном номере. Одеялом укрылся, курткой, а знобит все равно нестерпимо, и воды в бутылке осталось едва на один глоток. Упаси Господь болеть одному, особенно если ты мужчина: они в болезни много слабее, они вообще ужасно падают духом, хворая в отсутствие матери, или сестры, или возлюбленной, или жены, хлопчущей со снадобьем в правой руке, холодным питьем — в левой». Ночь, гостиница, одиночество. Страх смерти здесь и сейчас. Долго мерещился в темноте собственный труп, жалко скорченный на несвежей простыне. А поутру стало так смешно и так стыдно.

## XI

Один насаживает мясо на шампуры, другой разжигает огонь, третий, как водится, к ним пристаёт с советами. А ты уже успел выпить и рад, что выпало погулять с этой мелкою сельской шпаной, повторять нехитрые, невеселые, краткие тосты, вставать со всей компанией, когда поминают убитого кореша, торжественно достают нержавеющий портсигар, где косяк, скрученный им перед смертью, хранится, подобно реликвии. Слово за слово, парня уже обсуждают тбилисских братков, удивляясь, что гость (видимо, лох) не слышал даже о самых знаменитых. Таким образом, еще до шашлыка твои акции быстро падают. Вдруг понимаешь: пожалуй, ты заигрался, пора бы и ноги в руки. При общем замешательстве резко запрыгиваешь в свою «Ниву» и, будто новый Джеймс Бонд, уносишься вдаль, смеясь.

## XII

Снова гостиничная столовая, снова ночь. Теплый чай, холодные макароны. Ты последний клиент: все стулья уложены на столы вверх ногами, уборщица мается у дверей. Ушел. Из соседнего номера слышатся гневные звуки телевизора. Юный француз, въехавший позавчера, опять смотрит какой-то грузинский канал, хотя и не понимает ни слова, а комментатор знай возмущается противоправным налетом войск соседнего государства через границу, то есть грубым вмешательством в наши внутренние и т. д. Ты отключаешься. Ты уже сутулишься за низким, за шатким столиком, пытаешься, известное дело, сочинять, и свежепридуманную строку произносишь то по слогам, то растягивая гласные, влажные, как морская водоросль, пока слова наконец не лишаются смысла.

## XIII

«В аэропорту тебя встретят. Узнают и подойдут сами. Позаботятся о жилье, документах, деньгах. От тебя потребуется немного. Помахать рукой прошлому — быстрее, чем сдирают с себя воспламенившуюся одежду. Велеть своей крови успокоиться. Приказать сердцу, чтобы мечтать прекратило. Глазам запретить смотреть в иллюминатор. Телу... впрочем, оно и так будет надежно привязано к креслу». Взлетная полоса переливается, гаснет, сверкает. Дела завершены, можно вздремнуть. А голос продолжает: «...всех близких и всех родных изгони из памяти, ибо новая кровь в жилах твоих заструится; новые земли, наречия, яства станут наградой тебе...» Будто звон разбитой рюмки — и ты просыпаешься, словно падаешь с высоты.

Бахыт Кенжеев родился в 1950 году. Окончил химфак МГУ. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе «Антибукер» (2004), «Anthologia» (2005) и «Русская премия» (2009). Стипендиат Канадского совета по делам искусств (2009). Живет в Канаде, США и в Москве.



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЛЕВ СИМКИН



## ПУТЕШЕСТВИЯ ДУХОБОРОВ

### Костер в Петров день

**Д**ухоборы (или духоборцы) издавна шли за «справедливым и хорошим» учением Иисуса Христа, которое, по словам современного духоборского писателя Ильи Попова, «многим не нравилось», потому что Он «учил, что все люди должны жить равно, и не должно быть ни богатых, ни бедных»<sup>1</sup>. К тому же они не признавали каких-либо земных представителей Бога и категорически отказывались от военной службы. Словом, у царской власти хватало поводов выселять их на окраины империи.

29 июня 1895 года, в день рождения своего духовного лидера Петра Веригина, приходившийся на день святых апостолов Петра и Павла, духоборы в Закавказье провели невиданное антивоенное действие. Собрали все оружие, сохранившееся у них с прежних времен, и торжественно, с пением псалмов, сожгли на большом костре в пещере около села Орловка в Ахалкалакском уезде Тифлисской губернии.

Сожжение оружия должно было послужить символом протеста против войны и окончательного разрыва со старым миром. Напомню, происходило это на Кавказе, где оружию всегда придавали куда большее значение, чем где бы то ни было. Тифлисскому губернатору Шервашидзе доложили, что духоборы собираются то ли поднять восстание, то ли бежать в Турцию. На подавление бунта он послал казаков.

Когда те прибыли, костер горел и в нем плавилось оружие. Казаки на лошадях атаковали безоружную толпу духоборцев, избивали людей нагайками, не разбирая ни мужчин, ни женщин, лошади сбивали людей с ног, топтали. Духоборы-мужчины встретили нападение, стоя рука об руку и поставив в середине женщин.

«Так же беззащитно и покорно стояли в Бомбее и Пешаваре приверженцы великого Ганди перед избивавшими и мучившими их английскими полицейскими»<sup>2</sup>, — описывает происшедшее В. Ф. Булгаков, секретарь Толстого. Сам Лев Николаевич, как известно, принял случившееся близко к сердцу.

Несколько человек были потоптаны лошадьми и четверо побиты до смерти. Когда духоборы ушли, оставив за собой красное от крови поле с убитыми, офицеры направили казаков по избам. Начались грабеж и насилие.

В Карской области в тот же день духоборы провели такой же «перфоманс». На этот раз все окончилось бы мирно, если бы не последующая их инициатива.

---

Симкин Лев Семенович — доктор юридических наук, профессор Российского государственного института интеллектуальной собственности. Автор многих научных трудов и публикаций, а также сборника рассказов «Социализм с юридическим лицом» (М., 2009). В «Новом мире» опубликовал статьи «Правосудие и власть» (1990, № 7) и «Закон и право. Судебная реформа в прошлом и настоящем» (1992, № 1). Живет в Москве.

<sup>1</sup> Попов И. А. Рассказы из истории духоборцев. Екатеринбург, 1997, стр. 134 — 135.

<sup>2</sup> Булгаков В. Ф. Духоборцы. — «Ясная Поляна», вып. 8, Рига, сентябрь — ноябрь, 1989.

Когда приехала полиция с приказом собрать остатки сожженного оружия, около 60 духоборов, отслуживших в армии и продолжавших числиться в запасе, заявили о своем отказе служить в будущем и отдали полицейским свои солдатские билеты. После экзекуции несколько сот человек посадили и выслали.

Российское общество забурлило и пришло к выводу, что духоборам никак нельзя оставаться в России. А может, им самим пришла мысль об эмиграции. Затея, естественно, потребовала немалых средств.

Лев Толстой через «Русские ведомости» призвал к сбору пожертвований и сам выделил 12 тысяч рублей — часть гонорара за издание романа «Воскресение». В открытом письме, адресованном в шведскую газету, он предложил присудить духоборам Нобелевскую премию: «Никому с большей справедливостью не могут быть присуждены те деньги, которые Нобель завещал людям, послужившим делу мира»<sup>3</sup>.

Как известно, сам Толстой публично просил не присуждать ему Нобелевской премии и тем не ставить его «в неприятное положение, так как я откажусь от нее, а отказ этот может быть неприятен моим наследникам»<sup>4</sup>.

Наследникам и вправду было неприятно. Особенно негодовала Софья Андреевна по поводу гонорара за «Воскресение». «Не могу я вместишь в свою голову и сердце, — писала она в дневнике 13 сентября 1898 года, — что эту повесть, после того как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в „Ниву“ Марксу и отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей»<sup>5</sup>.

### Их нравы

На пароходах, зафрахтованных квакерами<sup>6</sup>, в декабре 1898 года и июне 1899-го семь с половиной тысяч человек переселились в Канаду. Канада в то время поощряла иммиграцию на запад страны, а тут речь шла о рекомендуемых Толстым «лучших фермерах России» и «идеальных иммигрантах». Там духоборы основали свою общину в провинции Саскачеван. Нравы в ней существенно отличались от принятых в окружающем мире.

Вот история, рассказанная Л. А. Сулержицким, сопровождавшим духоборов в Канаду<sup>7</sup>. Однажды в сарае духоборы мирно пили чай. Вдруг распахивается дверь и появляются двое пьяных английских юношей, один начинает дергать за рукава сидящих духоборов, толкать под локоть, так что те проливают чай на стол. Духоборы между собой переговариваются: «Ну и народ <...> Хуже татар...» Однако никаких действий не предпринимают. Случайные свидетели из местных жителей в свою очередь комментируют: «Вот дурачье. Дикари». Наконец, когда «веселый малый» плюнул в стакан старику, «из-за стола медленно поднялась дюжая, нескладная фигура» одного из молодых духоборов. Он «тяпнул его по уху, да так тяпнул, что тот только икнул и свалился без чувств на землю. <...> Наступила тишина».

Присутствующие встретили такой поворот событий одобрительно. Духоборы, напротив, заволновались и стали укорять молодого единовеца: «Ну это ты напрасно... К чему ты темного человека избидел, который по неразумению, по слепоте своей... Эх ты, право!»

<sup>3</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 70, стр. 153.

<sup>4</sup> Толстой Л. Н. Летописи. Государственный литературный музей, кн. 12. М., 1938, стр. 244.

<sup>5</sup> Голстая А. Л. Отец. Жизнь Льва Толстого. М., «Книга», 1989, стр. 363.

<sup>6</sup> Квакеры («Религиозное общество друзей») — протестантская конфессия, возникшая в Англии в XVII веке. Как и духоборы, отвергают церковную обрядность (согласно их учению, Христос живет в душе каждого человека), являются пацифистами.

<sup>7</sup> См.: Сулержицкий Л. А. В Америку с духоборами. М., «Посредник», 1905, стр. 237 — 239.

И представьте, эти тихие непротивленцы проявили невероятную твердость в вопросе экономическом или, скорее, юридическом. Получив от правительства целинные земли (270 тыс. акров) и успешно их распахав и обработав, они наотрез отказались оформлять землю в собственность. «Мы не можем этого сделать потому, что усматриваем в наложении всякой печати собственности на землю основное нарушение всего Закона Божьего»<sup>8</sup>.

### Явление вождя народу

В ноябре 1902 года к переселенцам из сибирской ссылки прибыл их духовный вождь Петр Васильевич Веригин. В ссылке он оказался, по словам Толстого, по следующей причине: «Старики, заведовавшие капиталом <...> выставили Веригина бунтовщиком, человеком, желавшим основать отдельное царство, и, подкупив русское начальство, добились того, что Веригина, как всегда делается в России, без суда и тайно сослали...» Эта заметка великого писателя сопровождается моралью: «С духоборцами случилось то, что обыкновенно случается с замыкающимися в самих себя и вследствие того процветающими религиозными общинами: материальное благосостояние их увеличивается, но религиозное сознание понижается»<sup>9</sup>.

Здесь необходимо сделать небольшое историческое отступление и объяснить читателю, как именно Веригин стал вождем. В течение нескольких поколений общиной духоборов управляло семейство Калмыковых. Лукерья Калмыкова после смерти мужа сама возглавила общину. У них с мужем не было детей, и после ее смерти в 1886 году духоборы остались без лидера. Борьба за власть вспыхнула между ее братом (Михаилом Губановым) и секретарем (Петром Веригиным).

Петр Веригин был не простым секретарем у Лушечки (духоборы звали своих вождей уменьшительными именами, Петра впоследствии будут звать Петюшкой). Она выделяла его среди других с малолетства. Когда в двадцатилетнем возрасте он женился на Евдокии Котельниковой, Лушечка, узнав о браке, немедленно выехала в Славянку и позвала к себе в карету его мать Настюшу Веригину. «Я вам говорила, что он мне нужен для Божьего дела, — отчитывала она ее, — а теперь семейные связи могут все переменить». Настюша плакала и все ссылалась на волю Божью.

Спустя год, в 1882 году, у молодой пары родился сын Петр, будущий Петр Второй, а Петр Первый, оставив жену с ее родителями, отбыл в распоряжение Лушечки в село Горелое того же Ахалкалакского уезда. Завидя его санки, та заплакала от радости. Эти подробности взяты из изданной в 1944 году «Истории духоборцев» В. А. Сухорева, книги вполне политкорректной и уважительной к почитаемым ими вождям<sup>10</sup>.

Тем не менее можно сделать вывод, что в момент переезда ей было 42 года, а ему — 22, и его жизнь при Лушечке продолжалась пять лет. За это время он только раз отлучался проведать жену и сына.

Семен Рыбин, впоследствии секретарь Петра Веригина, сообщает более соленые подробности<sup>11</sup>. Оказывается, помимо Веригина, у Лушечки был еще один приближенный — рослый красавец-блондин Алеша Федорович Воробьев. Она называла их братьями.

Однажды старец Алеша Зубков слегка упрекнул Лушечку, сославшись на слухи, будто та позволяет Веригину с нею «ночевать». «А тебе что, — осердилась Лушечка, — если хочешь, сам ночуй со мной». С тех пор никто из старцев и братьев не поднимал этого вопроса.

<sup>8</sup> Цит. по: Беженцева Алла. Страна Духобория. Тбилиси, 2007, стр. 86 — 87.

<sup>9</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 168.

<sup>10</sup> Сухорев В. А. История духоборцев (Документы по истории духоборцев и краткое изложение их вероисповедания). Canada, «North Kildonan», 1944, стр. 65.

<sup>11</sup> См.: Рыбин С. Ф. Труд и мирная жизнь. История духоборцев без маски. Издание автора. «Дело», Сан-Франциско, 1952, стр. 9.

В декабре 1886 года она умерла, и после длительных судебных тяжб и, как говорили, подкупов все имущество перешло к Губановым, а Веригина отправили в ссылку как бунтаря. Там он провел 15 лет, до тех пор, пока канадское правительство не пригрозило отобрать у духоборов земли из-за отказа оформлять их в собственность.

Те ответили странной мерой: отправились в пеший поход к Тихому океану «навстречу Христу», освободив весь скот и бросив (по заповеди «не имейте по две одежды») лишние вещи. Участники похода называли себя «сынами свободы» или «свободниками».

Чуть позже они предприняли новый марш к океану, и на этот раз его участники не просто оставили все лишнее, но и вовсе обошлись без одежды. Столь странное поведение прежде не встречалось у духоборов. С тех пор «свободники», недовольные чем-либо, стали устраивать «голые» демонстрации в канадских городах.

При этом они выражали, пусть и в крайних формах, не только свои чувства, но и общее настроение духоборов. Скажем, им не все нравилось в канадском образовании, особенно изучение истории с патриотической точки зрения.

Русский этнограф Тан рассказывает, как убеждал своих духоборских знакомцев в том, что знание есть благо и что ставить препятствия правительству на этом пути — грех против собственных детей. Вместо ответа один из его собеседников показал канадские школьные тетради. На обороте каждой были изображены два генеральских портрета. Один из генералов обязательно был английского, а другой — французского происхождения. Под портретами «в самом свирепом джингоистском стиле»<sup>12</sup> описывалось, как храбро эти доблестные представители двух главных племен Канады проливали свою кровь за отечество и сколько каждый из них истребил врагов.

«Грамота — вещь хорошая, а это к чему же? Да еще детям внушать?.. И если нам обучаться про генеральские храбрости, то незачем нам было переплывать через океан!..»<sup>13</sup>

Канадское правительство обеспокоилось всем этим и с помощью *влиятельных особ*, помогавших добиться разрешения царя на эмиграцию духоборов, способствовало досрочному освобождению Веригина из ссылки. В ноябре 1902 года он приехал в Канаду<sup>14</sup>.

### Поджигатели

Две трети духоборов, не желая идти на компромисс со своими убеждениями, покинули обжитые места и во главе с Веригиным в 1907 году переселились в другой район Канады — Британскую Колумбию и стали жить по-прежнему, общиной. Благодаря Веригину духоборы добились того, что правительство стало строить школы на общинных участках, отменило салют перед флагом и обязанность петь гимн «Боже, храни королеву».

Несмотря на это, «свободники» не унимались, в 1921 — 1922 годах сожгли почти двадцать школьных зданий в духоборских селах. Они вообще *специализировались* на поджогах. Начали с того, что сожгли свои дома, потом перешли на чужие. Особенно им не нравились дома, строившиеся едва ли не в каждом селе в качестве резиденции Веригина. Эти дома стали гореть с пугающей частотой.

Вскоре возникла еще одна проблема. После Первой мировой войны, в которой духоборы по убеждениям не участвовали, вернувшиеся с нее солдаты предлагали отобрать духоборскую землю в свою пользу. По этой причине, сообщается в упомянутой книге Попова, вождя духоборов Петра Васильевича Господнего (так называли Веригина) в 1924 году взорвали бомбой в вагоне поезда, которым он ехал в Гранд-Форкс. «Об этой кончине духоборцы

<sup>12</sup> От «джинго» — клички английских шовинистов.

<sup>13</sup> Т а н В. Г. Духоборы в Канаде. См.: <<http://az.lib.ru/d/duhobory/>>.

<sup>14</sup> См.: С у х о р е в В. А. Указ. соч., стр. 121.

поют печальный стих, который они сами сложили: „На запад, на запад, с печальной песнью...”<sup>15</sup>.

Виновников взрыва в Тихоокеанском экспрессе не обнаружили. Версий у следствия было несколько, но ни одна из них не имела отношения к канадским ветеранам. Среди вероятных подозреваемых были духоборские фанатики, посланные большевистские агенты, ревнивые женщины из бывших служанок Веригина<sup>16</sup>. Одна из них — двадцатилетняя Мария Стрелова — ехала с ним и погибла при взрыве.

### Петр Второй

Петр Васильевич не указал, кто будет следующим духоборским вождем. Большинство посчитало, что пост должен унаследовать его сын Петр Петрович Веригин, поскольку, как говорили, «в него вошел дух отца».

Духоборы решили его отыскать, послали делегатов в Ростов, неподалеку от которого он возглавлял сельскохозяйственную коммуну. Ходили слухи, что он стал большевиком. На самом деле П. П. Веригин в 1921 году содействовал приходу Красной армии в Грузию, помогал в разведке местности и даже в разоружении меньшевистских отрядов, за что одно время исполнял обязанности товарища председателя Ахалкалакского ревкома<sup>17</sup>.

Джозеф Фредерик Райт рассказывает, что после визита канадских делегатов Петр Петрович несколько раз обращался с просьбами о деньгах и получал их<sup>18</sup>. В 1927 году он получил от канадских братьев около 18 тысяч долларов и позже пояснял канадским правительственным чиновникам, что деньги ему понадобились для того, чтобы купить свою жизнь после осуждения в России к смертной казни за избивание двух духоборов.

П. П. Веригин подал заявление о выезде в 1925 году. Антирелигиозная комиссия ВЦИК не возражала. Но после ее положительного решения он оказался в тюрьме. За что? По-видимому, заслуживает доверия информация Бонч-Бруевича, который писал о П. П. Веригине в одном из писем, что он «не только не является страдальцем за какую-нибудь идею, а он пострадал по своему собственному бесчинству, самодурству, безобразию и хулиганству», будучи «осужден местным рабочим судом за то, что он смертным боем исколотил в пьяном виде двух духоборцев за то, что они не хотели ему подчиняться как главе духоборческой общины, и которые желали иметь самостоятельное мнение, не согласное с мнением Петра П. Веригина»<sup>19</sup>.

Казалось бы, выгнать из Советской России кого-то, тем более заключенного, совершенно невозможно. В данном случае невозможное стало возможным. По всей видимости, решающую роль в судьбе Веригина-младшего сыграло обращение канадского правительства, надеявшегося на то, что новый лидер по приезду наведет порядок, уgomонит «свободников», заставит духоборов вновь отправить детей в школы. Словом, те же мотивы, что и в истории с Веригиным-старшим.

Доказательства того, что духоборское сообщество обращалось за помощью к правительству Канады, есть в письме советского консула в Монреале Л. Геруса от 18 июня 1927 года, где тот обижается на духоборов за то, что они «обращаются к Канадскому правительству за помощью против рабоче-крестьянского правительства», в то время как «Англия, управляемая лордами и капиталистами, подготавливает войну против нас» (Англия упомянута в связи с тем, что Канада в то время была доминионом Великобритании). Он явно

<sup>15</sup> П о п о в И. А. Указ. соч., стр. 154 — 155.

<sup>16</sup> См.: W r i g h t J. F. C. Slava Bohu. The story of the dukhobors. New York — Toronto, 1940, p. 279.

<sup>17</sup> К р а п и в и н М. Ю., Л е й к и н А. Я., Д а л г а т о в А. Г. Судьбы христианского сектанства в России (1917 — конец 1930-х годов). СПб., 2003, стр. 52.

<sup>18</sup> W r i g h t J. F. C. Ibid., p. 289.

<sup>19</sup> Р ы б и н С. Ф. Указ. соч., стр. 252 — 257.



знаком с текстом духоборской петиции, по-видимому попавшей в его руки по дипломатическим каналам. Консул изобличает их в написанной там неправде, будто Петр Петрович мученик за духовные убеждения: «Это злостный вымысел. Он отбывал наказание <...> за драки и растрату кооперативных денег».

И далее: «У нас сто шестьдесят миллионов народа. Если каждый будет безнаказанно безобразничать и растрачивать общественные деньги, так у нас будет хуже, чем в капиталистических странах»<sup>20</sup>. Прочитанный текст будто взят из зощенковского рассказа.

Советское правительство не захотело осложнять отношения с Канадой и приняло решение отпустить Веригина. 16 сентября 1927 года на океанском лайнере «Аквитания» он прибыл в Нью-Йорк, а оттуда добрался в Британскую Колумбию, где первым делом заверил канадское правительство, что будет подчиняться канадским законам.

Жену и двоих детей Петр Петрович оставил в России, с собой взял только шестилетнего внука Ивана. О дальнейшей судьбе его семьи известно следующее. Сын Петр и дочь Анна оставшуюся часть жизни по большей части провели в ГУЛАГе — по причине родства с духоборским вождем. Петр в 1942 году умер от голода в лагере. Анна выжила и каким-то чудом в мае 1960 года получила разрешение на приезд в Канаду и спустя 32 года увидела сына Ивана.

### Возвращение

Как только духоборы узнали о Февральской революции, 23 марта 1917 года Петр Васильевич Веригин отбил Временному правительству телеграмму: «Духоборцы в количестве десяти тысяч человек желают возвратиться в Россию как хорошие земледельцы и садоводы». В тот же день он отправил другую телеграмму, адресованную председателю Думы М. В. Родзянко, с просьбой «передать Николаю Александровичу Романову душевную благодарность» за добровольное отречение от престола, что предотвратило пролитие крови. Временное правительство вроде бы сочувственно отнеслось к просьбе духоборцев, но на телеграмму не ответило.

Вторая попытка случилась уже после Гражданской войны. В марте 1921 года духоборы послали письмо Советскому правительству с просьбой пустить их обратно. Просьба мотивировалась тем, что «рассвет свободы поднялся над нашей родиной»<sup>21</sup>.

То был период большой дружбы с сектантами, к тому же Советская власть была заинтересована в возвращении в Россию опытных фермеров, готовых вложить американский опыт в новые коммуны, особенно если они привезут с собой американское оборудование — трактора и прочее.

В 1919 году в Нью-Йорке русскими эмигрантами была организована Ассоциация технической помощи Советской России. Одной из ее задач было рекрутирование тех, кто хотел возвращаться. Духоборы, естественно, попали в ее поле зрения, в Саскачеван и Британскую Колумбию из Нью-Йорка отправились агитаторы. От двух до трех тысяч духоборов выразили желание вернуться<sup>22</sup>.

Марк Поповский, исследовавший этот вопрос в США, считает, что на духоборов была сделана серьезная ставка. В доказательство он приводит донесение из Канады «советского агента» Д. Павлова от 17 ноября 1924 года: «Опыт русских крестьян-духоборов нам предстоит заимствовать. <...> Духоборческий коллектив в пять семейств <...> собирает ежегодно 14 — 17 тысяч пудов зерна. Следовательно, на одного члена коллектива ежегодно вырабатывается около 550 — 650 пудов зерна. У нас же ежегодная выработка на одного сельского жителя

<sup>20</sup> Цит. по: Рыбин С. Ф. Указ. соч., стр. 250 — 251.

<sup>21</sup> Цит. по: K u k u s h k i n V a d i m. A roundtrip to Homeland. Doukhobor Remigration to Soviet Russia in the 1920s. См.: <<http://www.doukhobor.org>>.

<sup>22</sup> См.: Крапивин М. Ю., Лейкин А. Я., Далгатова А. Г. Указ. соч., стр. 204.

не превышает 40 — 50 пудов. Таким образом, крестьяне-духоборы в Канаде при машинном <...> труде увеличили свою производительность в 10 — 12 раз»<sup>23</sup>.

Духоборам обещали выполнить все их просьбы (освободить на двадцать лет от налогов, дать возможность обучать детей согласно своим традициям, освободить молодежь от армии) и выделили землю рядом с Мелитополем. Первые 22 человека приехали уже в 1923 году и основали село Первое Канадское. Подразумевалось, что скоро будет второе и третье. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1923 году новой духоборской коммуне был присужден диплом признательности<sup>24</sup>, там демонстрировались фотографии передовых духоборских тружеников.

Переезд, однако, шел ни шатко ни валко. В 1924 году приехали 23 фермера из Камсака, потом еще полторы сотни человек. Привезли из Канады невиданную в этих краях сельхозтехнику. Вскоре начался обратный процесс. В июле 1925 года в Канаду вернулись первые шестнадцать реэмигрантов. Они рассказывали, что окрестные крестьяне считали их кулаками, воровали у них. В 1927 году юношей из Первого Канадского начали призывать в армию. Летом 1928 года почти все вернулись в Канаду — «по семейным обстоятельствам».

### История одного заблуждения

В популярной среди пользователей Интернета статье Н. В. Сомина «Духоборы» (на нее есть ссылка в Википедии) и в некоторых других современных источниках рассказывается о предпринятой духоборами «еще одной попытке вернуться на родину». В подтверждение приводятся слова из письма П. П. Веригина Сталину (1931 год): «А теперь вот уже 33 года, как мы живем в Канаде полной коммунистической жизнью и упорно строим коммунизм в окружении капитализма. Ввиду всего этого мы просим Вас, уважаемый тов. Сталин, разрешить нам въезд в страну»<sup>25</sup>. На этом автор обрывает цитирование, сообщив читателю: «Причины отказа неизвестны».

В Америке мне удалось найти книгу с опубликованным письмом и на странице, на которую ссылается автор, обнаружить окончание оборванного предложения, совершенно неожиданное — «разрешить нам въезд в страну, где уже отцы наши страдали за нашу общую идею, для того, чтобы лично и непосредственно переговорить с Вами и другими товарищами и совместно обсудить назревшие вопросы»<sup>26</sup>. Причем письмо это подписано не Веригиным, а членами делегации, направленной духоборами летом 1931 года в Советскую Россию. О каких «назревших вопросах» шла речь?

В поисках следов той делегации я обнаружил статью в издававшейся в Саскачеване русской газете «Канадский гудок» от 23 мая 1931 года. В ней опубликован репортаж с собрания в честь шести делегатов из Британской Колумбии, уезжавших «просить советское правительство, чтобы дало разрешение выехать духоборцам из России»<sup>27</sup>.

Получается с точностью до наоборот — духоборы не только не собирались возвращаться, а, напротив, хотели добиться эмиграции из СССР своих единоверцев.

24 июня 1931 года Валентин Федорович Булгаков (в то время бывший секретарь Толстого жил в Праге как эмигрант) получил из Нью-Йорка от П. П. Веригина телеграмму: «Делегация духоборцев, состоящая из 6 членов, выезжает 14 июня из Нью-Йорка на пароходе „Бремен“, направляясь в

<sup>23</sup> П о п о в с к и й М а р к. Русские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе. 1918 — 1977. London, «Overseas publications interchange LTD», 1983, стр. 101.

<sup>24</sup> См.: Т р е г у б о в И в а н. Сектантские колхозы. — «Вестник духовных христиан-молокан», 1925, № 1 — 2.

<sup>25</sup> Цит. по: С о м и н Н. В. Духоборы. См.: <<http://chri-soc.narod.ru/duhobor.htm>>.

<sup>26</sup> Цит. по: С у х о р е в В. А. Указ. соч., стр. 183.

<sup>27</sup> Р ы б и н С. Ф. Указ. соч., стр. 266.

Европу». 20 июня Булгаков встретил их в немецком порту Бремергафен с плакатом, на котором было написано по-русски: «Братьям-духоборцам — привет!», проводил их до Берлина, устроил в недорогом отеле и показал вегетарианскую столовую.

Приехали они затем, чтобы добиться визы для въезда в СССР и начать переговоры с советским правительством — но вовсе не о переселении на родину, а, напротив, о переезде единоверцев оттуда в Америку. По словам Булгакова, «американские собратья готовы были им помочь чем только могли: ассигнованием средств на переезд их через океан, устройством на сельскохозяйственные и другие работы»<sup>28</sup>. В те годы у оставшихся в России духоборов — за отказ от участия в непонятной им коллективизации — отнимали скот и зерно, реквизировали имущество. Недовольных выселяли семьями в Сибирь и Казахстан, а духовные отцы, они же кулаки, направлялись напрямик в ГУЛАГ.

Булгаков вместе с делегацией ходил в советское посольство на Унтерден-Линден, помогал духоборам сочинять прошения на имя Калинина и Сталина. Ему удалось привлечь в качестве ходатаев влиятельных европейцев. Под письмом, отправленным в Москву, среди других стояли подписи Альберта Эйнштейна и Ромена Роллана.

В то время в Берлине оказался Луначарский, с которым Булгакову по старой памяти удалось свести делегацию. Луначарский, заметим, был уже не тот, что в 1924 году, когда на XIII съезде партии голосовал за «особо внимательное отношение к сектантам» и рассказывал делегатам, что сектантство — зародыш реформации в России. Лавируя вместе с линией партии, в мае 1929 года на XIV Всероссийском съезде Советов Анатолий Васильевич пел совсем другое. «Сектанты, говорил он, начали с того, что-де „царь нас угнетал, а советская власть дала свободу вероучения“, и они в свои псалмы вставляли слова молитвы за Ленина, за Совнарком. Но это <...> для декларации. На самом деле та злейшая реакция, которая движется кулаком вместе со всякого рода разложившимися интеллигентами, находит в сектантстве прячущуюся за внешней легальностью организацию...»<sup>29</sup>.

Советская власть отказала делегации духоборов во всем, даже в возможности хотя бы на один день в сопровождении советских представителей посетить Москву для непосредственных переговоров с правительством, не говоря уже о разрешении живущим в Советской России духоборам эмигрировать в Америку.

### **«Канадское правительство будет очень радо избавиться от нервных»**

Это цитата из американской русскоязычной газеты «Novaya zarya» от 12 января 1950 года, где рассказывается о желании «свободников» переселиться в СССР. «Сжигание школ, — пишет автор статьи, — поступок непростительный. Не посылать своих детей в школы — это одно, но сжигать школы — это озорство и полное отрицание христианской заповеди: любви ближнего своего. И это неблагородно по отношению к правительству страны, давшей им приют»<sup>30</sup>.

В 1957 году лидеры «свободников» попросили политического убежища в Советском Союзе. В своем обращении к советскому правительству они особенно подчеркивали то, что приехали в Канаду, спасаясь от преследований, но претерпели там самые серьезные репрессии за всю их четырехсотлетнюю историю<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Булгаков В. Ф. Духоборцы, стр. 49.

<sup>29</sup> «Свобода совести в России: исторический и современный аспекты». Сборник статей. Российское объединение исследователей религии. Вып. 4. М., 2007, стр. 385.

<sup>30</sup> Кайданова О. Духоборцы, их история, жизнь и борьба. — «Novaya zarya», 1950, 12 января.

<sup>31</sup> In: Avrich Paul H. The Sons of Freedom and the Promised Land. — «Russian Review», vol. 21, N 3 (Jul., 1962), p. 264 — 276.

В канадской прессе писали, что их к этому склонили советские агенты. В годы «холодной войны» духоборов периодически объявляли «советскими шпионами».

Канадское правительство и вправду было «радо избавиться от нервных». В августе 1958 года власти предложили оплатить дорогу в СССР, но только тем, кто откажется от гражданства до 1 октября. Лидеры «свободников» представили список из 2440 подписей духоборов, желающих эмигрировать, но отказались от гражданства меньше ста.

В течение года власти СССР хранили молчание. Весной 1959 года советский посол в Канаде Амазасп Арутюнян встретился с ходатаями. Он сказал им, что это некрасивый жест по отношению к Канаде — хлопнуть перед нею дверь. И помимо всего прочего, Советский Союз не хотел бы ухудшить торговые отношения со страной, которая покупает у него хлеб.

О том, к чему привело стремление духоборов вернуться в Россию четверть века спустя, можно узнать из мемуаров советского посла Алексея Родионова. Он передает содержание беседы с Иваном Ивановичем Веригиным — почетным председателем «Союза духовных общин Христа», состоявшейся осенью 1983 года. Это тот самый внук Петра Петровича, в шестилетнем возрасте взятый им с собой в Канаду в 1927 году.

«И. И. Веригин в беседе со мной добавил о возможной угрозе благополучному осуществлению давнишней мечты духоборов — недавнем крушении южнокорейского самолета и раздувавшейся антисоветской пропаганде»<sup>32</sup>.

То, как аккуратно духоборский лидер говорил о «крушении» сбитого южнокорейского самолета, может сравниться лишь с памятным сообщением ТАСС о том событии. Из него мы, советские люди, узнали, что, покинув воздушное пространство СССР, нарушитель «исчез с экранов радаров и улетел в сторону моря».

В мемуарах посла я нашел упоминание и об Илье Алексеевиче Попове. Духоборский писатель оказался большим другом Советского Союза. «В 1982 году, — пишет Родионов, — духоборческая делегация во главе с И. А. Поповым посетила Советский Союз, где она была принята Председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР Виталием Петровичем Рубеном. <...> [В. П. Рубен] подробно информировал делегацию о миролюбивой внешней политике советского правительства».

Попов, в свою очередь, информировал советскую сторону о давнишних намерениях духоборов возвратиться на Родину. Было сказано, что «духоборы ясно представляют себе все сложности, которые могут возникнуть <...> и не хотели бы, чтобы предполагаемое переселение духоборцев на свою Родину нанесло ущерб советско-канадским отношениям. Реакционные силы в Канаде при постоянном давлении со стороны США представляют собой большую опасность».

Вот каким знатоком ранимых душ советских чинов оказался писатель. Что же он услышал в ответ? «С советской стороны И. А. Попову и его делегации было сказано, что их предложения заслуживают большого внимания и будут тщательно рассмотрены». Жаль, не успели, год, повторяю, был 1982-й — год смерти Брежнева.

### Находки в Толстовском фонде

Честно говоря, я и не чаял туда попасть, напуганный объявлением на сайте, посвященном архивам русского зарубежья — «архив временно закрыт для посетителей». Тем не менее директор фонда Виктория Волсен вняла моим просьбам и допустила в маленький домик в Вэлли-Коттедж, пригороде Нью-Йорка, рядом с православной церковью. Был январь 2010 года, там шла некоторая суета, связанная с землетрясением на Гаити, звонки и визиты тех, кто хотел помочь пострадавшим, — на вид все эти люди принадлежали к потомкам первой и второй волн русской эмиграции. Фонд благотворительный, ничего удивительного.

<sup>32</sup> Родионов А. А. СССР — Канада. Записки последнего советского посла. М., «Алгоритм», 2007.

Думаю, есть смысл рассказать немного о его основательнице. Александра — младшая дочь Л. Н. Толстого, в последние годы жизни стала самым близким ему человеком в семье, она единственная была посвящена в тайну ухода из Ясной Поляны в 1910 году и оставалась рядом с отцом до последних мгновений, ей он завещал все права на свои произведения. Пройдя сестрой милосердия фронты Первой мировой войны, получив три Георгиевские медали за мужество, в 1917 году Александра Львовна вернулась в Ясную Поляну.

Вот несколько штрихов ее биографии, рассказанных ею самой в двух интервью для «Радио Свобода», данных в 1964 году Л. Оболенской<sup>33</sup> и в 1965 году А. Малышеву<sup>34</sup>.

«Мы принялись разбирать рукописи Толстого. С этого началась подготовка первого полного собрания сочинений — вышло больше девяноста томов, туда вошли все тексты, дневники, письма, все варианты „Войны и мира“. Купить я его не могла: во-первых, тираж был очень маленький, а во-вторых, денег у меня не было никаких. Любопытно, что единственный человек, имевший отношение к этому собранию, чье имя в нем ни разу не упоминается, — это я».

Чекисты арестовывали ее пять раз, в том числе в 1919 году по громкому делу «Тактического центра», будто бы готовившего план контрреволюционного мятежа и захвата Кремля. По просьбе ее друга историка С. П. Мельгунова она предоставила им квартиру для собраний.

«Но сами их собрания меня совершенно не интересовали, я, может быть, очень сочувствовала бы заговору и участвовала бы в нем, но как-то не пришлось. Это было единственное мое участие, я так и ответила прокурору Крылову на суде, когда он меня спросил: „Понимаете ли вы, за что приговорены?“ Я ответила: „За то, что ставила самовар“». Впоследствии ее «подпольная деятельность» нашла отражение в юмористическом стихотворении:

Смиряйте свой гражданский жар  
В стране, где смелую девицу  
Сажают в тесную темницу  
За то, что ставит самовар.

Просидела она недолго, меньше года, потом работала в Ясной Поляне, создавала музей Льва Николаевича. «И вот нас заставляли вставить под Интернационал, мне навязывали какую-то антирелигиозную пропаганду, от которой я, конечно же, уклонялась. Но все-таки совесть катилась книзу. Приходилось делать вещи против совести — для того, чтобы спасти свою жизнь. Это была главная причина, почему я уехала из Советской России. <...> Я выехала из Советского Союза в 1929 году. 20 месяцев провела в Японии, читала лекции о своем отце. Затем приехала в Соединенные Штаты в 1931 году, осенью».

В бумагах Толстовского фонда я обнаружил свидетельство того, что первоначально из Японии Толстая предполагала эмигрировать в Канаду и обращалась за помощью к духоборам. Как сказано в адресованном ей в Токио письме от 13 апреля 1931 года, отправленном из Веригино в Саскачеване от имени Центрального исполнительного комитета «Именованных духоборцев», там «обсуждали вопрос помочь Вам выбраться из Японии в Канаду, но при настоящем положении дел это не так-то легко сделать: вот уже скоро год будет, как в Канаде стоит во главе консервативное правительство, которое издало закон не впускать в страну никого с Европы и Азии». Но если ей «удастся пробраться в Соединенные Штаты хотя бы на шесть месяцев, а отсюда уже — будет гораздо легче устроить Ваш въезд в Канаду».

По-видимому, ей не было известно о судьбе Веригина-старшего — вероятно, в ответ на ее вопрос в письме сообщается о его смерти «от взрыва бомбы неизвестных злоумышленников». «Петр Петрович (сын покойного Петра Васильевича, которого Вы знаете) шлет Вам свой привет».

<sup>33</sup> «Новый журнал» (Нью-Йорк), 2007, № 249.

<sup>34</sup> «Русская жизнь», 2007, 31 августа.

Первые шесть лет в Америке она работала на ферме — «чистила курятники, доила коров, копала в своем огороде и написала в это время три книги». В 1939 году, как только на финской стороне стали появляться пленные красноармейцы, Александра Львовна объявила о создании Толстовского фонда. В его организации приняли участие Сергей Рахманинов, бывший посол в США Борис Бахметьев, графиня Софья Панина, историк Михаил Ростовцев. При содействии Толстовского фонда в США въехали около 40 тысяч человек, включая «перемещенных лиц» времен Второй мировой войны, старообрядцев из Турции, беженцев из Китая.

Понятно, что у нас в стране любая информация о фонде семьдесят лет была под запретом. Из всех фотоснимков и кинохроник, примечаний, мемуаров и музейных экспозиций вырезали и вымарывали и Александру Толстую.

### «Когда я изучаю духоборов, мои мысли и сердце — с Вами»

Это цитата из письма Симмы Холт от 25 января 1963 года Александре Львовне Толстой, обнаруженного мною в Толстовском фонде. Симма Холт — автор опубликованной в 1964 году книги «Террор именем Бога»<sup>35</sup>, рассказывающей о подвигах «свободников» в послевоенный период. В предисловии сказано, что она писала книгу, держа в сознании образ Анюты Кутниковой и ее сына, которого та «воспитала в ненависти к окружающему миру. Она была преданной матерью, но учила сына следовать тому единственному образу жизни, который вела сама».

Гарри Кутников родился в 1944 году и рос, постоянно вдыхая запах гари, — в то время возобновились пожары. На протяжении его детства маму трижды сажали в тюрьму. В 1953 году правительство Британской Колумбии приняло решение, что все духоборские дети должны идти в школу. У «сыновей свободы» отобрали детей и отправили в интернаты. Гарри из интерната не раз сбегал. Когда в 15-летнем возрасте вернулся домой, стал работать на фабрике, а в выходные готовил пожары и взрывы. В 1962 году запланировал взрыв здания суда в городе Нельсоне. Но план провалился, проезжавший мимо таксист заметил огонек вдоль стены суда и загасил бикфордов шнур. Тогда Гарри с другом Джоном собрали бомбу и поехали взрывать почту в Киниярде. Бомба взорвалась по дороге, и он погиб.

Из письма видно, что Симма Холт и прежде, во время работы над своей книгой, переписывалась с Толстой, присылала ей материалы о духоборах (как видно, криминального характера). При этом просила в случае их использования не упоминать конкретные имена, так как не может позволить себе судиться по обвинению в диффамации. Вероятно, у нее были основания опасаться судебных исков — в духоборской среде плохо восприняли книгу, обвиняли ее в сенсационности и желтизне.

В своем ответе от 31 января 1963 года Александра Львовна сообщила ей, что «решила больше не заниматься „свободниками“ — это безнадежно, и только правительство способно принять меры, чтобы остановить этих сумасшедших („crazy people“»<sup>36</sup>.

Современный духоборский публицист Кузьма Тарасов призывает не ставить «свободников» на одну доску с остальными духоборами, поскольку «хорошо известен тот факт, что как только человек начинает участвовать в акте насилия, он или она тотчас перестает быть духобором»<sup>37</sup>.

Эта логика автору, как старому коммунисту, хорошо известна. У нас ведь как было — считалось, что коммунист не может совершить преступление.

<sup>35</sup> S i m m a H o l t. *Terror in the Name of God: The Story of the Sons of Freedom the Doukhobors*, Toronto. Montreal, «McClelland and Stewart Ltd.», 1964.

<sup>36</sup> Выдержки из переписки А. Л. Толстой и С. Холт даны в переводе автора данного очерка.

<sup>37</sup> К у з ь м а Т а р а с о в. Канадские духоборы как миротворцы. — В кн.: «Долгий путь российского пацифизма». М., ИВИ РАН, 1997, стр. 149.

Поэтому если член КПСС все-таки его совершал, его исключали из партии и перед судом предстал беспартийный.

Конечно, не все духоборы относились к «свободникам», но все «свободники» были духоборами. Пацифизм их носил, так сказать, весьма активный характер. Когда речь идет о Первой мировой войне, из XXI века это выглядит безобидно, а вот когда о Второй мировой — как-то не очень.

Кузьма Тарасов с гордостью рассказывает, что в 1943 году массовый бойкот нескольких сотен духоборов — плотников и строительных рабочих — создал угрозу невыполнения проекта постройки плотины, которая нужна была для увеличения производства гидроэнергии в военный период. Власти были вынуждены в Квебеке искать людей для их замены. А вот когда 60 «свободников» прошли голыми по шоссе, протестуя против установленных в военное время мер национальной регистрации, Тарасов называет их фанатиками.

В целом же он, разумеется, прав, вот только что поделаешь — хорошая слава лежит, а плохая бежит.

В наши дни число потомков приехавших в Канаду духоборов составляет около 40 тысяч человек. Они стали получать образование, выучились на врачей, инженеров, агрономов и юристов. К последнему десятилетию прошлого века «свободники» наконец уговорились. Реформированным «сынам свободы» (так они теперь себя называют) разрешили вести коллективный образ жизни (коммуной), освободили от налогов, передали в траст (доверительное управление) землю.

### «Мою кошку зовут Тутцы»

19 июня 1969 года Александра Львовна получила приглашение, подписанное Иваном И. Веригиным и Ильей А. Поповым, «в местность Веригино-Камсак в Саскачеване на празднование семидесятилетия переселения духоборцев в Канаду».

Язык, которым написано приглашение, заслуживает внимания: «В глубокой признательности Вашему высокочтимому отцу Льву Николаевичу Толстому, который так много помог духоборцам во время их тяжелых переживаний от гонения за отказ от милитаризма. <...> Мы чувствуем, что было бы очень на месте Вам, как его единственной оставшейся в живых дочери, быть на этом нашем торжестве». Правда, они извиняются, что не могут оплатить расходы по приезду, но обещают «снабдить приезжих квартирой и угощением»<sup>38</sup>.

В ответ на приглашение Александра Львовна написала, что «хотела бы приехать, чтобы лично Вас поздравить и побыть с Вами, но мне уже 85 лет и я стала прихварывать и боюсь пускаться в такое дальнее путешествие». «Помню, — пишет она далее, — приезд братьев-духоборцев к моему отцу, помню его громадный интерес к духоборцам и его глубокое сочувствие вашим христианским взглядам, которые не отличались от того, во что он верил сам. Ради этих убеждений покойные братья ваши терпели страдания, преследования, тюрьмы, телесные наказания, и отец страдал вместе с ними».

«Дорогие братья и сестры! Чем старше я становлюсь, тем больше, наблюдая за тем, что происходит в мире, я прихожу к убеждению, что люди без веры — гибнут.

Прошло 70 лет, как вы поселились в Канаде — и сейчас мы видим кругом насилие, злобу, поругание и преследование всякой религии, как это уже происходит больше 50-ти лет в Советской России, увлечение материальными благами, полное равнодушие к духовным вопросам всего культурного мира, и, в связи с этим, увеличение преступности, падение морали, религии — и душевная пустота.

Отец мой верил духоборцам, всегда надеялся и верил, что вы — духоборцы будете помнить то, что сделало для вас канадское правительство, и окажетесь

<sup>38</sup> Это и цитируемые далее письма находятся в Толстовском фонде, США. Публикуются впервые.

хорошими, верными гражданами этой страны (здесь явный намек на „свободников”. — Л. С.). Он был бы счастлив знать, что среди морального упадка человечества вы удержали веру в Бога и Заветы Иисуса Христа».

Еще в письме выражено пожелание «воспитать ваше молодое поколение в вере Отцов и Дедов Ваших».

Спустя два года, в 1971 году, Александре Львовне представилась возможность самой пообщаться с «молодым поколением», пусть и в эпистолярном жанре.

13 октября 1971 года ей написал из Монреаля журналист Андрей Ливен о том, как в Британской Колумбии провел урок русского языка в английской школе, где обучаются дети духоборов. По-видимому, они были знакомы — ее корреспондент принадлежал к княжескому роду, вся его семья в свое время эмигрировала в Константинополь, затем перебралась в Болгарию. В Канаде, где он жил после войны, Ливен занимался организацией религиозных передач для России.

«Я рассказал им о Вас и Вашем отце, о романе „Воскресенье”, о переезде их предков в Канаду, — пишет Ливен. — В этом классе было 14 учеников в возрасте от 15-ти до 17-ти лет». Их учитель Петр Васильевич Самойлов «организовал в этом городе Касльгаре, где 30 процентов населения составляют духоборы, прекрасный молодежный хор в сто голосов». По предложению учителя ученики написали ей письма, которые он прислал адресату.

Похоже, прежде о Льве Толстом они слыхом не слыхивали. Просят Александру Львовну прислать фотографию ее отца. «Сколько я знаю про нево, я думаю, что он был очень хороший человек, — пишет Ларион Григорьевич Стушинов (и он, и все остальные величают себя по имени-отчеству. — Л. С.). — В наших духоборских участках живут до сих пор наши дедушки и бабушки, которые приехали с России».

По-русски, правда, пишут с ошибками, «жи-ши» — через «ы».

«С претветом к вам Василий Иванович Колесников. Как вы поживаете? Мы поживаем помаленько. <...> В нашей фамилии пять человек. Мы живем на ферме и мы держим пара коров, пара телят, три кошки и одна собака. <...> Я кончаю свой последний год в школе. <...> На прошлой неделе господин Левен из Монреаля приехал и сказал нам очень интересный разговор. Он рассказал как Духоборцы приехали в Канаду из России. Я очень интересуюсь в хоккей, в баскетбол и в бейсбол».

«Мое имя Агафия Петровна Плотникова. <...> У меня есть один брат и две сестры, Я (на английский манер пишет местоимение с большой буквы. — Л. С.) старшая, у меня семнадцать лет. Сегодня моя кошка родила четыре котен, один желтый, а другие черные. Мою кошку зовут „тутцы”. Моя мама не любила эту, она хочет отдавать. Как ваше здоровье? Мое здоровье хорошо. Как погода у вас там в Нью-Йорке? У нас теперь дождь идет».

3 ноября 1971 года Александра Львовна ответила детям. В своем письме она вспомнила Льва Николаевича, рассказав, как «он волновался и как он старался кончить свой роман „Воскресенье”, и на деньги, полученные от издателя, помочь духоборам выехать в Канаду».

«Спасибо вам за ваши милые и сердечные письма. Дай Вам Бог всего наилучшего. Это „лучшее” не состоит только в материальном благополучии: еде, хорошем жилище, удовольствиях, но и в душевном покое и радости, а радость достигается помощью другим и в сохранении самого драгоценного, что есть в каждом человеке: веры в Бога и в следовании учению Христа».





# О П Ы Т Ы

МИРОН ПЕТРОВСКИЙ



## В АФРИКУ БЕГОМ

— Здесь, в мире горестей и бед,  
В наш век и войн, и революций,  
Милей забав ребячьих — нет,  
Нет глубже, — так учил Конфуций.

*Н. Гумилев. «Два сна»*

### I

**О** происхождении своей сказки «Бармалей» Чуковский охотно рассказывал любопытствующим собеседникам и сам записал эту историю в «Чукоккалу»:

«В 1924 году мы бродили с Добужинским по Петроградской стороне.

Он нежно любил Петербург, о чем свидетельствуют его поэтические иллюстрации к „Белым ночам” Достоевского и многие другие рисунки.

Гуляя, мы вышли на Бармалееву улицу.

— Почему у этой улицы такое название? — спросил я. — Что это был за Бармалей? Любовник Екатерины Второй? Генерал? Вельможа? Придворный лекарь?

— Нет, — уверенно сказал Добужинский. — Это был разбойник. Знаменитый пират. Вот напишите-ка о нем сказку. Он был вот такой. В треуголке, с такими усищами.

И, вынув из кармана альбомчик, Добужинский нарисовал Бармаля.

Вернувшись домой, я сочинил сказку об этом разбойнике, а Добужинский украсил ее прелестными своими рисунками. Сказка вышла в издательстве „Радуга”, и теперь это издание редкость<sup>1</sup>.

Нет ничего удивительного в том, что, наткнувшись на табличку с экзотическим названием улицы, Чуковский задал вопрос Добужинскому: замечательный художник славился своей памятью на уличные надписи и «знал вывески в Петербурге, Вильне, Пскове», коллекционировал необыкновенные фамилии. Он, «смотря в потолок и важно сложив на столе руки, читал на память вывески Невского проспекта начала нашего (двадцатого. — *М. П.*) столетия от Николаевского вокзала до Литейного, сперва по стороне Николаевской улицы, потом по стороне Надеждинской»<sup>2</sup>.

В другом варианте этого рассказа, в том, который со слов Корнея Ивановича записал Лев Успенский, странному названию улицы удивился как раз

---

Петровский Мирон Семенович — литературовед. Родился в Одессе в 1932 году. В 1957-м окончил Киевский государственный университет. Автор многих публикаций и книг, посвященных русской литературе и культуре. В последние годы вышли книги «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» (СПб., 2008); «Книги нашего детства» (СПб., 2006). Рецензия на эту книгу: К а н у н н и к о в а О л ь г а. «Только детские книги читать...». — «Новый мир», 2007, № 5. Живет в Киеве.

<sup>1</sup> «Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского». Предисловие и пояснения К. Чуковского. — М., «Премьера», 1999, стр. 328 (первое полное издание).

<sup>2</sup> Б е р б е р о в а Н. Курсив мой. Автобиография. В 2-х томах, т. 1. N-Y., 1983, стр. 335.

Добужинский, а Чуковский стал строить по этому поводу этимологические догадки: «У какой-нибудь из императриц XVIII века мог быть лекарь или парфюмер, англичанин либо шотландец. Он мог носить фамилию *Бромлей*: там Бромлей — не редкость. На этой маленькой улице у него мог стоять дом. Улицу могли назвать *Бромлеевой*, а потом, когда фамилия забылась, переделать и в *Бармалееву*: так лучше по-русски звучит...»<sup>3</sup>

Еще раз Чуковский рассказал о том же, отвечая на вопрос Г. И. Чугунова, в записи которого, сверх уже известного, добавлено, что у Добужинского «возникла идея написать сказку про Бармалея, но не обычную, а „сказку-наоборот“. Так и возникла этакая „антипедагогическая“ сказочка, где крокодилы добрые, а ленинградские дети бегают гулять в Африку. <...> В работе над книжкой М. В. принимал гораздо большее участие, нежели просто художник. Как и сама идея сказки, ее создание было также „наоборот“. Вместо того чтобы делать рисунки к уже готовому тексту, как это обычно происходит, М. В. сначала рисовал, а я потом писал стихи к рисункам. Это был единственный подобный случай в моей писательской работе...»<sup>4</sup>

Все известные версии этой истории, непротиворечиво дополняя друг друга (ведь не так уж и важно, кто у кого спросил о названии улицы), легко сливаются в один рассказ. Достоверным документальным подтверждением служит вклеенный в «Чукоккалу» рисунок Добужинского — рисунок, который, по словам Чуковского, предшествовал сказке о Бармалее. Тот самый рисунок, который спровоцировал сочинение сказки, задал ее основные образы и ситуации, породил «Бармалея».

На этом рисунке громадный крокодил, вынырнув из моря и возложив передние лапы на берег овального острова, глотает разбойника вместе с его архаически-опереточным пиратским вооружением. А на островке коленапреклоненные дети — мальчик и девочка — между костром, на котором им только что предстояло превратиться в жаркое для людоеда, и осеняющей их пальмой с неостывшим ужасом и горячей благодарностью глядят на своего страшного спасителя. В левом верхнем углу картинка дополнена снижающимся самолетиком — в сказке он доставит доброго доктора Айболита.

Любой читатель «Бармалея» тотчас заметит, что на картинке присутствуют практически все персонажи и почти все ситуативные моменты *второй части* сказки. Ситуации первой части вместе с многочисленными персонажами — добрыми или злыми представителями экзотической фауны — остаются где-то за пределами рисунка Добужинского. Все, что составляет первую часть, на картинке не запечатлено никак. Здесь, во второй части, дети, уже пережившие свои приключения, находятся на пороге счастливого финала. Сказочник, выстраивающий сюжет, оказывается перед очевидным вопросом: как переместить своих маленьких соотечественников в Африку? Как они туда попали? Ответ тоже достаточно очевиден: сбежали, конечно.

Обсуждал ли Чуковский с Добужинским этот мотив на Бармалеевой улице или не обсуждал, придумал ли он его позднее, вернувшись домой, — в любом случае мотив *бегства в Африку* немедленно выкликал и притягивал ассоциацию с поэтом Николаем Гумилевым — главным в русской литературе специалистом по бегству в Африку.

## II

Чеховские гимназисты собирались бежать в Америку.

Правда, той Америки, о которой мечтал строгий и неулыбчивый мальчик Чечевицын («Мальчики», 1887), Америки Фенимора Купера и Майна Рида, давно уже не было, да и была ли она когда-либо? Но для маленьких героев

<sup>3</sup> Успенский Л. Е. Ты и твоё имя. Имя дома твоего. Л., «Детская литература», 1972, стр. 282.

<sup>4</sup> «Воспоминания о Добужинском». Сост. Г. И. Чугунов. СПб., «Академический проект», 1997, стр. 104.

Чехова она была вожделенной реальностью и мужскими грезами ребенка. «Вы читали Майн Рида? <...> Когда стадо бизонов бежит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугавшись, брыкаются и ржут»<sup>5</sup>. Бегство мальчиков в этом рассказе, мы помним, не удалось, их вернули с ближайшей станции.

У гимназиста Толи, героя рассказа А. Серафимовича «Бегство» (первоначально — «Бегство в Америку»), отделенного от чеховских «Мальчиков» несколькими годами, попытка сложилась иначе: он возвращается сам, пережив разочарование в своем ночном походе по оврагам и болотам (отнюдь не американистским, а в окрестностях родного городка): «В сердце шевельнулось недоумение. Отчего там, на Кавказе, в Америке, когда я читал о разных похождениях и путешествиях, ночи производили совсем иное впечатление?»

И миллионом черных глаз  
Смотрела ночи темнота  
Сквозь ветви каждого куста...

Да, но там ночи темнота смотрела заманчиво, и самые опасности были красивы и привлекательны...»<sup>6</sup>

У других до бегства не доходило, дело ограничивалось мечтой, порывом, наивными сборами с покупкой географических карт, пороха и припасов. Дон Аминадо (А. П. Шполянский, на два года моложе Гумилева) вспоминал о своем провинциальном — екатеринославском — отрочестве:

«Майн Рид, Габорио, Фенимор Купер были боги очередного Олимпа.

Впрочем, как неизбежная корь, свойственная возрасту, проходило это все довольно гладко и осложнений больших не оставило.

Монтигомо Ястребиный Коготь вихрем промчался на неоседланном мустанге, и отравленные змеиным ядом стрелы, которые, пыхтя и отдуваясь, мы посылали ему вслед, пролетели мимо, не задев отважного вождя»<sup>7</sup>.

На другом, северном конце России, в Вятке, гимназист пятого класса Александр Гринецкий (впоследствии писатель А. С. Грин, на шесть лет старше Гумилева) совершил загадочный поступок: «...по странной прихоти я написал, для себя, статью „Вред Майн Рида и Густава Эмара“, в которой развивал мысль о гибельности указанных писателей для подростков. Вывод был такой: начитавшись живописных страниц о далеких, таинственных материках, дети презирают обычную обстановку, тоскуют и стремятся бежать в Америку. <...> До сих пор не понимаю, зачем я это сделал, — я, даже теперь с волнением думающий о путешествиях»<sup>8</sup>. По-видимому, неосознанное намерение школьника потрафить учителю перешибло искренний порыв подростка.

Алексей Ремизов в «Узлах и закрутах» вспоминал о тюремной пересылке, когда на каком-то захолустном вокзальчике его взгляд выхватил в обезличенной толпе арестантов двенадцатилетнего мальчика, худенького, в серой запыленной курточке: «...мне больно становилось от его самых обыкновенных слов. Путаясь, рассказывал он, как, начитавшись Майна Рида и Жюль Верна, он убежал из Приюта искать приключений — Америка! и как его поймали и теперь гонят домой — в Москву»<sup>9</sup>.

О романтическом бегстве в Америку подумывал и Корней Чуковский, тогда еще одесский гимназист Николай Корнейчуков (на четыре года старше Гумилева). О герое своей юношеской поэмы «Нынешний Евгений Онегин» он мимоходом сообщал, что этот мальчик, одноклассник автора, в отличие от него

<sup>5</sup> Чехов А. П. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1955, стр. 448.

<sup>6</sup> Серафимович А. С. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 1. М., 1959, стр. 117 — 118.

<sup>7</sup> Дон Аминадо. Поезд на третьем пути. М., «Книга», 1991, стр. 14.

<sup>8</sup> Грин Александр. Автобиографическая повесть. Л., Издательство писателей в Ленинграде, 1932, стр. 23.

<sup>9</sup> Ремизов А. М. Избранное. М., «Художественная литература», 1978, стр. 418.

самого, «не пытался во втором / Идти в Америку пешком»<sup>10</sup> — то есть иронической характеристикой становилась не попытка бегства в Америку, а недостойный отказ от поступка. Чем было для него, подростка, бегство в Америку, Чуковский объяснил в автобиографической повести «Гимназия» (впоследствии переделанной в «Серебряный герб»): «Путешествовать — значило для меня мчаться по прериям, умирать от желтой лихорадки, выкапывать древние клады, спасать прекрасных индианок от кровожадных акул, убивать бумерангами людоедов и тигров...»<sup>11</sup> Тут и Америка, и Африка с Индией в придачу слиты в единый вожденный экзотический мир.

Юный Николай Евреинов, впоследствии знаменитый театральным деятелем, «человек-театр» (на семь лет старше Гумилева), совсем уже было собрался бежать в Америку, но после всех приготовлений круто изменил решение. Ближайшему другу — матери — он признавался, что незачем бежать в Америку, поскольку туда бегут все. Теперь его манит Африка — страна приключений и диких зверей<sup>12</sup>.

Грань веков стала как раз тем временем, когда центр мечтаний юных романтиков сместился из Америки в Африку. Континент экзотического соблазна из американских прерий был перенесен в африканские джунгли: Хаггард и Эберс потеснили Фенимора Купера и Майна Рида. Англо-бурская война актуализировала африканские страсти русских мальчиков в столицах и провинциях.

«С ужасом и восторгом стояли мы пред единственным в городе оружейным магазином и мысленно выбирали двухствольные винтовки, охотничьи ножи и кривые ятаганы.

Зловещим шепотом обсуждали грядущую экспедицию.

<...> Расстоянием не стеснялись. Жертвенный порыв с географией не считался»<sup>13</sup>.

Все русские гимназисты того поколения мечтали о бегстве — сначала в Америку, потом в Африку. Одному это удалось — Николаю Гумилеву.

Гумилев открыл для русской поэзии и с впечатляющей силой ввел Африку в русскую поэзию (соответствие гумилевской Африки реальной — другой вопрос). Подобно тому как массовое сознание редуцировало всего Блока, заключив его в формулу-образ «певец Прекрасной Дамы», всего Брюсова — в «мэтр и маг», а Сологуба — в «поэт Лилит» и прочие банальности этого рода, весь Гумилев был закапсулирован в формулу-образ «беглец в Африку». Бегство в Африку и абиссинский миф стали как бы фирменной маркой поэта Гумилева, его опознавательным знаком — в сознании читателей-современников, в критических отзывах, отложившихся вокруг его стихов, в литературном и окололитературном быту.

«Гумилев перешел в африканское подданство», — иронизировал Александр Блок. «Русско-эфиопскому поэту Гумилеву» адресовал свое шуточное послание Николай Лернер. А сам Гумилев, едва узнав стороной, что в одном рассказе Тэффи речь идет о путешественнике — о путешественнике всего только, — поспешил принять это на свой счет. Другой путешественник по Африке появился в рассказе Владимира Набокова («Звонок»), написанном много спустя после африканских путешествий Гумилева, и даже не появился, а только был помянут, но случайно ли его промелькнувшее имя — Николай Степанович? Миф о «беглеце в Африку» держался долго и стойко.

От имени некоего «мы», то есть, следует понимать, литературного круга, к которому принадлежал и он сам, Чуковский писал об этом так: «Знали мы и о том, что безусым мальчишкой, только что со школьной скамьи, он тайком

<sup>10</sup> Чуковский Корней. Стихотворения. СПб., «Академический проект», 2002, стр. 329.

<sup>11</sup> Чуковский Корней. Гимназия. Воспоминания детства. М. — Л., Детгиз, 1938, стр. 43.

<sup>12</sup> См.: Евреинов Н. В школе остроумия. Воспоминания о театре «Кривое зеркало». М., «Искусство», 1998, стр. 12.

<sup>13</sup> Дон Аминадо. Поезд на третьем пути, стр. 12.

от родителей убежал почти без копейки в свою любимую Африку (1907) и что впоследствии, чуть только вступил на литературное поприще, снова умчался туда — на этот раз в самую глубь континента — в Эфиопию — охотиться за слонами и львами — путешествие тягостное в те времена, когда не было ни радио, ни самолетов, ни автомашин»<sup>14</sup>.

Много — на сорок лет — раньше он уже написал об этой истории, написал по-другому, легкими ироническими стихами сказки «Бармалей», придав своему безумному герою, бежавшему тайком от родителей, тоже малолетнюю спутницу и совместив времена, когда самолетов еще не было, с временами, когда они уже были:

...Папочка и мамочка уснули вечером,  
А Танечка и Ванечка — в Африку бегом, —  
В Африку!  
В Африку!

### III

В последние свои годы, готовя «Чукоккалу» к изданию, Корней Иванович прокомментировал гумилевские автографы в этом своем рукописном альманахе и написал небольшой мемуарный очерк о Гумилеве — деликатный и сдержанный литературный портрет. Очерк должен был стать общим комментарием к присутствию Гумилева в «Чукоккале», а особая сдержанность и тактичность (все-таки родственная «тактике») были обусловлены абсолютной запретностью имени Гумилева в советской печати. Вокруг мнимого заговорщика Гумилева убийственная власть создала подлинный заговор молчания: не было никогда никакого поэта Гумилева, а всякие там слухи по этому поводу подлежат решительному пресечению.

Если во второй половине 1960-х годов Чуковский все же стал писать о Гумилеве, значит, у него была какая-то надежда, пусть крохотная, пусть ничтожная, на то, что его писание прорвет этот заговор, надо только соблюсти некоторую осторожность. «...Он привык работать исключительно для печати, — напоминала Е. Ц. Чуковская, на долю которой досталась титаническая работа по изданию „Чукоккалы“. — В стол, для себя, он писал только дневник. Поэтому чукоккальский комментарий отражает не столько то, что мог и хотел сказать <...> но то, что он считал возможным напечатать. Будущее показало, что и при этом ограничении он сильно переоценил такие возможности»<sup>15</sup>.

Очерк о Гумилеве не попал в первое издание «Чукоккалы» (1979), он был безоговорочно исторгнут вместе с другими, частными упоминаниями имени Гумилева в альманахе. Вытравливание малейшего намека на Гумилева носило какой-то маниакально-шизофренический характер: из альманаха изымались даже групповые фотографии, если среди запечатленных на них лиц обнаруживался Гумилев. Цензурное вытеснение Гумилева из «Чукоккалы» доходило до прямых фальсификаций: обращение издательства «Всемирная литература» к коллегам на Западе приводилось со снятой подписью, анонимно, поскольку этот текст по поручению сотрудников издательства составил и подписал Гумилев.

Рассказ о Гумилеве для «Чукоккалы» был осуществлен в узком пространстве между ожиданием очевидного цензурного террора и слабой надеждой на публикацию. Это многое определило в содержании очерка: главной его темой стали милые чудачества в бытовом поведении поэта. Чуковский словно бы пытался внушить тому, кто обладает властью вязать и разрешать, что давным-давно погибший поэт для него не опасен.

<sup>14</sup> Чуковский Корней. Гумилев. Соч. в 2-х томах, т. 2. Критические рассказы. М., «Правда», 1990, стр. 544.

<sup>15</sup> Чуковская Елена. Мемуар о «Чукоккале». Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., «Премьера», 1999, стр. 352.

Прорвав таким манером, таким маневром заговор молчания, он намеревался вернуть Гумилева в литературный обиход. Подобное манипулирование как способ подцензурного высказывания Чуковский освоил много раньше. Издавая, например, свой очерк о Репине в ту пору, когда художника третировали за «эмигрантство» (что по советскому кодексу было равносильно государственной измене), он придавал своему сочинению оттенки и обертоны мягкой апологетики, а затем, по мере того как режим реабилитировал и «репатриировал» художника, ослаблял в новых изданиях своего очерка о нем апологетические черты и добавлял черты суровые, тональности скептические.

Каждый из литературных мемуарных портретов (написанных в разные годы и вошедших в книгу «Современники», 1967) Чуковский создавал, опираясь не только на свою обширную и цепкую память, но и на свой дневник, хранивший фиксацию фактов и впечатлений, практически синхронную этим событиям. Так обстояло дело с очерками о Блоке, и о Горьком, и о Маяковском и с другими. Но в очерке о Гумилеве дневник не был использован — или был использован в исчезающе малой мере. Весомый пласт сведений, так или иначе касающихся отношений Чуковского с Гумилевым, на этот раз не был востребован мемуаристом по обстоятельствам, которые в благовоспитанном XIX веке называли «не зависящими от автора».

Несмотря на жесткость условий, сужавших творческое пространство, в котором создавался очерк, несмотря на его избыточную благозвучность, вуалирующую подлинную остроту отношений поэта и критика, очерк о Гумилеве все же по-чуковски портретен. Как и положено портрету, он достигает сходства и передает характер, хотя о многом пришлось умолчать. И как всегда у Чуковского, портрет строится (по его собственному определению) на сочетании плюсов и минусов, на соположении света и теней, и, восхищаясь талантливостью, художнически любясь личностью, он весьма сдержанно, а то и вовсе неодобрительно оценивает творческие реализации этого таланта. Даже здесь, в почти некрологическом очерке, апологетическом по жанру, он не скрывает своего неприятия гумилевского экзотизма, считая его надуманным, искусственным, нежизненным. А склонность Гумилева — теоретика стиха к догматизму и жесткой схеме, к выведению юмора за пределы эстетически приемлемого, как и прежде, раздраженно осуждает. Литературоведческим «сюжетом» своего мемуарного очерка Чуковский считал историю позитивного развития поэта Гумилева: «Недавно я написал воспоминания о Гумилеве, где говорю о той перемене, которая произошла с ним в последние два года его жизни, когда он преодолел в себе гумилевщину ранних лет...»<sup>16</sup>

То, о чем Чуковский умолчал (по разным причинам), вполне может быть дополнено по уже доступным источникам — печатным и архивным. Но при этом легко проглядеть «гумилевский след» в произведениях Чуковского, не заметить, как много у него — в стихах и прозе — неявных рефлексов на Гумилева, разного рода аллюзий и парафраз, преимущественно беззлобно-пародийного свойства, словно он непрерывно вел воображаемый разговор с поэтом, выясняя с ним точки зрения, доспоривая незавершенные споры.

#### IV

Какой-то конфликт, не вполне поддающийся реконструкции, произошел между автором африканской поэмы «Мик» и автором африканской же поэмы «Крокодил» летом 1917 года. Конфликт был связан с намерением и надеждой Гумилева опубликовать свою поэму (возможно, в сокращенном виде, частично) в журнальчике «Для детей», только что созданном Чуковским. Формально журнальчик был приложением к «Ниве», по сути — независимым, чисто «чуковским» изданием.

<sup>16</sup> Письмо В. А. Мануйлову (после 10 ноября 1966 г.). См.: Чуковский К. О. Р. и Е. И. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 15. Письма (1926 — 1969). М., «ТЕРРА — Книжный клуб», 2009, стр. 607.

Вся вторая половина 1916 года редактора журнала «Для детей» была заполнена поисками и вербовкой авторов для будущего издания. Чуковский рассылал десятки писем с приглашениями к сотрудничеству и вопросами, кого бы еще пригласить. «Сколько я ни думал о том, кто бы еще из московских поэтов мог бы Вам пригодиться, — никого, кроме Марины Цветаевой, не придумал, — отвечал Владислав Ходасевич на обращение Чуковского. — <...> „Великих“ Вы сами знаете, а не великие могут писать только экзотическое или заумь»<sup>17</sup>. «Писать заумь» — это, конечно, кивок в сторону футуристов, «писать экзотическое» свойственно скорее их оппонентам-пассеистам, прежде всего Гумилеву. В своих рекомендациях Ходасевич соизмерял свои вкусы и отношения с представимыми взглядами адресата, и «заумники» вместе с «экзотиками» отводились. Тем не менее Чуковский приглашал и Маяковского и Гумилева.

В конце того же 1916-го (по-видимому, в октябре) Гумилев из действующей армии извещал Чуковского: «Посылаю Вам 8 глав „Мика и Луи“, остальные две, не хуже и не лучше предыдущих, вышлю в течение недели. Пожалуйста, как только Вы просмотрите поэму, напишите мне, подходит ли она под Ваши требования. <...> Какие-нибудь изменения можно будет сделать в корректуре...»<sup>18</sup>

Ответное письмо Чуковского неизвестно, но, судя по другому его письму — А. В. Руманову, директору «Нивы» и члену совета директоров издательства «А. Ф. Маркс», гумилевский «Мик» был принят как «подходящий под требования». Чуковский заверял Руманова (в том же октябре 1916 г.), что среди заготовленных для задуманного журнала вещей — рисунков Ре-Ми к «Крокодилу», заставок Чехонина, стихов Саши Черного, сказки Тэффи, рассказов Шмелева и А. Н. Толстого — «есть у меня поэма Гумилева отличная — но иллюстрировать ее нужно месяца два»<sup>19</sup>. Более того, поэма была набрана и планировалась в четвертый номер журнала, что засвидетельствовано корректурными гранками, попавшими впоследствии к Г. П. Струве: «На первой из девяти гранок — штемпель издательского товарищества „А. Ф. Маркс“ с датой „10 ФЕВР. 1917“». Справа сбоку — штемпель издательского товарищества „Нива“ и под ним от руки надпись „№ 4. Для детей. 9 гранок“»<sup>20</sup>.

Журнал «Для детей» постигла странная судьба: он просуществовал ровно год — с января по декабрь 1917 года, — и двенадцать его номеров распределились между тремя режимами, сменявшими друг друга на протяжении года. Начавшийся при самодержавии, журнал продолжился при Временном правительстве и закончился при советской власти. В каждом из его двенадцати номеров, частями, продолжавшими друг друга, на манер романа-фельетона, Чуковский публиковал своего «Крокодила». Но ни в четвертом номере, указанном на гранках набора поэмы, ни в каком-либо другом гумилевский «Мик» не был напечатан.

Едва ли причиной этого был долгий срок изготовления иллюстраций. Четвертый номер журнала отделен от письма Чуковского Руманову, где «Мик» назван «отличной поэмой», не двумя месяцами, будто бы необходимыми для иллюстрирования, а полугодом. И случайно ли фрагмент «Крокодила» («подача» на языке современной журналистики), помещенный в четвертом номере, самый короткий — просто-таки загадочно короткий — из всех? Нет ли за этим казусом каких-то событий, нам неизвестных, но относящихся к нашей теме?

<sup>17</sup> ОР РГБ, ф. 620, карт. 72, ед. хр. 37, л. 1. Цит. по: Богомолов Н. А. Вл. Ходасевич в московском и петроградском литературном кругу. — «Новое литературное обозрение», 1995, № 14, стр. 123.

<sup>18</sup> Письмо К. Чуковскому (окт. 1916). ОР РГБ, ф. 620, ед. хр. 44. Цит. по фотокопии. — Архив К. Чуковского.

<sup>19</sup> Письмо А. В. Руманову (окт. 1916). Цит. по машинописной копии. — Архив К. Чуковского.

<sup>20</sup> Гумилев Н. Собр. соч. в 4-х томах, т. 2. Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вашингтон, 1964, стр. 336 — 339.

И все же гумилевский «Мик» в журнал «Для детей» попал. Косвенно, отраженно, но все-таки попал. В многосоставной пестрой ткани «Крокодила», среди оглушительной множественности его «реминисценций» и «аллюзий», способной озадачить присяжного постмодерниста, среди полупародийных или вовсе пародийных всплесков, иронического подмигивания в сторону чужих текстов, вдруг зазвучали строфы, явственно апеллирующие к гумилевской поэме. Быть может, не лишено смысла то обстоятельство, что появился этот отзвук «Мика» во второй части «Крокодила», написанной летом 1917-го и опубликованной в «Для детей» много спустя после четвертого номера.

В этой части Крокодил Крокодилович, благополучно вернувшийся в Африку из Петрограда, оделил подарками своих малолетних крокодильчиков, разрешил несколько педагогических моментов, наслаждался семейной идиллией и принял высоких гостей — царя-гиппопотама с его зоологической свитой. Все это у Чуковского — с иронией, порой благодушной, порой издевательской. И вдруг — резкий перелом: в ответ на просьбу убогатворенного лакомствами гиппопотама рассказать «о тех медовых пирогах, / О куличах и калачах, / Что кушал ты в чужом краю»<sup>21</sup>, Крокодил Крокодилович (так нелогично!) произносит длинейший, более чем на 60 стихотворных строк, трагический монолог о мучениях зверей в петроградском зоопарке. В «Крокодиле» нет другого столь же обширного риторического фрагмента, тормозящего действие этой стремительной сказки. Юмор исчезает, а ирония, если она и сохраняется, пародийно оттеняет перенасыщенный пафос монолога. Патетический Крокодилов монолог так же мало похож на Чуковского, как основательно близок к Гумилеву — именно к «Мику».

В «Мике» читаем:

...Он встал,  
Подумал и загрохотал:  
«Эй, носороги, эй, слоны,  
И все, что злобны и сильны,  
От пастбища и от пруда  
Спешите, буйные, сюда.  
Ого-го-го, ого-го-го!  
Да не шадите никого!»

.....  
И павиан, прервав содом,  
Утершись, тихо затынул:  
«За этою горой есть дом,  
И в нем живет мой сын в плену.  
Я видел, как он грыз орех,  
В сторонке сидя ото всех...»<sup>22</sup>

Ситуацию этой сцены, ее ритм и образы предлагается сравнить со следующими местами монолога Крокодила (для удобства сравнения сделана небольшая перестановка, и фрагменты монолога приводятся не в той последовательности, в какой они располагаются в сказке Чуковского):

<sup>21</sup> Ч у к о в с к и й К. Ваня и Крокодил. Для самых маленьких детей. — «Для детей», 1917, № 8, стр. 252 (в годовой пагинации). Дальше сказка цитируется по этому изданию.

<sup>22</sup> Г у м и л е в Н. Мик. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель», 1988, стр. 441 — 442, 449. На зывающую к интерпретации переключку «Крокодила» Чуковского с «Миком» Гумилева обратил мое внимание еще в 1981 году Роман Тименчик. С его доброжелательного разрешения я включил этот эпизод в свой очерк о «Крокодиле», но из «Книг нашего детства» (1986) чуковско-гумилевский эпизод был безоговорочно вычеркнут редактором. Михаил Безродный, рецензируя книгу («Литературное обозрение», 1987, № 9) и не зная о нанесенной редактором прорехе, поставил пропущенное в вину автору, посетовал на отсутствие этого эпизода и воспроизвел его — по собственным наблюдениям. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Романа Тименчика и Михаила Безродного.



И встал печальный Крокодил  
И медленно заговорил...

Вы так могучи, так сильны —  
Удавы, буйволы, слоны...

Вставай же, сонное зверье!  
Покинь же логово свое!  
Вонзи в жестокого врага  
Клыки и когти и рога!

Там под бичами сторожей  
Немало мучится зверей:  
Они стенают и зовут  
И цепи тяжкие грызут...

Вы помните, меж нами жил  
Один веселый крокодил...  
Он мой племянник. Я его  
Любил, как сына своего...

Пародируемый текст и пародия связаны друг с другом развитой системой перифраз, почти цитат и, кроме того, «общим знаменателем» — лермонтовским «Мцыри», поскольку свою африканскую поэму Гумилев осуществил в ритмике и строфике поэмы Лермонтова о *героическом бегстве*. Романтический ореол «Мцыри» мерцает вокруг «Мика». (Обратим внимание: «Мцыри» вспоминается в момент бегства другому юному искателю экзотических приключений — герою рассказа А. Серафимовича «Беглец»; ассоциация, очевидно, неслучайная.)

Соотнесенность поэм Гумилева и Лермонтова была замечена и по-разному оценена современниками. Р. В. Иванов-Разумник, например, не без едкости уверял, что «Мик» — всего лишь незаконное соединение «Мцыри» с «Максом и Морищем»<sup>23</sup>. Соединить «Мцыри» с «Максом и Морищем», Лермонтова с Вильгельмом Бушем, — значит, по сути, снизить высокую героиню до мешанской склоки, подменить романтическое единоборство инфантильной преглуповатой потасовкой, придать героическому эпосу пародийные черты и тем самым дисквалифицировать его. Включив слегка перефразированные строфы «Мика» в принципиально отличный контекст своего «Крокодила» (и едва ли не только этим создав эффект пародии), Чуковский высказал на языке сказки ту же — во всяком случае, чрезвычайно близкую — мысль, что Иванов-Разумник на языке критической статьи.

Впоследствии, когда «Крокодил» Чуковского стал объектом «педагогической» критики — административной критики на уничтожение, — именно «гумилевский» фрагмент оказался в центре ее злобного внимания, но — в качестве «лермонтовского». В нападках на «Крокодил» Гумилев не был «прочитан» или, по крайней мере, назван — ни в грубых инвективах Крупской, ни в деликатном заступничестве Горького<sup>24</sup>.

Гумилев подводил теоретическую базу под свой африканский поэтический эпос: в современной литературе, утверждал он, большая поэтическая форма может существовать исключительно в виде экзотической поэмы. Его «Мик» становился, таким образом, не только «программным» для Гумилева, но и нормативным для литературы: «делай как я», говоря словами флотской команды. Журнальная заметка о заседании Общества ревнителей художественного слова вводит в суть гумилевских претензий: «Н. Гумилев прочитал большую (960 строк) поэму свою „Мик и Луи“, а затем изложил свои взгляды на эпический род, к коему он причисляет свою поэму, и на современные его

<sup>23</sup> И в а н о в - Р а з у м н и к Р. В. Изысканный жираф. — «Знамя», 1920, № 3 — 4. стлб. 51.

<sup>24</sup> См.: К р у п с к а я Н. К. О «Крокодиле» К. Чуковского. — «Правда», 1928, 1 февраля; Г о р ь к и й М. Письмо в редакцию. — «Правда», 1928, 14 марта.

возможности. Основная мысль сводилась к утверждению, что единственная область, в которой еще возможно большое эпическое творчество, есть поэзия „экзотическая“. (Действие прочитанной поэмы происходит в Абиссинии, которую Гумилев три раза посетил.) Во время прений большая часть высказавшихся, отдавая справедливость поэтическим достоинствам поэмы, оспаривала теоретические воззрения автора; общий вопрос о современной эпической поэзии остался открытым»<sup>25</sup>.

Своим «Крокодилом» Чуковский иронически «закрывал» этот вопрос. «Крокодил», как и «Мик», — поэма «африканская» и экзотическая, вполне, казалось бы, отвечающая теоретическим выкладкам Гумилева. Все же единомыслие здесь мнимое: да, экзотическая, соглашался Чуковский, тут же добавляя: но детская. Ирония этого «но», надо полагать, метила в пресловутый инфантилизм Гумилева, о котором не забывал упомянуть ни один из мемуаристов — и многие критики, в том числе и Чуковский (в дневнике, в переписке, в воспоминаниях).

Быть может, гумилевский след в «Крокодиле» запечатлелся основательней — раньше, чем появился фрагмент, пародирующий «Мика», и глубже: в самом замысле сказки, которая задумывалась (или, по крайней мере, может быть прочитана) как ироническая контроверза поэме Гумилева, известной Чуковскому чуть ли не с момента ее возникновения. Приключениям европейского мальчика в джунглях Африки (в «Мике») зеркально соответствует столкновение выходца из этих джунглей с мальчиком в Петрограде, на европейском подоконнике, и сами африканские джунгли словно бы оспорены проспектом современного мегаполиса. Маленькому герою чуковской сказки не приходится бежать в Африку за экзотикой — она сама является к нему. Движение сюжета «отсюда — туда» заменено движением «оттуда — сюда», вторжение европейца в Африку — вторжением африканского репрезентанта в европейский город. Мрачноватой серьезности гумилевского повествования противостоит вызывающая несерьезность, тотальная ироничность чуковской истории о Крокодиле: пересмешник против агеласта. И в поэме мужественного адамита «детский поэт» Чуковский открывает — кто бы мог подумать! — инфантильность.

Могли две такие поэмы появиться разом и рядом на страницах одного и того же издания — издаваемого Чуковским журнальчика «Для детей»? Наверяд ли: противостояние было бы слишком заметным и выглядело бы преднамеренным, независимо от того, был ли тут умысел или же эффект преднамеренности сложился бы случайно. По-видимому, в этом, а ни в чем другом, причина непоявления поэмы Гумилева в журнале Чуковского.

Гумилев знал сказку Чуковского и, конечно, не мог не заметить (адресованный прежде всего ему) пародийный рефлекс на «Мика» в «Крокодиле». «Как он не любил моего „Крокодила“! — признавался Чуковский во время бессонницы через год после гибели Гумилева. И тоже по оригинальной причине: — „Там много насмешек над зверьми: над слонами, львами, жирафами“. А вообще он не любил насмешек, не любил юмористики, преследовал ее всеми силами в своей „Студии“ и всякую обиду зверям считал личным себе оскорблением. В этом было что-то гимназически-милое»<sup>26</sup>.

Насколько можно судить, будто бы не любивший насмешек и вообще юмора Гумилев (сколько его юмористических выходов на страницах той же «Чукоккалы»!) не усмотрел обиды в чуковской пародии. Более того, после нее он даже как будто собирался посвятить Чуковскому следующее издание своего «Мика», о чем сообщил ему устно и письменно. Правда, письменное обещание несколько двусмысленно — извиняясь за назначенный и несостоявшийся визит, Гумилев добавлял: «Если простите меня, посвящу Вам второе издание

<sup>25</sup> Litotes. Общество ревнителей художественного слова. — «Аполлон», 1914, № 5, стр. 54.

<sup>26</sup> Чуковский и Корней. Дневник. 1901 — 1929. М., «Современный писатель», 1997, стр. 193.

„Мика”»<sup>27</sup>. Сказано то ли всерьез, то ли с несколько кокетливой иронией. Второе издание «Мика» вышло в 1921 (по титулу) или в 1922 году (по обложке) — без обещанного посвящения.

## V

Для спасения вымирающей от холода, голода и нищеты петроградской художественной интеллигенции Горький в 1918 году придумал издательство «Всемирная литература». Подменив неуклонно вменяемую властью идеологическую повинность повинностью культурно-просветительской, издательство, созданное для выпуска лучших книг мировой литературы, давало малую, но все же возможность уклониться от все нарастающего идеологического диктата и, вырвав поэтов и писателей из ледяных петроградских «пещер» (по Евг. Замятину), обеспечить их работой, пусть не собственно творческой, а только переводческой, составительской, редакторской. «Всемирная литература, — иронизировал Виктор Шкловский. — Не надо, чтобы русский писатель писал, что хочет, надо, чтобы он переводил классиков, всех классиков, чтобы все переводили и чтобы все читали. <...> Большевики приняли эти концентрационные лагеря для интеллигенции. Не разогнали их». И, переходя на серьезный тон, все-таки признавал: «Без этого интеллигенция выродилась бы...»<sup>28</sup>

Замысел удался, и «Всемирная литература» просуществовала до 1924 года. Чуковский сотрудничал в англо-американской секции издательства, Гумилев (приглашенный по рекомендации Чуковского) — во французской. Это было время наиболее тесного их общения — и профессионального и бытового.

В лоне издательства был осуществлен (частично) другой «уклоняющийся», компромиссный проект Горького — создание цикла «исторических картин», драматических произведений, отражающих разные моменты всемирной истории. «Всемирные литераторы» выбрали: Блок — «Рамзеса», Евг. Замятин — «Аттилу», Амфитеатров — «Ваську Буслаева». Гумилев выбрал самую древнюю, первобытно-африканскую «Охоту на носорога».

По непонятным причинам был обойден вниманием любопытнейший документ — набросок рецензии Чуковского на пьесу Гумилева, хотя сообщение о нем, сохранившемся в архиве автора, появлялось в печати. Напрямую относящийся к нашей теме, документ этот заслуживает того, чтобы привести его полностью, со всеми недописками, вычеркиваниями и поправками — следами движения мысли рецензента. Тем более что в окончательном, беловом виде рецензия, по-видимому, не существовала — она предназначалась для прочтения на заседании секции «исторических картин» издательства «Всемирная литература», а для устного оглашения беловой текст был без надобности. Поскольку дневниковые, эпистолярные и мемуарные записи Чуковского о Гумилеве при жизни автора не публиковались, то посвященная «Охоте на носорога» рецензия оказалась *единственным открытым*, прижизненно опубликованным (правда, изустно) откликом критика на творчество поэта.

В «Охоте на носорога» Тремограст, пассионарий первобытного племени, совершает интеллектуальный подвиг: он догадывается, что огромную грудку мяса для голодающих соплеменников можно добыть, заманив носорога в яму. Преодолевая ревнивое сопротивление вождя, страх молодых и предрассудки старых, он копает яму сам и понуждает других. В вырытую яму сваливается носорог. Теперь мяса хватит для всех надолго, племя спасено от голода. Но убиение и поедание животного, по непрекаемому обычаю племени, требует искупительной жертвы, и в ту же яму, к еще живому носорогу, бросают девицу, возлюбленную Тремограста, благодетеля. Тремограст в гневе покидает неблагодарных соплеменников и уходит прочь — к одинокому существованию.

<sup>27</sup> Г у м и л е в Н. С. Неизданные стихи и письма. Paris, «YMCA-Press», 1980, стр. 128.

<sup>28</sup> Ш к л о в с к и й В. Сентиментальное путешествие. М., «Федерация», 1929, стр. 224.

Так могло бы выглядеть либретто этой пьесы. Вполне «африканская» (по экзотичности фауны), вобравшая адамитские и пассионарные представления Гумилева, она вместе с тем обнаруживает — случайно ли? — подозрительное сходство возникающих в ее сюжете отношений с отношениями в «сюжете» «Всемирной литературы», похожей на этого носорога — кормильца голодного, до одичания доведенного племени петроградских литераторов, приносящих свою жертву компромиссным сотрудничеством с новой властью, идеологически и морально чуждой. Не осмыслял ли Гумилев, сотрудник издательства «Всемирная литература», опасную двусмысленность благодеяния своего работодателя в пьесе, моделирующей подобные отношения? В пьесе, написанной по заказу этого издательства и ему же представленной?

Рукопись рецензии Чуковского на пьесу Гумилева представляет собою расположенный на большеформатных листах текст в обрамлении скорописных перьевых набросков, изображающих бронированного носорога, первобытного человека (то ли кроманьонца, то ли неандертальца) и продолговатую, несколько асимметричную мужскую голову — попытку портрета Гумилева в повороте «три четверти» (с хорошо уловленным сходством), — одним словом, автора вместе с персонажами его пьесы:

«Видно, что пьеса написана поэтом. Симметрическое построение фраз придаёт ей особый ритм. На перв<ой> стр.:

Тремограста чёрный скорпион укусил.  
Тр<емограст> скорпиона раздавил. Я видела.

И на той же стр.:

Тремогр<аста> бешеный шакал укусил.  
Шакал к реке убежал. Я слышала.

Такой параллелизм образов и фраз проведён через всю пьесу.

— Я поймал вам зайца. — Заяц б<ыл> маленький.  
— Я убил вам гиену. — Гиена б<ыла> вонючая.

Во всей пьесе есть напев. Многие её места воспринимаются как рефрены.

Тремограст медведя убил  
— Много крыс убил  
Трем<ограст> длиннорукий охотник!  
— Не сердись Элаи. Тр<емограст> длин<норукий> охотник.  
— Элаи приказал! Элаи страшный! Тремограст длиннорукий охотник.

Через всю пьесу проходят эти [свойственн] введённые символистами — Ибсенем, Метерлинком — лейтмотивы:

Копайте яму!  
Копайте яму!

Или повторяемое стариком: Горе! Горе!  
Или повторяемое народом:

Аааа!  
Аааа!

И вообще во всей пьесе есть ритм. Это меня пленило с самого начала. Она написана не ремесленником, а поэтом. Язык — может быть и не людей каменного века — но в нём есть дикарский [язык] тон — его гипнотический,

бедный, однообразный напев передаёт убожество духовного мира, чувствуется, что автору этот язык не чужой — [он мог] это его собственный язык, он [дан ему] органически [свойствен] присущ ему, а не [выдуман] сделан мозаически из кусочков. — Мне только не нравится сократический диалог:

- Яму копаешь зачем?
- Носорог к водопою идёт не здесь<?>
- Здесь.
- Нос<орог> в мою яму не падает<?>
- Падает
- Племя сыто не будет<?>
- Будет

и т. д.

Тут хронологически автор ошибся тысячелетий на сто. Вообще у [них] его дикарей слишком много силлогизмов, [и т. д.] которые надо как н<и>б<удь> прикрыть.

Но многие места очень находчивы: напр<имер>, рога [луны] месяца, к<ото>рый бодает ж<енщи>ну; <2 сл. нрзбр>.

Было бы очень хорошо, если бы автор дал образцы заумного языка. Дикарь и сейчас — не [всякое слово] считает слово простым обозначением вещей. Для него слова имеют часто значение самоцельное. <Во время> когда он взволнован, он выкрикивает заклинания хлыстовские. У автора очень хорошо вышло, когда старуха сказала Энигу уапи. [Это] Хорошо бы несколько таких слов. Может быть припев и песня копающих мужчин: теперь она слишком литературна:

Ах, яма! Яма!  
Ах, яма! Яма!

Вообще пьеса литературна насквозь: это-то в ней и хорошо. [Во всяк] Тут по всем правилам есть и [любовь] и герой, и борьба героя с толпой — и даже из Пушкинских Цыган:

Оставь нас, гордый человек.

Пьеса очень стройная, написанная по всем правилам драматургии. Но она [был] слишком схематична. Её схемы эмоционально не заполнены. Положения только намечены, а не пережиты. Хотелось <бы>, чтобы Термограста <так!> больше любили, чтобы мы волновались за него, чтобы он встретил больше препятствий, чтобы его гибель б<ыла> эффектней, чтобы [его] мы пережили азарт охоты, чтобы зрелище захватило нас<sup>29</sup>.

Текст для Чуковского довольно странный, хотя бы потому, что, подробно рассматривая «поэтическую форму» гумилевской пьесы и настаивая на ее поэтичности, критик — вопреки своей обычной, хорошо засвидетельствованной манере — не выводит из поэтической формы никаких общих смыслов, не сводит «форму» к «смыслу».

О чем речь? Отмечается симметрия конструкции, параллелизм (не то ли самое, что симметрия?), ритмичность, напевность, лейтмотивы. Указывается происхождение поэтичности такого рода — возникают имена Ибсена и Метерлинка, что подтверждает отличную интуицию критика, идущую вразрез с общепринятостью, — ведь мало кто не ссылался на нелюбовь Гумилева к Ибсену, декларированную им самим. (Странным образом комментаторы Гумилева не заметили, что «Созидающий башню сорвется» — вся первая строфа «Выбора» — прямо взывает к ибсеновскому Сольнесу, строителю башен.)

<sup>29</sup> ОР РГБ, ф. 620. Воспроизводится по ксерокопии. — Архив К. Чуковского.

Далее — критическая шпилька, содержащаяся, возможно, в намеке на происхождение пьесы «от символистов»; она давно была затуплена и не колола. Легкий упрек в избыточном рационализме («слишком много силлогизмов») едва ли был болезнен для поэта, признающего «сделанность» своих стихов и научающего тому же других. Напротив, тут могло подразумеваться почтенное единство «теории» и «практики» поэта. Параллель с Пушкиным (уход «гордого человека») — и вовсе комплимент, притом самого высокого порядка. А вот комплиментарность формулы «литературно насквозь» более чем сомнительна, но Чуковский мгновенно перемещает ее в разряд позитивов: «это-то в ней и хорошо». Словно, нечаянно проставив неуместно осуждающий «минус», спохватился и тут же вертикальной чертой перерисовал его в «плюс». И только призыв дать образцы заумного языка (кстати, и без того содержащиеся в пьесе) и пожелание эмоционально насытить пьесу («больше препятствий», «азарт охоты», «чтобы зрелище захватило» и т. п.) наводит на мысль, что Чуковский хотел бы видеть «Охоту на носорога» несколько больше похожей на «Крокодила», но все-таки оставляет рецензию исключительно в рамках анализа и оценки «поэтической формы», более того — просто литературных технологий.

В дневниковых записях, одновременных с этой рецензией, Чуковский высказывался о Гумилеве по-другому. Не в пример резче, порой прямо противоположным образом, и если в рецензии «пьеса написана поэтом», то в дневнике — «этот даровитый ремесленник»<sup>30</sup>. «Ремесло», высокий технологический профессионализм, мастеровитость Чуковский всегда считал сильной стороной Гумилева. Вот о ней-то — только о ней — идет речь в его разборе «Охоты на носорога». Словно критик преднамеренно сосредоточил внимание на сильных сторонах рецензируемой пьесы, уклонившись от обсуждения вопросов иного порядка. Словно его задачей была не рецензия, а рекомендательное письмо...

В конце того же 1920 года, когда была написана и предъявлена рецензия на гумилевского «Носорога», Горький (по другому поводу) упрекал Чуковского в чрезмерной экзальтации: «Любить — прекрасно, перехваливать — не следует. Порою К. И. перехваливает и Ахматову, и Маяковского...» Но уместно ли сие в наши дни? — вопрошал Горький<sup>31</sup>. «Перехвалить поэта теперь, — отвечал Чуковский, — я считаю полезнейшим делом. Я теперь не мог бы ругать своего брата-писателя. Теперь не время взаимной полемики...»<sup>32</sup> — и хотя в ответе графически выделено противопоставление «хвалить — ругать», но как-то уж очень заметно торчит напоминание о «наших днях»: «теперь», еще раз «теперь» и «не время»...

Чуковский был смущен направленной против Гумилева статьей Блока «Без божества, без вдохновенья» (начало 1921 года) и уговаривал ее не печатать (не потому ли она и была опубликована только после смерти автора?). Более того: «А<нна> А<хматова> вполне верит словам Чуковского, что он уговорил Блока выкинуть из этой статьи места, наиболее обидные для Николая Степановича»<sup>33</sup>. Поведение странное, если не загадочное для критика, все симпатии которого в противостоянии Гумилев — Блок безусловно были на стороне Блока.

Он очень своевременно уловил изменение социальной роли литературной критики. Из общественного обсуждения общественных же проблем литературы критика под давлением радикальной власти превращалась в идеологический аккомпанемент к этой власти, в комментарий к ее политическим постулатам, в некоей временной перспективе — в донос, пусть даже и нечаянный, непро-

<sup>30</sup> Чуковский К. Р. Дневник. 1901 — 1929, стр. 95.

<sup>31</sup> Письмо К. Чуковскому (конец 1920 г.). — Чуковский К. Р. Собр. соч. в 15-ти томах, т. 14. Письма (1903 — 1925), стр. 448.

<sup>32</sup> Письмо М. Горькому. — Там же.

<sup>33</sup> Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924 — 1925 гг. Paris, «YMCA-Press», 1991, стр. 251.

извольный<sup>34</sup>. Взывающая к общественному мнению в условиях нормальной литературной борьбы, она все больше взывала к администрации и сама претендовала на администрирование. Эстетическая (не говоря уже о социальной) оценка независимого критика прочитывалась как политическая — со всеми вытекающими выводами, поэтому «теперь не время взаимной полемики» — и «я теперь не мог бы ругать своего брата-писателя». Деятельность писателя — литературного критика — в том виде, в каком она осуществлялась прежде, становилась невозможной. Нужно было либо искать другие способы реализации своих потенций и амбиций, либо уходить из литературы.

Блестящий и задиристый критик дореволюционной поры, исколовший своим пером едва ли не всех тогдашних писателей, Чуковский в пору «Всемирной литературы» сходит со сцены. В начале 1920-х годов вместо Чуковского-критика складывается поэт-сказочник, исследователь детского языка и психологии, автор историко-литературных изысканий (главным образом вокруг так называемых «революционных демократов»), переводчик и теоретик художественного перевода, но только не критик текущей литературы. Он отбрасывал жанры, как ящерица, спасаясь от преследования, отбрасывает хвостик. Он хватался за другие, в поисках того, в котором мог бы существовать. «Всемирная литература» как раз и была сеансом коллективного ухода в другой жанр, групповым отбрасыванием хвостов.

Рукопись Чуковского на предыдущих страницах воспроизведена, пора признаться, не полностью. В верхней ее части, над текстом рецензии, помещено четверостишие — на манер motto или эпиграфа:

Папа маму  
Бросил в яму,  
Ибо папа  
Пишет драму.

Окажись это четверостишие не на листах с рецензией, а на каком-нибудь клочке бумаги или в дебрях рабочей тетради, — добраться до его смысла было бы весьма не просто. Но местоположение строк и нечаянный комментарий дневниковой записи Чуковского вполне проясняют, кто такие эти папа и мама, о какой драме речь — и всю иронию стихка: «...увидел Гумилева с какой-то бледной и запуганной женщиной. Оказалось, что это его жена Анна Николаевна. <...> Гумилев обращается с ней деспотически. Молодую хорошенькую женщину отправил с ребенком в Бежецк, а сам...»<sup>35</sup>

А сам здесь, в голодающем, холодном Петрограде, наслаждался жизнью, сочиняя драму под названием «Охота на носорога». В центре событий этой пьесы — яма, в которую отправляют возлюбленную протагониста, подобно тому как автор бросил жену в провинциальную яму. В пьесе первобытное племя приносит девушку в жертву носорогу — в жизни «папа» приносит «маму» в жертву «Охоте на носорога». Эпиграмма с чертами пародии или же пародия, облеченная в эпиграмму, — адресованный Гумилеву экспромт совмещает «быт» и «искусство», «жизнь» и «литературу», биографическое своего адресата с его же творчеством. Адресантом (отправителем) оказывается лепечущее дитя. Вся ситуация видится глазами ребенка (ребенка этого «папы» и этой «мамы»), обобщается очередным намеком на инфантилизм автора пьесы об африканской охоте — и потому выглядит гораздо мягче, чем та же ситуация в дневниковой записи: мол, что с него, ребенка, возьми. И все же навряд ли стихок предназначался для оглашения...

<sup>34</sup> Так и случилось, например, с одной из самых замечательных работ К. Чуковского «Две России. Ахматова и Маяковский» (1921). Ироническая, игровая, но в этом смысле точная формула Чуковского «то ли монахиня, то ли блудница» стала злобной сокрушительной инвективой в докладе А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946) и в соответствующем постановлении ЦК ВКП(б).

<sup>35</sup> Ч у к о в с к и й К о р н е й. Дневник. 1901 — 1929, стр. 169 — 170.

Ироническая эксплуатация «детского взгляда» и совмещение биографического с литературным и впредь будут свойственны пародийным рефлексам Чуковского на Гумилева.

## VI

Какие-то мысли о Гумилеве, ощущение незавершенности разговоров, недоспоренности споров, недовыясненности отношений всегда сопровождали «детского поэта» Чуковского. Через восемь лет после гибели Гумилева он, уже автор десятка прославленных и разруганных сказок, обобщил свой опыт и свое понимание специфики поэзии для детей в статье под несколько вызывающим названием «Тринадцать заповедей для детских поэтов». «Заповеди» слишком претенциозное, слишком высокопарное слово для разговора о детских стихах, да и не только для них, и поставить его в такой позиции можно разве что с долей автоиронии. С разъяснения этого обстоятельства, с возвращения «заповедей» на надлежащее место и начинается статья. В этом объяснении, почти извинении — как бы за неуместную шутку — каждое слово подразумевает Гумилева. Продолжает спор с Гумилевым. Пародирует Гумилева.

Поводом для спора стала встреча Чуковского с Гумилевым под одной обложкой. Эта встреча произошла в 1919 году, в брошюре «Принципы художественного перевода», составленной из двух статей: о стихотворных переводах толковал Гумилев, в другой, о переводах прозаических, — Чуковский. Книжница получилась довольно тощая, всего около тридцати страниц, но история отвела ей незаурядную роль.

Написанная в ответ на задачи «Всемирной литературы», столкнувшейся с беспрецедентной массой переводных текстов, книжница положила начало новой филологической дисциплине — теории художественного перевода. Вся эта разросшаяся область знания, на счету которой ныне тысячи статей и книг, восходит к брошюре 1919 года, и умей книжница говорить, могла бы произнести со скромной гордостью: довольно с нас и той малой славы, что мы начинаем...

Объединение двух авторов в одном издании оказалось чисто формальным, их единство — фиктивным. Будто бы примиренные общей обложкой, статьи раскалывают брошюру на две противостоящие части. Принципы художественного перевода, предложенные двумя авторами, оказались разными и непримиримыми. Гумилев продиктовал безапелляционную регламентацию, подчинение переводчика жестким правилам, Чуковский востребовал полную творческую свободу. Драконовы законы и Хартия вольностей под одним переплетом выглядели бы примерно так же. В переизданные через год «Принципы художественного перевода» была включена еще и третья статья — профессора Ф. М. Батюшкова, который и вовсе отстаивал принцип непереводаемости, и тогда книжница стала вместилищем всех основных направлений, всех — длящихся по сию пору — дискуссионных подходов в теории художественного перевода.

«На заседании была у меня жаркая схватка с Гумилевым, — писал Чуковский в дневнике (12 ноября 1918 г.). — Этот даровитый ремесленник — вздумал составлять *Правила для переводчиков*. По-моему, таких правил нет. Какие в литературе правила — один переводчик *сочиняет*, и выходит отлично, а другой и ритм дает и все — а нет, не шевелит. Какие же правила? А он — рассердился и стал кричать. Впрочем, он занятый, и я его люблю»<sup>36</sup>.

С четкостью военного человека Гумилев формулировал свои правила — от первых слов «Существует три способа переводить стихи» — до последних, где он чуть ли не с пророческим высокомерием и без всякой иронии именуется свои правила — «заповедями»:

«Таковы девять заповедей для переводчика; так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, что они будут лучше исполняться»<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> Чуковский Корней. Дневник. 1901 — 1929, стр. 95.

<sup>37</sup> Цит. по: Гумилев Н. О стихотворных переводах. — В его кн.: «В огненном столпе». М., «Советская Россия», 1991, стр. 310, 315.



Через десять лет после появления этих строк Чуковский, формулируя *свои* «правила» детского поэта, в статье, не имеющей, казалось бы, никакого отношения к Гумилеву, продолжил спор с ним о пределах нормативности в литературе. Он просто-напросто вывернул наизнанку каждое слово, все смыслы гумилевской декларации:

«Я, конечно, не предлагаю непререкаемых догматов. Это просто путеводные вехи, поставленные для себя самого одним из начинающих детских писателей, который стремился насколько возможно приблизиться к психике малых детей. Я называю мои домыслы заповедями не потому, чтобы я чувствовал себя Моисеем на Синайской горе, а потому, что основная природа всех заповедей издревле заключается в том, что их нарушение не только возможно, но почти обязательно. Их императивный характер — лишь кажущийся. Недаром в качестве тринадцатой заповеди я даю краткое наставление о том, как нужно нарушать предыдущие»<sup>38</sup>.

Гумилев ставит свои заповеди чуть ли не вровень с Моисеевыми, вещая как бы с Синайских высот, — Чуковский называет свои заповеди «домыслами» и отказывается от позиции Моисея, вещающего на Синайской горе. Гумилев надеется, что его заповеди будут исполняться лучше библейских, — Чуковский прямо призывает к нарушению заповедей и даже указывает пути и способы нарушения. У Гумилева заповедей на одну меньше, чем сакральное число (десять минус одна), — у Чуковского на одну больше (двенадцать плюс одна). Библейски патетической декларацией Гумилев завершает свою статью — Чуковский евангельски смиренномудрым признанием свою начинает. Гумилевские заповеди тотальны, они претендуют на всеобщее исполнение — Чуковские предназначены прежде всего (и чуть ли не исключительно) для личного пользования. С какой стороны ни подойти, невозможно не заметить преднамеренную последовательность пародийного переворачивания слов и смыслов.

«Гумилевский след» в «Тринадцати заповедях детским поэтам» продолжен (а значит, и подтвержден) второй из них, трактующей о том, что «всякая поэма для маленьких детей должна быть кинематографична», «чтобы каждые пять-шесть строк требовали новой картинки», «наибыстрейшей смены видений». Заповедь иллюстрируется «от обратного», негативным примером из собственной практики: «В моем „Крокодиле“ хуже всего доходит до детей та страница, где я, пародируя Лермонтова, заставляю Крокодила произносить длинную речь о страдании зверей, заточенных в клетки Зоосада, так как эта страница почти не апеллирует к зрению ребят и слишком долго удерживает их внимание на одном эпизоде»<sup>39</sup>.

Мы помним, что эта страница, этот эпизод в «Крокодиле» пародирует не столько Лермонтова («Мцыри»), сколько Гумилева («Мик»). Крокодильская пародия на Гумилева весьма поверхностна, в сущности — обширная, слегка перефразированная цитата, так что упрек в полной мере переадресуется ее источнику, и в самокритичном признании Чуковского отчетливо просвечивает легкий критический жест в сторону гумилевской поэмы.

## VII

Виктимность его сказок подтолкнула Чуковского к опережающей защите. Для «Бармалея», еще не опубликованного, он, перебирая разные возможности самообороны, набросал один за другим несколько вариантов предисловия. В одном из этих предисловий, по-видимому неоконченных и в конце концов оставшихся невостребованными среди его бумаг, он объяснял неотвратимому критику, что «Бармалей» — это, дескать, некая оперетта для маленьких детей. Просто оперетта, не вокальная, конечно, а стихотворная, к тому же — первая попытка автора в этом роде. Оперетта, как известно, жанр безответственный, а

<sup>38</sup> Чуковский К о р н е й. Тринадцать заповедей для детских поэтов. — «Книга детям», 1929, № 1, стр. 13.

<sup>39</sup> Там же.

первую попытку и вовсе не следует судить слишком строго, так что этот вариант предисловия — откровенная просьба о снисходительности. Ссылка на легкомысленный жанр, кроме того, могла оправдать немотивированность сюжетных переключений в сказке — слишком часто новые эпизоды и ситуации возникают в ней не «потому что», а «вдруг». Опереточный произвол стал притчей во языцех, и Юлиан Тувим издевательски объяснял: оперетта — это такой жанр, где отец не узнает свою родную дочь, потому что она явилась в новых перчатках.

Одна фраза в этом наброске предисловия заслуживает внимания по причине своей серьезной точности: «Бармалей», полагает автор сказки, «состоит из целого ряда лирических арий, соединенных пародийно воспринятой драматической фабулой»<sup>40</sup>. Слово молвлено: пародийно воспринятой. Но что это за драматическая фабула? Что именно пародируется?

Другой вариант предисловия оправдывает причудливость африканской сказки намерением автора войти в специфические интересы своего маленького читателя и построить поэтическое сказочное повествование как ответ на его запросы. Здесь реализуется не жанровое, как в первом варианте предисловия, а содержательное авторское истолкование сказки, но в том же ракурсе самозащиты от предсказуемой, скорее всего — «педагогической» критики: «Бармалей», уверяет Чуковский, «написан, так сказать, из полемики. Как-то среди педагогов зашёл разговор о том, что <приключенческая> авантюрная повесть доступна лишь 13 — 15-летним подросткам и что маленькие дети лет пяти будто бы для нее не созрели. Выходило так, что все эти Буссенары и Куперы <соответствуют> специально приспособлены для детей того возраста, который соответствует <в истории человеческой расы> соответствует тому периоду истории человеческой расы, когда человек был номадом-кочевником, так как им еще не свойственна любовь к природе...»<sup>41</sup>

Детство ребенка, повторяющее детство человечества (в духе известной теории соотношенности онтогенеза и филогенеза), находит себя в экзотических приключенческих сочинениях того рода, который представлен Буссенарами и Куперами, только не нужно занижать планку детского понимания...

Несколько натужное теоретизирование сказочника около собственной сказки, призванное утихомирить догматического критика, неожиданно и, возможно, нечаянно откликается «адамизмом» Гумилева — с прямой отсылкой к литературе экзотических приключений, которая сыграла столь очевидную роль в его биографии и творчестве, вдохновляла его путешествия и стихи. Поэта, «не отделявшего литературных убеждений от личной биографии» (по слову наблюдательного Бенедикта Лифшица<sup>42</sup>), Гумилева следовало трактовать, конечно, в этом единстве. Тем более что африканские путешествия — в биографии и экзотической Африка — в стихах стали определятельными в расхожем образе поэта, его фирменным знаком. Под ироническим пером сказочника бегство в Африку, совершенное «безусым мальчишкой, только что со школьной скамьи, тайком от родителей», приняло, как уже упоминалось, такой вид:

...Папочка и мамочка уснули вечерком,  
А Танечка и Ванечка — в Африку бегом, —  
В Африку!  
В Африку!

Поскольку сказочник видит в этом бегстве не высокий романтический *élan* — порыв и подвиг, а всего лишь ребяческую инфантильную выходку, то голосом взрослой озабоченности, окрашенным лукавой ехидцей, он уговаривает: «Не ходите, дети, в Африку гулять!»

<sup>40</sup> Ч у к о в с к и й К о р н е й. От автора. Черновой набросок в рабочей тетради (после 3 ноября 1924 г.). Рукопись. — Архив К. Чуковского.

<sup>41</sup> Ч у к о в с к и й К о р н е й. Бармалей. Черновой набросок на отдельном листе. Рукопись. — Архив К. Чуковского.

<sup>42</sup> Л и в ш и ц Б е н е д и к т. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., «Советский писатель», 1989, стр. 516 — 517.

Основой пародии, ее сюжетобразующим стержнем, той самой «пародийно воспринятой фабулой» стала «Неоромантическая сказка» Гумилева, последнее стихотворение в книге «Романтические цветы». Чуковский словно бы обрывает с «Романтических цветов» лепесток за лепестком — «любит», «не любит», «любит», и последний лепесток все-таки приходится на «не любит». Выбор достаточно очевиден: «Неоромантическая сказка» — самое, по-видимому, слабое, самое инфантильное стихотворение в этой книге — настолько, что автор, обычно мужественно уверенный в достоинствах своих произведений, на этот раз сомневался, стоит ли его публиковать, и то исключал, то включал «Неоромантическую сказку» в переиздания книги. «Бармалей» Чуковского, как и надлежит пародии, тоже «неоромантическая сказка», еще более «нео-», чем у Гумилева. Пародия, естественно, требует преувеличения и концентрации, пародия на молоко была бы сгущенкой.

Сказочное повествование в «Бармалее» идет след в след за перипетиями «Неоромантической сказки», иронически их сгущая и преувеличивая, начиная с возраста героев: Гумилев представляет своего совсем юным — «на днях еще из детской», Чуковский без обиняков именует своих — «маленькие дети». Если бы ширина печатной страницы позволяла поместить строки из сказок рядом, то параллельность гумилевской «фабулы» и «пародийного восприятия» Чуковского была бы наглядней, но, быть может, и последовательное расположение соответствующих фрагментов не слишком скроет неотступность пародийных откликов «Бармаля».

Опекун гумилевского отрока-принца, его верный дворецкий, предостерегает убегающего воспитанника, «прогнав дремоту»; в сказке Чуковского дети убегают, когда «папочка и мамочка уснули вечером», а предостережение отходит к лукавому голосу сказочника.

У Гумилева:

«За пределами Велета  
Есть заклятые дороги.  
Там я видел людоеда  
На огромном носороге.

Кровожадный, ликом темный,  
Он бросает злые взоры,  
Носорог его огромный  
Потрясает ревом горы».

У Чуковского:

В Африке акулы,  
В Африке гориллы,  
В Африке большие  
Злые крокодилы  
Будут вас кусать,  
Бить и обижать, —  
Не ходите, дети,  
В Африку гулять.

В Африке разбойник,  
В Африке злодей,  
В Африке ужасный  
Бар-ма-лей!

Он бегаёт по Африке  
И кушает детей —  
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!

Сказать о злодее и разбойнике, пожирателе детей, что он их, видите ли, «кушает» и вообще «гадкий» и «нехороший», — значит дать место «детскому, слишком детскому», представить смехотворно инфантильный взгляд наивных до святости — или до нелепости — «маленьких детей». Уже не какой-то папа

бросает в яму какую-то маму, а маленькие дети, бросив и папу и маму, бросаются в полную опасностей Африку, но пародийная функция манерной инфантильности — та же самая, что в эпиграмме на полях рецензии.

Предостережения напрасны: «Принц не слушает и мчится» — у Гумилева; «Но папочка и мамочка уснули вечерком, / А Танечка и Ванечка — в Африку бегом» — у Чуковского. Там, в Африке, начинается сюжетная чехарда, эпизоды приключений зеркально выворачиваются: у Гумилева костер жжет дворецкий юного героя, магически защищая его от людоеда, у Чуковского симметрично «страшный костер разжигает» людоед для вполне реального мучительства; у Гумилева людоед, взывая о помощи, трубит «в рог, натужась, / Вызывает носорога», у Чуковского — наоборот, обиженный детьми

...Бегемот  
Убежал за пирамиды  
И ревет,  
Бармалея, Бармалея  
Громким голосом  
Зовёт.

При этом, заметим, появляются однотипные союзнические пары тяжеловесного животного с антропофагом: людоед — носорог и Бармалей — Бегемот.

Побежденный людоед Гумилева «очутился на аркане», и

Людоеда посадили  
Одного с его тоскою  
В башню мрака, башню пыли,  
За высокою стеною...

Местом заключения своего побежденного людоеда Чуковский определяет камеру еще более мрачную и тоскливую — крокодилов желудок:

Но в животе у Крокодила  
Темно и тесно и уныло,  
И в животе у Крокодила  
Рыдает, плачет Бармалей...

Наказание подействовало на гумилевского людоеда благотворительно: он преобразуется в добряка, рассказывающего сказки о феях (не бальмонтские ли «фейные сказки?»):

Говорят, он стал добрее,  
Проходящим строит глазки  
И о том, как пляшут феи,  
Сочиняет детям сказки.

Бармалей, побывав в столь необычном заключении, тоже готов стать на путь исправления, и оттуда, из крокодилова нутра, раздаётся его отчаянное *de profundis*:

О, я буду добрей!  
Полюблю я детей!  
Не губите меня!  
Пощадите меня!  
О, я буду, я буду, я буду добрей!

В черновых вариантах сказок Чуковского, оставшихся в его рабочей тетради, «подобрение» было еще ближе к гумилевскому — до текстуального совпадения: «Я буду им сказки рассказывать»<sup>43</sup>, — обещает там побежденный

<sup>43</sup> Ч у к о в с к и й К о р н е й. Бармалей. Черновой вариант. Рукопись. Рабочая тетрадь 1924 — 1926 гг. — Архив К. Чуковского.

Бармалей. Следование за «Неоромантической сказкой», надо полагать, оказалось избыточным и было укрошено.

«Нисхождение и преображение» Бармалея шаржируется: осознавший порочность своего извращенного детолюбия, Бармалей становится не каким-то там сомнительным сказочником, а полноценным кондитером, и единственное слово о будто бы состоявшемся подборении того людоеда («Говорят, он стал добрее») откликается у этого обильным словоистечением на ту же тему:

...А лицо у Бармалея и добрее и милей  
 .....  
 Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей!  
 «Буду, буду я добрей, да, добрей!  
 Напеку я для детей, для детей  
 Пирогов и кренделей, кренделей!  
 По базарам, по базарам буду, буду я гулять!  
 Буду даром, буду даром пироги я раздавать,  
 Кренделями, калачами ребятишек угощать.  
 .....  
 Потому что Бармалей  
 Любит маленьких детей,  
 Любит, любит, любит, любит,  
 Любит маленьких детей!»

Пародийный эффект в «Бармалее» создается гипертрофией: если доброта — то уж пересахаренная, кондитерская, если страх — то до ужаса. Людоед у Гумилева, как и положено при этой профессии, страшный:

...ликом темный,  
 Он бросает злые взоры...

У Чуковского людоед гораздо страшней, у него не только взоры, у него тотальная жуть:

Он страшными глазами сверкает,  
 Он страшными зубами стучит,  
 Он страшный костер зажигает,  
 Он страшное слово кричит...

Пародийный эффект и тут достигается наипростейшим способом — нагнетанием, назойливым усиливающим повторением, а «страшное слово», которое кричит Бармалей, — это всего лишь «Карабас! Карабас!».

Почему Карабас? При чем тут Карабас?

«Карабас» — один из нередких в этой сказке случаев зауми, десемантизированных звуковых комплексов, о желательности которых — особенно в «первобытном» нарративе — Чуковский напоминал в рецензии на гумилевскую пьесу. Но так ли уж бессмыслен этот, провозглашенный страшным, «Карабас», отсылающий к названию одного из самых благостных, безмятежных — «нестрашных» — стихотворений Гумилева?

«Бесподобная идиллия», по слову знаменитого современника, гумилевский «Маркиз де Карабас» сразу после опубликования в «Жемчугах» попал в детский поэтический альманах (точнее, в «сборник стихов для отрочества») «Утренняя звезда» и был надолго закреплен за «детской литературой»<sup>44</sup>.

Весенний лес певуч и светел,  
 Черны и радостны поля.  
 Сегодня я впервые встретил  
 За старой ригой журавля.

<sup>44</sup> См.: «Аполлон», 1910, № 7, стр. 39.

Смотрю на тающую глыбу,  
 На отблеск розовых зарниц,  
 А умный кот мой ловит рыбу  
 И в сеть заманивает птиц.

В сеть заманивает птиц... Идилличность, связанная с «заманиванием птиц» в сеть, может показаться странной и сомнительной, особенно с точки зрения самих этих птиц. Не слишком ли гумилевская идиллия смахивает на другое — приторно-идиллическое — стихотворение о заманивании птиц в сети — на пресловутую «Птичку» А. А. Пчельниковой? Вошедшее в десятки хрестоматий, песенников и других изданий подобного рода, оно стало идеальным знаком сусюкающей, сентиментальной, чересчур «детской» поэзии для детей.

*Дети*

А, попалась, птичка, стой!  
 Не уйдешь из сети;  
 Не расстанемся с тобой  
 Ни за что на свете!

*Птичка*

Ах, зачем, зачем я вам,  
 Миленькие дети?  
 Отпустите полетать,  
 Развяжите сети!

*Дети*

Нет, не пустим, птичка, нет!  
 Оставайся с нами:  
 Мы дадим тебе конфет,  
 Чаю с сухарями...

*Птичка*

Ах, конфет я не клюю,  
 Не люблю я чаю:  
 В поле мошек я ловлю,  
 Зернышки собираю...<sup>45</sup> —

и так далее.

Вот эту, пародийную уже саму по себе, детскую песенку Чуковский слегка расцвечивает пародийными бликами и помещает в пародийный же контекст сказки:

Милый, милый Бармалей,  
 Смилуйся над нами,  
 Отпусти нас поскорей  
 К нашей милой маме!

Мы от мамы убежать  
 Никогда не будем  
 И по Африке гулять  
 Навсегда забудем!

Милый, милый людоед,  
 Смилуйся над нами,  
 Мы дадим тебе конфет,  
 Чаю с сухарями!

Но ответил людоед:  
 «Не-е-ет!»

<sup>45</sup> Цит. по кн.: «Русская поэзия детям». Вступ. статья, составление, подготовка текста, биографические справки и примеч. Е. О. Путиловой. Л., «Советский писатель», 1998, стр. 142 — 143.

Перемена ситуации создает пародийный эффект: вместо деток, ведущих жеманную душеспасительную беседу с пойманной птичкой, — дети, испуганно уговаривающие — почти теми же словами — карикатурно жестокого Бармалея. Сентиментальное соревнование двух жеманств оборачивается столкновением инфантильной придурковатости с преглуповатой жестокостью. Разговор «с позиции силы» превращается в разговор со страдательной позиции, и кокетливая инфантильность разоблачает сама себя. Мама — она, конечно, милая, но и людоед Бармалей — тоже милый! Мольбу о пощаде он отвергает, то есть в этой ситуации только он и ведет себя естественно, как нормальный людоед. «Страшное слово» «Карабас» у Чуковского беззлобно поддевает идиллическое слово «Карабас» у Гумилева: возникает редкостный эффект «пародии в пародии».

И еще одно словечко, совсем по-детски перевернутое, забрело в «Бармалея», кажется, из стихотворения Гумилева: имя акулы Каракулы. Если открыть книжку гумилевских «Романтических цветов» на «Неоромантической сказке», которая, как мы видим, последовательно пародируется в «Бармалее», и отлистнуть одну страницу назад, наткнемся на маленький цикл стихотворений о *Каракалле*.

## VII

Все, изложенное выше, конечно, не интерпретация сказки Чуковского, а только попытка показать в ней присутствие Гумилева — «гумилевский след»<sup>46</sup>. След этот назван пародийным — очень приблизительно, неточно: явление, названное этим словом, совпадает с ним лишь частично и притом незначительной частью.

Пародийность пронизывает сказки Чуковского, она реализуется на всех уровнях — лексическом, сюжетном, интонационном. При этом стихотворные произведения Чуковского не становятся пародией в собственном смысле слова. Чуковский сложно сопрягает эпические, лирические и сатирические мотивы, а многие окрашенные цитатностью или «подражательностью» мотивы этих сказок вообще лишены пародийной или сатирической цели и выполняют какую-то иную, не всегда четко определенную функцию.

Вот «Крокодил»: его центральный эпизод, как известно, восходит к неоконченной повести Ф. М. Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже»<sup>47</sup>, наделавшей в свое время много шума, поскольку в ней усмотрели пасквиль на Чернышевского. Чуковский читал эту повесть Репину незадолго до того, как сочинил своего «Крокодила»; чтение вслух и резко отрицательное отношение художника к повести актуализировало ее в сознании будущего автора сказки. В «Крокодиле» Чуковского — множество аллюзий к «Крокодилу» Достоевского, легко узнаваемых деталей разного толка, перифраз и даже прямых цитат, но напрасно искать здесь какие-либо обращенные к Достоевскому пародийные выпады. Самый дотошный анализ ничего такого не найдет. Ничего — кроме глухой отсылки к скандальному эпизоду из литературной истории XIX века.

Нечто похожее находим и в «Тараканище». На старости лет Чуковский рассказывал: «Как-то в 1921 году, когда я жил (и голодал) в Ленинграде, известный историк П. Е. Щеголев предложил мне написать для журнала «Былое» статью о некрасовской сатире „Современники“. Я увлекся этой <...> темой. <...> Писал я целые дни с упоением, и вдруг ни с того ни с сего на меня „накатили“ стихи. <...> На полях своей научной статьи я писал, так сказать, контрабандой:

<sup>46</sup> Генезис «Бармалея» в контексте сказок Чуковского (в частности — движение от пересказа «Доктора Дулитла» Х. Лофтинга к «Айболиту» — прозаическому и стихотворному — и далее к «Бармалею») рассмотрен в кн.: В д о в е н к о И. В. Стратегии культурного перевода. СПб., РИИИ, 2007.

<sup>47</sup> Подробнее об этом см.: П е т р о в с к и й М и р о н. Крокодил в Петрограде. — В кн.: «Книги нашего детства». СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2006, стр. 35 — 39.

Вот и стал Таракан победителем,  
И лесов, и полей повелителем.  
Покорилися звери усатому  
(Чтоб ему провалиться, проклятому!)»<sup>48</sup>

Этот рассказ требует некоторого уточнения: по забывчивости или по расчету Чуковский не сообщает, что работал он тогда над статьей, которая позже будет названа «Поэт и палач». Статья была посвящена бесславной истории с «муравьевской одой» Некрасова: в обстановке всеобщего ужаса, охватившего Петербург после каракозовского выстрела, Некрасов сочинил угодническое стихотворение, расцененное современниками как измена делу демократии. Генерал Муравьев развязал административный террор против инфантильного русского либерализма — едва ли не с той же свирепостью, с которой незадолго перед тем подавил польское освободительное движение. Некрасов подвергался большей опасности, чем другие, он был на виду, он считался одним из вождей либеральной демократии, и ему было что терять — у него на руках был «Современник», лучший русский журнал той эпохи. И вот, поддавшись общей панике, он ради спасения своего дела, своего детища, «поднес» диктатору напыщенно-льстивую оду. Всю жизнь потом он жестоко карал себя за минутную слабость.

В центре очерка Чуковского «Поэт и палач» оказалось исследование эпидемии страха перед чрезвычайными мерами «людоеда» Муравьева, настоящая симфония ужаса, идущая крещендо. Достаточно сравнить сцену испуга зверей в сказке «Тараканище» с соответствующими местами очерка «Поэт и палач», чтобы стало ясно ее происхождение. Эмфатическое описание страха переплелось в стихи, и Чуковский стал самозабвенно изображать страх, охвативший сказочный мир при появлении Тараканища. Фактически или метафорически, «контрабандные» строки тираноборческой сказки возникли на полях рукописи этого очерка. Предельно исторически-конкретное превращалось в предельно сказочно-обобщенное. «Тараканище» не изображает то же событие, а представляет условное и типизированное отражение подобных исторических ситуаций. В сказке подспудно запечатлелся один из самых скандальных эпизодов русской литературной истории — случай с «муравьевской одой» Некрасова.

Подобное и в «Мухе-Цокотухе». Строчки этой сказки останавливают внимание истораживают, глухо взывая к чему-то старому, полузабытому или забываемому:

Вдруг откуда-то летит  
Маленький комарик,  
И в руке его горит  
Маленький фонарик.

Мы уже как будто где-то читали эти строки — или чрезвычайно похожие. Действительно, четверостишие из сказки с иронической добросовестностью воспроизводит все приметы — ритмику и строение строфы, лексику, синтаксис, повторы и характер рифмовки — достопамятной «Современной песни» Дениса Давыдова:

Старых барынь духовник,  
Маленький аббатик,  
Что в гостиных бить привык  
В маленький набатик...

Сходство, по-видимому, неслучайное, поскольку давидовская «Современная песня» в самом сатирическом смысле изображает собравшихся в светском салоне насекомых — чуть ли не тех же самых, что собрались на мещанские име-

<sup>48</sup> Чуковский Корней. Об этой книжке. — В его кн.: «Стихи». М., Гослитиздат, 1961, стр. 12 — 13.



нины у Мухи. Тут у Дениса Давыдова и блоха, и козявка, и стрекоза, и «сухой паук», и «плюгавый жук», и комар, и сверчок, и мурашка, и клоп — компания, хорошо знакомая читателям сказки Чуковского. Этот «насекомый» контекст хорошо поддерживает сходство строфы из сказки со строфой из «Песни»<sup>49</sup>.

Примечательно, что стихотворение Дениса Давыдова, на которое достаточно внятно кивает «Муха-Цокотуха», тоже связано со скандальным эпизодом отечественной литературной истории. Скандал разразился по поводу «Философического письма» П. Я. Чаадаева, опубликованного в пятнадцатой книжке журнала «Телескоп» за 1836 год. Консервативно-патриотические круги во главе с императором были возмущены неслыханным вольнодумством чаадаевского «обвинительного акта» (по собственному определению автора письма), предъявленного российской действительности, а император, закрыв журнал и выслав редактора, сверх того высочайшей волей объявил автора сумасшедшим, заложив тем самым основы репрессивной психиатрии. Обстоятельства этого скандала претворенно запечатлелись в сатире Дениса Давыдова: «маленьким аббатиком» там издевательски именуется Чаадаев, противопоставлявший национальному подгосударственному православию — надгосударственный экуменический католицизм. Скандал запомнился надолго и странным образом аукнулся через восемьдесят пять лет, в иную эпоху, в детской сказке.

В «Мойдодыре» и «Федорином горе», особенно в первом, Б. М. Гаспаров обнаружил целый ряд деталей, связывающих сказку с поэтикой ранних стихов Маяковского, прежде всего — и напрямую, цитатно — со сценой «бунта вещей» из трагедии «Владимир Маяковский». В вихре несущихся вещей у Чуковского узнаются бытовые предметы, которые «бунтуют» у Маяковского. Сходство заходит слишком далеко, чтобы оказаться случайным, оно захватывает и выбор объектов, и присвоенные им антропоморфические черты, и характерные особенности движения. Словно нарочно для подчеркивания сходства, в «Мойдодыре» в первый и, кажется, единственный раз появляется у Чуковского маяковская «лестничка».

Утюги  
     за  
     сапогами,  
 Сапоги  
     за  
     пирогами,  
 Пирог  
     за  
     утюгами,  
 Кочерга  
     за  
     кушаком —  
 Всё вертится,  
 И кружится,  
 И несётся кувыркoм.

И постановка трагедии «Владимир Маяковский» (1913), и последующие групповые выступления футуристов, при участии Чуковского в качестве присяжного оппонента, защитника демократической культуры, протекали в обстановке скандала, будоража публику и привлекая ее внимание к новым «бурным гениям». Эксцессы этих выступлений в значительной мере были театрализацией, скандал выглядел спонтанным лишь для непосвященных; для участников он был предусмотренным «литературным приемом», входил в условия игры, в очевидную для скандалящих конвенцию. «Реакция Мойдодыра и следующей за ним армии умывальников на появление героя в таком виде: „И залают, и завоюют, и ногами застучат“, — напоминает о шумных скандалах,

<sup>49</sup> «Подтексты» «Мухи-Цокотухи» обстоятельно рассмотрены в статье: Б е з р о д н ы й М и х а и л. К генеалогии «Мухи-Цокотухи». — В сб.: «Школьный быт и фольклор. Учебные материалы по русскому фольклору». Ч. I. Таллинн, 1992.

бывших неотъемлемым атрибутом выступлений футуристов и публичных диспутов с их участием»<sup>50</sup>, — основательно утверждает Б. М. Гаспаров. Таким образом, исторически достоверный скандал порождает сказочно-условный сюжет «Мойдодыра». Пародия на футуристические тексты весьма добродушна, приближаясь к «полунасмешливому, полудидактическому намеку»<sup>51</sup>, замечает Б. М. Гаспаров, но намек, отсылающий к трагедии «Владимир Маяковский», к шумным выходкам раннего футуризма, достаточно внятен.

Из наметившегося ряда не выпадает и «Бармалей». Подобно кивку «Мойдодыра» в сторону Маяковского и эксцессов раннего футуризма, «Бармалей» содержит легко читаемый намек на африканское путешествие Гумилева и сопутствующие обстоятельства. Шокирующий эффект гумилевских побегов в Африку хорошо известен; о сопутствующих обстоятельствах Чуковский рассказал в посвященном Гумилеву очерке, опубликованном посмертно: петербургские литературные и нелитературные обыватели распустили соблазнительный и позорный слух о том, что вся африканская эпопея Гумилева — плод поэтического воображения. К примеру, во время доклада о путешествии в редакции «Аполлона», где Гумилев демонстрировал свои африканские трофеи, один из самых знаменитых остряков той эпохи задал поэту провокационный вопрос: почему на обороте каждой шкурки отпечатано лиловое клеймо петербургского городского ломбарда? В зале поднялось хихиканье — очень ехидное, ибо из вопроса сатириконствующего насмешника следовало, что все африканские похождения Гумилева — миф. «На самом же деле печати на шкурках были поставлены отнюдь не ломбардом, а музеем Академии наук, которому пожертвовал их Гумилев», — завершает Чуковский рассказ об этой скандальной истории<sup>52</sup>. Скандал вокруг путешествия и возвращения Гумилева запечатлелся в «Бармалее» беззлобно, при «факультативности сатиры», как выразился по сходному поводу Ю. Тынянов. Подчеркнутая автоирония надежно опосредует пародию: издевательский «педагогизм», убогая дидактика исходят как бы не от Чуковского, а от некоего третьего лица, двойника-антипода автора.

Таким образом, в сказках Чуковского подспудно запечатлена почти столетняя история русской литературы, взятая в ее наиболее шумных эксцессах, в ее скандальных всплесках. Вместе с тем в этих сказках не лишенным парадоксальности способом засвидетельствовано единство творчества поэта и сказочника с работой критика, литературоведа, историка литературы. Скандальные эпизоды литературной истории стали, впрочем, не столько «темами» сказок, сколько стимулами для их создания, прикровенно запечатленными в самих созданиях, — чрезвычайно характерная особенность поэтического мышления Чуковского.



<sup>50</sup> Г а с п а р о в Б. М. Мой до дыр. — «Новое литературное обозрение», 1992, № 1, стр. 308.

<sup>51</sup> Там же, стр. 309.

<sup>52</sup> Ч у к о в с к и й К о р н е й. Гумилев. Соч. в 2-х томах, т. 2, стр. 545.

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛЕВ ОБОРИН



## ЖУРНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ: О ПРЕМИИ «ANTHOLOGIA»

**С**реди российских поэтических премий «Anthologia» обладает своеобразной весомостью. Хотя ее материальное выражение сводится к почетному диплому, она престижна по двум причинам: это, во-первых, исторически высокий статус журнала «Новый мир», а во-вторых — состав лауреатов за все годы существования премии.

С февраля 2004 года премия отмечает выдающиеся достижения современной российской поэзии. Обычно это поэтические сборники. Кроме того, три последних года специальный диплом выдается критику, пишущему о поэзии.

Координаторский совет (фактически — номинаторы и жюри) премии: главный редактор «НМ» Андрей Василевский, члены редколлегии — Ирина Роднянская и Владимир Губайловский и редактор отдела поэзии Павел Крючков (присоединился к совету в 2005 году). А лауреатами «Anthologia» стали: в 2004 году — Максим Амелин, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Олег Чухонцев, в 2005-м — Мария Галина, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, в 2006-м — Дмитрий Быков и Вера Павлова, в 2007-м — Ирина Ермакова, в 2008-м — Михаил Айзенберг, Сергей Гандлевский, Борис Херсонский, в 2009-м — Мария Ватутина, Тимур Кибиров, Лев Лосев (посмертно) и Александр Тимофеевский. Специальный диплом за критику в 2007 году был вручен Евгению Вежлян, в 2008-м — Михаилу Айзенбергу, в 2009-м — Даниле Давыдову.

Уже из этого списка видно, что «Anthologia» поддерживает «классическую», «традиционалистскую» ветвь русской поэзии<sup>1</sup>, — эти слова я пишу безоценочно и с осторожностью, осознавая, что внутри «традиции» — множество векторов и смыслов.

Двое из лауреатов — Кенжеев и Гандлевский — принадлежали к группе «Московское время», создавшей одну из самых значимых русских поэтик второй половины века, и сегодня имеющую сознательных продолжателей. По поэтическим задачам, по тону к этой группе близки Айзенберг и Херсонский (последнего иногда называют участником «Московского времени», примкнувшим к нему уже постфактум). Лауреатами стали также поэты, принадлежавшие к другим важнейшим объединениям и течениям: «СМОГу» (Кублановский), «филологической школе» (Лосев), концептуализму (Кибиров). Еще одна точка, от которой идет вектор к «Anthologia», — студия Игоря Волгина «Луч»: через нее прошли и участники «Московского времени», и Быков, и Павлова, и Ватутина.

---

Оборин Лев Владимирович — поэт, переводчик, критик. Родился в 1987 году. Аспирант Российского государственного гуманитарного университета. Шорт-лист премии «Дебют» (поэзия, 2004, 2008). Стихи публиковались в журналах «Волга», «Зинзивер» и в Интернете, переводы — в журналах «Иностранная литература» и «Воздух», статьи и рецензии — в журналах «Новый мир», «Знамя», «Воздух», «Вопросы литературы». Статья печатается в рамках дискуссии о современной поэзии, открытой в «Новом мире» (2010, № 1) статьей Ильи Кукулина.

<sup>1</sup> Думаю, именно эту ветвь Варвара Бабицкая называет «толстожурнальной» поэзией. См: Б а б и ц к а я В. Пока мы спали <<http://www.openspace.ru/literature/events/details/17580>>.

Основную из культивируемых «НМ» традиций часто определяют как постакеизм, или неоакмеизм, — этот термин подразумевает также общность некоей чистоты языка и мелодики — вспомним первоначальное обозначение «кларизм», предложенное Михаилом Кузминым, — и наследование широкому кругу модернистов, чья поэтическая культура была рассеяна советской эпохой и дошла до нас благодаря не-молчанию немногих. Неоднозначен случай Кибирова, ранние тексты которого причисляют к концептуализму, но об этом позже.

Премия, по крайней мере пока, занята подчеркиванием более или менее бесспорных имен. Не все из них регулярно попадают на страницы «НМ», но круг постоянных новомирских авторов является для «Anthologia» важным резервом.

Со времени учреждения премии в «НМ» опубликовались более 200 поэтов. Тех, кто был напечатан не менее трех раз, я полагаю, можно назвать новомирским кругом — понимая при этом, что они могут входить и в другие подобные «круги».

Вот эти имена в алфавитном порядке: Алексей Алехин, Максим Амелин, Марина Бородицкая, Андрей Василевский, Андрей Гришаев, Ирина Василькова, Мария Ватутина, Мария Галина, Владимир Губайловский, Ирина Ермакова, Александр Кабанов, Евгений Карасев, Светлана Кекова, Бахит Кенжеев, Александр Климов-Южин, Евгений Клюев, Кирилл Ковальджи, Григорий Кружков, Юрий Кублановский, Виктор Куллэ, Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Валерий Лобанов, Лариса Миллер, Анатолий Найман, Олеся Николаева, Вера Павлова, Евгений Рейн, Владимир Рецептер, Владимир Салимон, Михаил Синельников, Сергей Стратановский, Александр Тимофеевский, Елена Ушакова, Борис Херсонский, Олег Хлебников, Евгений Чигрин<sup>2</sup>.

Из лауреатов в этом списке отсутствуют только Чухонцев, Быков, Айзенберг, Гандлевский, Лосев и Кибиров. Чаше других в «Новом мире» 2004 — 2010 гг. печаталась Инна Лиснянская (10 оригинальных подборок и переводы), приближаются к ней Найман, Кенжеев, Кушнер, Салимон, Кекова, Губайловский, Кублановский, Ватутина.

Эти показатели относятся к премии косвенно: вполне возможно, что какие-то из названных авторов, до сих пор не ставшие лауреатами «Anthologia», когда-нибудь получат ее. Но эти нехитрые подсчеты помогают понять, чем именно в современной русской поэзии интересуется «НМ». Взять хотя бы соотношение регулярного стиха и верлибра — явно не в пользу последнего. К верлибру на страницах «НМ» раз за разом обращаются только двое постоянных авторов: Алексей Алехин и Андрей Василевский. Реже встречается он у Губайловского и Херсонского, для остальных — нехарактерен<sup>3</sup>. Лет пятнадцать-двадцать назад такая пропорция казалась бы естественной (М. Гаспаров, в конце 1990-х оценивший доли различных размеров в литературных журналах, написал: «Строго на <...> среднем уровне неклассичности держится только степенный „Новый мир“, что делает честь его чуткости»<sup>4</sup> — тогда показатель несиллабо-тонических метрик и верлибра составлял в журнале около 20%, но сегодня перевес классической просодии говорит об эстетической консервативности. Повторю: речь только о постоянных авторах «НМ». За тот же период «НМ» напечатал, к примеру, стихи почти всех победителей, а также нескольких лонг-листеров и шорт-листеров «Дебюта» в номинации «Поэзия». Поэтика «поколения „Дебюта“», учитывающая опыт постакеизма, рок-поэзии, «новой искренности», обретает в «НМ» роль и голос.

Любопытно взглянуть на лауреатов (в английском есть хорошее слово *set* — но не скажешь же «наборы лауреатов») каждого премиального года и постараться понять, почему «Новому миру» показалось важным отметить именно этих поэтов.

<sup>2</sup> Подсчеты проводились в октябре 2010 года.

<sup>3</sup> Речь здесь идет только о публикациях в «Новом мире».

<sup>4</sup> Г а с п а р о в М. Л. Очерк истории русского стиха. М., «Фортуна Лимитед», 2000, стр. 307.

Собрание 2004 года — разнородно, многополярно. «Полюсами» выглядят Максим Амелин и Инна Лиснянская (тем интереснее, что в 2008 году именно Амелин взял у Лиснянской большое и полное пиетета интервью<sup>5</sup>). В «Коне Горгоны» Максим Амелин подтверждает свою репутацию «архаиста-новатора»<sup>6</sup>, ищущего обновления русского поэтического языка в его ранней истории — поэтике середины XVIII века. Одическая лексика Петрова, Сумарокова и Хераскова, употребленная с новой интонацией и в другом контексте, производит впечатление порой ошеломляющее. «Высокий штиль», транслируемый из XVIII века, сочетается в стихах из «Коня Горгоны» со сниженной или современной лексикой, создавая эффект отстраненной иронии:

Сбылось, Иерихон,  
сбылось реченное пророком, — и отныне  
твой со всех сторон  
морозным воинством окружены твердыни... —

вслед за этим говорится о «скользящих с перепоя» защитниках «сега земного града».

В обзоре «Сто поэтов начала столетия» Дмитрий Бак замечает, что со времен «Коня Горгоны» поэтика Амелина пережила преобразование, главная черта которого — переход к прямому высказыванию, отказ от «защитной стены» отстранения, добровольного затворения за античностью<sup>7</sup>. Но и в «Коне Горгоны» были стихи, предвещающие другого Амелина: холодность в них сочеталась с настоящей, «прямой лирической» горечью («Катавасия на Фоминой неделе», «Поминальное», «Тяжелые строфы»). Присуждение Амелину «Anthologia» — рифма к его собственной практике: в античной литературе, которую он много переводил, существовали Антологии — собрания эпиграмм и коротких поэтических текстов; в русской поэзии жанр антологических, подражающих античности, стихотворений был освоен Дельвигом, Батюшковым, Пушкиным, Фетом, символистами. Из XVII века к антологической поэзии относили некоторые опыты Ломоносова и Сумарокова. Безусловно, в этом смысле Амелин — поэт антологический<sup>8</sup>. («Семипалым шиповником розовый куст, / незаметно дичая, становится: / измельчавшим вослед появляться цветам / красно-бурные начали ягоды. // А стоит ли в черной печи обжигать, / прекрасную глину в печи обжигать, / прекрасную красную глину?»)

В сравнении с футуристической архаикой Амелина стихи Лиснянской отличаются акмеистической строгостью исполнения. Их ясность придает поэтической речи силу антириторичности (схожая по музыкальности, но более склонная к игре и менее медитативная речь — у Натальи Горбаневской). «Anthologia» были отмечены три подборки 2003 года — одна в «Знамени» и две в «НМ». Две из них посвящены памяти ушедшего в том году Семена Липкина — мужа, друга, собеседника, большого поэта.

Все в голове смешалось старой —  
Зов соловья и твой привет,  
Твоей ладони капилляры  
И дикой розы блеклый цвет.

И одуванчик поседельй  
С твоей смешался сединой.  
Стою с улыбкой оробелой  
К стене бревенчатой спиной.

<sup>5</sup> См.: «Когда тебе ничего больше не нужно, кроме этого: разговор Инны Лиснянской и Максима Амелина» <<http://www.polit.ru/analytics/2008/09/29/lisnyanskaya.html>>.

<sup>6</sup> Придуманное в 1997 году Татьяной Бек, это обозначение уже в 2003 году было названо Андреем Немзером «ходовым».

<sup>7</sup> См.: Б а к Д. П. О поэзии Максима Амелина. — «Октябрь», 2009, № 3.

<sup>8</sup> «Герой стихов Амелина шести-восьмилетней давности насквозь пропитан „антологическим” духом умеренности...» — пишет Бак, едва ли подразумевая премию «НМ».

А где упал, там незабудка  
 Расширилась, как вещей глаз.  
 Ты стал природою. И жутко  
 Мне на нее смотреть сейчас.

В этих стихах открывается не только стоицизм и предельно обостренное внимание ко всему, что напоминает о любимом человеке. Здесь появляется тема, развитая Лиснянской впоследствии: женская старость и одиночество. В цикле «Без тебя» поэт еще только подступает к ней, а в более поздних стихах раскрывает ее все полнее — и стихи эти, как ни парадоксально, полны жизненной силы, витальны. Изобретенный Лиснянской образ «старой Евы» подытоживает библейские аллюзии ее стихов 2003 года и отрывается от эротизированного (в стихотворении «Первое электричество» из подборки «День последнего жасмина») описания эдемской четы.

Стихотворения, созданные в течение нескольких месяцев, образуют мини-период в творчестве; разнообразие их тематики сводимо к основным мотивам, отправным точкам размышления: огонь, дом, птица, скорость. Они просты (в таких стихах, как «Заповедный дом», — даже до нарочитости), но простота давно укоренилась как прием, возвышающий звучание: в том, для чего Амелину требуется усложненность, Лиснянской нужна ясность.

«Фифиа» Олега Чухонцева стала одним из главных литературных событий — и не только 2003 года. Книга порой страстных и ветхозаветно гремящих («Кые! Кые!..»), порой — самоуглубленных, но также завораживающих («А березова кукушечка зимой не кукуват...», «а если при клонировании...») стихотворений открывалась вспархиванием четверостишия; рецептом на чужом языке, по-русски звучащем, заумью (Дмитрий Полищук удачно угадывает: «птичьим» языком<sup>9</sup>) появлялось слово: «фифиа!» — при кажущейся радости оно означает «улетучиваться», «исчезать», терять силу. Будучи в родстве с наполняющими книгу размышлениями о прошлом, оно напоминает, что и с прошлым когда-то придется проститься.

Я вижу, как мы под тутою лежим,  
 как живо темнеет, как сякнет кувшин,

но миг или век — все равно дефицит,  
 как жизнь промелькнула, и смерть пролетит.

Стремясь вопреки «улетучиванию» сохранить ощущение прошлого, его значимости, Чухонцев прибегает и к подробной его документации («Вальдшнеп»), и к речевой архаике.

В «Фифиа» много христианских мотивов, и трактовка божественного у Чухонцева колеблется от стилизованной догматики («Я из темной провинции странник...») до сомнения, тоже, впрочем, имеющего традицию («Зачем Ты, Господи, меня призвал / на подвиг вероломства неослушный» — стихотворение об Иуде). Этими стихами Чухонцева открывается один из лейтмотивов «Anthologia» — поэзия с религиозной проблематикой. Религиозная линия продолжена «Испанскими письмами» Олеси Николаевой. Книга названа по большому циклу, в котором Испания становится предметом самоценных наблюдений и одновременно оказывается лукавым иносказанием России; некоторые обитатели этого места, «отмотавшие здесь по сроку», теперь «детей воспитывают уже по доктору Споку. // Отдают в классические гимназии — грызть гранит, / сокрушать латынь, узнавать, кто такие стоики, читать Писанье, / учить на нескольких языках „Отче наш” и „Господь простит”, / выправлять генотип золотую печатью знания». Если Россия сквозь призму Испании выглядит интересной, то сама Испания получается клишированной и как будто необязательной. Впрочем, не всегда удачное у Николаевой «сопоставление» стран (достаточно вспомнить памфлет «Варшава») — для нее не самоцель: начиная с приведенной цитаты о гимназиях, сначала вскользь, а потом все более настой-

<sup>9</sup> П о л и щ у к Д. На ветру трансцендентном. — «Новый мир», 2004, № 6.

чиво, возникает религиозный регистр, и Испания становится аллегорией более высокого порядка: это земная юдоль, несовершенная и далекая от Небесной обители; путешествие по ней только убеждает: «Здесь, в Испании, можно погибнуть за милую душу!» На мой взгляд, идея путешествия как пути к Раю ярче раскрыта в цикле «Путешественник». Проигрывая — по моему впечатлению — текстам Амелина, Лиснянской и Чухонцева, «Испанские письма», однако, подтверждают «духовно-религиозный» ориентир премии.

В 2005 году «НМ» предложил другую карту высших достижений русской поэзии. Первым лауреатом стала Мария Галина за книгу «Неземля». К тому моменту Галина была известна скорее как прозаик-фантаст, ее романы несколько раз получали жанровые премии. «Неземля» стала первой книгой стихов, опубликованной после большого перерыва, и поэтому решение «НМ» оказалось неожиданным. Впоследствии «Неземля» получила и премию «Московский счет». Мне представляется, что в стихах Галиной совет премии усмотрел еще одну тенденцию, которая оказалась для «Anthologia» важной: сближение поэзии и прозы. У последующих лауреатов оно заметно в первую очередь на уровне формы, у Галиной — на уровне содержания. Уже в первых стихотворениях сборника слышны мотивы, важные не только для фантастики, но и вообще для современной русской прозы: эскейп, уход в мифологию или прошлое; слово «Неземля» говорит не только о других планетах, но и о Земле, увиденной вновь. Поэзия Галиной интересна густой детализацией — вызывающей в памяти читателя соответствия то с недавним советским прошлым, то с миром зарубежных книг («Санаторий», «Катти Сарк»). Эти стихи нарративны, активно задействуют культурные и фольклорные мифы и культурных героев («Байрон в небе над Россией», «Доктор Ватсон вернулся с афганской войны...»), что свойственно как постсоветской прозе, так и поэзии поколения «Дебюта».

Ходит Байрон по белу свету, там, затертый меж вечных льдов,  
На последнем краю планеты ожидает его Седов,  
Он сидит, обживает льдину, входит Байрон — он Джордж Гордон,  
Кто давно не верит в пингинов, но видал сирен и горгон...

Он три дня не ел, три ночи не спал,  
Но сумел переплыть Урал.

«Названия нет» Бахыта Кенжеева — в первую очередь книга настроения; лирический субъект балансирует между приятием и отталкиванием не слишком дружественного мира. Детали здесь не стремятся в смысловой центр текста, а проскальзывают по касательной — вернее, сам поэт проходит мимо них, замечая и фиксируя, но не останавливаясь. Детали перестают быть актуальными («Безвозвратно исчезли опасные бритвы и приемники на транзисторах, // даже пейджеры, еле успев войти в анекдоты о новых русских, приказали / долго жить...»), а поэт все движется к цели, гармонии, — без какой-либо восторженности, но с нарастающим пониманием и приятием сложности этого пути, где порой по всем признакам — тупик:

В подмётной тьме, за устричными створками,  
водой солоноватой дыша,  
ослышками, ночными оговорками  
худая тешится душа —

ей все равно, все, милый, одинаково.  
Что мне сказать? Что истины такой  
я не хотел? Из опустевшей раковины  
несвязный шум волны морской

шипит, шипит пластинкою виниловой,  
так зачарапанной, что слов не разберешь.  
Он нехорош, о, я бы обвинил его,  
в суд оттащил — да что с него возьмешь?

Преобладание среди частей речи глаголов говорит о поиске действия, доминирующая долгота строк — о его протяженности, часто запрятанная в глубину строки рифма подчеркивает его неочевидность. Герметичность кенже-евских стихов дает элегию нового типа. Может быть, невозможность «старой» элегии, сегодня выглядевшей бы прямолинейным вздыханием, является причиной той ревизии классической формы, которую предпринимает Кенжеев: он наполняет ее мерцающим, ускользающим смыслом, напрямую сообщающим только настроение и направленность. Это выглядит абсолютно «немодно», и поэтому награждение «Anthologia» имеет двоякое значение: с одной стороны, отмечена бесспорная и признанная фигура, с другой — очень закрытые тексты, существенно более сложные для восприятия, чем стихи двух других лауреатов 2005 года. Пожалуй, это решение — одно из самых интересных.

«Дольше календаря» Кублановского — ретроспективное авторское избранное. Уже ранние стихи Кублановского отличает немислимая в официальной советской печати прямая тоска по прошлой России и Руси, встраивающаяся в акмеистскую «тоску по мировой культуре». Идеал духовности, лежащий в основе воззрений Кублановского, несовместим с советской, а впоследствии с эмигрантской и постсоветской действительностью, и это определило нерв его стихов. Кублановский сознательно отказался от экспериментов с авангардистской поэтикой и выбрал классическую просодию — в нынешних интервью он говорит об имморализме авангарда, его связи с олигархическим режимом и т. д.<sup>10</sup> Его эмигрантская поэзия, в общем-то, не удивляет счетами, предъявляемыми чужбине: помимо прямых инвектив («Ростовщичыи кленовые грабки...»), «Не спеши отрешаться — утешимся...»), можно заметить и резко похолодевшую интонацию. Неустроенность, «не то» на новый лад, увиденное в Европе, а затем в постсоветской России, сочетается с пониманием всегдашнего «заложничества у времени в плену»<sup>11</sup>. Если, скажем, в 1981 году в стихах Кублановского появляется актуальная и отчаянная деталь: «ждать в газетах жирной траурной / над бровастым полосью», то в стихах 1990-х «киллеры» и «накачаные и крутые» оставляют впечатление поверхностных «штампов о времени» — может быть, потому, что пассаистский пафос оказывается не лучшим средством для протеста против малоприятных явлений быстро меняющегося мира. Кублановский принципиально неспешен и, по замечанию Бродского, велеречив: у его изобретательной силлаботоники есть время для того, чтобы сказать все, что необходимо, и в его текстах соблюдена мера энергии, удерживающая их от скучной помпезности. Кублановский иначе, чем Кенжеев, подходит к классическому стиху, делая его инструментом диагностики и дидактики. Но пара Кублановский — Кенжеев как раз и демонстрирует все еще не исчерпанные возможности этого стиха — что, полагаю, и было отмечено «Anthologia».

Перейдем к 2006 году. В отличие от большинства тех поэтических книг, разговор о которых в принципе не бессмыслен, книги Веры Павловой и Дмитрия Быкова стоят на полках обычных книжных магазинов — не московского «Фаланстера» или питерского «Порядка слов», а, к примеру, Дома книги в Смоленске. Да, на роль «полномочных представителей» современной поэзии эти поэты, как, впрочем, и любые другие, не годятся — однако они образуют интересную пару. И Павлова и Быков обладают устоявшейся, даже статичной поэтикой — разумеется, разной, а кое в чем и противоположной.

«Письма в соседнюю комнату» вышли в двух вариантах — обычном типографском и авторском каллиграфическом; для последнего Павлова переписала от руки 1001 свое стихотворение, что делает книгу в первую очередь артефактом, а уже потом собранием текстов: стихи Павловой не рассчитаны на сложность восприятия, в них есть что-то «мгновенно-сделанное». Особенность «печатной» версии — перекрестные ссылки, соединяющие стихотворения, написанные в разные годы. «Письма» — в сущности, еще одно «избранное»,

<sup>10</sup> «Желтое колесо: как поэт Юрий Кублановский через Париж вернулся в Переделкино». — «Российская газета», № 5035 (211), <<http://rg.ru/2009/11/11/kublanovsky.html>>.

<sup>11</sup> Недавно опубликованные в «НМ» дневниковые записи Кублановского за 2008 год местами по раздражению напоминают бунинские «Окайнные дни».



со всеми знаковыми текстами; «Ручная кладь» — собрание новых стихов, демонстрирующее непреходящее поэтической манеры Павловой. Стихи, балансирующие на грани остроумия и пошлости, иногда ее переходят (ревность «к матушке-свекровушке — / ты целовал ей грудь»; «ты возбуждаешь меня / как уголовное дело»). Дело не в предельной откровенности павловских образов и топосов, но в их устойчивости (например, соединение секса с религией). Да, это подчеркивание — сознательный прием: Павлова, исследуя «я» в любви, работает с неочевидными психологическими шаблонами. Чувство, вызываемое ее стихами, поначалу кажется сродни реакции на сборники афоризмов — но на самом деле это реакция либо на узнавание мыслей и ощущений («радость узнавания» или соответствующее отторжение), либо на провокативную парадоксальность. Павлова бросает вызов поэтической традиции возвышенной бесполости и затрагивает, переосмысляет то, что обычно кажется таинством либо лежит где-то на дне сознания: «Тихо, как на войне. / Лежу на спине, одна, / и чувствую, как во мне / умирают твои семена, / их страх, их желанье жить... / Я, кажется, не потяну / столько смертей носить, / вынашивая одну». Павлова, при манифестируемой простоте выражения чувств, оказывается не только раскрепостительницей, «сексуальной контрреволюционеркой», правдивым рассказчиком, — но и трикстером. Она осмысляет счастливую любовь, ее физиологию и философию с подчеркнуто и вызывающе гендерной позиции, что выглядит новаторством даже на фоне соответствующей, не такой уж бедной традиции. Действенность этого подхода, так или иначе учтенного более молодыми поэтами, могла повлиять на решение о присуждении «Anthologia».

Стихи Быкова из «Последнего времени» — тома избранных стихотворений, поэм и баллад — лишены легкости Павловой: они основательны и плотны. Как и Павлова, Быков в любовной лирике говорит о своем «я», но не исследует/создает его, а предлагает готовое и цельное:

— Чтобы было, как я люблю, — я тебе говорю, — надо еще пройти декабрю, а после январю. Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы и снег оскольчат и ноздреват — то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки и растлевающий дух весны душит ее полки.

Авторское «я» возникает в окружении зримых биографических черт и мотивов. При этом герой Быкова иногда произносит истинно-обобщения, граничащие с трюизмами («Жизнь выше литературы, хотя скучнее стократ», «Смерть есть плоскость. В смерти тайны нет»). Как мне кажется, заслуга Быкова, подчеркнутая «Anthologia», — разработка особого вида лирического нарратива. Это, конечно, не «новый эпос», о котором сейчас ведутся споры; Быков (как и Мария Ватугина) скорее лироэпик — за исключением только одного жанра, в котором он активно выступает и в котором разрабатывает свой излюбленный формальный прием: запись рифмованных стихотворений «в строчку». (В русском стиховедении нет согласия, стихи такие тексты или проза<sup>12</sup>; сами авторы обозначают такие произведения как стихи, и это дает право говорить об авторской воле; перед нами вариант принуждения к медленному чтению: границы ритмических отрезков не исчезают, а «прячутся» в прозаической записи, и это заставляет читателя концентрироваться на тексте.) Ставшая популярной благодаря Быкову форма нынче используется как в лирике (скажем, у Али Кудряшевой), так и для всевозможных фельетонов (назову Леонида Каганова, но лидер здесь — сам Быков). Современная «злободневная» поэзия — отдельная тема, исследование которой было бы весьма желательно и своевременно: об этом говорит популярность таких авторов, как Всеволод Емелин или Орлуша. Поэзия Быкова — явление другого уровня, и его причастность к этой теме скорее ставит вопрос о давно наметившемся и неизбежном макровзаимодействии

<sup>12</sup> Так, Михаил Гаспаров считает их — при условии четко ощутимого ритма и предсказуемой рифмовки — «мнимой прозой», а Юрий Орлицкий — прозой рифмованной, но не мнимой, а самой настоящей.

прозы и стиха. Лирика Быкова и само многозначное название «Последнее время» указывают на принципиальную обращенность автора к своей эпохе и к недавнему прошлому: и о том и о другом он говорит в стихах и романах. И Быков и Павлова могли рассматриваться «НМ» как поколенческие/мейн-стримные ориентиры, в том числе для молодых сетевых авторов; в то же время они, как показано выше, ставят и решают ряд чисто неприкладных задач.

С прозаического текста, переходящего в стихи, начинается и книга лауреата 2007 года Ирины Ермаковой «Улей». Для книги этот текст, «Кино», — ключевой, задающий восприятие большинства включенных в нее вещей. Такие стихи, как «Распушилась верба холмы белеют...», «Гляди на меня не мигая...», «Все как всегда — я вышла из подъезда...», «Весна», — кинематографичны: в них предстает смена планов, раскрывающая пространство и время на «памяти пленке»; иногда это единственный план, но не фотографический, а движущийся («Первое января»). Кино Ермаковой фантастично, мифогенно. Метафора и ассоциация здесь тревожны и своей плотностью напоминают практику метареалистов:

огненное дерево гранатомет  
за казармой треснуло в корень  
красным колесом рассыпая взвод  
ничего не помнящих зерен

Рассматривая улей — город, центральный локус книги, — поэт создает ситуативные зарисовки, где есть соседи-рыбаки Еврипид и Софокл, соответствующие не характерам двух великих драматургов, но типам скромных местных мудрецов — краснобая и скептика; здесь же, увиденная под другим углом и живущая на другой скорости, немая девочка Оля, которую пьяница-мать поит пивом на ночь — лишь бы уснула. Люди у Ермаковой или существуют в неясной стихии, или сами являются стихией, действующей на других. Это легко определить: в первом случае звучат их голоса, во втором поэт рассказывает о них сам: люди-стихии не говорят, а действуют — или исчезают. Вероятно, своеобычность этой вселенной и определила выбор «НМ». Впрочем, в 2007-м выходили и другие замечательные книги: Елены Шварц, Олега Юрьева, Алексея Цветкова, Андрея Родионова (последний, как и Ермакова, активно работает с урбанистической проблематикой и также создает зримую вселенную, хотя его эстетика гораздо жестче — она провокативна и брутальна, особенно в ранний период). При всех достоинствах книги Ермаковой решение совета «Anthologia» мне кажется продиктованным именно традиционалистской установкой «НМ».

В 2008 году премия была присуждена Сергею Гандлевскому, Михаилу Айзенбергу и Борису Херсонскому. В моих глазах из всех выборов «Нового мира» именно этот внешне и внутренне наиболее согласован. Внешне — потому что каждый был награжден за книгу избранного, «по совокупности заслуг». Внутренне — потому что эти поэты близки друг другу по духу, по позиции лирического субъекта, наблюдающего и лишенного всякого нарциссизма.

«Некоторость» сборника Сергея Гандлевского «Некоторые стихотворения» кажется даже излишне строгой: здесь 29 стихотворений — 16 избранных и 13 новых. Гандлевский публикует новые стихи нечасто, и у читателя может возникнуть ощущение, будто он пишет сразу «избранное»<sup>13</sup>. Может быть, откровеннее всех современных русских поэтов он рассуждает о «поэтической кухне» (так названа его книга эссе 1998 года): малописание связано со все накапливающимся опытом. И лирический субъект Гандлевского с годами становится все более рефлексивен, говорит о себе и своем поколении с нарастающей иронией.

Драли глотки за свободу слова —  
Будто есть чего сказать.  
Но сонета 66-го  
Не перекричать.

<sup>13</sup> Сергей Гандлевский: «Для лирика я как-то подозрительно холоден». — <<http://www.openspace.ru/literature/names/details/17433/>>.

Одновременно с этим в его стихах сохраняется стоицизм (присущий, кстати, и Айзенбергу и Херсонскому): в недавнем «А самое-самое: дом за углом...» его не меньше, чем в старом «Мы знаем приближение грозы...». Некоторым поздним текстам («Фальстафу молодости я сказал „прощай“...») свойственна «случайность», когда ситуация обрисовывается одним росчерком, притом стихи не теряют еще одной своей черты — афористичности. То, что Гандлевский вне круга ценителей русской поэзии не разобран на цитаты, можно объяснить пресловутым падением востребованности поэтического слова; но эта «неразобранность» по-своему замечательна: благодаря ей кларизм формулировок Гандлевского остается неовнешненным, нехрестоматийным.

Все же, коль скоро в «Anthologia» сложилась традиция награждать сборники избранного, случай с Гандлевским не вполне понятен. Книга «Пушкинского фонда» хороша, но в том же 2008 году вышли куда более репрезентативные «Опыты в стихах», где собраны практически все когда-либо опубликованные поэтом стихотворения. В чем причина предпочтения тонкого сборника, мне не ясно. Гандлевский — фигура, значительность которой признают едва ли не все сведущие в современной поэзии люди, и самая большая книга его стихов — событие очень важное. Безусловно, масштаб виден и по «Некоторым стихотворениям» — но на *essential Gandlevsky* сборник не вытягивает: нет, например, таких вещей, как «Это праздник. Розы в ванной...» или «Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять...». Может быть, на «НМ» повлиял именно этот рафинированный подход к составлению — но здесь мы уже говорим не о стихах; лауреатство же Гандлевского остается только приветствовать.

Михаил Айзенберг получил премию за книгу «Переход на летнее время», а также статьи о поэзии на сайте *OpenSpace.ru*. В поэтической части «Перехода на летнее время» — выбранное из пяти книг, вышедших в постсоветской России, и стихи из шести самиздатских сборников (1969 — 1986). И при чтении подряд, и при чтении по хронологии ощущается единство айзенберговской речи. Дно, на котором лежит смысл, глубоко, продвижение к нему требует отказа от языкового автоматизма; это ощущаемое всего в стихах семидесятых. В эпоху духоты полноценный диалог с миром мыслится как чудо — и подчеркнуто герметичен — в противовес неусложненной классической стихотворной форме.

За дорогой в объезд  
вперемешку засветятся  
Южный Крест (Южный Крест!)  
и Большая Медведица.

В перекрестных свечах  
семисвечники спарены.  
Что за праздничный чад  
в немигающем зареве?

Многие стихи Айзенберга написаны будто в состоянии пробуждения — они отображают поиск слов для описания яркого и только что понятого события. «Не случайность, а возможность / между признаков бескостных, / что теряет осторожность / и цепляется за воздух». К восьмидесятым лирический субъект получает большую конкретизацию. Айзенберг движется к гармоническому стилю, прошедшему через влияние как Манделштама, так и Ходасевича и отмеченному не простотой, но ясностью, достигающей полноты в стихах из сборника «Рассеянная масса», вышедшего в том же 2008 году.

Третьим лауреатом стал Борис Херсонский. В книгу «Вне ограды» вошли стихотворения из его вышедших в Одессе сборников и эссеистика, в «Площадку под застройку» — старые и новые стихи. Для Херсонского характерно мышление стихотворными циклами — в сущности, каждый цикл может считаться книгой. Их объединяют именно те тенденции, которые предпочитает «Anthologia»: как формальные («Херсонский <...> снял вымороченную и почти свифтовскую дискуссию насчет того, чем следует писать: верлибром, традиционным силлабо-тоническим стихом или немного вывих-

нутым дольником» — Л. Костюков), так и смысловые: нерв его поэзии — взаимоотношения истории и времени, культурных и религиозных традиций, еврейства и христианства. Херсонский берет на себя роль частного свидетеля/осмыслителя/диагноста своего времени: см., например, «Письма к М. Т.», верлибры-воспоминания, где каждая встреча — травма, и ее поэтическая экстраполяция — не способ от нее избавиться, а способ утвердить ее значимость для постижения истории и человеческой психологии. Герой Херсонского присутствует при столкновении множества обстоятельств и традиций: христианских и иудаистских концепций, официоза и андеграунда, личного и коллективного. Стихи Херсонского обнаруживают разломы и воронки во времени, и самые проработанные хронотопы подчеркивают принципиальность изыскания. Изобилующие бытовыми деталями описания Древнего Китая, средневековой Европы, царской России, советской Одессы часто выглядят отстраненными: монолог человека, фиксирующего самое важное в пространстве, чтобы охарактеризовать время.

В колодцах вода зацвела. Моровое поветрие у порога.  
Но это — обычные вещи. Все ведут себя, вроде  
ничего не случилось. Девушка-недотрога  
ушла с солдатом. Ноги торчат из стога  
прошлогоднего сена. Князь заботится о народе.

Но иногда голос превращается в страстное, трагическое и риторическое вопрошание («Яша», «Марик», некоторые из «Хасидских изречений»): человек не может смириться с устройством времени, и наставление Лао Цзы «Не удерживай уходящего, приходящему не препятствуй» — здесь теряет убеждающую силу.

Наконец, 2009 год.

«Краш-тест» Александра Тимофеевского — книга стилистически разнообразных поэм, создававшихся на протяжении нескольких десятилетий: некоторые составлены из объединенных одной темой самодостаточных стихотворений («Азия»), другие образуют неразрывное единство («Письма в Париж о сущности любви», 1991 — 1993, своей формой и лексикой, может быть, послужившие прообразом фельетонов Быкова). Большую часть поэм отличает биографизм и простота языка, но эти качества могут характеризовать всю поэзию Тимофеевского: вспомним эсхатологическое напряжение «Тридцать седьмого трамвая». Самые примечательные тексты здесь — те, где помимо важнейшего для Тимофеевского любовного мотива появляется мотив отношений с Богом. Для лауреатов 2009 года, как будет видно дальше, «духовный поиск» — заметная составляющая поэтики, и именно в этом контексте я бы рассматривал награждение Тимофеевского (помимо наверняка сыгравшего свою роль фактора выхода «суммарной», репрезентативной книги). Интересны «Маленькая поэма без названия», движущаяся от максималистского обвинения Бога до смирения, и «Второе пришествие», где наряду с сарказмом, говорящим об изувеченной духовности времени, встречается интонация и лексика, соответствия которой находятся не в русской поэзии, а скорее в английской, у Честертона и Хаусмена.

Прости меня, о Боже,  
Забудь про все на миг!  
О, как же я ничтожен,  
О, как же Ты велик!  
Ты был со мною рядом  
И подавал мне знак.  
Я знал всегда, что надо,  
Но делал все не так.

Такая прямолинейно-гимническая интонация присуща и книге Тимура Кибирова «Греко- и римско-кафолические песни и потешки». Кибиров, кото-

рому Хаусмен оказался близок по духу<sup>14</sup>, ориентируется еще и на западную духовную поэзию (Дороти Сэйерс, госпелы); из русской традиции вспоминаются некоторые стихи Саши Черного, детский фольклор, недавние «Спиричуэлс» Херсонского, вышедшие почти одновременно с кибиловским сборником. Лирическая доминанта книги Кибирова — дух стойкой веры и умиления, и этим «Песенки и потешки», конечно, отличаются от ранних текстов поэта — хотя, если вспомнить финал «Послания Л. С. Рубинштейну», становится ясно, что Кибиров всегда противопоставлял нищенству и автоматизму слова богатство и спасительность Слова. М. Эпштейн назвал метод Кибирова «новым сентиментализмом». Связь «Песен и потешек» с концептуалистской практикой невелика — и все же она есть (чему не придали значения восторженные рецензенты): это и пафос «Историософского центона», и имитация канцелярской речи в «Корпоративном празднике». Стихотворение «Сказка», где мышонок из «Хроник Нарнии» возвещает о победе Аслана в главных местах на карте детства — Лукоморье, Зазеркалье, Изумрудном городе, но терпит поражение в зараженной богоотрицанием Стране коротышек, — не параллель ли к текстам Пепперштейна? Использование постмодернистского приема с дидактической целью утверждения веры и истины, которым привержен автор, и ниспровержения «релятивизма» и «карнавала» можно считать художественной новацией. Но важнее здесь цельность настроения книги: радости от того, что несовершенный человек способен постичь любовь к Богу и следовать ей.

Полным контрастом книге Кибирова выглядит «Говорящий попугай» — последний составленный Львом Лосевым сборник, вышедший уже после смерти поэта. Книгу наполняют стихи мрачные и желчные, и, например, тон и лексика стихотворения «Фуко» кажутся малоприятным перебором. В своих последних стихах Лосев продолжает говорить о мире, не вызывающем особенных симпатий; равнодостоинство и родство здесь можно найти только в близком кругу, всех прочих послав к черту:

Вы что, какой там, к черту, фестиваль!  
Нас в русском языке от силы десять.  
Какое дело нам, что станет шваль  
кривлять язык и слупу куролесить.

Книга дополнена пятью самыми последними текстами, которые Лосев в нее не включил, и это приложение нужно отметить как составительский жест: два завершающих стихотворения на фоне прочих выглядят удивительно светлыми — особенно «В клинике», напоминающее пастернаковское «В больнице»: «И я дивился: о, какая легкость, / как оказалась эта весть легка!» Но «Говорящий попугай» все же не лучшая книга Лосева, и логично предположить, что присуждение ей премии — ознаменование всех заслуг покойного поэта.

Поэзия Марии Ватуиной — дань возможностям памяти. Память удерживает те детали, которые впоследствии вспоминаются всегда и формируют чело века. Речь идет об историях людей и о трагедиях истории — и Ватуина иногда просодически и синтаксически переключается с Борисом Херсонским.

Тысяча алых гвоздик засыпана в печь.  
Огонь расплавляет живое  
Не хуже, чем мертвое — книгу там или речь.  
Лепестки лопаются.  
      Наши дни. Двое  
Сидят в Савойе. Он говорит: — Война  
Сожрала пархатых, но можно было бы и побольше.  
Они снова во всех щелях. —  
      Она  
Молчит. У нее прабабка из Польши.

<sup>14</sup> См. его книгу «На полях „A Shropshire Lad”» (М., «Время», 2007), представляющую собой диалог с главным сборником Хаусмена.

Я не могу причислить Ватутину к «новым эпикам» как по причине ее неотстраненности, авторского сопереживания, так и оттого, что «чистая» лирика у нее также интересна («Памяти Сергея Лукницкого», «План побега», «Вымарывать страницы дневника...»). Но многие ее тексты написаны в постепенно набирающей вес нарративной манере. Попытка разграничить лирику и «эпику» по формальным признакам не работает, что еще раз говорит о том, как сегодня крепок этот сплав. Может быть, современность этой тенденции повлияла на решение «НМ»; вообще же весь *set* лауреатов 2009 года объединяет проблема духовно-религиозного выбора — от полного отрицания у Лосева до полного приятия у Кибирова. Это еще раз подтверждает гипотезу, что «Anthologia» в качестве одной из главных и актуальных проблем, с которыми работает современная поэзия, видит вопрос о бытии Бога и о пути к нему. В большинстве случаев поэтические утверждения и предположения на этот счет свободны от строгой, канонической догматики; для некоторых поэтов (Херсонский) плодотворным оказывается знание и сопоставление различных канонов и представлений. Если «НМ» действительно следит за развитием в поэзии этой «вершинной» темы, в будущем «Anthologia» могут быть отмечены такие авторы, как о. Сергей Круглов и о. Константин Кравцов.

Теперь о премии за лучшие критические статьи о поэзии. С учетом «совместного» награждения Айзенберга она была вручена три раза. И здесь обнаруживается интересное единство.

Евгения Вежлян публикует в «НМ» статьи и рецензии и иногда отвечает за рубрику «Книжная полка», где среди прочего дает обзоры поэтических сборников. Стоит сказать, что Вежлян критически относится к ассоциированию постакадемической традиции «с поэзией как таковой (Поэзией с большой буквы)»<sup>15</sup>, замечая, что тексты этой традиции часто лишены рефлексивности и тем самым вторичны, — речь, конечно, не идет о таких поэтах, как Айзенберг или Гандлевский. Вежлян уделяет большое внимание именно немодернистскому высказыванию<sup>16</sup> и в своих обзорах знакомит читателя с теми авторами и поэтическими практиками, которые редко попадают на страницы «НМ» или вообще на них не появляются: среди фигурантов — Федор Сваровский, Дмитрий Воденников, Валерий Нугатов, Линор Горалик.

Задача цикла эссе «Возможность высказывания» Айзенберга — рассмотрение современного этапа развития русской поэзии как единого целого. Для Айзенберга принципиально важно начать цикл с описания ситуации 1960 — 1970-х годов, когда в подцензурной поэзии возник острый интерес к почти утраченному модернизму. Айзенберг-поэт — не полистилист; Айзенберг-критика интересуют самые разные стили — и героями его эссе становятся Пригов, Кирилл Медведев, Олег Юрьев, Григорий Дашевский и другие. При этом его критика избегает четких дефиниций: он не озабочен различением поэтов по школам и направлениям, его тексты — результат читательского вникания в произведения, и для фиксации главной мысли, родившейся при чтении, необходимо прибегать к индивидуально найденным и порой неожиданным словам — что роднит эссеистику Айзенберга с его поэзией. Первое, на что обращаешь внимание, читая его статьи о поэтах, — то, что сначала обозначается чувство, а затем производится его обоснование.

Возможно, позиция Айзенберга, согласно которой 1970-е годы — эпоха, в которой лежат корни новейшей русской поэзии, совпадает с позицией «НМ»: большинство лауреатов «Anthologia» стали такими, какими стали, благодаря/вопреки времени, содержащему в себе пустоты, которые удалось заполнить большим личным трудом. Так возникли неомодернистская и концептуалистская линии, тогда — естественно оппозиционные ороговевшему официальному литпроцессу, сегодня — по-прежнему полнокровные, но старейшие, не единственные и не претендующие на единственность. В симпатии к рефлексивной и

<sup>15</sup> О таком ассоциировании она пишет в статье «Сад расходящихся метафор». — «Новый мир», 2005, № 11.

<sup>16</sup> См.: В е ж л я н Е. Портрет поколения на фоне поэзии. — «Новый мир», 2006, № 10.

притом утверждающей возможность позитивного и оригинального смысла неомодернистской лирике сходятся и Айзенберг, и «НМ»; вместе с тем Айзенберг с радостью пишет об обнаружении новой поэзии «у молодых авторов, произведения которых не боятся быть „стихами”»<sup>17</sup>, у тех, кто учел опыт концептуализма, но считал, что создавать подлинную лирику по-прежнему возможно. В статье десятилетней давности Айзенберг называет Евгению Лавут, Дмитрия Воденникова, Николая Звягинцева, Алексея Денисова, Татьяну Ридзвенко, Михаила Гронаса — впрочем, в поле зрения «Anthologia» эти авторы пока не попали и в ближайшее время вряд ли попадут.

Многочисленные статьи Данилы Давыдова демонстрируют профессиональное внимание ко всем ветвям современной поэзии. Во-первых, в них замечательно стремление вписать каждого автора в процесс, обозначить его литературные связи и вместе с тем указать на индивидуальность. Во-вторых, кругозор Давыдова чрезвычайно широк: он с равной компетентностью пишет о Маре Малановой, Викторе Полещуке, Егоре Летове, Александре Тимофеевском и Сергее Морейно. В «Воздухе» он курирует хронику поэтического книгоиздания в аннотациях и цитатах, где ему принадлежит внушительная часть мини-рецензий на свежие сборники<sup>18</sup>, — и он всегда стремится показать, чем ценно данное поэтическое высказывание. В-третьих, весьма важно внимание Давыдова к текстологической подготовке рецензируемых книг: составлению, редактированию, справочному аппарату; в этом отношении новые издания Генриха Сапгира, Леонида Аронсона, Леонида Иоффе, Юрия Смирнова обрели хорошего арбитра, отмечающего достоинства, указывающего на недостатки и формулирующего пожелания. Критике Давыдова также свойственно филологическое стремление к точной и новой терминологии, обозначающей актуальные явления и течения в литературе.

Думаю, присуждение «Anthologia» Вежлян, Айзенбергу и Давыдову — своего рода компенсация за невысокий интерес «Нового мира» к тому, что лежит в стороне от «главной ветви». Эта тенденция заслуживает одобрения, но не слишком ли с ней контрастирует основная, поэтическая часть? Понятно, что «Anthologia» отмечает тех, кого можно назвать живыми классиками, и ставит с ними в один ряд тех, кто по версии журнала такими классиками мог бы стать; тех, кто движется по магистральной дороге русской поэзии, — о ее наличии можно дискутировать, но сами решения координационного совета приняты так, чтобы большинство не сочло их спорными. И можно поставить вопрос: для чего это нужно? Что прибавляет премия «Anthologia» к образам, к биографии награждаемых «живых классиков», кроме одной строчки?

И отсутствие материального выражения, и неротируемый состав координационного совета делают премию камерной. Но при этом она, учитывая историю журнала «Новый мир», как кажется, ставит перед собой амбициозную задачу — и не вполне ясно, насколько с ней справляется. «НМ» составляет свою антологию русской поэзии из проверенного капитала. Но возможно ли на ее основе получить представление о современной русской поэзии? На мой взгляд, нет. Метафора «вершин», «высших достижений» плохо сочетается с центристской направленностью. Опасность такого подхода признает и один из членов координационного совета Владимир Губайловский. Говоря о редакционной политике «НМ», в своей «Автобиографии в произвольной форме» он не без иронии пишет: «Желание держаться литературного норматива и до известной степени его определять чревато не только приятными признаниями и солидным авторитетом, но и определенной сухостью стиля. Журнал, сознательно ориентируясь на норматив, — не имеет права на риск, на эксперимент. Почти не имеет. Нужно брать проверенные, обкатанные, не слишком провокационные тексты. Но, страхуясь от провалов, приходится срезать и вершины, особенно если они

<sup>17</sup> Айзенберг М. Н. Разговор о присутствии поэзии. — В кн.: Айзенберг М. Н. Переход на летнее время. М., «НЛО», 2008, стр. 538.

<sup>18</sup> До 2008 года Давыдов был единственным автором раздела.

растут вкривь и вкось. А ведь самые блестящие вещи как раз так и растут»<sup>19</sup>. Тон этого замечания можно отнести и к «Anthologia» — это будет огрублением, потому что внутри «традиции», как демонстрируют лауреаты премии, неизбежны новации. Но, во-первых, тех, кто на новации способен, не так уж много. Во-вторых, не ясно, какое отношение к заслугам авторов имеет журнал.

Можно поставить вопрос: репрезентативны ли другие премии? Скажем, за годы существования премии Андрея Белого ее лауреатами в поэтической номинации стали представители всех значительных русских направлений второй половины XX века, включая метареалистов, концептуалистов и авторов визуальной поэзии. Но «Андрей Белый» существует 32 года, а «Anthologia» — только 7 лет; кроме того, изначальным условием «Андрея Белого» была неподцензурность: в советское время ее не мог бы получить, например, Олег Чухонцев. Однако трудно не признать, что состав лауреатов премии Андрея Белого пока что принципиально более разнообразен, чем у «Anthologia». Другая премия, сравнения с которой напрашиваются, — «Московский счет», где вышедшие за год сборники номинируют и оценивают более двухсот поэтов, представляющих разные поколения и эстетики. Состав ее лауреатов разнороднее «антологического» круга (в частности, среди них — Елена Фанайлова и Дмитрий Кузьмин, не самые «новомирские» авторы). Но необходимо отметить, что в четырех случаях — с Амелиным, Галиной, Ермаковой и Гандлевским — «Московский счет» и «Anthologia» совпали; Херсонский, Павлова и Ватутина также были отмечены специальной премией «Московского счета». Как раз это говорит о том, что выбор «Anthologia» — не редакционный вкусовой произвол, а отображение более широкого консенсуса.

Тем не менее, если бы мне предложили назвать лучшие поэтические книги 2010 года, среди них оказалась бы книга Андрея Сен-Сенькова «Бог, страдающий астрофилией», а ее сложно представить себе рядом со сборниками и подборками, названными выше. Легче вписать в этот контекст, например, новый сборник Марии Степановой, где «НМ» мог бы заинтересоваться плодотворным совмещением лирики и эпоса, — но и это кажется маловероятным. Состав новомирских лауреатов подошел бы «капитальной» премии «Поэт» (собственно, и здесь совпадают четверо призеров).

Конечно, ситуацию можно скорректировать, введя, условно говоря, номинацию для молодых, — но «молодые» часто не так уж молоды, и такая постановка вопроса выглядела бы некорректной по отношению и к ним, и ко всем остальным (то же самое — с гипотетическими номинациями «Прорыв», «Авангард» и т. п.). Более подходящим решением было бы простое, без дополнительных институций, присуждение «Anthologia» поэту-авангардисту, активно экспериментирующему с языком и формой (увы, от нас уже ушли Пригов, Анна Альчук, Вс. Некрасов). «Новый мир» не только показал бы этим свое внимание к разным ветвям русской поэзии, но и подчеркнул их значительность — отдельно и в соотношении друг с другом. Все предприятие от этого бы выиграло.

Постсоветский премиальный процесс, как ему и полагалось, сразу стал сюжетно занимательным. Всякая премия — до известной степени стечение обстоятельств, и она скучна, если предсказуема, — вот почему не хочется давать прогнозов. «Anthologia» не задействовала еще множества приемов, делающих премию увлекательной, — повторного лауреатства, награждения почти никому не известного автора, откровенно полемичного выбора и прочих подобных вещей. Хорошо, когда за премией хочется следить. И было бы хорошо, если бы дальнейшие решения совета «Anthologia» оказывались по-разному — когда сразу, а когда по прошествии лет — очевидными — и иногда удивляли.

---

<sup>19</sup> Г у б а й л о в с к и й В. Автобиография в произвольной форме <[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/redkol/gubail/auto.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/gubail/auto.html)>.



---

---

# РЕШЕНИЯ. ОБЗОРЫ

## «МЫ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ»

Марианна Гейде. Бальзамины выжидают. М., «Русский Гулливер», 2010, 318 стр. (Окна «Русского Гулливера»)

Марианна Гейде достаточно известна и как поэт, и как прозаик; едва ли имеет смысл спорить о том, что для этого автора более важно — поэзия или проза. Хотя различные премии<sup>1</sup> затронули именно Гейде-поэта, нельзя считать это недостатком Гейде-прозаика; в последнее время в Живом Журнале даже высказываются опасения, что проза «перевесит» стихи. И связано это с появлением новой книги.

Первая книга прозы «Мертвецкий фонарь» («Новое литературное обозрение», 2007) сразу обратила на себя внимание читателей и критиков. К тому времени уже было понятно, что проза Гейде — самодостаточное явление, не подпадающее под ярлыки «проза поэта» или «проза философа». Особенности этого феномена связаны с трудностями жанрового определения. Так, Сергей Костырко охарактеризовал книгу «Мертвецкий фонарь» следующим образом: «Собрание короткой и не слишком короткой прозы, с жанровым определением которой могут возникнуть сложности, так как тексты эти мало напоминают классические образчики рассказа или повести»<sup>2</sup>.

Не меньшей проблемой стал поиск предшественников. В предисловии к книге «Мертвецкий фонарь» Андрей Левкин упоминал Жерара де Нерваля и Антонена Арто: они «уже ближе к предмету разговора»<sup>3</sup>.

Анатолий Рясов, не полемизируя с Андреем Левкиным, проводил иные параллели: «...уже первые строчки открывающего сборник рассказа невольно отсылают к той литературной ветви, которую вошло в обычай называть „прустовской“». Это не самое удачное в силу своей однозначности определение в данном контексте используется скорее как условная точка отсчета для дискурса, включающего столь разных авторов, как, например, Бруно Шульц, Натали Саррот, Ален Роб-Грийе, Жан Жене и даже Габриэль Витткоп». Обращаясь к русской литературе, Рясов указал на тему «ускользающей реальности», связывающую прозу Гейде с художественным пространством, «границы которого были определены, наверное, романами Саши Соколова, а в дальнейшем очерчены прозой Асава Эппеля и Николая Кононова»<sup>4</sup>.

Вторая книга Марианны Гейде, «Бальзамины выжидают», при всех своих отличиях от первой, скорее усложнила общую картину. Некоторые тексты действительно подходят под жанровое определение рассказа, другие ближе к эссе, третьи — «короткие рассказы», «короткая проза». Стремление к сокращению объема текста, появившееся во второй книге (зачатки подобной минимизации были уже в первой книге, в последнем разделе, «Извлечения из Интернет-дневника», — но там это было обусловлено формой «записи в блоге», подразумевающей некоторое ограничение объема, необходимое для того, чтобы читатель не тратил усилие на манипуляцию с колесиком мышки), при всех особенностях прозы Гейде вызывает ассоциации с огромным числом авторов и литературных произведений, от классиков до современников — от «Стихотворений в прозе» Тургенева до прозы того же Андрея Левкина или Александра Уланова, написавшего предисловие к книге «Бальзамины выжидают».

---

<sup>1</sup> «Дебют» (2003), Малая премия «Московский счет» за дебютную книгу (2006), молодежный «Триумф» (2006), «Стружские мосты» за лучшую первую книгу стихов международного поэтического фестиваля «Стружские вечера поэзии» (2006).

<sup>2</sup> Костырко Сергей. Книги. — «Новый мир», 2007, № 9 <[http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/2007/9/kn22.html](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/9/kn22.html)>.

<sup>3</sup> Левкин Андрей. Стратегии неприменимы. Предисловие. — В кн: Марианна Гейде. Мертвецкий фонарь. М., «НЛО», 2007, стр. 6.

<sup>4</sup> Рясов Анатолий. «Мертвецкий фонарь»: язык как возвращение к смыслу. <<http://textonly.ru/case/?issue=26&article=27436>>.

Первая книга прозы Гейде презентовалась как «соединение экстремального дневника и его самокритики» с «метафизическим бунтом»<sup>5</sup>. О второй читаем в послесловии Олега Дарка: «...это „книга эксцессов“. То есть чудес»<sup>6</sup>.

Не споря с вышеприведенными характеристиками, отметим, что вторая книга существенно отличается от первой. Не то чтобы в книге «Бальзамины выжидают» нельзя узнать стиль автора «Мертвецкого фонаря» — нет, «почерк» Гейде, конечно, узнаваем, и во второй книге сохраняется особенное внимание ко всему, что находится на границе человеческого восприятия и понимания, и к тому, что за границей, — тем иным «агрегатным состояниям»<sup>7</sup>.

Однако во второй книге происходит поворот от самоанализа и рефлексии, имевших большое значение для многих текстов «Мертвецкого фонаря», к созерцанию, описанию и объяснению. В «Мертвецком фонаре» автор был обращен «в себя», к себе, вовнутрь. В новой книге — вовне, «в мир» (реальный, видоизмененный или выдуманый).

Соответственно содержанию изменилась и форма: практически исчезает «поток сознания», текст — логически связанный (хотя логика связи далеко не всегда проста), сокращается объем — и текст как бы «кристаллизуется», приобретая четкие, хотя иногда и причудливые очертания.

Автор будто стал... более скрытным. Среди опасностей, подстерегающих Гейде, Александр Уланов отметил в том числе и «риск растворения в мире, потери своей индивидуальности»<sup>8</sup>. Даже в рассказе «Безответственная романтизация измененных состояний» Гейде, описывая изменения в сознании пьяного человека, избегает первого лица единственного числа, используя инфинитив, множественное число и второе лицо («наблюдать медленное преобразование предметов», «тот воздух, который мы видим, наполняется остаточными образами», «вы просыпаетесь от жажды или не просыпаетесь вовсе» и т. п.).

Микрокосм против макрокосма.

Автор находит в мире существующем страшное и необычное — те самые «чудеса» — и рассказывает о них, нередко преобразовывая факты по своему усмотрению. На основе чудес наличного мира конструируется новый, граница между реальным и выдуманным едва различима — да и нужно ли ее видеть? Для читателя не так важно, что тератомы<sup>9</sup> существуют, а бракованные русалки (впрочем, как и не бракованные) — нет. «Чудеса» под пристальным взглядом автора становятся органичной частью мира — так, что в какой-то момент перестаешь воспринимать их как чудеса, начинаешь искать в книге объяснение мироустройства, и тогда уже окружающая действительность отходит на второй план, представляясь декорацией. «Я уже во все поверю», — пишет в послесловии Олег Дарк<sup>10</sup>.

Помните, как в «Племяннике чародея» Клайва Льюиса его герои, дети — Дигори и Полли, попадают в другие миры через пруды в Лесу-между-мирами? Открыть книгу Гейде — это как нырнуть в такой пруд: лучше быть готовым ко всему. «Можете встать и уйти. Можете вообще не приходить. Мы вас предупреждали» — эта цитата из короткого текста под названием «В темноте» могла бы стать эпиграфом ко всей книге. Можно оказаться где угодно — от пляжей Кипра (Гейде достаточно только взглянуть на карту) до «влажной земли отверженных», где хоронят уродцев; от мифов Древней Греции («Тиресий и змеи», «Теофил и Гиппарх») до школы, в которой «мифы Древней Греции» появляются уже в виде оклеенной газетой «Скандалы» бутафорской головы Минотавра («Очень плохо, хуже некуда»).

<sup>5</sup> <<http://www.ozon.ru/context/detail/id/3391945>>.

<sup>6</sup> Д а р к О л е г. Пришельцы. Послесловие. — В кн.: М а р и а н н а Г е й д е. Бальзамины выжидают. М., «Русский Гулливер», 2010, стр. 303.

<sup>7</sup> Л е в к и н А н д р е й. Стратегии неприменимы. Предисловие. — В кн.: М а р и а н н а Г е й д е. Мертвецкий фонарь, стр. 9.

<sup>8</sup> У л а н о в А л е к с а н д р. Полюнь и ваниль. Предисловие. — В кн.: М а р и а н н а Г е й д е. Бальзамины выжидают, стр. 6.

<sup>9</sup> Т е р а т о м ы — опухоли, состоящие из нескольких органоподобных образований мышц, костей, зубов, волос (Брокгауз).

<sup>10</sup> Д а р к О л е г. Пришельцы. Послесловие. — В кн.: М а р и а н н а Г е й д е. Бальзамины выжидают, стр. 303.

Можно встретить кого угодно. Миры Гейде населены животными, насекомыми, рыбами, растениями: мышь, лошадь, макака, черепаха, хамелеон, лягушка, спрут, жужелица, скорпион, муравей, сом, карпы, бальзамины, бересклет и т. д. и т. п. «Это книга природы: растений, и рыб (вообще обитателей моря), и зверей. (И „книга детей“, конечно, тоже.) Более всего напоминает древнерусский „Физиолог“ или средневековые „Бестиарии“. <...> Как и пристало средневековой традиции описаний, реальное и фантазийное соседствуют и перемешиваются до полной неразличимости», — справедливо отмечает в послесловии Олег Дарк<sup>11</sup>.

Внимание Гейде к детям как к одному из проявлений чудесного лишено умиления, но не лишено удивления. Из всего происходящего с человеком два изменения кажутся загадочными: превращение ребенка в «то, чего на свете скучнее не выдумаешь: взрослого человека», и превращение человека в труп.

Красота увядания, ветхости, старения, смерти: «Сидит старуха как плод, выставленный на солнце, которое умягчит его, усладит его, так, что стоит пальцами раздвинуть половины плода, и мякоть сама распадется надвое» («Мышь говорит старухе»); «Можно двигать в ней пальцами, и она будет как живая. Но всё, на что она способна, это несколько примитивных движений» («Маленькая ветхая девочка бредет через пашню»); «В гробу лежит жужелица. Мы не видим ее лица. Наша печаль сладка» («Дети хоронят жужелицу»). Исчезновение богов знаменует старость мира: «После боги то ли умерли, то ли превратились в камни, то ли впали в анабиоз» («О смехе богов»).

Гейде нередко обращается к теме смерти и мира мертвых. О последнем рассказывает как о давно знакомой территории: «Наивные смертные полагают, что отыскать мертвого в царстве мертвых так же легко или, во всяком случае, так же тяжело, как живого на земле. Разумеется, не так же, но на несколько порядков сложнее» («Записки из царства мертвых»). При этом автор будто пытается успокоить, примирить читателя с неизбежностью смерти: «...умереть означает не более чем изменить агрегатное состояние» («Снег»); «Возможно, смерть — та же соль. Нет, не та. Вот эта» («Пророк»); «...втайне мы испытываем зависть к трупу» («О мертвецах»). В отношении к смерти заключается еще одно немаловажное различие между двумя книгами прозы Гейде: в «Мертвецком фонаре» страх смерти был ошутим, он появлялся в первом же рассказе («Эвтаназия»), отношение к прекращению земного существования было слишком «человеческим», личностным; в книге «Бальзамины выжидают» о смерти пишет будто и не человек, а некто из другого мира (сверхчеловек? демон?).

В предисловии к книге «Мертвецкий фонарь» Андрей Левкин наметил несколько возможных стратегий развития Гейде-прозаика, основываясь на том, что книга пребывает «на границе», в том числе, «описывать *оттуда* то, что не там, привлекая опыт, полученный там»<sup>12</sup>. Не это ли мы наблюдаем во второй книге?

Особый взгляд автора — с *иной* точки зрения, «не от мира сего» — то, что объединяет тексты, собранные в книгу.

Елена ГОРШКОВА



## ЭСХАТОЛОГИЯ ШАШЛЫЧНОЙ КОЛБАСКИ

Ю л и й Г у г о л е в. Естественный отбор. Стихи. М., «Новое литературное обозрение», 2010, 136 стр.

**Ю**лий Гуголев не относится к числу многословных поэтов: за почти четверть века активного присутствия в отечественной словесности вышло всего две его книги, еще какое-то (не очень большое) количество стихотворений разбросано

<sup>11</sup> Д а р к О л е г. Пришельцы. Послесловие. — В кн.: М а р и а н н а Г е й д е. Бальзамины выжидают, стр. 302.

<sup>12</sup> А н д р е й Л е в к и н. Стратегии неприменимы. Предисловие. — В кн.: М а р и а н н а Г е й д е. Мертвецкий фонарь, стр. 10.

по журнальным публикациям. «Естественный отбор», как видно уже по названию, — избранное и, следовательно, сосредоточено на представлении читателю некоторого максимально объемного образа поэта.

Надо сказать, что Гуголев при составлении книги руководствовался не хронологическим, а тематическим принципом, хотя с 1985 года, «отправной точки» этого тома, его поэтика претерпела весьма существенные изменения. Еще в восьмидесятые поэт был близок к московскому клубу «Поэзия», объединявшему авторов самых разных направлений в диапазоне от Игоря Иртеньева до Нины Искренко. В очень условном смысле Гуголев занимает промежуточное положение между этими двумя фигурами: с одной стороны, для него важен опыт непосредственной иронической поэзии, а с другой — ирония в его стихотворениях вступает в сложные и неоднозначные взаимоотношения с действительностью, не позволяющие считать Гуголева чисто «ироническим» поэтом. Сам поэт в недавнем «неформальном» интервью Леониду Костюкову<sup>1</sup> говорит о раннем влиянии метареалистов (Марк Шатуновский, Иван Жданов), но едва ли кто-нибудь заподозрит это влияние в стихах «Естественного отбора», хотя в ряде не вошедших в эту книгу текстов оно вполне очевидно (например, в постакмеистической «Археологии»). Пожалуй, из всех метареалистов в рассматриваемых стихах Гуголева отразился только Александр Еременко, но в качестве ориентира для раннего творчества поэта, кажется, гораздо важнее указать Тимура Кибирова и, отчасти, Михаила Сухотина.

И действительно, «центонность» — важный для Гуголева элемент творческой стратегии. В ранних стихах это видно наиболее ярко: так, иронически переосмыслится недоступная советскому читателю традиция эмигрантской поэзии, например хрестоматийные стихи Набокова:

Бывают бабы: только ляжешь,  
и сразу хочется вставить.  
Хотя бы взять цветочный запах  
неувядающих духов,  
или такая сила в лапах,  
к которой просто не готов...

Сразу виден путь, которым идет Гуголев, обращаясь к чужому тексту: исходная «возвышенная» тематика резко «понижается» на всех уровнях, стих становится нарочито неаккуратным и т. д. В принципе все это характерно и для Кибирова, а собрание стихов Гуголева знает и прямые дружеские послания этому поэту (например, «Театр юного зрителя»). Вообще к жанру дружеского послания Гуголев испытывает определенную слабость, но его послания — это часто послания именно поэтам, а не «одноименным» людям. Это видно из того, что какая-то отдельная черта поэтики адресата берется на вооружение и пропускается через уже знакомый нам механизм тотальной иронии. При этом получающиеся тексты все-таки остаются дружеским посланием или, на худой конец, посвящением. В данном томе они объединяются в раздел с говорящим названием «Жесты доверия». Вот, например, посвящение Елене Фанайловой:

Объявление для ссученных:  
про прошествии тучных,  
до конца не изученных —  
всё, что будет — неточно

<...>

Кто пахал, кто бухал,  
кто — стакан, кто — бокал,  
но одна всем улыбка шакаля,  
а кто им не чета,  
тем провоят Чита,  
как по диким степям Забайкалья...

<sup>1</sup> <[http://polit.ru/analytics/2010/09/24/videon\\_gugolev.html](http://polit.ru/analytics/2010/09/24/videon_gugolev.html)>.

Здесь находит себе место жестокость «социальных» стихов Фанайловой: так, внимательный читатель заметит, что последние строки гуголевского текста напрямую обращаются к «военным» стихам Фанайловой («...Они опять за свой Афганистан...»):

...Они опять за свой Афганистан  
И в Грозном розы чёрные с кулак  
На площади, когда они в каре  
Построились, чтоб сделаться пюре...  
<...>  
...Теперь они бухают у реки  
И вспоминают старые деньки.  
И как бы тянет странный холодок  
Физическим телам их вопреки...

Эти стихи Фанайловой, несмотря на болезненность темы и важность поставленных вопросов, пропитаны некоторой языковой иронией, возникающей за счет плохой стилистической совместимости отдельных слов (*каре* и *пюре* и т. д.). Это достаточно важный момент — оживление остросоциальной проблематики в стихах рубежа девяностых — двухтысячных изначально происходило через ироническое отстранение от описываемых событий (хотя, например, «Стихи о первой чеченской кампании» Михаила Сухотина выступают здесь знаменательным исключением). Подобный механизм работы с социальным очень часто применяется и Гуголевым, что характерно также и в «военных» стихах, среди которых уже ставшая знаменитой баллада:

Целый год солдат не видал родни.  
Целый год письма не писал из Чечни.  
Почему? Недолюбливал писем.  
А придя домой, он приветствовал мать.  
Поприветствовав мать, принялся выпивать.  
Алкогольно он был зависим.

На первый взгляд тут присутствуют те же элементы иронического понижения: неуклюжий «псевдоканцелярит», декорации, проходящие, также на первый взгляд, по ведомству «чернухи». Сама форма — дольник на основе анапеста с рифмовкой *aab vvb* — прочно ассоциируется с балладой (по крайней мере, в том виде, в каком она выступает у Гумилева или Тихонова) и, казалось бы, должна демонстрировать свою негодность в описании реалий русской провинциальной жизни. Гуголев, однако, довольно точно следует представлению о балладе как о тексте, повествующем о чем-то мистически-ужасном и трагическом. Поэтому и встреча героя баллады с друзьями, сопровождаемая традиционными возлияниями, приобретает характер поистине макабрический: «А и пил солдат десять дней подряд / <...> а потом обнаружил вдруг как-то, / что за эти дни выпили они <...> / всё, что нажил он по контракту». Ну и по части подлинно трагического проходят строки «Друг-приятель твой, закадычный друг / нынче ровно год, как лишился рук. <...> И не зная, как ему дальше жить / <...> раз пошел тудой, где река течет, / лед разбил ногой и ушел под лед...», после которых по сюжету баллады солдат вновь возвращается в Чечню. Из концовки баллады при этом очевидно, что его там ждет:

А вот где и когда, если честно,  
суждено ему завершить войну,  
знает только тот, кто идет по дну.  
Ну а нам про то неизвестно.

То есть встреча двух друзей должна состояться уже в мире загробном. Вообще холодная ирония примерно такого типа, а также ощущение некоего мистического холодка характерны для всего цикла «Впечатления из другой области», куда вошла и разобранный баллада. В стихах этого цикла русская провинция

представляется вместилищем хтонических сил, где и природа и люди служат какой-то одной неясной цели и одинаково смертоносны для чужака. Недаром именно в этом цикле всплывает перифраза из «Лесного царя»:

Полноте, батюшка, что ж мы всё кружим по лесу:  
то поглядеть муравейники, то к водоему.  
<...>  
Ветер в листе? Ну, а то я не слыхивал ветра!  
Вётлы седые? Да что ты, какие там вётлы!  
<...>  
машут приветливо, но не в наряде зеленом,  
слишком приветливо машут, — с каким-то замахом.

Здесь поэт не даст нам ответа, чем кончилась эта зловещая прогулка, да и едва ли это необходимо, учитывая, что все помнят подтекст. Оказывается, что даже в дружелюбных на первый взгляд своих проявлениях провинциальная стихия чревата жестокостью и убийством. Это своего рода русская «виоленсия» — квинт-эссенция насилия, питающая магический реализм во всех его многочисленных национальных вариантах. Конечно, Гуголев — не первооткрыватель темы «хтонической провинции»: эта линия, пожалуй, восходит к модернизму, и «Серебряный голубь» Андрея Белого — одна из ярких точек на этом пути; другая — «Шатуны» Юрия Мамлеева. В поэзии такой подход к теме утвердился относительно недавно — прежде всего в балладах и поэмах Марии Степановой (особенно в «Прозе Ивана Сидорова»).

Вообще, Степанова и Гуголев как поэты имеют достаточно много точек пересечения: оба деформируют синтаксис, играют на неоправдавшихся ожиданиях читателя в условиях, когда он уже готов принять один вариант развития событий или позицию лирического героя, но внезапно ему предлагают нечто совсем иное. Разница, однако, существенна: Степанова почти никогда не пользуется явной иронией, а у Гуголева именно такая ирония остается одной из основных «лирических масок» героя.

Среди тех, кому оказаны «жесты доверия», — также и покойный Андрей Туркин (1962 — 1997), поэт практически забытый, в посмертном собрании которого «Точка сингулярности» обнаруживается несколько стихотворений, написанных в соавторстве с Гуголевым. Туркин как раз был поэтом холодной иронии; по словам Михаила Айзенберга, «ответственные и важные слова [Туркина] отыгрывала стирающая всякую серьезность гримаса: губа выпячена, брови кривым домиком, только взгляд внимательный, освещенный — охотничий»<sup>2</sup>. Это блестящее описание поэтики Туркина на языке физиогномики, но, что важно для нас, действительно оно и для Гуголева. Например, в «Диалоге с шашлычной колбаской» эта самая колбаска говорит вещи более чем возвышенные:

...А чтобы  
дождавшийся Судного дня  
Спаситель из брэнной утробы  
в жизнь вечную взял и меня...

В то же время текст, посвященный Туркину, описывает опыт наркотического галлюцинирования непосредственно по туркинским шаблонам, у которого объекты мира предстают как бы игрушечными, что подчеркивается и на уровне строения стиха, — почти всегда мы имеем дело с короткими строками ямба или хорей, вытесненными в поэтической практике из «высокой» поэзии в поэзию детскую или, шире, наивную<sup>3</sup>. К тому же трагические сцены у Туркина словно бы лишаются

<sup>2</sup> Айзенберг М. Имя жанра. — В кн.: Туркин А. Точка сингулярности. М., ОГИ, 2002, стр. 6.

<sup>3</sup> См. недавнюю полемику относительно стихотворения Виталия Пуханова в № 96 «Нового литературного обозрения». Столкновение «инфантильной» метрики и «высокой» семантики многим показалось недопустимым, что в каком-то смысле можно считать показателем изменившегося времени: для девяностых годов, даже на примере Гуголева или Туркина, «инфантилизация» такого типа — совершенно нормальная стратегия.

подлинно трагического при полном сохранении фатальности ситуации. От трагического остается как бы «контур», но ни к какому аристотелевскому «очищению» он, естественно, не приводит:

Мы придем с тобой с работы,  
мы уколемся и ляжем —  
превратимся в самолётник,  
но — с горящим фюзеляжем.

Тут можно вспомнить и другое стихотворение Гуголева, не вошедшее, правда, в «Естественный отбор», но посвященное той же теме:

В кишках урчит от всероссийских вин.  
Дрожат колени в ожидании прихода.  
Все те, кому я продаю морфин,  
не доживут до будущего года...

Вообще, несмотря на отдельные неточности, наш поэт одним из первых открывал эту до сих пор отчасти запретную тему, что вызывало некоторое, мягко говоря, недопонимание со стороны коллег по цеху. Так, в затеянной на страницах «Митинога журнала» дискуссии Бахыт Кенжеев писал об этом стихотворении, что «социопсихологические исследования лучше не рифмовать»<sup>4</sup>, а М. Задорнов и вообще заявил, что «этот стих может спокойно соперничать даже с таким шедевром махрового черносотенного антисемитизма, как стихотворение С. Куняева „Разговор с покинувшим родину“». Имелись в виду, очевидно, строки «чтоб не могли забыть жидомасоны / тысячелетие крещения Руси», которые, вложенные в уста лирическому герою-наркоторговцу, естественным образом должны были бы восприниматься в ироническом контексте.

Можно было бы считать это курьезным приветом из «лихих девяностых», если бы Гуголев в дальнейшем своем творчестве не развил все те черты, которые вызывали столь неоднозначную реакцию. Лирический субъект все заметней стал приближаться к альтер-эго автора — в поздних стихах поэт избегает предлагать читателю такие «сконструированные» личины, далекие от его собственной жизненной практики, но сам «социопсихологический» материал при этом приобрел чуть ли не бóльшую остроту. Так, совсем недавнее стихотворение «Рассказывает гёрлфренд моего бестфренда...» представляет собой тонкую социальную зарисовку, своего рода бытовой анекдот, лишенный даже намека на дидактику. Зарисовка проста: описывается девочка-подросток из, на первый взгляд, глубоко религиозной семьи, но в процессе развертывания повествования оказывается, что, во-первых, ее мать «начальником УВД являлась в прежней жизни», а во-вторых:

Не меньше были мы удивлены  
при виде лучшей дочкиной подруги —  
надеялись понять, как могут эти суки  
такие звуки извлекать из-за стены.

Они неслись так внятно!  
И стало нам понятно,  
что за стеной — однополая связь.

Действительно, отсутствие здесь дидактичности, равно как и отсутствие игры на контрасте между «низкой» реальностью и «высокими» сферами, может поставить в тупик и поднять вопрос о необходимости таких зарисовок. Однако сама их воспроизводимость в творчестве поэта, конечно, не может быть случайной. Можно предположить, что эти зарисовки, сосредоточенные прежде всего на традиционно «низких» сферах, дотошно описывающие вещи подчеркнута «непоэтичные», все-таки подчинены некоторой глобальной цели. Цель эту можно видеть в утверждении «плотской» реальности, напоминании о ее материальных основаниях, среди которых, конечно,

<sup>4</sup> Переписка по поводу одного стихотворения. — «Митин журнал», 1990, № 33 <<http://kolonna.mitin.com/archive/mj33/post.shtml>>.

еда и секс — мягко говоря, элементы не последней важности. Говоря языком вульгарного марксизма, «плотское» оказывается «базисом», а вовсе не «надстройкой».

Тема еды вообще очень знаменательна для многих стихотворений Гуголева. Именно через процессы приготовления и употребления еды описываются семейные отношения лирического субъекта в стихотворении «Да-а, а вот Генцы мясо едят...», представляющем в таком своеобразном разрезе конфликт поколений:

...бабушкина кулинария,  
чем несъедобнее, тем легендарнее...

<...>

То, что на бабушку стал я орать,  
в Страшном Суде мне припомнят отдельно.  
Даже смягчившись, небесная рать  
будет всю вечность смотреть с укоризной...

Но этим конфликтом все не исчерпывается, так как текст можно воспринимать и как гуголевскую версию «Происхождения» Багрицкого, т. е. как некоторую «антигенеалогию», отрицающую те родственные связи, что прочно увязаны с некой национальной, религиозной или культурной традицией. Действительно, все «бабушкино» ассоциировано в этом тексте с ортодоксальным еврейским укладом или, по крайней мере, с остаточными его формами — «дух ее прочен, как могеновид». В то же время лирический герой декларирует: «Бабушке я объяснил всё самой, / в форме доступной, но чуточку резкой, / мол, обойдемся без кухни еврейской...» При этом приводимый тут же исчерпывающий реестр кулинарных ухищрений «кухни еврейской», видимо, должен восприниматься как метонимическое изображение прочности традиции и в то же время замкнутости ее на себе самой. Собственно, сами устои, может, и забылись, но их тень, за счет быта гораздо прочнее закрепившаяся в повседневной практике, сохранилась, а следовательно, сохранилась и сама «антропологическая структура», т. е. те нормы поведения и бытия, которые непримлемы для героя гуголевского стихотворения.

Этот раскол осуществляется не только на бытовой, но и на религиозной почве. Кажется, уместно привести здесь следующее высказывание Г. С. Померанца, радикально обобщившего эту ситуацию: «Образованные евреи сплошь стали атеистами, а когда их захватывала встречная волна возвращения к вере — попадали в орбиту христианства»<sup>5</sup>. Надо сказать, что в явном виде это «попадание в орбиту» зафиксировано в достаточно пространным стихотворении «Исповедь»:

Подозвал. Пошел я, спотыкаясь  
и, одновременно, семена  
на манер испуганной левретки,  
но решил, при всем честном народе я  
всё скажу, и слышат пусть меня  
слишком близко вставшие соседки:

«Mea culpa! Извиняюсь, — каюсь!  
Мой любимый грех — чревоугодие,  
без него мне не прожить и дня,  
от него я нынче отрекаюсь!..»

Другое дело, что сам институт церкви представлен в этих строках скорее как репрессивный, хотя бы потому, что «одного из сказочных старшин / мне напоминал святой отец, — / тех, кто хоть и мог на арамейском, / но предпочитал всё ж на армейском / строить...». Возникающий здесь «грех чревоугодия» — естественно, отсылка ко все той же теме еды, через работу с которой Гуголев решает внутри своих текстов вопросы самой разной этической (а порой и эстетической) важности. Естественно, экстагическая взвинченность самого тона этой «исповеди» (она продолжается еще несколько катренов) и ее резкое завершение на словах «Я чуть не залаял под конец. / Сам себя я как-то стал накачивать / и уже не мог остановить-

<sup>5</sup> Померанц Г. С. Сны земли. М., «РОССПЭН», 2004, стр. 288.



ся...» заставляют воспринимать этот отказ от поэтики чревоугодия как виртуальный, отмененный самой «чрезмерностью» исповедальной ситуации.

С другой стороны, поэт с характерной чуткостью открыт библейской эсхатологии, замечая ее в самых будничных вещах. Конечно, это своеобразное отталкивание от будничности укладывается в ту же схему описания мира через «низкое», характерную для Гуголева в его «бытовых зарисовках», но здесь оно получает долгожданное разрешение в обращении к «последним вещам». Причем переход от «низкого» к «высокому» может осуществиться даже в рамках паронимии:

— Мне пора, дорогие друзья.  
 — Да мы все шас пойдем! А чаю?  
 Мне не думать об этом нельзя,  
 я с трудом за себя отвечаю:  
 чаю? — я! воскресения мертвых? —  
 тоже я!..

За счет паронимии в этом тексте заострены те особенности поэтики Гуголева, к которым в рассуждениях выше нам приходилось подбираться окольными путями, — в частности, контрастное сталкивание «высокого» и «низкого».

Вообще, интересно, что раздел «Метаморфоз», куда вошли все эти условно-«религиозные» тексты, начинается как раз текстами более «приземленными» — например «Мне Оля не дает еды». Далее следует длинный цикл «Ногти Ходжи Даниёра», в котором поэт описывает туристическое паломничество к могиле мусульманского святого, лишенное, однако, каких бы то ни было «откровений веры», но сосредоточенное исключительно на фактографии, порой подходящей вплотную к фактографии туристического путеводителя. Лирический субъект этого цикла, с одной стороны, сталкивается с чудом: в гробнице святого «то ли рука, то ли фаланга мизинца, / на которой продолжают ногти расти»; с другой же стороны, этот факт оставляет его равнодушным, интересуется лишь в анекдотическом преломлении — кажется, субъект не имеет «ключа» к исламской архаике, не может угадать в них божественную искру. Далее в цикле следует уже упомянутый «Диалог с шашлычной колбаской», где, пусть в убийственно иронической манере, намечается сама возможность разговора о «высоком» в любых обстоятельствах, а после него — рассмотренные нами тексты, где эта возможность реализуется.

Еще один, смежный, тематический пласт — стихи о детстве (или даже — о взрослении), собранные среди прочего в первом разделе с говорящим названием «Условия среды». В значительной степени эти стихи — подчеркнуто типические. Читателю, которому близки, условно говоря, московские декорации шестидесятых — семидесятых, легко ассоциировать себя с их лирическим субъектом. В то же время здесь Гуголев дает волю своему безудержному бытописательству, как, например, в стихотворении «Папа учил меня разным вещам...», где все эти «вещи» исчерпывающе перечисляются в характерной для поэта «реестровой» манере. Эти стихи почти не содержат характерной мрачной иронии, не подчеркивают неприглядные стороны действительности — детство предстает у Гуголева неким идиллическим пространством, своеобразным парадизом. В этом смысле интересно, что переходный возраст как время разрушения этой идилличности совсем не зафиксирован в стихах поэта (в то время как для неоднократно упомянутого Кибирова именно переходный возраст явился во многом отправной точкой для углубления лирического начала в поздних стихах — вспомним хотя бы хрестоматийный «Солнцедар»).

Во «взрослых» же стихах Гуголева, напротив, часто присутствует ощущение постепенного угасания. Например, в стихотворении «И не скажешь, а скажешь... — бухтит Александра Михална...», рисуя комический по существу диалог героя с лифтершей, завершается в минорной тональности:

Всё бухтит и бухтит. Пелена ей глаза застилает.  
 Пелена застилает глаза, и она засыпает.  
 А собаки уже вспоминают кого-то, — всё воют да лают.  
 А погоды стоят, и ветра их песком засыпают.

Естественно, само переключение из комического регистра в трагический (или трагикомический) характерно вовсе не только для Гуголева. Но здесь интересна связь «взрослого» мира с угасанием, полностью отсутствующая в стихах о детстве. С другой стороны, движение времени оказывается циклическим: умирание само оказывается связано с детством — и действительно, едва ли парадиз возможен на земле. Так и смерть обращается к человеку с подчеркнуто отеческой нежностью:

В тихий солнечный денёк  
мне легко шепнет в висок  
чуть знакомый голосок,  
голос леденящий:

— Во как припекло, сынок...  
Вон как, бедненький, весь взмок...  
Всё, дружок, пора в тенёк...

И в тенёк потащит.

В какой-то мере для нашего разбора показательно, что Гуголев в беседе с Леонидом Костюковым просил, «чтобы вопросы — ну, и связанные с ними ответы были как можно конкретнее». Мы же пошли в ином направлении, пытаюсь выявить несколько сюжетов, присутствующих в стихотворениях поэта часто в виде полунамека или даже фигуры умолчания. Все это не склоняет к конкретике. В то же время тексты Гуголева крайне трудны для такого анализа: на первый взгляд в них как бы нет недомолвок, часто кажется, что они исчерпываются бытовой зарисовкой; но, с другой стороны, иногда за этой зарисовкой открывается некий новый горизонт, который легко можно было бы потерять из виду, говоря о Гуголеве как о чисто ироническом поэте.

Кирилл КОРЧАГИН



## АТОМНАЯ ВОЛЯ ИНСПЕКТОРА ТВОРЕНИЯ

Герман Кайзерлинг. Путевой дневник философа. Перевод с немецкого  
И. Стребловой и Г. Снежинской. СПб., «Владимир Даль», 2010, 802 стр.

**С**итуацию, при которой книги кумира почти вековой давности, забытого, кстати, широкой публикой уже под конец своей жизни, вернулись бы в интеллектуальное сообщество на правах актуальной литературы, представить себе так же сложно, как если бы современные фрейдисты начали бы дружно штудировать «Пол и характер» Отто Вейнингера. Между тем «Путевой дневник» философа Кайзерлинга с его рассуждениями о *Ex oriente lux*, соотношении Востока и Запада, не говоря о травелогических описаниях различных экзотических земель и критике Америки (актуальность не утрачена и тут, что уж говорить), действительно достоин сдувания пыли. Дело только за малым и самым трудным — чтобы эту книгу заметили. Впрочем, та гармония мироздания, которую Кайзерлинг ищет в себе и странах, посещенных им в кругосветном путешествии, и которую он противопоставляет внешней истории мира, предполагает в том числе и силы для борьбы с забвением, и подходящее время для всего, как писал еще Уитмен: «Вселенная в нужном порядке, все на своем месте, / То, что пришло, на своем месте, и то, что ждет, придет на свое...»<sup>1</sup>.

Очень интересна уже родословная Германа Кайзерлинга — прусский графский и баронский род имеет не только богатейшую историю различных выдающихся

<sup>1</sup> У и т м е н У о л т. Спящие. — В кн.: У и т м е н У. Листья травы. М., «Эксмо», 2005, стр. 164.

личностей<sup>2</sup>, но и неожиданные пересечения с Россией, благо «базировался» в Курляндии. Так, среди великих предков писателя (полковнику Дитриху Кайзерлингу как своему близкому другу посвящал стихи Фридрих Великий) были: Георг-Иоанн, прусский посланник при дворе Петра Великого; Герман Карл, второй президент Российской академии наук, общавшийся с Ломоносовым и покровительствовавший Баху; дядя философа Эдуард, писатель-модернист из круга Стефана Георге, и Александр Андреевич Кайзерлинг (1815 — 1891), русский геолог и палеонтолог. Влияние рода Кайзерлингов вообще не растворилось в веках и дворянских родовых — сын Германа Кайзерлинга и праправнук Бисмарка, Арнольд (1922 — 2005) стал заметным философом и теологом. Получив образование в институте своего отца «Школа мудрости» (о ней чуть далее), он дружил с Гурджиевым и Махариши, даже изобрел музыку, которая с помощью математических формул воспроизводила вибрации чакр. Впоследствии преподавал в Вене, стал профессором философии религии, читал лекции — на нескольких европейских языках — по всей Европе. Автор около полусотни книг, он писал о соотношении науки и мифа, языке и человеке, звуке и цвете, подобно Даниилу Андрееву или Николаю Федорову попытался создать единую философию мироздания, которая была направлена на возрождение и объединение великих традиций Запада и Востока, объединение религий и науки и, в идеале, призвана была установить новые связи между индивидуумом и Вселенной<sup>3</sup>.

Герман Александр Кайзерлинг родился в 1880 году в нынешней Латвии. Второй брак матери пережил плохо — опубликовал позже эссе «О браке», где выступал прежде всего за духовный союз. Подобно Тейяру де Шардену, Кайзерлинг сочетал изучение естественных наук — посещал курсы по геологии (наиболее увлекала его), химии и зоологии в университетах Женевы, Тарту и Вены — и художественную (назвать ее эзотерической, теософской или мистической — значит вызвать нежелательные коннотации) публицистику. Студентом чуть не погиб на дуэли, начал общаться с кружком вагнерианцев, серьезно увлекся Индией. От научной деятельности постепенно мигрировал в сторону литературы. Революция в России лишила его прибалтийских владений, что интересно сказалось на его судьбе. Во-первых, Кайзерлинг осел в Европе, где, кстати, абсолютно европейский облик и российский паспорт работали в салонах на его образ загадочного аристократа-философа, во-вторых, при написании книг важным стал и вопрос популярности, сиречь гонораров. Мировую войну он не одобрил, уже тогда мечтая о построении общества будущего на неких более универсальных, чем существующие национальные, основаниях: в его сочинениях мелькают тейяровско-федоровские же установки на «реальность космического человечества как предпосылку духовной личности» и на «сверхиндивидуальное [которое] предшествует индивидуальному, и в этом заключается корень всякой этики»<sup>4</sup>. Его первые, еще в некотором смысле вторичные работы «Строение мира» и «Прологомены к натурфилософии» были замечены, создали ему имя в определенных кругах, но прозвучали недостаточно громко. Некоторый кризис идей и желание духовного роста толкают его в поездку: «То, что вытолкнуло меня в широкий мир, было то же, что многих влечет в монастырь: томление по самоосуществлению» (впрочем, были и планы через Японию попасть в корейский монастырь — подвело, что нужные люди не ответили на письма-запросы). В 1911 — 1912 годах он отправляется в кругосветное путешествие, которому и суждено было

---

<sup>2</sup> Нынешний потомок рода Кайзерлингов даже ведет в Интернете фамильный сайт, на котором содержится информация о 4000 (!) потомков этого рода. См.: <<http://keyserlingk.info>>. Сам Кайзерлинг, интересовавшийся историей своего рода, возводил его по женской линии до Чингисхана и первых Юриковичей.

<sup>3</sup> Компендиум идей Арнольда Кайзерлинга см. на сайте *Laws of Coherence*: <<http://www.lawsofwisdom.com/chapter5.html>>. Наличие в Сети многих сайтов, посвященных учениям отца и сына Кайзерлингов, говорит, мне кажется, об их неослабевающим влиянии и в наши дни. Некоторые из поклонников Кайзерлинга-отца настолько экзальтированы, что полагают, что его мозг продолжает жить, «рожденный заново в киберпространстве. Да! Мозг графа продолжает жить в Глобальном Мозге, части Ноосферы» <<http://www.schoolofwisdom.com/count.html>>.

<sup>4</sup> Кроме того, Кайзерлинг много писал об объединении Европы, хоть среди предвестников Евросоюза и не числится (может быть, и к лучшему).

прославить его: вышедшая в 1919 году книга стала «мгновенным бестселлером», по интеллектуальной значимости равным «Закату Европы» Шпенглера. И тут интересен не только список экзотических стран, которые он посетил, но и то, что он действительно был вхож в интеллектуально-религиозные круги этих стран, был заочно знаком с элитой, — после этого уже веришь, что мир тогда не был так расколот<sup>5</sup> и рассказы Эволы об общении с тибетскими ламами и прочими «тайными властителями мира» не полностью выдуманы...

В 1920 году Кайзерлинг на деньги друзей-меценатов основал в Дармштадте «Школу мудрости» — свободное учебное заведение, ставившее себе целью создать нового духовного человека, и одновременно мозговой центр, как сказали бы сейчас, который проводил конференции и издавал журнал. Среди коллабораторов «Школы» — Бердяев<sup>6</sup>, Юнг, Тагор, Гессе (кроме них, Кайзерлинг общался и сотрудничал с Бергсоном, Жидом, Ортегой-и-Гасетом, Зиммелем, Т. Манном, Унамуно)... Со временем влияние «Школы», не в последнюю очередь по финансовым соображениям, пошло на спад, а сам Кайзерлинг умер почти что в неизвестности. Впрочем, его мозг был сохранен для изучения в Берне — его захоронили с останками философа только в 1996 году, в 50-летнюю годовщину со дня его смерти, по просьбе семьи: на торжественной церемонии присутствовали родственники, ученики и некоторые влиятельные люди во главе с президентом Австрии. В нашей стране идеи Кайзерлинга обсуждали А. Белый, Н. Конрад и М. Бахтин, а Тынянов писал: «Другой немецкий мыслитель (до этого Тынянов пишет о Шпенглере. — А. Ч.), гр. Герман Кайзерлинг, тоже почувствовал бродячее, неосознанное протеевское начало в себе, ужаснулся ему и тоже был вынесен за круг культуры, но не во времени, а в пространстве. В своем „Путевом дневнике философа“ (1919) Кайзерлинг описывает не столько путешествие по разным странам, сколько путешествие за самим собою с целью — поймать наконец это живое, ускользающее, страшное теперь европейское „я“. В Китае, в Японии он нашел новое биеение этого своего „я“ и теперь в своей „Школе мудрости“ в Дармштадте — проповедует обновление европейской культуры через приятие азиатской, все это сдобривая примитивной моралью. Переливание новой, свежей крови, которое должно помочь больному человеку»<sup>7</sup>. Затем по понятным причинам наступило молчание, а на русском Кайзерлинг выходил лишь однажды — «Америка. Заря Нового мира» была выпущена в 2002 году<sup>8</sup>.

Уже из мотивов (уйти в мир как другие в монастырь<sup>9</sup>) понятно, что перед нами скорее антиправелог, — заметок в духе «был там, видел то-то» в «Путевом дневнике философа» меньше всего, а философские размышления очень часто застилают пейзаж. Так за разговором с умным попутчиком — раз, и несколько городов за ж/д окном проедешь, не заметив. Сам же Кайзерлинг видел свою книгу как роман («предложенный дневник прошу читать как роман. Даже если он состоит по большей части из элементов, вызванных внешними побуждениями кругосветного путешествия, содержит избыток объективного изложения и абстрактных рассуждений,

<sup>5</sup> Тут вспоминается термин «глокализация», то есть возвращение к неким замкнутым анклавам, сопровождающее общий процесс глобализации.

<sup>6</sup> Кайзерлинг был традиционно открыт по отношению к России — в «Школу» пытались привлечь Шестова, Таирова, Ремизова.

<sup>7</sup> Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука», 1977, стр. 126.

<sup>8</sup> О книге см.: Гранцева Н. Иоанн Креститель Америки. — «Нева», 2003, № 3. К сожалению, приходится признать, что издание книги могло быть мотивировано отчасти и ее резким полемическим посылом — уравнением Третьего рейха и большевистской России... Из-за этого сочинения, кстати, писатель стал нежелательным гостем в Штатах.

<sup>9</sup> Ср. с высказыванием критика, назвавшим «Познание Востока» Поля Клоделя «размышлением затворнической души, чей монастырь вмести в себя целую Вселенную». Фризо Габриль. Дружба Поля Клоделя. — «Интеллектуальная жизнь», 1935, 10 июля: — Цит. по: Клодель П. Познание Востока. Перевод с французского А. Курт, А. Райской. М., «Эннеагон Пресс», 2010, стр. 17. Клоделя роднит с Кайзерлингом не только ориентализм (Клодель поменял Париж на Китай), но и сам взгляд: вместо описания китайской архитектуры Клодель заметит, что та «уничтожает стены», про одинокую сосну во дворе заметит, что «китайцы сдирают кожу с пейзажа», а в Китае отметит, что тот «всюду являет образ формообразующей пустоты».

которые вообще-то могут существовать и сами по себе»), но это скорее первоначальная интенция, превзойденная результатом.

Метод Кайзерлинга, как и его интеллектуально-религиозные симпатии, поделен между Западом и Востоком (вернее, он объединяет их). Это европейская дедукция, вычленение смысла: «Но поскольку наше время не совсем и не до конца подготовлено к такому возвышению (*Erhebung*), поскольку пока еще не самое время (*an der Zeit*), поскольку момент по меньшей мере не равен сам себе, нужно по-прежнему его подготавливать и заставлять его соединиться с самим собой посредством дидактики <...> привести наличное бытие к понятию, временным и историческим присутствием (*Dasein*) которого оно является, или же — в круговом движении — ввести понятие в его наличное бытие»<sup>10</sup>. Смыслополагание же у подобной интенции — буддийское по своей сути (та же «Школа мудрости» Кайзерлинга наследовала, по его представлениям, древним буддийским школам): «Ты увидишь дхармакаю твоего собственного ума; и увидев ее, ты увидишь Все — Бесконечное Видение, Круг Смерти и Рождения и Состояние Свободы»<sup>11</sup>.

И соответственно, действует пилигрим Кайзерлинг как настоящий буддист — отвергая свою индивидуальность и мир: «Европа больше ничего не дает моему развитию. Слишком хорошо знаком мне уже этот мир, чтобы пробудить в моей душе новые формы. <...> Я хочу попасть в такие широты, где я смогу прожить, только совершенно изменив свою жизнь, где для понимания необходимо радикальное обновление всех понятий, где я вынужден буду забыть как можно больше из того, что я знал и чем был прежде», — пишет он в самом начале книги. «Главное для поэта — бескорыстный отказ от своего Я», — провозглашает он вслед за Китсом и отправляется в путешествие не за впечатлениями, но — за свободой от впечатлений: «...с юных лет я, подобно полипу, который сбрасывает с себя готовых медуз, непрестанно порывал с собою вчерашним. Однако я не чувствую в себе еще такой внутренней свободы, чтобы совсем не зависеть от внешних обстоятельств. Мое сознание то и дело впадает в психическую зависимость, и чтобы освободиться от нее, требуется рывок...» Впечатления, виды и пейзажи только мешают, как сказано у Эдуарда фон Гартмана: «Посмотрим теперь, как атомная воля относится к пространству. <...> пространство может иметь двойное существование — реальное в телах или ограниченных пустотах и идеальное в представлении тел и ограниченных пустот. Если *идеальное* пространство находится в *представлении*, то само представление не может быть в идеальном пространстве, которое им же и создается»<sup>12</sup>. Нет, впечатления, конечно, есть, но и они под стать: негры и арабы «так же прекрасны, как животные; у них та же телесная выразительность. И это оттого, что все они типизированы. Красота никогда не бывает выражением индивидуального начала...»

Оптика Кайзерлинга выстраивает совершенно особые отношения с внешним миром. «Однажды после глазной операции я некоторое время побыл слепым и должен сказать, что этот период относится к числу самых богатых в моей жизни; он был настолько богатым, что, вновь обретя зрение, я почувствовал себя обедненным», — пишет он, отмечая еще и особое умиротворение, наблюдаемое у тяжело больных или умирающих людей. Это отнюдь не солипсизм, а лишь стремление уберечь внутреннее богатство от инфляции внешнего. Этим и объясняются внешние как бы противоречия, возникающие по ходу его путешествия духа: будучи в Индии, рассуждает о святых и Спасителе и ассоциирует Ганг с Троице-Сергиевой лаврой<sup>13</sup>, то искренне восхищается буддизмом, то вдруг припечатывает его «уродливым, вредным наростом на древе индийского духа», восторженно отзываясь об индуизме, буд-

<sup>10</sup> Д е р р и д а Ж. Диссеминация. Перевод с французского Д. Кралечкина. Екатеринбург, «У-Фактория», 2007, стр. 22.

<sup>11</sup> Д х а р м а к а й я (дхармакайя) — «тело дхармы», высшее из трех тел Будды, то есть высшее проявление духовной сущности, открывшаяся при просветлении сущность мироздания. Цит. по: «Тибетская книга мертвых». М., «Эксмо», 2009, стр. 179.

<sup>12</sup> Г а р т м а н Э. фон. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: Метафизика бессознательного. М., «Красанд», 2010, стр. 114.

<sup>13</sup> «Восток — фон моих впечатлений о Западе», — признается Кайзерлинг к концу книги.

дизме, мистицизме, и даже ислам для него «не чужой»<sup>14</sup>. Это — особая открытость миру, принятие всего, но принятие не в себя, а из себя, интериоризация, делание своим на своих собственных основаниях: «Если хочешь разглядеть сущность, нужно смотреть сквозь них (попытки рационалистически выразить живое религиозное чувство. — А. Ч.) на то, что находится за ними», находится, критически принятое и благодарно усвоенное, в себе. Это — «гармония, открытая вовне», как он, говоря о Китае, переводит иероглиф со значением «мир, согласие, гармония». И это уже позволяет в пределах открыться миру, уйти от интериоризации туда, где границы Я равны границам мира и взаимно поглощают друг друга<sup>15</sup>: мир величественнее Бога, говорит Кайзерлинг, имея в виду совсем не банальный натурфилософский постулат. Иначе вряд ли бы он ел в Китае блюдо из личинок и искренне хвалил его вкус...

И, как ни странно, это не затуманивает взгляд путешественника (фраза Кайзерлинга об обогатившей его слепоте), но открывает его — в Бирме, Сингапуре, Китае, Японии, на Цейлоне он делает такие замечания о современном Западе, которые подтверждают и наши дни. Так, европеец хочет быть просто человеком, но это подавляет его хуже, чем индийская кастовость, ибо «его растущее сознание цельности вызывает не развитие вглубь, а унификацию того, что лежит на поверхности»; идеал подъема по социальной лестнице сменил у европейца более гармоничное желание полностью осуществиться в предназначенном ему от рождения статусе (и зачастую порождает фрустрацию и вульгарность нуворишей, если развивать эту мысль далее); а «человеку поздней культуры становится все трудней и трудней реализовать себя в той или иной форме». Кайзерлинг демонстрирует много актуального и в сравнении миров и их религий: «Фатализм мусульманина, подобно фатализму кальвиниста и в отличие, к примеру, от фатализма русского человека, является выражением силы, не слабости. <...> Ислам делает гордым каждого, кто его исповедует. <...> Поэтому жизнь магометанина отмечена высочайшим пафосом». И констатирует то, что не утратило актуальности и в наши дни. «...Япония демонстрирует нам, как многого можно достичь, не имея собственной сущности. Невероятно многого. Японцы создали ценности для всего мира, которые остались бы невоплощенными, если бы не этот народ» (имеется ли тут в виду способность японцев заимствовать и «доводить до ума» чужие достижения — или открытость миру и отрицание себя?). «Внешняя политика Соединенных Штатов — политика школьническая. <...> Америка разрешила целый ряд внутривластных проблем гораздо лучше, чем это удалось нам, совесть общества там неподкупна. Массы в Америке выносят суждение так, как мальчишки разрешают моральные проблемы: примитивно, огульно, исходя из немногочисленных простых посылок, — следовательно, они судят, как правило, неразумно и жестоко, однако лишь редко выносят неверные суждения по существу дела. Европеец, сравнивая себя с американцем, часто кажется себе стариком».

Все это делает подчас максимы Кайзерлинга горькими, но не лишает их силы, происходящей из той внутренней гармонии, что позволяет ему заявить: «Спасение есть познание. Как только создание пришло к пониманию своей истинной сущности, оно становится средством выражения Бога, и все озаряется божественным светом. <...> Добро и зло являются противоположностями лишь с точки зрения незнания». И все озаряется светом «атомной воли» странника: «Некогда я с радостью обнаружил, что все на свете существует в определенном согласии, и сейчас лишь мой взгляд удостоверяет это тайное родство, благодаря которому чернота сосны сочетается с ясной зеленью кленов, и, восстанавливая прежний замысел, я называю свой визит смотром. Я — Инспектор Творения, сверщик существующих вещей; прочность этого мира — материя моего блаженства!»<sup>16</sup>

Александр ЧАНЦЕВ

<sup>14</sup> С христианством у Кайзерлинга более сложные отношения: во-первых, он более натурфилософ по своей природе, во-вторых, слишком многим привлекает буддизм, в-третьих, христианство обусловило тот европейский мир, в котором жил Кайзерлинг и к которому у него было слишком много претензий...

<sup>15</sup> В том смысле, в котором Гегель говорил, что «природа — это экстериорность».

<sup>16</sup> К л о д е л ь П. Познание Востока, стр. 243.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА ЕЛЕНА МАРИНИЧЕВОЙ

**Н**овая украинская проза — литературный феномен, едва ли не самое мощное излучение социально-эстетической энергии, случившееся на постсоветском пространстве — в ставшей независимой Украине. Феномен, который, надеюсь, еще предстоит узнать русскому читателю: новый украинский язык сложен для адекватного перевода, его кажущаяся простота и близость к русскому чрезвычайно обманчивы<sup>1</sup>.

### +10

**Оксана Забужко. Музей покинутых секретів (Музей заброшенных секретов). Київ, «Факт», 2010, 832 стр.**

Имя Оксаны Забужко знакомо в России по роману «Полевые исследования украинского секса»<sup>2</sup> (книга выдержала три издания в русском переводе). Второй роман Забужко, «Музей заброшенных секретов», появился спустя четырнадцать лет после «Исследований». Книга огромна. И по объему (более 800 страниц), и по массиву поднятых в ней тем. Предпочтение явно отдается социальному, публицистическому, историческому плану. Хотя и любви и эротике здесь тоже хватает. На страницах мелькают имена Черчилля, Сталина, Горбачева, Ющенко, Кучмы, Гонгадзе. События: Чернобыль, Голодомор, Вторая мировая война, Перестройка. Персонажи: подпольщики УПА, украинские диссиденты, «новобогатки» (аналог «новых русских» в Украине)... Не знаю, как бы все это удерживалось и сцеплялось вместе, если б не захватывающая сюжетная основа (роман лидирует в списках продаж в Украине), построенная на переплетении историй нескольких семей.

Главные герои — и ныне живущие, и погибшие: в снах они приходят друг к другу, жизнь одних снится другим. Много горьких размышлений о прошлом страны. «...Вера, язык и флаги менялись в украинских семьях чуть ли не каждое поколение, даже не как костюмы, а как одноразовые шприцы, укололся — и в ведро...» Но одну тему из прошлого Забужко все же поднимает на некоторый исторический пьедестал. Это тема послевоенного сопротивления советской власти, тема УПА. Предвижу, что по этому поводу будет сломано еще немало копий. Ведь в России (во многом — из-за недостатка информации) буквенное сочетание «УПА» — что-то вроде красной тряпки (что это — толком не знаем, но ненавидим). Рассказывать о противоречивых событиях языком художественной прозы, выступать «адвокатом» людей, попавших в исторические перепалеты, — один из верных способов обезопасить, разминировать прошлое, приблизиться к примирению во взглядах на него. По словам Михаила Гэфтера, несовпадение в обращении людей со своим прошлым — едва ли не «самый скрытый источник взаимного недоверия государств и миров».

О сегодняшней Украине автор пишет без пиетета: «Мы говорили о переменах в правительстве и закручивании гаек на телевидении и о том, каким завсвинофермой выставился наш вице-премьер, — в общем, обо всем, о чем всегда говорят меж собой украинцы, полузнакомые и даже совсем не знакомые, неустанно дивясь, как стремительно их дурноватая страна летит под откос, и эти разговоры всегда немного напоминают мне тот анекдот, где у дядек ломается по дороге на ярмарку воз с арбузами, и дядьки очумело наблюдают, как те катятся в пропасть, и комментируют: глянь-глянь, а рябой-то впереди!..» Однако разочарования, свойственного интеллектуальной элите Украины после символического поражения «Майдана», в романе нет. В кульминационной сцене главная героиня романа журналистка Дарина осознает, что ей «поручена» судьба давно погибшей женщины, участницы разгромленного партизанского движения. Их встреча должна состояться (во сне или наяву — что в координатах романа не так и важно): «И я скажу ей тогда, что вины

<sup>1</sup> Поскольку новинки украинской литературы, с которыми журнал намеревается познакомиться читателя, еще не переведены на русский, выходные данные приведены на украинском (в скобках название указано в переводе). Цитаты, если переводчик не указан в сносках, приведены в переводе Е. Мариничевой. (Прим. ред.)

<sup>2</sup> Забужко О. Полевые исследования украинского секса. — М., «Независимая газета», 2001. Перевод Е. Мариничевой. См. также: Ермошина Г. Секс с языком. — «Дружба народов», 1998, № 3.

на ней нет, — думает Дарина. — И еще скажу, что война продолжается, война никогда не останавливается, теперь это наша война, и мы ее еще не проиграли...»

**О л е с ь У л ь я н е н к о.** Там, де Південь (Там, где Юг). Харків, «Треант», 2010, 160 стр.

Жуткая книга. Легче легкого записать ее в разряд «чернушной» литературы. Но — читаешь раз, читаешь другой (а «Там, где Юг» — из тех книг, перевернув последнюю страницу которых хочется вновь начать с первой) и, несмотря на пессимистический сюжет, грубые эротические сцены, поножовщину и тому подобное, — ощущаешь мощный поток света. Неожиданный эффект.

Этот роман — последняя прижизненная публикация скоропостижно умершего в августе 2010 года в возрасте 48 лет писателя Олеса Ульяненко, человека с перекрученной биографией и судьбой: в 15 лет ушел из дома, скитался по стране, приблизился к шаманам в Якутии, работал грузчиком, на шахте, служил в Афганистане (десантные войска), за один из своих романов («Сталинка») получил еще в постперестроечные времена Шевченковскую премию.

«Там, где Юг» — роман-воспоминание. Себя, 17-летнего, и свой провинциальный украинский портовый город конца 70-х вспоминает «автор» — человек, о котором мы не знаем ничего, кроме того, что он не забыл и никогда не забудет «южный, наибольший в мире ветер» и свою любовь, встреченную и навсегда утерянную в этом городе. Жизнь юного Штурмана (это кличка, имя так и остается неизвестным) проходит, в частности, в полуподвале, «забитом самогоном, мусором, контрабандным виски, ракией, наркотой и блядьми всех сортов, мастей и проб». Ему как будто уже уготована прямая дорога: либо спиться, либо сдохнуть от наркоты («в этом городе каждый второй, включая покалеченную интеллигенцию, травился коноплей»), либо сгинуть еще каким-нибудь бесславным образом, потеряв человеческую душу и обличье. «Но что-то тонкое, невыразимо нежное, к чему я даже мысленно боялся прикоснуться, удерживало меня и говорило, что жизнь все же не такая падлюка, как меня учили с ранней юности, с самого рождения: бояться всех, никому не доверять и жить, если у тебя есть на это силы». В душу «пропащего мальчишки» приходит любовь — как дар, как благословение. Ее зовут Ирина, Ирка, дочка полковника, девочка из другого мира. Не сразу Штурман понимает, что ее мир — ничем не лучше, если не хуже полуподвала убогой шпаны. Не сразу узнает, что возлюбленная «пошла по рукам», подседа на иглу, что вдвоем им терять уже нечего: все давно и безвозвратно потеряно. Понимает и самое невозможное: он ей не нужен. Но даже такое знание не умаляет его чувства. Именно эта, подспудно доминирующая в «жутком» сюжете нота, звучащая в унисон с тем, что «любовь все прощает» и «никогда не перестает», наполняет повествование воздухом и светом, дает силу жить дальше: «Потом, через много лет, среди отбросов общества, и в драках, и на светских тусовках я долго буду искать похожие глаза, похожие движения, похожий взгляд... И ничего не найду, пока седина не покроет виски. А слова, сказанные кем-то на другом конце моей жизни, в самом ее начале, давно уже холодны, тверды и проговорены бесконечно: сколько раз нужно целовать женщину, чтобы понять — она не будет принадлежать тебе никогда, так же как и ты — ей?! И в этом самый лучший и самый действенный яд жизни».

Если бы к литературным романам можно было подбирать музыку, к этому я бы поставила саундтрек из фильма «Генералы песчаных карьеров». Разные мелодии у украинского романа о юноше по кличке Штурман и у знаменитых «Капитанов песка» Жоржи Амаду (по сюжету которых снят фильм), но тональности — схожи.

**К о с т ь М о с к а л е ц ь.** Досвід коронації (Опыт коронации). Львів, «Піраміда», 2009, 220 стр.

Кость Москалец — писатель, поэт, философ, рок-музыкант, автор и исполнитель собственных песен — личность сингулярная, немного таинственная в мире современной украинской культуры. Несколько его песен — «Вона» («Она»), «Світлий нектар» («Светлый нектар») — стали хитами, однако он ведет уединенный образ жизни, не участвует в украинской «литтусовке», живет в собственноручно построенном деревенском доме под Львовом.

В книгу «Опыт коронации» вошли роман, рассказы, эссе последних лет. Проза Москальца — это во многом музыка в слове. Есть и прямые переключки с про-



изведениями любимых автором композиторов. «На фоне 45 хоральных прелюдий Иоганна Себастьяна Баха» — таков подзаголовок цикла из 45 небольших словесных этюдов под названием «Всполохи»:

№ 14

Не притронулся ни к одной из книг, даже не глянул. Оделся и пошёл по городу — под густые февральские снега — так, словно впереди была намечена какая-то важная встреча. В садах — будто май, и пусть эта короткая иллюзия утешит меня и вас — всех, кто перестал мне писать; может, это вовсе не ваша вина, может, вы, невзирая на холод и снег, пишете, пишете, пишете негнушимися пальцами много-много писем обо всём на свете.

№ 22

Стынет чай подле открытого окна, тает сахар в стакане. Прозрачные мысли, и тени, как струны, и музыка — как тени. Ты видел мёртвых, окоченевших птиц в какую-то из зим твоего детства. Они сидели на соснах, крепко вцепившись в ветви, широко раскрыв глаза. Ты и так сильный — с несколькими жёлтыми листьями в руке.

Роман «Вечерний мёд»<sup>3</sup> посвящен Львову, друзьям-поэтам, несвершенной любви главного героя к некоей загадочной женщине. В центре сюжета — столкновение Поэта, пишущего на украинском, с тяжкой практикой повседневной украинской жизни. Карикатурная «Спилка» («Союз писателей») выпускает — для галочки: мол, издаем молодых национальных поэтов — книжку стихов главного героя, намереваясь тут же вышвырнуть тираж на помойку. Но один экземпляр автор продает незнакомке в метро:

« — Неужели вы и впрямь настоящий поэт? Но ведь ваш язык... он просто ужасен. Как можно быть поэтом в таком языке?.. А потом вы удивляетесь, что никто не хочет читать стихи на этом волапуке. Хорошо, давайте я куплю ваш сборник. Сколько вы хотите? — ошаршила она медленно вскипающего Костика.

Они сошли с эскалатора и остановились. Костик вынул из пакета мокрую книжицу со свежим следом крупного мужского сапога на белой обложке.

— Я писал эту книгу пять лет, — задумчиво сказал он, — во многом, очень во многом отказывая себе. Поэтому думаю, что сто долларов за экземпляр будет вполне приемлемой ценой.

Блондинка вспыхнула и, сняв обе перчатки, достала из крохотной сумочки несколько зеленых банкнотов.

— Вот вам сто долларов. И купите себе сносное пальто.

— Меня вполне устраивает мой плащ. Мы с ним уже так сроднились за эти годы, что он стал мне чем-то вроде брата, — отдавая книжку, сказал Костик. Глядя ей в глаза, он аккуратно изорвал стодолларовую бумажку на мелкие части и бросил их в блестящую металлическую урну».

**Сергей Жадан. Ворошиловград (Ворошиловград). Харків, «Фоліо», 2010, 442 стр.**

«Никогда не интересуйся политикой!», — говорил сам себе герой одной из ранних повестей Сергея Жадана «Anarchy in the UKR»<sup>4</sup>. Герман — центральный персонаж романа «Ворошиловград» — политикой как раз не интересуется. «Мне 33 года. Я давно и счастливо жил один, с родителями виделся редко. Имел никому не нужное образование. Работал не поймаю кем. Денег мне хватало ровно на то, к чему я привык. Появляться новым привычкам было уже поздно. Меня все устраивало. Тем, что не устраивало, я не пользовался. Неделю назад пропал мой брат. Пропал и даже не предупредил. По-моему, жизнь удалась». Когда-то Герман бежал от своего города, окруженного бесконечными кукурузными полями, города, где родился и вырос, — от его пустоты и безнадеги, — города, с единственной мальчишечьей отрадой — аэродромом, на который время от времени приземлялись самолеты Ан-2. «Все мы хотели быть пилотами. Большинство из нас стали лузерами». Герман уехал. А его брат, способный, по мнению Германа, «до последнего цепляться за пустую

<sup>3</sup> Перевод отрывка из этого романа можно прочитать здесь: <<http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/4/mo5.html>>.

<sup>4</sup> Повесть опубликована на русском (Жадан С. Anarchy in the UKR. СПб., «Амфора», 2008, перевод с украинского З. Р. Баблюян).

землю» — остался. И открыл свое «дело» — автозаправочную станцию с автомастерской, собрав «озверелую команду» механиков-самородков, состоящую из двух своих верных друзей. Но вот он исчез. И Герман вынужден вернуться. Думал — на денек, только уладить (продать или закрыть) бизнес брата, а получилось — надолго, возможно навсегда. Потому что выяснилось, что несчастная бензоколонка — это не просто бизнес, но территория существования друзей брата и их друзей, дело, без которого их жизнь станет бессмысленной, последняя баррикада, которую нужно отстоять. На автозаправку наехали «кукурузные» — люди заезжего воротилы, им понадобилась эта земля, чтоб засеять ее «королевой полей». Начинаются стычки-разборки, Герман временами порывается уехать, порой его охватывает «ощущение какой-то пропасти, которая начинается где-то близко, откуда тянет нестерпимо горячим сквозняком, перехватывающим дыхание». Но, переосмыслив нечто важное в себе, остается, — так сказать, над пропастью в кукурузе. Впрочем, сэлинджеровские мотивы сочетаются у Жадана и с темой боевого братства «Трех товарищей» Ремарка — но только в стилие фильмов «Брат-1» и «Брат-2». После драк и гибели одного из друзей, после близости с «боевыми подругами», юными и не очень, главный герой соглашается с тривиальной «мудростью» о том, что «все очень просто: нужно держаться друг за друга, отбиваться от чужих, защищать свою территорию, своих женщин и свои дома <...>. Потому что никто не имеет права заходить на твою территорию и лишать тебя твоих женщин и твоих домов».

«Для меня в этом романе было важно сказать, что необходимо отстаивать свое внутреннее и внешнее пространство», — говорил Сергей Жадан, представляя «Ворошиловград» на осеннем Форуме издателей во Львове. Его читатели и поклонники заполнили до отказа зал старинного театра им. Курбаса, сидели в проходах, на ступеньках, на сцене. Жадана в Украине — особенно публика 20 — 30 лет — не просто любят, но обожают — и за классный социально-абсурдистский юмор, и за скрываемую под сдержанностью и безразличием мальчишескую искренность многих героев его прозы. Сергей пишет замечательные стихи (некоторые из них, в частности в переводе Игоря Сида, можно прочитать в книге «Кордон», Москва, «Арт Хаус медиа», 2009<sup>5</sup>). Жадан много разъезжает по стране, как он сам выражается, с «гастролями» — выступает с шоу-декламацией своей поэзии, он — мотор многих литературных украинских фестивалей.

**М а р і я М а т і о с. Вирвані сторінки з автобіографії (Вырванные страницы из автобиографии). Львів, «Піраміда», 2010, 368 стр.**

Фрагменты, сцены и события, запечатленные в памяти писательницы, широко известной на Украине произведениями о драматической истории Буковины в XX веке (в русском переводе издан сборник «Нация»<sup>6</sup>). В книге много важных для постсоветского читателя картинок довоенной Западной Украины — такой, какой мы ее не знали.

Вот автор, изучая историю своей семьи и своего села, читает документальные архивы. Доходит до материалов, связанных с коллективизацией 40-го года. Хочет понять, как и почему, вопреки своему желанию, западноукраинские люди «добровольно» записывались в колхозы. Содержание «прошений» обескураживает: «Прошу, чтоб забрали у меня всю землю. До крошки!» «Прошу вашего позволения принять меня в колхоз <...> есть лошадка-одногодка и поле, отдаю все вам, а больше мне дать нечего, никакого инвентаря нет, прошу не отказать».

Почему так? А вот почему.

«Сгоняли людей в сельсовет, как когда-то румыны — в жандармерию. А там на столе лежали две папки. По сельсовету ходил военный и указательным пальцем тыкал в свежеструганный и непокрытый стол: „В этой папке записываются на высылку в Сибирь, а в этой — в колхоз...”».

Еще одна картинка, она касается уже 70-х годов прошлого столетия. Юная Мария — студентка университета — была дружна с семьей Владимира Ивасюка, молодого украинского композитора, студента консерватории, написавшего знаме-

<sup>5</sup> См. книжную полку Ольги Балла. — «Новый мир», 2010, № 1.

<sup>6</sup> М а т і о с М. Нация. М., «Братонез», 2007. Перевод с украинского Е. Мари-ничейвой, С. Соложенкиной. См. также: Б а к Д. Карпатский блюз с перцем и кровью. — «Новый мир», 2008, № 12.

нитую «Червону руту» и другие хорошие песни на украинском. В 79-м он покончил с собой. Загадочная, трагическая смерть: пальцы на руках были почему-то перебиты. Партийные власти Львова всячески замалчивали подробности его смерти, пытались похоронить Ивасюка чуть ли не втайне. Не получилось. Мария была на его похоронах: «Весь Львов вышел на улицу, забирались на деревья, стояли на крышах домов и трамваев; говорили о том, что со времени похорон Ивана Франка Львов ничего подобного не видел; рассказывали про выступление тогдашнего председателя Львовского отделения Союза писателей Ростислава Братуня на Личакивском кладбище (Братуня после этого выступления снимут с должности), где он говорил не про смерть студента консерватории, а про смерть великого украинского композитора». Родным запретили устанавливать памятник на могиле Ивасюка, под негласный запрет попали и его песни. Десять (!) лет памятник Ивасюку простоял в мастерской скульптора, и только в 1990 году запрет на его установку на могиле композитора был снят. А в 1989-м состоялся первый песенный фестиваль „Червона рута“, который проходит с тех пор ежегодно».

**Євгенія Кононенко. Книгарня «Шок» (Книжный магазин «Шок»). Київ, «Кальварія», 2009, 128 стр.**

В новой украинской литературе есть особая линия женской прозы — иногда ее называют феминистической. Большинство писательниц этого направления выдерживают свои произведения в подчеркнуто победной тональности. Не тоска и разочарование, не плач по несчастной любви, а — саркастичный, стойческий, иронический или просто юморной взгляд на драматические обстоятельства жизни.

Евгения Кононенко — один из лидеров этого направления, мастерица короткого рассказа (на русском вышел сборник ее best-stories «Без мужика»<sup>7</sup>). «Книгарня „Шок“» — собрание новых рассказов писательницы. Речь в них идет о битвах поколений и полов в масштабах одной кухни или квартиры, о прочей обыденной шелухе, из которой состоит повседневная жизнь. На Украине Евгения Кононенко определенно считается писательницей-феминисткой. Но ее феминизм — это все же не совсем то, что обычно обозначают этим термином. «Для большинства женщин их феминизм начался тогда, когда над их порывами идти за Ним на край света надсмеялись если не Он, то сама жизнь. Потому как выяснилось, что на край света идти не нужно. А нужно обеспечить домашний уют, трехразовое питание, безотказный секс. И альтернативой всему этому может быть лишь женское одиночество — либо еще один такой же, требующий домашнего уюта, трехразового питания и пр.». «Раскрою самую заветную мечту феминисток. Обычно в ней не признаются. В чем она? Заработать денег побольше, чем все мужики мира? Всласть налюбовиться ночью, а утром уйти не попрощавшись? Заставить какого-нибудь мужика выносить и родить тебе ребенка? Вымазать мужа по уши детскими кашашками, усадить его с тремя детьми, а самой представлять на трех должностях разом, а также на собраниях, симпозиумах и приемах, в перерывах между которыми забегать к любовникам? <...> Заветная мечта — это встретить мужчину, ради которого можно забросить подальше весь свой феминистический опыт» (из рассказа «Не сложилось»).

Героини Кононенко таких мужчин не встречают. Но из-за этого не унывают.

**Таня Мальярчук. Звірослов (Зверослов). Харків, «Фоліо», 2009, 281 стр.**

Сборник рассказов, объединенных одним художественным приемом: персонажи — обыкновенные люди, но многие из них способны оборачиваться животными, насекомыми, птицами. Я сравнила бы эту книжку с «Белкой» Анатолия Кима, где звучала восходящая к гоголевской традиции тема оборотничества. Некоторые герои «Зверослова» в невыносимые минуты прибегают к спасительному перевоплощению: девушка-мотылек (рассказ «Бабочка») улетает прочь, когда окончательно понимает, что любовь ее — безответна. Но если генеральная идея Кима в том, что мера человеческого в человеке — творчество, то у Тани Мальярчук все сюжеты выстроены вокруг

<sup>7</sup> Евгения Кононенко. Без мужика. Перевод с украинского Е. Мариничевой. М., «Флюид», 2009, 256 стр. («Славянская линия»). См. также рецензию Марины Бувайло «Бумерангов угол». — «Новый мир», 2009, № 10.

темы одиночества. Одинокая, немолодая учительница (рассказ «Ворон»<sup>8</sup>) встречает юного танцора, своим пышным одеянием-оперением напоминающего ей ворона. Их разделяет огромная разница в возрасте, различие мировоззрений. Но постепенно учительница начинает нуждаться в своем шумном соседе, «подымается душой» (выражение Алексея Ремизова) под его слегка ироничным, но заинтересованным взглядом. Ворон-Виктор тоже теперь не может и не хочет жить без неспешных разговоров с той, кого еще недавно назвал «скандальной бабой». Между ними начинаются отношения редкого типа, не то чтобы любовь, но и не просто дружба, а душевная связь и симпатия, способные расколоть ледяной панцирь одиночества. В рассказе «Медуза»<sup>9</sup> девушка Белла чувствует себя в своей тарелке лишь среди уличных котов и собак. Она доверяет врачу районной поликлиники свои странные сны: ей снится незнакомый инструктор по плаванию, она влюбилась в него и не знает, что поделаться со своим чувством. Странная любовь становится чуть менее мучительной, когда равнодушная врачиха превращается из бледно-зеленой саранчи в сочувствующую женщину, выпускает в свою жизнь и Беллу, и ее беду. Из последнего сна девушки:

«Зачем вы меня мучаете? — шепчет Белла.

— Потому что вы до сих пор не научились плавать, — отвечает инструктор.

— Я уже научилась. Я умею плавать.

Белла ложится спиной на воду, отталкивается и так, на спине, плывет на глубину. Видит сквозь поднявшиеся брызги его — удивленного и обескураженного. Плывет все быстрее, аж пока его фигура не исчезает в седьмых водах. <...> Она лежит на воде и колышется на морской поверхности. Без движения. Без боли. Без слез.

И миллионы медуз, больших и маленьких, розовых и фиолетовых, так же колышутся рядом. Без движения. Без боли. Без слез».

Эти и другие — тонкие и очень искренние — рассказы молодой украинской писательницы (Тане нет еще и тридцати) близки размышлениям Алексея Ремизова, который писал: «Не раз повторял я, никак не способный обжиться в жестком ледяном круге людства: что надо человеку от человека? — так мало: каплю сердечности — и лед растает».

**Поэти Празької школи. Антологія (Поэты Пражской школы. Антология). Київ, «Смолоскип», 2009, 916 стр.**

Это не «новая украинская проза», а практически неизвестная в России (да и в Украине не так давно узнанная) поэзия украинской эмиграции 20 — 30-х годов.

Поэзией «трагического оптимизма» называют стихи поэтов украинской эмиграции, оказавшихся между двумя мировыми войнами в Праге и составивших «Пражскую школу»: это Евген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Телига, Наталя Левицка-Холодна, Юрий Лыпа и другие. «Пражский круг поэтов, — пишет в предисловии Ростислав Семкив, — в основу своих воззрений ставил сухую и придрчивую археологию: национально-освободительная борьба в очередной раз проиграна (после краха Украинской Народной Республики. — *Е. М.*), надежды рассеиваются — выбор невелик: заглохнуть, замолчать, втихаря страдать от национальной травмы или же спокойно и твердо взяться за малые дела, а именно — писать, потому что если собственная держава не может состояться как политическая реальность, то ее стоит спроектировать хотя бы виртуально — как миф, как мечту, способную вдохновить последователей». Много горечи в стихах одного из наиболее ярких представителей «Пражской школы» Евгена Маланюка. Шокирующе жестки некоторые его строчки, посвященные Украине:

Не поруганной  
Катериной,  
О которой скорбел Тарас,  
Ты — монгольской  
сальной периной,  
Потаскуха племен и рас!<sup>10</sup>

<sup>8</sup> По-русски его можно прочитать здесь: <[http://magazines.russ.ru/nov\\_yun/2009/4/](http://magazines.russ.ru/nov_yun/2009/4/)>.

<sup>9</sup> По-русски — здесь: <<http://magazines.russ.ru/druzhba/2010/8/>>. См. также рассказы Тани Мальярчук в «Новом мире» (2008, № 12; 2009, № 6; 2010, № 6).

<sup>10</sup> Перевод Валерии Богуславской.

Но это боль тоскующего сердца, потому что рядом и такие слова:

Прости, прости за богохульні вірші,  
Прости тверді зневажливі слова!  
Гіркий наш вік, а ми ще, може, гірші,  
Гіркі й пісні глуха душа співа.

(«Прости, прости за богохульные стихи, прости за жесткие и бранные слова! Наш век горек, но мы, возможно, еще горше сами, и песни горькие поет глухая душа».)

Прага приютила украинских поэтов, дала возможность немного смягчить боль изгнания. Благодаря провидению и доброй воле чехословацкого правительства здесь оказался едва ли не весь цвет украинской творческой интеллигенции, бежавшей от большевистского террора. В 1921-м в Праге был открыт Украинский свободный университет. Чуть позже — Высший педагогический институт имени М. Драгоманова, другие учебные заведения. Действовал Украинский общественный комитет, выходили журналы, существовало несколько украинских издательств.

В преддверии Второй мировой войны поэты «Пражской школы» вынуждены были покинуть Чехословакию. Кто-то рискнул вернуться в Украину: Юрий Лыпа был расстрелян НКВД, Олена Телига — нацистами в Бабьем Яру. В немецком лагере Заксенхаузен погиб Олег Ольжич. Евгений Маланюк умер в Нью-Йорке. Почти до наших времен дожила поэтесса, в которую он одно время был безнадежно влюблен: в 2005 году не стало Натали Левицкой-Холодной (умерла в Канаде). Вот одно из ее стихотворений:

Дождик к восьми обещался,  
а выпал к десяти.  
Над хатою мелко и часто  
начал идти.  
А она ждала за стенами  
и считала каплю за каплей.  
А сосны так горько стонали,  
что она заплакала<sup>11</sup>.

**Рух опору в Україні 1960 — 1990. Енциклопедичний довідник (Движение сопротивления в Украине 1960 — 1990. Энциклопедический справочник). Под редакцией Осипа Зинкевича. Київ, «Смолоскип», 2010, 804 стр.**

Энциклопедия инакомыслия в Украинской ССР, справочный материал к истории несогласия — культурного, политического, национального, религиозного. В Украине сопротивление тоталитарной власти сопровождалось движением за независимость. Украинские шестидесятники (Иван Дзюба, Лина Костенко, Игорь Калинец) выступали за возрождение украинской культуры, против русификации. Альтернативой официозу и средоточием новых, молодых сил были Клуб творческой молодежи в Киеве (организован в 1960-м) и «Пролисок» («Подснежник») во Львове (1962). Волны арестов 1965-го, а потом 1972-го годов не остановили Движение сопротивления. Появился самиздат («самвыдав»): «Горе от ума» Вячеслава Черновола, «Интернационализм или русификация?» Ивана Дзюбы, «Український вісник», «Хроника текущих событий», передаваемая на Украину из России. Людей, чьи фото и любительские снимки смотрят со страниц «Руха опору», арестовывали, сажали в лагеря и тюрьмы, подвергали действию карательной психиатрии, жизнь многих из них была искалечена, далеко не все дожили до крушения тоталитарной системы. В книге собраны имена и судьбы Василя Стуса, Леонида Плюща, Михайлины Коцюбинской, Петра Григоренко, Анатолия Перепади и множества других (каждому посвящена отдельная статья, снабженная библиографическим аппаратом). В «Справочнике» помещены также очерки о правозащитных организациях и подпольных изданиях, о тюрьмах и местах высылки, где оказывались неблагонадежные поэты, писатели, ученые, обыкновенные люди, отважившиеся иметь политические взгляды в советской Украине. Рядом с украинскими именами — имена русских правозащитников: специальные статьи посвящены Андрею Сахарову, Елене Боннэр, Людмиле Алексеевой, Ларисе Богораз и многим другим.

<sup>11</sup> Перевод Натальи Горбаневской.

Лариса Богораз хорошо знала украинский язык, дружила и переписывалась с Иваном Свитличным (знаменитый украинский филолог, поэт, переводчик, советский политзаключенный), переводила документы украинского «самвыдава» на русский, участвовала в распространении «Українського вісника». Листая «Рух опору», прочла я и статью о композиторе Владимире Ивасюке, о котором в автобиографической книжке вспоминала Мария Матиос. Оказывается, незадолго до своей гибели он отказался участвовать в создании оратории, посвященной 40-летию «воссоединения Украины» (то есть очередной годовщине ввода советских войск на территорию Западной Украины), после чего и был взят под особый контроль КГБ.

**Сновиди. Сні українських письменників (Сновидения. Сны украинских писателей).** Київ, «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2010, 416 стр.

В заключение еще одна книжка прозы, хотя и довольно необычной.

Традиционным в новой украинской литературе становится издательский прием, когда нескольким писателям предлагают высказаться на одну и ту же тему. Впервые так было со сборником «Нерви ланцюга» («Нервы цепи»), где были помещены писательские эссе о свободе. Книжка вышла накануне «Майдана» и для меня лично оказалась точным показателем назревшей в украинском обществе революционной ситуации: уж очень энергичными, яркими, взрывными были те слова о свободе...

Сборник «Сновиды» — иной, отчасти противоположный по настроению: «Многие уже протирали глаза от действительности, чтобы с чистым сердцем утонуть в снах» (Андрей Белый). Возможно, перед нами первый в мире опыт создания антологии писательских сновидений.

«Семиотическими окнами» называл сны Юрий Лотман. Рассказ о снах всегда требует участия переводчика — психолога или толкователя. Такими переводчиками для своих сновидений выступили 80 (!) украинских авторов. Но перевод переводу рознь. В сборнике есть банальные описания ночных кошмаров и фантазий, но сны Игоря Калинца, Оксаны Забужко, Лины Костенко представляют собой маленькие художественные произведения: притчи, новеллы, трагикомические рассказы. Особо остановлюсь на снах Лины Костенко. Знаменитая поэтесса в последние годы молчит. Не дает интервью, не встречается с журналистами, не издает новых книг<sup>12</sup>. На страницах «Сновидов» она нарушила многолетний «обет молчания», «переводя» на художественный язык свои сны (из серии «Дубли дневных кошмаров»):

Какой-то цирк без купола. Арена.

Жонглёры жонглируют нимбами святых.

Святые сидят среди публики, без головных уборов, один заплакал. Нимбы летают, нанизываются, как бублики, мерцают, поплёскивают.

Публика аплодирует.

На арене шут примеряет нимбы.

Святым раздают шляпы.

Где-то высоко в небе, в космосе, висят часы, из тех старинных, больших, с гириками и маятником — как полная луна. А я ухватилась за маятник, как Руслан за бороду Черномора, и раскачиваюсь вместе с ним на весь размах его амплитуды. Руки затекли, вот-вот сорвусь. Но боюсь оглянуться на Землю, потому как её, может, уже и нет.

А вот с кем встретилась во сне Оксана Забужко:

«Был сон: в соседней комнате, слышу, — кто-то роется, клацает на моей (!) машинке, переворачивает бумаги — вор? — иду туда, на меня воровато зыркает из-за плеча — рассевшись за моим столом! — высокий, худой дядечка: чёрт! — понимаю я (без тени страха, скорее с гневом), это — чёрт! И, выпихивая его за дверь, вон, кричу что-то сердитое (в жанре Домбровского: „да не мешайте же мне работать!“) — да доколе?! да с какой же, спрашивается, напасти?!

— А чтоб тебя не было, — брякает он мне прямо в глаза с откровенной прямотой (даже во сне поражает эта откровенная прямота).

— А я БУДУ! — отрезаю, выталкивая его в шею и закрывая дверь (но он еще придёт, и это ясно)».

<sup>12</sup> Когда верстался этот номер, в Киеве состоялась презентация первого романа Лины Костенко «Записки украинского самашедшего».

## КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

## «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ»

**Н**овый фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть» о феерической карьере Марка Цукерберга, самого молодого миллиардера в истории, многие критики сравнивают с «Гражданином Кейном» Орсона Уэллса. С точки зрения искусства сравнение, конечно, хромает. «Гражданин Кейн» — абсолютный шедевр, один из лучших фильмов всех времен и народов. «Социальная сеть» — просто хорошее, мастерски сделанное кино, которое не содержит и сотой доли сопоставимых по масштабу художественных открытий. Но с точки зрения социальной эволюции отражения на экране стремительных трансформаций нашей любимой цивилизации — почему бы и нет?

И в том и в другом случае в центре повествования персонажи, реально изменившие мир медиа. Уильям Рэндольф Херст (1863 — 1951) — прототип «Гражданина Кейна» — придумал желтую прессу; Марк Цукерберг (1984 года рождения), действующий в картине Финчера под собственным именем и фамилией, создал крупнейшую в мире социальную сеть «Facebook». И тот и другой не без скандалов закончили Гарвард; и тот и другой не отличались моральной разборчивостью на пути к успеху; и тот и другой исповедовали стратегию глобального маркетинга, создавая продукт, рассчитанный на «всех»... И в той и в другой картине фабульная основа — расследование (журналистское в фильме Уэллса, судебное в «Социальной сети»), и загадка неординарной личности (не) раскрывается в серии свидетельств обычных, заурядных людей — друзей, врагов, возлюбленных, конкурентов...

Кардинальная разница состоит лишь в том, что Уэллс, сыгравший заглавную роль в «Гражданине Кейне», героя своего глубоко, интимно, как никто, *понимает*. Больше того, он, по сути, снимает кино про себя, где биография Херста — лишь повод показать на экране трагическое одиночество ренессансного титана, фатально не вмещающегося в декорации массового общества, которое он сам же во многом и создает.

Для Финчера Марк Цукерберг — загадка, инопланетянин, чужой. Режиссер 1962 года рождения решительно не в силах проникнуть во внутренний мир юного IT-шного гения, легким движением пальцев раскинувшего по миру гигантскую социальную сеть, в которую к настоящему моменту уже залипло полмиллиарда человеческих мушек. Все, что может Финчер, — это, условно говоря, надеть на данное «облако» штаны, шляпу, очки, пальто, перчатки, ботинки... Иными словами — нагрузить его неким набором расхожих психологических мотивировок: типа — несчастная любовь, ущемленное самолюбие... В результате «человек-невидимка» отчасти становится видимым, но оттого не менее стра(ш)(н)ным. Сколько ни стараются авторы сделать его похожим на человека, ясно, что перед нами — аномалия, психическая мутация, причем в силу своей чрезвычайной успешности могущая сделаться нормой в не слишком далеком будущем.

Этот «человек будущего» пугает, раздражает и завораживает одновременно. И основная задача авторов фильма состоит в том, чтобы, используя всевозможные сценарные и режиссерские ухищрения, заставить нас его хоть как-то, но полюбить.

В первой сцене, еще до титров, он предстает стопроцентным ублюдком. Закомплексованный, прыщавый задрот (Джесси Айзенберг) в наглухо застегнутой серой толстовке, он, пригласив барышню в питейное заведение, целый вечер трендит о себе, о своих успехах, об элитных клубах, куда его на порог не пускают, несмотря на все его очевидное интеллектуальное превосходство... Он не способен услышать свою подругу (Руни Мара), походая оскорбляет и унижает ее и доводит до того, что она бросает ему в лицо: «Марк, если девушки в будущем не захотят встречаться с тобой, то это не потому, что ты — компьютерный маньяк, не лести себе. Это потому, что ты полный придурок!» Чаша весов, на которой лежит наша откровенная неприязнь к герою, звучно шмякается об пол, но постепенно, добавляя гирьку за гирькой на другую чашу весов — туда, где положено рождаться пониманию и сочувствию, — авторы, надо честно признать, достигают к финалу некоторого баланса.

Вот, узвленный разрывом с барышней, Марк несетя в кампус и выливает в ЖЖ всю свою желчь — обзывает бедную Эрику сукой, издевается над размерами ее лифчика, сравнивает женщин с домашними животными... Но этого мало. Он

тут же сочиняет и запускает в сеть программу сравнительной оценки сексуальных достоинств университетских девиц. И вот уже все девушки Гарварда одновременно оскорблены, а все парни торчат в Интернете и азартно сравнивают девчачьи фотки: ты какую выбираешь — правую или левую?

Первый +: выходит, наш герой не просто мстительный, злобный придурок, он — придурок, способный творчески раздуть банальную ссору с девушкой до масштабов общегарвардского скандала.

Университетская сеть рушится в четыре утра. Начальство в гневе. Приятели Марка, принявшие посильное участие в запуске скандальной программы, сидят поджав хвост: что теперь будет? Марк доволен: двадцать две тысячи посещений за одну ночь! Это — круто! Следует административное разбирательство. Герой через губу извиняется перед девушками, но протестует против обвинений в нанесении ущерба университетской сети: я выявил ее слабые места. Еще два ++: герой не просто мстительный, злобный, несдержанный гениальный придурок — он знает себе цену и не ведает страха перед начальством.

Ну и так далее... Стратегия, в общем, ясна.

После скандала карьера Марка стремительно идет в гору. На него обращают внимание братья-близнецы Уинкловоссы (Эрми Хаммер) — генетически идентичные, эталонные WASPy, миллионерские сынки, роскошные, атлетически сложенные красавцы гребцы, члены «Феникса» — одного из самых престижных закрытых гарвардских клубов. Они снисходительно, не пустив Марка дальше передней этого самого клуба, предлагают ему поработать на них — написать программу для придуманной ими общеуниверситетской социальной сети «Harvard connection». Марк, оценив красоту идеи, мгновенно говорит: «Да», — еще до того, как Уинкловоссы и их приятель индус Дивьи Наренда (Макс Мингелла) начинают толком его разводить. Но дальше, вместо того чтобы радостно, на задних лапках, поваливая хвостом, служить снизошедшим до него хозяевам жизни, Марк принимается виртуозно морочить мажорам голову. Он пишет им идиотские письма, переносит встречи и тянет время до тех самых пор, пока не запускает в сеть собственное детище «The Facebook», созданное на основе спертой у них идеи. Уинкловоссы, понятно, в шоке. Поначалу они брезгают разбираться с ничтожным IT-шником: «Мы же все-таки джентльмены», — но «The Facebook» распространяется со скоростью лесного пожара, Марк становится самой популярной личностью в университете, и братья, не выдержав, тупо идут жаловаться на него президенту Гарварда. А когда выясняется, что сеть уже проникла за неприступные стены Оксфорда с Кембриджем, близнецы, наплевав на принципы, все-таки подают в суд.

Выходит, наш злобный, мстительный, бесстрашный и независимый гениальный придурок умудряется опустить, заставить дергаться, делать глупости и поступать по принципам абсолютно недостижимых небожителей, которые беседуют с принцами и гребут в олимпийской сборной. Элиту из элит. Еще три +++.

Вопрос: почему Марк цинично и нагло крадет их идею? Потому что его не пустили дальше прихожей «Феникса»? Потому что его девушка когда-то неосмотрительно заявила, что любит гребцов? Потому что Уинкловоссы предложили сотрудничать с ними в порядке милостыни: мол, ты, чувак, в полном дерьме после скандала с барышнями; вот тебе шанс реабилитироваться? Думаю, нет. Ему просто приглянулась сама идея. Идея онлайн «тусовки — болталки — службы знакомств» для студентов Гарварда исполнила роль аттрактора для созданной им глобальной социальной сети, стала, условно говоря, центром кристаллизации. Ведь основная фишка «Facebook» не-анонимность. Люди там регистрируются под собственными именами/фамилиями; и понятно, что только возможность завязать реальные знакомства в престижной среде могла поначалу не только привлечь новых пользователей, но и заставить их выкладывать в сеть свои персональные данные. Если бы идея «Гарвард-коннекшн» пришла в голову не Уинкловоссам, а кому угодно другому, думаю, Марк спер бы ее точно так же. Но в случае с элитными близнецами в воровстве был особый кайф.

Таким образом, получается, что перед нами не просто злобный, мстительный, неразборчивый в средствах, но при этом бесстрашный и независимый гениальный придурок. Перед нами придурок, наделенный феноменальным социальным чутьем. Чтобы поквитаться с элиткой, куда его не пускают, он совершает головокружительный трюк — высосав из идеи элитарности все, что можно, он затем просто



взрывает, уничтожает ее, расширяя престижный замкнутый круг до размеров всего человечества. Сильно! Еще куча +++++...

Но тяжба с Уинкловоссами — лишь одна из двух основных сюжетных линий картины, намеренно перетасованная с другой — судебным разбирательством, где против Марка выступает его лучший друг — первый инвестор и финансовый директор «The Facebook» Эдуардо Саверин (Эндрю Гарфилд). Все снято так, что возникает полное ощущение, будто оба дела слушаются одновременно и Марку приходится воевать на два фронта, отбиваясь от целой своры наседающих на него безжалостных саблезубых лоеров. То, что герой способен держать удар и стойко парировать все обвинения, — ему, безусловно, в +. Но вот суть второй тяжбы выглядит все же довольно сомнительно, ибо в первом случае герою инкриминируется всего лишь интеллектуальное воровство, а во втором — предательство.

Эдуардо Саверин — антипод Марка. Если Цукерберг в фильме — отвязанный придурочный гений, который плевать хотел на всех и на вся, то Эдуардо — трогательный невротик, спеленутый по рукам и ногам всевозможными социальными страхами и предрассудками. Он дико боится разочаровать своего отца, готов выполнять все дурацкие ритуалы, дабы стать членом «Феникса», он впадает в панику, когда его обвиняют — о ужас! — в жестоком обращении с животными за то, что несчастную курицу, которую он везде таскал за собой (идиотское испытание, предшествующее вступлению в клуб), он однажды неосмотрительно накормил в университетской столовке курятиной. Это же просто канныбализм! Конец карьере! Клеймо на всю жизнь!

Такого — грех обижать. Эдуардо слаб, наивен и уязвим как ребенок. Любую идею Марка он поначалу воспринимает с опаской, но при этом героически финансирует все его начинания и очень гордится своей причастностью к рождению «The Facebook». Он изо всех сил старается соответствовать — заботится о финансах, инвесторах и рекламе... Но его амбиции — увы — не соответствуют амуниции, и Марк не раздумывая «изменяет» ему, едва на горизонте появляется Шон Паркер (Джастин Тимберлинк) — блистательный проходимец, сделавший себе имя на музыкальном пиратстве.

Шон с ходу пресекает перспективы «Facebook», тут же дает гениальный совет отбросить артикль «The» и первым произносит заветное слово «миллиард» в тот момент, когда на балансе компании всего несколько сотен баксов. Это вам не Эдуардо, тупо намеревавшийся убить «Facebook» рекламой прокладок и чипсов. Шон — настоящий маг и волшебник, эlegantный, артистичный, широкий, с безудержным воображением... Он играючи находит для компании каких-то нереально щедрых инвесторов, а его связи позволяют разом расширить сеть на несколько континентов. Марк полностью очарован им. Эдуардо же при появлении Шона начинает натурально сходить с ума — устраивает сцены ревности, в самый неподходящий момент замораживает счета компании (просто чтобы обратить на себя внимание)... В итоге беднягу просто вышвыривают из «Facebook» с тремя сотыми процента акций, в которые путем некрасивого закулисного мошенничества были превращены его первоначальные тридцать. Жалко, конечно, но ничего не попишешь — ясно же, что «Facebook» перерос Эдуардо на посту финансового директора.

Впрочем, Шон на этом месте тоже не задерживается надолго. Кто-то (можно подумать, что Эдуардо, но скорей всего Марк) исподтишка наносит удар по его слабому месту — пристрастия к кокаину и несовершеннолетним девочкам. Шон попадает в полицию, история получает огласку, и Шон вылетает из «Facebook» точно так же, как Эдуардо, правда сохранив свои семь процентов акций.

Тут нужно отдать должное сценаристу, режиссеру и исполнителю главной роли — они сделали все, чтобы дать Марку выйти не слишком замазанным из этой некрасивой истории. Сценарист (Аарон Соркин) аккуратно замыливает ответы на вопросы: кто же все-таки был инициатором ограбления Эдуардо? И кто настучал копам на Шона? Зрителю оставляют возможность думать, что финансисты сами сожрали друг друга. Или что Марк, подставив Шона, отомстил ему таким образом за издевательства над Эдуардо... Финчер строит повествование так, что из стремительного чередования жестких адвокатских допросов, клиповых флешбэков, пулеметных диалогов и выразительных крупных планов возникает ощущение какой-то безудержной гонки, где остановка смерти подобна, и слабые вылетают из седла просто в силу законов физики. Но основная тяжесть в деле реабилитации

Марка ложится все-таки на плечи исполнителя главной роли. Если в истории с Уинкловоссами ему, чтобы снискать наши симпатии, достаточно было просто делать лицо кирпичом и нагло хамить адвокатам, то здесь уже приходится играть, выкладываясь по полной. Играть искреннюю боль при виде метаний Эдуардо; искреннее, детское восхищение блистательными эскападами Шона, искреннюю растерянность, когда свора адвокатов загоняет его в угол, настаивая, что он — предатель, стукач, мошенник и лжец. Джесси Айзенберг — хороший актер, у него все получается. И, собственно, эта искренность в основном и спасает реноме Марка в зрительском восприятии; американцы — народ добрый и готовы извинить любые поступки, если видят, что человек искренне «сожалеет».

В конце стервятники-лоеры удаляются сочинять мировое соглашение, остается только сочувствующая герою девушка — помощница адвоката (Амелия Риттер) и подводит итог: «Марк, не думай, что ты подонок. Ты просто хочешь им казаться». Зритель охотно с ней соглашается. Тем более что, оставшись в одиночестве, Марк трогательно заходит в «Facebook» на страницу так и не простившей его Эрики и снова и снова жмет кнопку: «Добавь меня в друзья!»... Бедный, маленький!

Ладно, хорошо, он — не подонок... Но все-таки: кто же? Загадка кажется неразгаданной. Что им движет? Какая страсть, какое стремление, какая внутренняя энергия возносит его на вершину успеха? Уязвленное социальное честолюбие? — Да боже мой! Его карьера настолько головокружительна, что он мог бы сто раз утолить этот зуд. Любовь к Эрике? — Не смешите! Любви там никакой нет, а есть только мелкая жажда реванша: «Я тебе докажу! Еще приползешь!» — не слишком надежный рычаг, чтобы с его помощью удалось человеку перевернуть мир. Причина не совпадает со следствием. Фрагменты пазла не сходятся. Непонятно, почему именно этот обуянный мелкими страстишками прыщавый задрот создал нечто, от чего тащится четырнадцатая часть человечества.

Остается предположить, что всеми действиями героя руководят не индивидуальные фрустрации и желания, но исключительно сам «Facebook». Необходимость появления этой штуки на свет и неизбежность ее стремительного расползания по планете. Марк — медиум, человек-аттрактор, который поймал волну и уловил тренд. Его ведет интуиция: «Во! Всем нужно именно это!» Недаром последний пуант, самая сладкая фишка «Facebook» — «статус отношений» («женат», «замужем», «занят», «хочу встречаться»...) — рождается в момент необязательного трепа с каким-то студентом, который интересуется у Марка: встречается ли с кем-то некая совершенно посторонняя Марку девушка. Герой вдруг подскакивает, как ужаленный, посреди разговора, несется в шлепках на босу ногу по снегу к себе в общагу, добавляет в аккаунт сети ключевую опцию и... запускает «Facebook». А запустив, молча раскачивается в отключке. «Ты что, молишься?» — спрашивает растерянный Эдуардо.

«Facebook» для Марка не средство — прославиться, срубить бабла, кому-то что-то там доказать. Это его внутренний Даймон (в сократовском смысле), которому он служит, к которому неустанно прислушивается. Не случайно все поступки героя, более чем сомнительные с точки зрения закона, нравственности и житейского здравого смысла, абсолютно безошибочны с точки зрения интересов «Facebook».

Итак, перед нами злобный, мстительный, отвязный, одинокий, наглый, упертый, отвергающий любые авторитеты, бесстрашный, искренний, фанатично преданный своей миссии гениальный придурок, через которого новая реальность рождается в мир. Он прежде всего — «раб лампы», служитель джинна, выпущенного им из бутылки, а лохмотья мелких страстей, в которые его обряжают создатели фильма, — не более чем маскарад, призванный сделать его в глазах зрителя чуть более человечным.

И слава богу, потому что при взгляде на реального Марка Цукерберга (его видео можно найти в Сети) вообще отвисает челюсть. Золотоволосый Аполлон с правильными чертами стертого, абсолютно ничего не выражающего лица — лица полубога или дебила. Что о нем можно сказать? По двадцать часов он проводит в офисе. В квартире у него — только матрас на полу и даже нет Интернета. В 26 лет — занимает 29-ю строчку в списке миллиардеров «Форбс». Его «Facebook» давно обставил все существовавшие ранее социальные сети и по количеству пользователей скоро обставит «Google». Кто он такой? Что творится в его черепной коробке?

Пожалуй, единственный адекватный ответ на этот вопрос дает разработанный им аккаунт «Facebook». Для регистрации нужны: имя, фамилия, фотка и адрес

электронной почты, автоматически выводящий список контактов, обозначаемых как «друзья»... Все. Остальное — образование, религиозная принадлежность, политические пристрастия, интересы, хобби и даже волшебный «статус отношений» — это факультативная информация; можно сообщать, можно не сообщать. «Facebook» — пустая универсальная упаковка, которая годится абсолютно для всех, куда можно упихать любое «я», с тем чтобы выложить его на прилавок в глобальном супермаркете Всемирной сети. И на любое «я» здесь тут же находится спрос. Никто не уходит обиженным. Пространство «Facebook» удивительно толерантно. Здесь нет врагов, есть только «друзья». Есть опция «мне нравится», и нет кнопки «не нравится». Здесь нет ограничений, иерархии, нет деления на интеллектуалов и быдло, нет никаких препятствий для того, чтобы каждый, встав на табуретку, мог публично заявить о себе.

Это же счастье! Еще совсем недавно, в конце прошлого века — вспомним хотя бы «Бойцовский клуб» того же Дэвида Финчера (1999 г.), — одиночество, анонимность, унификация жизни «офисного планктона» казались совершенно неразрешимой проблемой. Взбесившиеся клерки в «Бойцовском клубе» были готовы отчаянно квасить друг другу носы и сбиваться в фашистские стаи, только бы почувствовать себя живыми и ощутить рядом плечо или локоть друга. И вот все волшебным образом изменилось. Мириады одиноких человечко-муравьев теперь мирно копошатся в «Facebook». Социальная сеть дает им шанс обрести голос, лицо, бесчисленных «друзей» и уютную нишу существования, где не отделено друг от друга виртуальное и реальное, приватное и публичное, высокое и низкое и где неустанное мышье шуршание жизни исправно превращается в терабайты информации, поднимающейся куда-то вверх и греющей ноосферу.

К чему это приведет, не знает никто. Все меняется слишком быстро. Похоже, мы приближаемся к точке бифуркации, где уже не работает классический детерминизм. Где развиваются процессы, описываемые теорией хаоса, и взмах крыльев бабочки или случайная ссора в кафе могут радикально изменить облик цивилизации. Единственное, что про это будущее можно сказать, вглядываясь в загадочные черты одного из его творцов, — это то, чего там точно не будет.

В психическом складе экранного Марка Цукерберга (да и реального, я думаю, тоже) отсутствует все то, что лежало в основе цивилизационного созидания эпохи модерна. Он действует, не имея никакого грандиозного утопического проекта, просто всасывая идеи из воздуха. У него нет даже тени высокого пафоса: «Обнимитесь, миллионы!»; он вообще про это не думает, хотя именно эту затею и воплощает. В его внутреннем мире отсутствует вбитое палочным воспитанием «супер-эго» — ощущение: это неприлично, некрасиво, неудобно, неправильно; функции ограничителей выполняют исключительно внешние институты. И главное, он питается информацией и энергией, идущими не сверху вниз, от просвещенных жрецов — к бессловесным массам, но поднимающимися снизу, от этой самой, обретшей его попечением голос, массы мыслящего планктона.

Трудно даже вообразить, во что превратят наш мир подобные люди. Остается лишь запастись попкорном и наблюдать.

---

## ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ: НАУКА БУДУЩЕГО

### О ПРЕДСКАЗАНИИ

#### **О** завтрашнем морском сражении

Наука всегда предсказывает будущее. И не только потому, что ничего интереснее для человека, видимо, нет, но и из собственных внутренних потребностей: один из главных признаков корректной теории — это способность предсказать исход эксперимента, который еще не поставлен, или результат наблюдения, которое еще не проводилось. Если эксперимент подтверждает *предсказание* теории, то такая теория может претендовать на верное описание действительности, а если нет,

то она будет поставлена под сомнение. Любая теория суть предсказание, а математика — «самая надежная форма пророчества».

Все это так. Но человек пытается заглядывать и в то будущее, которое надежными теориями не описывается. И наука будущего будет постоянно обращаться к самым разным формам рациональных предсказаний и будет разрабатывать методы таких прогнозов. Но как раз для научного, логического мышления будущее — довольно трудное поле исследования. Во-первых, его еще нет, а во-вторых, оно зависит от настоящего, в частности от решения и выбора человека. Будущее — это территория свободы и случайности, хотя и не все будущее таково.

То, что высказывания о будущем следуют логике, принципиально отличной от логики высказываний о прошлом и настоящем, четко показал Аристотель. В своем знаменитом сочинении «Об истолковании» первый в истории логик пишет: «Итак, сущее, когда оно есть, необходимо есть; точно так же и не-сущее, когда его нет, необходимо не есть; однако не все сущее необходимо есть, как и не все не-сущее необходимо не есть, ибо не одно и то же [сказать], что все сущее, когда оно есть, необходимо есть, или [сказать], что оно безусловно необходимо есть»<sup>1</sup>. Аристотель имеет в виду следующее: если мы наблюдаем некое событие в настоящем или знаем о нем как о произошедшем в прошлом, мы можем уверенно сказать: оно есть. И это высказывание необходимо истинно. Если мы заведомо знаем, что это событие никогда не происходило, то высказывание «оно есть» — столь же необходимо ложно. То есть всякое высказывание о прошлом или настоящем подчиняется закону исключенного третьего — оно либо истинно, либо ложно. И если оно истинно, то ложно его отрицание. Мало того — не все, что «необходимо есть», «безусловно необходимо есть»: оно есть, от этого никуда не денешься, но дело в том, что его могло и не быть.

А вот с будущим все совсем не так: «... все необходимо есть или не есть, а также будет или не будет; но нельзя утверждать отдельно, что то необходимо или другое необходимо. Я имею в виду, например, что завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо не произойдет; необходимо только то, что оно произойдет или не произойдет. <...> Это бывает именно с тем, что не всегда есть или не всегда не есть. В этом случае один член противоречия хотя и необходимо истинен или ложен, однако не [определенно] вот этот или вот этот, а как случится, и хотя один из них, [быть может], более истинен, чем другой, но не немедленно истинен или немедленно ложен»<sup>2</sup>.

Мысль Аристотеля вполне ясна: анализируя высказывание о будущем событии, например о завтрашнем морском сражении, мы не можем с необходимостью утверждать, что оно будет, и точно так же не можем с необходимостью утверждать, что его не будет<sup>3</sup>. Единственное, что мы можем сказать: одно из этих утверждений завтра окажется истинным. На самом деле это совсем не мало. Например, потому что мы допускаем оба исхода, то есть не считаем невозможным ни то, что это событие произойдет, ни то, что оно не произойдет. То есть, говоря современным языком, мы приписываем наступлению события ненулевую вероятность. И Аристотель, говоря, что одно из высказываний — утверждающее или отрицающее наступление события — «более истинно», чем другое, фактически вводит некоторую качественную меру «истинности». При любом высказывании о будущем мы и оперируем этой мерой истинности или вероятностью.

### О случайных встречах

Сравнительно давно мы с моим старинным товарищем Михаилом Бутовым заглянули разговор о вероятности. Тема нас обоих живо интересовала, а мы были более молоды и менее ленивы, и поэтому, вместо того чтобы в охотку поговорить и напро-

<sup>1</sup> А р и с т о т е л ь. Об истолковании. Глава 9. — Сочинения в 4-х томах, т. 2. М., «Мысль», 1978, стр. 102.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Аристотель обосновывает это тем, что в противном случае мы оказываемся в детерминированном мире, в мире, где нет места никакой случайности и будущее однозначно определено, а это — с точки зрения Аристотеля — не соответствует действительности.

забыть обсуждаемую тему, мы обменялись письмами. Благодаря этой переписке разговор сохранился, и я его здесь приведу с любезного согласия моего адресата.

*М. Б.:* В 12:00 я сажусь в микрорайоне Матвеевское в маршрутное такси, чтобы ехать на работу. У меня насморк, откуда машина движется по Кутузовскому проспекту, я периодически издаю характерные звуки в носовой платок. И замечаю косяк взгляд женщины лет сорока пяти, которой я со своей болезнью явно неприятен. Женщину эту я никогда раньше не видел или, во всяком случае, не обращал на нее внимания. Она мне никого не напоминает. Ее лицо мне не интересно. Судя по вопросам, которые она задает водителю, она едет этим маршрутом в первый раз — то есть не живет в нашем микрорайоне и не работает. В 18:00, после работы, я, что делаю отнюдь не каждый день и без какой-либо регулярности, захожу в обменный пункт в районе Пушкинской площади и обнаруживаю в очереди одного человека — ту самую женщину, с которой шесть часов назад ехал в маршрутке.

Как сказал бы поклонник Борхеса, все мы являемся персонажами и идем по пересечениям сплетаемого кем-то сюжета в книге, буквы которой слишком велики, чтобы нам под силу было ее прочитать. Как сказал бы последователь Кастанеды, порою нам посылаются помощники, но только проникнувший на другую сторону вещей умеет распознавать их и пользоваться их помощью. Если уж я ничего не могу извлечь из этого случая, возьму его, чтобы поразмыслить над особенностями самого понятия — как строгого, так и бытового — вероятности, и может быть, нам удастся несколько прояснить заключенные, на мой взгляд, в нем странности.

Собственно, обыденное это событие или исключительное? Обыденное. Как встреча знакомого в метро. Что-то подобное происходит с нами каждый день. И исключительное совершенно. Потому что если посчитать его вероятность имеющимися математическими методами, она очевидно окажется весьма мала. Но можно ли ее вообще посчитать?

Я знаю три интерпретации вероятности. Классическую: Лаплас определяет вероятность как «отношение числа случаев благоприятствующих к числу всех возможных случаев». Статистическую: вероятность есть предел относительной частоты события при большом числе испытаний. И логическую: вероятность как степень разумной веры, которую мы приписываем высказыванию при точно фиксированных данных.

Можем ли мы оценивать наше событие инструментом логической вероятности, отражающим не связь между объектами и объектами, а связь между объектами и высказываниями о них? На данной стадии рассуждения, полагаю, нет. Точно неприменим статистический подход, поскольку он имеет дело с коллективами испытаний, а у нас событие единичное. Остается первый вариант.

Из соображений симметрии, как в случае игрального кубика, в принципе мы в состоянии вычислить, предварительно попытавшись восстановить или выдумав жизненные траектории встретившихся, вероятность совершения или несвершения каждого локального события в этих траекториях: с вероятностью  $1/10$  я попадал в этот обменный пункт — поскольку рядом девять других совершенно таких же; а тому, что женщина окажется в том же пункте в данный день, вероятность была  $1/3$ , поскольку она меняет деньги всегда там, но раз в три дня — и так далее. Тут, однако, маячит тень дурной бесконечности. Ибо непонятно, с чего следует начинать считать, от какого первичного события ветвится дерево равновероятных исходов? С того момента, когда я обратил на женщину внимание? Но не потеряется ли тогда львиная доля случайности — ведь мы как бы примем тем самым, что именно в этой маршрутке именно в это время и в этот день попутчица моя оказалась с абсолютной необходимостью.

*В. Г.:* Нет, не потеряется. Удивительным или исключительным событием является только вторая встреча. В первой встрече с этой женщиной ничего странного, конечно, нет. Если бы вторая встреча не произошла, ты непременно забыл бы об этой женщине. Мало ли людей, которых мы встречаем в течение дня и которые, по тем или иным причинам, задевают наше внимание. Как правило, эти случайные встречи мгновенно забываются. На месте встреченной тобой женщины мог быть кто-то другой. В твоей маршрутке ехало еще человек десять, хотя ты и никого из них не запомнил. Вторая встреча отбросила на первую обратный свет, разбудила память. Чисто формально описанное тобой событие сводится к следующему:

две встречи в течение одного дня с одним и тем же незнакомым человеком. Причем это не заранее выбранный человек, а случайный, то есть любой запомнившийся. При такой постановке вопроса событие перестает казаться чем-то из ряда вон выходящим, хотя и остается довольно редким. Такое происходит не каждый день.

Как можно хотя бы чисто качественно оценить вероятность этого события? Для этого действительно нужно «попытаться восстановить или выдумать жизненные траектории», поскольку всякая встреча и есть зарегистрированное пересечение траекторий движения. Хотя у тебя и был насморк, ты вел себя совершенно стандартно, то есть описывал типичную для себя траекторию. Вообще местоположению в данный момент времени можно вполне разумно приписать некоторую вероятность. Например, для тебя куда более вероятно находиться на Пушкинской площади, чем на набережной Помпано-Бич, хотя и во втором случае вероятность не равна нулю. С очень высокой степенью вероятности в будни в час дня ты будешь находиться в редакции, а в час ночи — дома. Если каждой точке города и каждому моменту суток мы припишем вероятность твоего нахождения в ней и сделаем это не произвольно, а исходя из накопленного опыта, из довольно большого набора испытаний, мы получим распределение вероятности, которое почти наверняка будет Гауссовым или нормальным. То есть: найдется совсем немного мест, где ты находишься с высокой вероятностью, и все остальное пространство, где вероятность встретить тебя мала или даже стремится к нулю. Человек не мечется по пространству, равновероятно возникая в произвольной точке, а совершает плавные, медленные и непрерывные перемещения по годами затверженным маршрутам. Дом — маршрутка — метро — работа — метро — маршрутка — дом, примерно в одни и те же часы дня, дни недели. Исключением как раз является, когда это не так, когда человек, ложась в постель в четверг вечером, просыпается в субботу утром под насыпью города Наро-Фоминска. Если встреченная тобой дама нормальный (по Гауссу) человек, то все сказанное относится и к ней. Вероятность вашей второй встречи будет равна произведению функций распределения твоей и ее (поскольку здесь мы имеем дело с независимыми событиями — вы не стоваривались), и может оказаться, что эта вероятность не очень-то и мала. Притом что ваша первая встреча действительно имеет место как абсолютная необходимость, как вчерашний дождь, ваша вторая встреча — связана с первой условной вероятностью, которая только повышает вероятность второй. Видно это, например, из того, что вы оба оказались в Москве, на «Киевской» в одно и то же время.

*М. Б.:* Вот здесь, как мне кажется, у меня начинает разваливаться сам вопрос, который я попытался поставить. И это можно было предвидеть, уже когда я перечислял интерпретации понятия вероятности. Дело в том, что все они имеют отношение к событиям, заранее спрогнозированным, и вероятность раскрывается как бы в узкие рамки будущего. Мы бросаем кубик — и уверены, что выпадет одна из шести цифр, а не крокодил. Мы ставим тысячу опытов — и знаем, что в каждом либо найдем, либо не найдем след элементарной частицы в установленной зоне камеры Вильсона и уж точно не рассчитываем, что электрон начнет исполнять нам фокстрот. Мы заключаем пари пять к одному за то, что завтра будет дождь, — потому что ожидаем дождя. Не станешь ведь держать пари о дожде, который, совершенно неожиданно, пролился вчера.

*В. Г.:* Любое вероятностное утверждение относится к спрогнозированному будущему или к вероятностному пространству, элементами которого являются случайные величины, да к тому же и поведение этой случайной величины описывается ее функцией распределения — например распределением Гаусса. Мы уверены, что при бросании кубика выпадет число от 1 до 6, потому что мы бросаем кубик, а не тетраэдр. Мы уверены, что электрон не будет танцевать фокстрот, потому что перед нами камера Вильсона, а не конкурс бальных танцев. Мы заключаем пари о дожде, а не о манне небесной, потому что таков наш опыт наблюдений за погодой. Наши ожидания определены четко очерченными условиями испытаний. Но представим, что перед нами многогранник неизвестной нам природы, мы не знаем, какие у него грани, не знаем, из какого он материала и где у него находится центр тяжести. При его первом бросании мы ничего не ждем, мы не можем даже предположить, какая выпадет грань. Такие задачи как раз и решает статистика. Она регистрирует результаты опытов и пытается построить распределение, которое описало бы ожидаемые вероятности событий. После многих тысяч бросаний мы можем выяснить,

что скорее всего перед нами кубик и вероятность выпадения одного из 6 чисел близка к  $1/6$ . Если мы доверяем статистическому опыту, то сможем использовать наш многогранник для игры в кости.

*М. Б.:* В случае моей встречи, даже если бы я смог определить, зафиксировать точку, укоренить в ней дерево, — значение вероятности, которое я в итоге получу, опишет такую ситуацию, как если бы я в этой точке задался вопросом, какие у меня шансы столкнуться с тем-то тогда-то и там-то. То есть все будто по второму разу проигрывается. И эта вероятность справедливо мала.

*В. Г.:* Верно, мала. Но это совсем другая история. Если бы ты задался вопросом: «А встречу ли я эту именно женщину сегодня еще раз?», вероятность этой второй встречи в момент первой была очень невелика, потому что в этом случае из множества возможных «вторых» встреч ты бы выбрал аккуратное подмножество ровно из одной.

*М. Б.:* Но мне представляется, тут большое отличие от настоящего положения дел.

Поставив себе целью в течение, скажем, года, не подгадывая место и время, наскочить на Вову Губайловского в метро — поставив своего рода вероятностную задачу, — можно быть уверенным, что, в полном соответствии с предварительным расчетом, этого не случится. Стоит о Вове забыть — и вот он, пожалуйста.

*В. Г.:* У Кортасара есть рассказ, который имеет к нашему разговору о случайных встречах самое непосредственное отношение. Юноша дает себе зарок, что он женится только на той девушке, которую он встретит в метро и которая сойдет на той же станции, что и он. Но он встречает девушку совсем не в метро и влюбляется в нее, она тоже его любит. Юноша рассказывает ей о своей клятве. Тогда влюбленные начинают целыми сутками ездить в метро. Рассказ заканчивается тем, что они сидят в вагоне друг напротив друга и не знают, до одной ли станции они сейчас едут. Какова вероятность того, что влюбленные все-таки будут счастливы? На первый взгляд она ничтожно мала. Но только на первый. По уговору они должны выбрать маршрут до того, как войдут в метро, но больше никаких ограничений нет. Встретившись в первый раз, они почти наверняка разминутся, но также наверняка они поедут снова по той же линии в то же время. Один из них, тот, кто вышел позднее, будет после первой встречи точно знать, где сошел другой, и тому просто достаточно будет повторить свой маршрут. Может быть, им что-то помешает встретиться во второй раз в том же месте, но их маршруты будут неизбежно и очень быстро сближаться, то есть их поиск приобретет не случайный, а кумулятивный характер, и это обязательно произойдет, потому что они знают конечную, телеологическую причину своих случайных блужданий. Поставив перед собой задачу встретить кого-то в метро, ты сразу резко повысишь вероятность этой встречи за счет того, в частности, что при непрерывном сканировании лиц, скользящих мимо тебя в толпе, лицо искомого человека будет проверяться на сходство первым, тебя будет «раз сто в течение дня <...> на сходствах ловить улица» (Пастернак), ты будешь ошибаться, но если встретишь того, кого ищешь, он не пройдет мимо тебя незамеченным.

*М. Б.:* Имеем ли мы вообще право говорить на вероятностном языке о событиях неожиданных и произошедших единожды?

*В. Г.:* Ты уже говоришь об этих событиях на вероятностном языке. Неожиданный — это, другими словами, маловероятный, по сравнению с более вероятным — ожидаемым. О событиях, произошедших однажды, естественно, вероятность ничего сказать не может, поскольку, по определению, имеет дело не с единичными событиями, а с ансамблями. Теория вероятностей, как и всякая другая математическая дисциплина, идеализирует, огрубляет действительность, и здесь, видимо, следует начать говорить о событиях маловероятных, но имеющих очень серьезные последствия, — о точках бифуркации, о распределениях, существенно отличных от Гауссова, о неравновесной термодинамике, о синергетике. Но есть и другой момент — событие может только казаться «произошедшим единожды», на самом деле это событие может быть всего лишь одним из элементов некоторого вероятностного пространства. Например, пространства всех кратных случайных встреч в городе Москве. Ты же говоришь: «Собственно, обыденное это событие или исключительное? Обыденное. Как встреча знакомого в метро. Что-то подобное происходит с нами каждый день». В этом пространстве и происходит случайное событие, которое мы обсуждаем. И тогда можно

очень многое посчитать, и как это примерно можно делать, учитывая вероятностные распределения, описывающие траектории горожан, мы уже обсуждали.

*М. Б.:* И только ли в языке дело? Не размещаю ли я себя, в зависимости от постановки или непостановки задачи о Воле Губайловском, на существенно различных полях событий?

*В. Г.:* Да, размещаешь, да, одним этим своим намерением ты изменяешь окружающий тебя мир, поскольку предсказание события увеличивает вероятность его наступления. Это утверждение, естественно, нужно доказывать, но некоторые очевидные соображения можно привести сразу (а некоторые мы уже привели). Если я хочу пить, то я могу предсказать, что сейчас я встану, налью воды в стакан и сделаю глоток, и это с очень высокой вероятностью так и будет. Но если я сообщу тебе, что с понедельника я буду вести исключительно трезвый образ жизни, ты, обладая достаточным опытом общения со мной, отнесешься к этому заявлению с изрядным скепсисом, то есть вероятность этого события незначительна, но она тем не менее станет выше, чем была до моего торжественного заявления. В тех случаях, когда наступление события напрямую зависит от нашего решения, утверждение о повышении вероятности вполне очевидно. Но мы молчаливо предполагаем, что так бывает не всегда, что есть случаи — и их подавляющее большинство, — когда мы ничего не в силах изменить, когда событие имеет абсолютно объективный характер и зависит только от законов мироздания, от фатума, от необходимости и мы совершенно не можем повлиять на вероятность его наступления. Оно неотвратимо или невозможно. Но как только мы попытаемся привести пример абсолютно объективного события, то есть такого, на которое мы не можем ни при каких обстоятельствах оказать воздействие, встретятся неожиданные трудности. Событие, на которое мы принципиально не можем оказать никакого влияния, должно происходить в некотором параллельном мире. Таким миром казалась природа (субстанция) в девятнадцатом веке. Человек — субъект — выступал в качестве чистого приемника информации, а его обратное воздействие казалось пренебрежимо малым. Двадцатый век пришел к выводу, что это, по-видимому, не так, что человек влияет на окружающий его мир настолько сильно, что понятие «окружающая среда» становится некорректным, среда не окружает, а включает в себя субъект как важнейшую составляющую, и даже небольшие изменения в субъекте могут привести к самым серьезным последствиям. Я хочу сказать здесь не столько о флуктуациях на уровне микромира, которые могут привести к реакции на макроуровне, а о принципиальной неразделимости субъекта и объекта, о монизме уайтхедовского типа.

Разговор о вероятности прервался на самом интересном месте. Но, может быть (с отличной от нуля вероятностью), мы к нему еще вернемся.

### Методы научного прогноза

В двух своих колонках я уже обращался к теме рационального предсказания — долгосрочного прогноза погоды<sup>4</sup> и оценке роста народонаселения Земли<sup>5</sup>, но это далеко не все области, где используется научное прогнозирование. И я намерен к этой теме вернуться, чтобы поговорить о том, насколько мы далеко сегодня можем заглянуть в будущее и насколько это будущее зависит от нашей способности его увидеть.



<sup>4</sup> См.: В л а д и м и р Г у б а й л о в с к и й. Наука будущего. Жаркое лето 2010 года. — «Новый мир», 2010, № 9.

<sup>5</sup> См.: В л а д и м и р Г у б а й л о в с к и й. Наука будущего. В поисках разума. — «Новый мир», 2010, № 11.



## КНИГИ



**Алексей Алехин.** Голыми глазами. М., «АСТ»; «Астрель», 2010, 416 стр., 3000 экз.

Путевая проза (или все-таки поэзия?) Алексея Алехина — собрание текстов, зачатых автором в своих путешествиях по Китаю, Турции, Греции, Польше, Америке, Германии, европейской и сибирской России, Англии т. д. При жанровой пестроте текстов (от путевого эссе до белого стиха) и разным времени их написания (от 1970-х до 2000-х) повествование воспринимается целостным и по стилю и по интонации. Отдельные части этого повествования публиковались Алехиным в виде самостоятельных книг или законченных журнальных циклов (см., например, «Письма из Поднебесной» — «Новый мир», 1995, № 2).

Цитаты: «Эхил» — «Развалины. / В амфитреатре та же пьеса. / Цикады. Хор...»; «Губернский город N» — «Провинциальный ампир в облупившихся деревянных колоннах. / Спорт-лото. Пиво-воды. Дискотека по субботам. / Просвечивающие светлокотие северянки. / Гостиница, где останавливался Чичиков».

**Михаил Загоскин.** Вечер на Хопре. Искуситель. М., «Сибирская Благовонница», 2011, 512 стр., 7000 экз.

Цикл повестей «Вечер на Хопре» одного из ведущих русских прозаиков первой половины XIX века Михаила Николаевича Загоскина (1789 — 1852), отца русского исторического романа, или, как называли его современники, — «русского Вальтера Скотта»; в книгу вошли повести «Вступление», «Пан Твардовский», «Белое привидение», «Нежданые гости», «Концерт бесов», «Две невестки», «Ночной поезд», «Искуситель».

**Илья Ильф, Евгений Петров.** Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска. 1001 день, или Новая Шахерезада. М., «Ломоносов», 2010, 184 стр., 2000 экз.

Книжное издание текстов, писавшихся Ильфом и Петровым для журнала «Чудак» в 1928 — 1929 годах; проиллюстрированы репринтными копиями страниц первых публикаций в «Чудаке» и сопровождаются предисловием Александры Ильф «Ф. Толстоевский = Ильф + Петров».

**Гай Валерий Катулл.** Стихотворения. М., «Текст», 2010, 448 стр., 2000 экз.  
Полное собрание текстов Катулла в переводе Максима Амелина.

**Айрис Мердок.** Генри и Катон. Роман. Перевод с английского Валерия Минушина. М., «Эксмо»; «Домино», 2010, 496 стр., 4000 экз.

Впервые на русском языке образчик позднего творчества Мердок — «история двух блудных сыновей: искусствовед Генри Маршалсон, вернувшись в Англию из многолетней американской „ссылки“, унаследовал после смерти брата, знаменитого автогонщика, фамильное имение; а его старый друг пастор Катон Форбс пытается совладать с двумя по-разному предосудительными страстями — к Богу, в существовании которого он не уверен, и к малолетнему преступнику, для которого еще, возможно, не все потеряно» (от издателя).

**Юкио Мисима.** Маркиза де Сад. Перевод с японского Григория Чхартишвили. М., «Эксмо»; «Домино», 2010, 176 стр., 5000 экз.

Юкио Мисима как драматург — пьесы «Маркиза де Сад» и «Мой друг Гитлер».

**Сомерсет Моэм.** Записные книжки. Перевод с английского Ларисы Беспаловой, И. Стам, Юлии Фокиной. М., «АСТ»; «Астрель», 2010, 448 стр., 3000 экз.

«Дневниковые записи великого английского писателя. Его остроумные максимы и ироничные афоризмы. Его впечатления от встреч с современниками — и наброски

будущих произведений. Его неожиданный, местами парадоксальный взгляд на классическую европейскую и русскую литературу — и его литературоведческие и критические очерки».

**Жорж Перек.** Жизнь способ употребления. Перевод с французского Валерия Кислова. СПб., 2009, «Издательство Ивана Лимбаха», 624 стр., 2000 экз.

Роман известного французского писателя Жоржа Перека (1936 — 1982), представляющий «полное и методичное описание парижского дома с населяющими его предметами и людьми — состоит из искусно выстроенной последовательности локальных „романов“, целой череды смешных и грустных, заурядных и экстравагантных историй, в которых причудливо переплетаются судьбы и переживаются экзотические приключения, мелкие происшествия, чудовищные преступления, курьезные случаи, детективные расследования, любовные драмы, комические совпадения, загадочные перевоплощения, роковые заблуждения, а еще маниакальные идеи и утопические прожекты» (от издателя). Также вышли книги: **Жорж Перек.** Исчезание. Перевод с французского Валерия Кислова. СПб., «Издательство Ивана Лимбаха», 2004, 400 стр., 3000 экз.; **Жорж Перек.** Человек, который спит. Перевод с французского Валерия Кислова. М., «Флюид / FreeFly», 2006, 128 стр., 3000 экз.

**Жозе Сарамаго.** Книга имен. Перевод с португальского А. Богдановского. М., СПб., «Эксмо»; «Домино», 2010, 304 стр., 5000 экз.

Впервые по-русски роман самого знаменитого португальца, нобелевского лауреата 1998 года Жозе Сарамаго (1922 — 2100) — «Герой „Книги имен“, служащий Главного архива записи актов гражданского состояния — архива настолько исполинского, что в нем можно заблудиться и пропасть без вести, — одержим единственной страстью: он собирает газетные вырезки, с помощью которых старается восстановить биографии ста знаменитых современников, но быстро убеждается, что каждый из них в той или иной мере скрывает правду о себе» (от издателя).

Также вышла книга: **Жозе Сарамаго.** Каин. Перевод с португальского А. Богдановского. М., СПб., «Эксмо»; «Домино», 2010, 240 стр., 5000 экз. (Последний, законченный незадолго до смерти (2009) роман Жозе Сарамаго.)

**Александр Сегень.** Поп. М., «Вече», 2010, 336 стр., 5000 экз.

Новая православная проза — в книгу вошли роман «Поп», «написанный по желанию и благословению незабвенного Патриарха Алексия II», описывающий судьбу православного священника в годы войны на оккупированных фашистами территориях; а также — цикл очерков «Преображение и другие православные праздники» («Преображение», «Успение», «Крестовоздвижение», «Покров», «Крещение», «Сретенье» и другие).

**Антон Уткин.** Самоучки. Роман. М., «АСТ»; «Астрель», 2010, 320 стр., 5000 экз.

Переиздание одной из лучших книг, написанных в 90-е годы о 90-х годах; первая публикация — в «Новом мире» (№ 12 за 1998 год).

**Исаак Шапиро.** Черемош. М., «Время», 2009, 240 стр., 1000 экз.

Позднесоветская, первоначально публиковавшаяся исключительно в русских эмигрантских журналах деревенская проза, сочетающая остроту социально-психологического письма с лиричностью и лукавством, свойственным западноукраинской литературной традиции. Временной охват рассказов Шапиро — от первых послевоенных лет (рассказ «Васылева гора» — о том, как пытался скрыться от «этих в шинелях» из НКВД восемнадцатилетний Василь из гуцульской деревни, несколько месяцев проживший Робинзоном на горе, и как потом мерили время односельчане годом его смерти) до времен «развитого социализма», тем не менее по-прежнему, как в «Живом» Бориса Можаява, требовавшего от деревенских жителей такой же изворотливости и повышенность жизнестойкости. Книгу составили две повести в рассказах: «Обгон по встречной полосе» (озорное повествование про трех сельских шоферов-колымщиков — «баламутов») и «Тодор Ткачук» (про одинокого деревенского мужика и про попытку его подрабывать сверх положенного колхознику нелегальной рыбалкой или вылавливанием бревен, оставшихся после сплава), а также нескольких отдельных рассказов.

«В современных условиях, когда процесс глобализации с жестокой закономерностью уничтожает саму основу славянских языков, особенно ценным видится насыщенность данной книги неподдельной, коренной лексикой Карпатского региона. Будучи музыкально точной, поэтически гибкой, певучей, эта диалектная речь, которой в совершенстве владеет автор, дарит понимающему читателю истинную отраду» (Марина Палей).

**Эдуард Шульман.** Яблоня любви, или Время полукровок. М., «Арт Хаус медиа», 2010, 192 стр., 650 экз.

К уже представленным нами в «Библиографических листках» (в № 11 за 2010 год) выпущенных издательством «Арт Хаус медиа» книгам прозы Эдуарда Шульмана издательство добавляет новую, составив, таким образом, малое собрание сочинений этого оригинального, но до сих пор ценившегося исключительно в кругу профессионалов прозаика.



**Лия Аветисян.** Вкус армянского гостеприимства. М., «Слово/Slovo», 2010, 360 стр., 5000 экз.

Свою страну, ее культуру, историю, пейзажи, а также кулинарию представляет публицист, поэт-переводчик Лия Аветисян.

Книга вышла в новой серии издательства «Слово» «Записная книжка путешественника». В этой же серии вышли: **Валерия Макаревич.** Любовь и морковь по-африкански. М., «Слово/Slovo», 2010, 344 стр., 5000 экз. (Взгляд на Африку из Южно-Африканской Республики, где живет последние годы автор.); **Елена Костюкович.** Вкус итальянского счастья. Дороги итальянского счастья. Комплект из 2-х книг. М., «Слово/Slovo», 2010, 760 стр., 5000 экз. (Об истории и культуре Италии (высокой и бытовой) с предисловием Умберто Эко.)

**Инна Барсова.** Симфонии Густава Малера. СПб., «Издательство имени Н. И. Новикова», 2010, 584 стр., 2000 экз.

Из классики отечественного музыковедения — монография Инны Алексеевны Барсовой. Второе издание, исправленное и дополненное (первое вышло в 1975 году).

**Чиано Галеаццо.** Дневник фашиста. 1939 — 1943. Перевод с итальянского. М., «Плац», 2010, 688 стр. 3000 экз.

Из истории итальянского фашизма — дневниковые записки министра иностранных дел Италии Чиано Галеаццо (1903 — 1944). Перевод с итальянского, которым воспользовались издатели, был сделан «спецпереводчиками» в начале 50-х годов для закрытого пользования советским руководством.

**Илья Кабаков, Михаил Эпштейн.** Каталог. Вологда, 2010, 242 стр., 1500 экз.

Книга, вышедшая в «Малой серии» «Библиотеки московского концептуализма Германа Титова»; диалог одного из ведущих русских филологов и культурологов, ныне американского профессора Михаила Эпштейна с самым, пожалуй, знаменитым сегодня в мире русским художником Ильей Кабаковым. Разговор их, судя по объему книги и по ее выстроенности (концептуальности — во всех отношениях), длился не час и не два. Вступительные фразы: «М. Э. Сегодня 9 июня 2009 года. Мы в Маттитике на Лонг-Айленде и начинаем нашу необычную энциклопедию — Ильи Кабакова». Жанр этой книги определен как «энциклопедия одного человека, его жизни и творчества». Словарные статьи, они же главы, образующие связный текст: «Комплекс неполноценности», «Этика», «Душа и душевность», «Одаренность», «Правила жизни», «Творческое общение», «Внешность», «Судьба», «Утопия» и т. д. (всего 51 «словарная статья»). Текст этот может читаться как исповедь-автопортрет Кабакова и, отчасти, Эпштейна и — как очередное художественное произведение Кабакова-концептуалиста (в соавторстве с Эпштейном), в котором он продолжает, в частности, свое художественное исследование взаимоотношений человека (в данном случае — художника, творца) и социума (по большей части советского).

Цитаты: из «Правил жизни»: «Первое правило — чтобы вообще не участвовать в этой жизни. Прожить жизнь так, чтобы вообще как бы не жить, хитрым способом уклониться от всего, что предлагает жизнь, причем во всех отношениях: и социальном, и психологическом, и семейном. То есть быть принципиальным уклонистом. Но остается физическое существование — еда, одежда, территория, дом, профессия. К каждому из этих элементов в отдельности, возможно, уже в детстве, во время жизни в общежитии отношение было глубоко паразитическим. Кто-то меня будет кормить, кто-то меня будет одевать, кто-то мне предоставит жилье. То есть ощущение законченного человека общежития с социально-гарантированной жизнью. <...> Что-то нужно отдать этой жизни, которая должна тебя обеспечивать едой, одеждой и помещением, и той жизни, которую я буду строить сам, без всех других...»; «У меня оказалось врожденное чувство ролевого

поведения. В зависимости от среды я невероятный хамелеон и приспособленец. Я ни на чем не настаиваю, потому что все мое „я” находится полностью в другой плоскости».

Из эссе «Скука, тоска и отчаяние»: «Скука — это переживание жизни. <...> я практикующий тип, который страшно скучает. С годами отчаяние от жизни, отвращение к ней все более и более увеличивается. Самая главная скука заключается в том, что я не профессионал, я не знаю, что делать на этом свете, то есть я могу выполнить кучу разных вещей, а лучше сказать, не могу не выполнить. Но какая-то трещина есть между существованием, бытием... Скука — это некоторая обязанность жить. Нужно все время оправдывать свою жизнь, наполнять ее чем-то, я никак не могу устроиться, чтобы просто жить».

**Александр Коржаков.** Человек, похожий на президента. М., «Эксмо»; «Алгоритм», 2010, 272 стр., 3500 экз.

Вторая книга бывшего начальника охраны Ельцина о своем патроне — первой была: **Александр Коржаков.** Борис Ельцин: от рассвета до заката (М., «Интербук», 1997).

**Ирина Левонтина.** Русский со словарем. М., «Азбуковник», 2010, 335 стр., 1000 экз.

«Книга лингвиста Ирины Левонтиной посвящена новым явлениям в русском языке, речи представителей разных поколений и социальных слоев, забавным случаям, связанным с проговорами политиков, „перлам” языка рекламы, — словом, живой жизни современного русского языка» (от издателя).

**Жан-Мишель Леньо.** Стиль модерн. Перевод с французского О. Е. Иванова. М., «Арт-Родник», 2010, 620 стр., 1000 экз.

Искусствоведческая монография о модерне с попыткой представить модерн во всем разнообразии его стилей («ар-нуво — во Франции, новое искусство — в Нидерландах и Бельгии, югендстиль и сецессион — в Центральной Европе, модернизм — в Испании и его эквивалент — модерн — в России» и т. д.).

**Литературная матрица. Учебник, написанный писателями.** В 2-х томах. Редакторы-составители В. Левенталь, С. Друговойко-Должанская, П. Крусанов. СПб., «Лимбус Пресс»; «Издательство К. Тублина», 2010, 1256 стр., 3000 экз.

Шаргунов — о Грибоедове, Петрушевская — о Пушкине, Битов — о Лермонтове, М. Шишкин — о Гончарове, Левкин — о Фете, Валерий Попов — о Толстом, Сенчин — о Леониде Андрееве, Быков — о Горьком, Садулаев — о Есенине, Гандлевский — о Бабеле, Славникова — о Набокове и т. д. Проект петербургских издательств, в котором приняли участие сорок известных современных писателей.

**Мераб Мамардашвили.** Классический и неклассический идеалы рациональности. СПб., «Азбука»; «Азбука-Аттикус», 2010, 288 стр., 4000 экз.

Первая книга из начатого издательством «Азбука» выпуска работ выдающегося философа XX века Мераба Константиновича Мамардашвили (1930 — 1990). «На примерах из физических и гуманитарных наук рассмотрены основные (имеющие философский характер) посылки и допущения, которые определяют как требования, предъявляемые к объективности научного анализа, так и возможности достижения такой объективности познающим субъектом. Проанализирована эволюция этого рода онтологических и эпистемологических представлений в XX веке, обусловленная новейшими открытиями в физике, в социальных теориях, в психологии и т. п. Основной задачей в работе явилось рассмотрение того, как в современной картине мира неклассически формулируется идеал рациональности нашего знания о мире» (от издателя). В книгу вошла также статья о Мамардашвили В. В. Калининко.

**Н. Н. Страхов в диалогах с современниками. Философия как культура понимания.** СПб., «Алетейя», 2010, 208 стр., 1000 экз.

Коллективная монография о Страхове как философе, в центре которой описание анализа концепции Страхова «понимающей философии» — название глав: «Понимающая философия Н. Н. Страхова», «Религиозные воззрения Н. Н. Страхова», «Переписка как исповедально-диалогическое пространство русской культуры», «Природа творческого мышления в переписке Толстого и Страхова», «Н. Н. Страхов и В. С. Соловьев: к истории полемики» и другие. Авторы: С. М. Климова (редактор-составитель, «Введение»), Е. А. Антонов, Н. П. Ильин, М. А. Маслин, И. А. Майданская, А. Д. Майданский, И. Ф. Салманова, В. А. Фатеев.

**Марина Цветаева — Борис Бессарабов.** Хроника 1921 года в документах. Дневники Ольги Бессарабовой (1915 — 1925). Составление Натальи Громовой. М., «Эллис Лак», 2010, 832 стр., 2500 экз.

«В книге приведены уникальные, ранее не публиковавшиеся материалы, в которых представлена культурная среда начала и середины XX века. В письмах и дневниках содержится рассказ о событиях в жизни Марины Цветаевой, Бориса Бессарабова, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Даниила Андреева, Бориса Зайцева, Константина Бальмонта, Льва Шестова, Павла Флоренского, Владимира Фаворского, Аллы Тарасовой, Игоря Ильинского и многих-многих других представителей русской интеллигенции» (от издателя).

Составитель **Сергей Костырко**

## ПЕРИОДИКА

«АПН», «Завтра», «Запасник», «Иерусалимский журнал», «Известия», «Итоги», «Культура», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Огонек», «Однако», «OpenSpace», «ПОЛИТ.РУ», «Правая.ru», «РИА Новости», «Российская газета», «Русский обозреватель», «The New Times / Новое время», «Частный корреспондент»

**Виктор Аксютин.** Синдром масонства. Всюду они. — «АПН», 2010, 6 октября <<http://www.apn.ru>>.

«<...> масонство — это форма болезни христианского сознания».

«Неискоренимое ощущение, что всем в мире правит нечто *таинственное*, а также извечная потребность человека в приобщении к *сверхъестественному* — неуничтожимы и могут реализовываться в различных формах даже тогда, когда в обществе господствует атмосфера отрицания самого и самого сверхъестественного — Божественного. Поэтому феномен масонства и появляется в Европе с атеистической эпохи Просвещения как *суррогат религиозности*».

«Таким образом, *масонофобия* — оборотная сторона масонства — является одной из форм *иллюзосозидающего сознания* — создал себе иллюзию, и на душе спокойнее. Современными формами *магически-терапевтических иллюзий* являются и представления о „Галактическом Совете“, который зрит на развитие человечества, периодически посылая пришельцев и „тарелки“, будучи готовым на смертельном витке „откорректировать“ земную цивилизацию. Этот диагноз можно установить и распространенному мнению о том, что планетой правит „Мировое правительство“, одной из акций которого является внедрение в России идентификационного кода. В подобных представлениях сказывается все то же стремление снять с себя ответственность за исторические свершения и внушить себе „индугенцию безгрешных“».

**Александрийские лишены, или Сбитая шкала русской поэзии.** Беседу вел Юрий Беликов. — «Литературная газета», 2010, № 44, 3 — 9 ноября <<http://www.lgz.ru>>.

Говорит **Марина Кудимова:** «Настоящий поэт работает на будущее. А шестидесятники выбрали путь отнюдь не легкий. Даже страшно тяжелый. Его можно определить двумя словами: „Здесь и сейчас“. Это труд, который и вознаграждается „здесь и сейчас“. <...> Более того, судьбы ранее ушедших это подтверждают. Сегодня никто не читает Роберта Рождественского. И трудно себе представить, что мы начнем его читать».

«Если говорить о Рубцове, это совершенно удивительный по интонации поэт, которому, на мой взгляд, не хватило судьбы, чтобы доразвиться, как и очень многим русским поэтам, умершим молодыми. Для культуры это — лишний вопросительный знак. И оно ведь зашкаливает, количество лишних вопросительных знаков».

**Юрий Богомолов.** Бродский. И так далее, и так далее... — «РИА Новости», 2010, 29 октября <<http://www.rian.ru>>.

«Кто смотрел на канале „Культура“ документальный мини-сериал „Бродский. Возвращение“, а еще раньше — „Прогулки с Бродским“, тот наверняка обратил внимание на вроде бы ничего не значащую, вроде бы пустую, но характерную для героя присказку: „И так далее, и так далее“. Она, как правило, следует за тем или иным рассуждением, смысл которого убегает за горизонт. Для нас он „убегает“. Для Бродского

он — рядом, он — с ним. Для него нет линии горизонта. Вернее, она есть, но она для него не преграда».

«„И т. д. и т. д.“ для Бродского — не просто отточие; это не знак препинания, это скорее знак открытости, бескрайности, в том числе и мысли. А образ бескрайности и глубины для него — вода (чтобы сбавить пафос, он ее называет „водичкой“). И вообще для него два самых великих шоу — вода и плывущие облака, которыми он готов бесконечно наслаждаться. И так далее и так далее».

**Дмитрий Быков.** Трезвый Есенин. — «Известия», 2010, на сайте — 1 октября <<http://www.izvestia.ru>>.

«<...> лучшее из написанного им сегодня почти никому не известно, а чтут, цитируют и до сих пор поют на свадьбах то, что написал безнадежный алкоголик в состоянии прогрессирующей деградации».

«Настоящий Есенин — это „Инония“, „Сорокоуст“, „Пантократор“, „Кобыльи корабли“, „Иорданская голубица“, „Октоих“, „Небесный барабанщик“: гениальные стихи 1918 — 1922 годов — все, вплоть до „Исповеди хулигана“, до „Пугачева“ и „Страны негодяев“. Прав Вл. Новиков: одна из главных бед Есенина — то, что его присвоили архаисты, консерваторы, ностальгирующие почвенники, тогда как по духу он авангардист, новатор, стих его революционен, и Маяковский не зря чувствовал в нем брата и единомышленника, предрекая, что он стремительно сбросит маскарадный костюм сельского пастушка, повторяющего „по-исконному, по-посконному“ — „голосом, каким могло бы заговорить ожившее лампадное масло“. Есенин был модернистом еще и поистовой Маяковского — стоит перечитать „Железный Миргород“ или „Ключи Марии“. Но кто сегодня помнит его великие тексты первых пореволюционных лет?»

«А тем трезвым людям, которые здесь остались, позвольте любить настоящего Есенина — трезвого, сильного, авангардного русского поэта. „Проведите, проведите меня к нему“. Уберите вашего сусального алкоголика — я не хочу видеть этого человека».

**Александр Генис.** Карандашу. — «Новая газета», 2010, № 109, 1 октября <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«По-моему, читать без карандаша — все равно что выпивать с немymi. (Однажды я стал свидетелем их сабантуя, который кончился тихой дракой.) Карандаш выравнивает ситуацию в отношениях с книгой. Нам он возвращает голос, ей напоминает, кто — хозяин. Поэтому книга и должна быть своей: чужую надо возвращать и стыдно пачкать. Карандашную пометку, конечно, можно стереть резинкой, но делать этого ни в коем случае не следует. Библиотекой надо не владеть, а пользоваться — чего бы ей это ни стоило».

«Найти подтверждение своей мысли у автора — значит не ценить ни себя, ни его. Мы для того и читаем, чтобы столкнуться с непредсказуемым».

**Гражданин Альп.** Беседу вел Евгений Белжеларский. — «Итоги», 2010, № 40 <<http://www.itogi.ru>>.

Говорит **Михаил Шишкин**: «Я себе все доказал, когда поставил точку на последней странице. И если бы роман не напечатали и он не получил бы никаких премий — это все равно был бы мой успех. Я ни в какой гонке с самим собой не участвую. И следующий роман приходит не для участия в соревновании, а потому, что накапливаются слова, опыт, люди, утраты. Роман — это мой способ прохождения жизни. Почему книга растет во мне пять лет, а не три или десять? Сам толком не понимаю. Может, просто у каждого живого существа есть своя природная продолжительность жизни — вот и моя книга живет во мне пять лет».

«Если бы не продали ни одного экземпляра „Измаила“, я бы все равно написал „Венерин волос“, а теперь „Письмовник“».

«Я сейчас ездил по Вологодскому краю, встречался с библиотекарями, учителями — они стонут от того, что им предлагает книготорговля, но в Москву за интеллектуальной книгой не каждый может поехать».

**Дмитрий Данилов.** Не хочу быть штамповщиком однообразных текстов. Беседу вел Сергей Шаповал. — «Культура», 2010, № 38, 7 — 13 октября <<http://www.kultura-portal.ru>>.

«Тут у меня подход двоякий. Если речь идет о чужих произведениях, я готов „записать в литературу“ любой текст, автор которого считает себя писателем или поэтом. Если человек считает, что он создает литературу, я готов с ним согласиться. Правда, дальше я вправе сказать, что эта литература неинтересна, вторична и т. д. Но мне кажется, нельзя отказывать человеку в праве сказать: я — писатель. Другое дело, что мне интересно как

человеку пишущему. Я в литературе не очень ценю сюжет. Мне не очень интересны яркие образы, которые может вылепить автор. Остаюсь равнодушным к насыщенности произведения мыслями и идеями. Мне кажется, если у человека много идей, которыми он хочет поделиться с миром, ему надо либо написать философский трактат, либо заняться публицистикой. По-моему, задачей литературного письма является описание, а не высказывание идей. Мне интересно описать какой-то кусок реальности, при этом я не исключаю, что читатель там может найти некие идеи».

«По учению православной аскетике одной из восьми главных страстей является тщеславие. Эта страсть свойственна мне в очень большой степени. В процессе обдумывания и написания текста я, конечно, о читателе стараюсь не думать, но в принципе читатель для меня важен. Я слежу за реакцией на мои тексты, даже, что греха таить, периодически в Яндексe набираю свою фамилию».

**Достоевский отдыхает.** Кто придумывает новые русские слова. Беседу вела Елена Новоселова. — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2010, № 249, 3 ноября <<http://rg.ru>>.

Говорит лингвист **Ирина Левонтина**: «Язык надо не охранять, а любить. Не думаю, что русский портится, он развивается. Сейчас, может быть, быстрее, чем в какие-то другие периоды, но это потому, что жизнь изменилась очень сильно. Не только вещи, но и идеи. <...> А что касается ошибок, то ведь все новое в языке сначала возникает как ошибка, отступление от нормы. <...> Бесконечно бороться с народным словоупотреблением невозможно: у представителей образованных слоев нет монополии на язык».

«Это очень важная вещь, где находится творческая лаборатория языка. В XIX веке — в первую очередь в литературе. Огромное количество новых слов ввел в моду Белинский, например „субъективный“ и „объективный“. А как над ним смеялись! Так сейчас не смеются даже над теми, кто говорит про „мерчендайзинг“. Ничего, он был человек упорный, и смыслы эти были нужны, поэтому слова прижились. Другой пример: слово „надрыв“ в смысле психологического состояния. „Русский надрыв“, „с надрывом говорить“. Его ввел Достоевский как одно из ключевых слов в романе „Братья Карамазовы“. Конечно, писатели работают над языком и сейчас, но более эффективно воздействуют на него совсем другие люди. Из сферы рекламы».

**Даниил Дондурей.** Человека забыли! — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2010, № 249, 3 ноября.

«Культура практически никогда не упоминается у нас ни в каком объяснительном контексте жизни. Исключительно как отрасль или тема ритуального поклонения, она не рассматривается ни как производство и распространение смыслов, ни как ответственная мотивационная сфера, ни как передача памяти или запретов; ни как регулятор человеческого общежития. Как система содержательных кодов, она теперь совсем отсутствует в поле актуальности».

«Для будущего нужен существенный процент создателей (актеров), а не только удовлетворенных потребителей услуг. По мнению экспертов, грядущие противостояния вообще будут гуманитарными войнами за смыслы, а основным творчеством станет создание жизнеспособных картин мира у миллионов».

«Дело совсем не в том, что две трети нынешнего телесодержания — развлечения, а в том, что сидящие у экранов люди по прошлогодним опросам „Гэллап Медиа“ хотят... еще больше развлечений».

**Александр Иличевский.** «То, что происходит в провинции, — фантастика». Беседу вела Евгения Лавут. — «OpenSpace», 2010, 11 октября <<http://www.openspace.ru>>.

«Роман [„Перс“] на самом деле делался как кино. Сначала был снят какой-то материал, а потом происходило его урезание, обрезание и компоновка. Знаете, как с „Апокалипсисом“ Коппола: человек привез из джунглей четыре тонны материала, а в итоге получился нормальный фильм».

**Иногда ощущаешь себя поэтом, но чаще — самозванцем.** «Полит.ру» представляет очередную программу «Нейтральная территория. Позиция 201» с Мариной Бородицкой. Беседует Леонид Костюков. — «ПОЛИТ.РУ», 2010, 25 октября <<http://www.polit.ru>>.

«*Марина Бородицкая*: <...> Ну, вообще у меня столько разных самоидентификаций, что долгий ответ получится. Во-первых, когда я перед маленькими детьми где-то выступаю, я им объясняю, что я такой трехголовый дракон, то есть одна головка пишет стихи, вторая головка занимается переводами, третья сочиняет и переводит детские книжки и т. д. В принципе и для взрослых такой ответ можно использовать. У меня как минимум

три эти разные самоидентификации. Вообще, на самом деле, ты просыпаешься утром каждый день с какой-то, может быть, новой самоидентификацией. Потому что иногда ты себя ощущаешь — редко, к сожалению, это бывает — иногда ты себя ощущаешь поэтом, а чаще ты себя ощущаешь просто самозванцем. И вот сейчас придут — и все, все поймут, что ты самозванец.

*Леонид Костюков:* Вот с этого места немножко обстоятельнее...»

**Как рождаются фальшивки.** Итальянцы читают вымышленных русских писателей, считает переводчик Елена Костюкович. Беседу вела Татьяна Шабаева. — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2010, № 225, 6 октября.

Говорит **Елена Костюкович:** «Переводчик обязательно должен выдумать для автора язык. Хрестоматийный пример — язык, который покойная Рита Яковлевна Райт-Ковалева выдумала для американской прозы. Переводчик отбирает из бескрайнего словаря лишь некую подходящую к случаю лексику, предпочитает определенные грамматические конструкции, но в первую очередь — переводчик отрабатывает и оркеструет ритмы прозы и впоследствии уже, осознанно или интуитивно, придерживается найденной линии. Я, вероятно, за двадцать пять лет работы над текстами Эко тоже выработала комплекс самоограничений и знаю, какие элементы литературного языка я могу использовать для воссоздания его текстов. Получился „эковский язык“. Сейчас мне уже нетрудно на нем писать, передавая мысли Умберто Эко».

«Как и все западные интеллектуалы, Эко не представляет себе, что происходит в русской литературе после Достоевского. Все прочее — спорадические, необязательные знакомства. Почему-то в подростковом возрасте Эко, как он рассказывает, любил прозу Мережковского... Как это стыкуется с его тонким литературным вкусом? Бог весть. Все попытки предложить ему новые чтения разбиваются, как о скалу, о недостаток времени или недостаток интереса у вечно занятого профессора. Вообще с возрастом люди ведь читают гораздо меньше художественной литературы, гораздо больше — специализированной литературы и эссеистики. Умберто Эко не исключение. Вот, скажем, Александра Лурия или Юрия Михайловича Лотмана Эко читал и чит».

**Ольга Карпова.** История с орфографией. Неудавшиеся реформы русского правописания второй половины XX века. — «Неприкосновенный запас», 2010, № 3 (71) <<http://magazines.russ.ru/nz>>.

Среди прочего: «Как известно из истории реформирования русской орфографии, уже грамотные люди могут приспособиться к любым изменениям графики или орфографии, но не хотят. Большинство грамотных и образованных практически всегда против таких реформ, справедливо считая, что понесут заметный урон. На самом деле такой урон несут только люди, много пишущие и читающие, но они и громче всего протестуют. А поскольку они могут протестовать не только устно, но и печатно, то слабые голоса тех, кому реформа сразу несет пользу, не слышны. Притом что „люди пера“ становятся менее грамотными очень ненадолго, но даже эта временная „потеря грамотности“ как части культурного капитала для них весьма болезненна».

**Павел Клачков** (Красноярск). Язык пламени. — «Правая.ru», 2010, 8 октября <<http://pravaya.ru>>.

«В этой связи есть основания выдвинуть гипотезу о том, что одним из прототипов Воланда вполне может быть представитель дома Ротшильдов».

**Андрей Краснящих.** К типологизации постмодернистского сюжета. — «Запасник», 2010, № 2 <<http://www.promegalit.ru>>.

«В свете вышесказанного особый исследовательский интерес должна представлять проблема типологизации постмодернистского сюжета, еще никак не поставленная и, следовательно, не рассмотренная ни зарубежным литературоведением, ни отечественным, хотя ее постановка и последующее решение значительно помогли бы провести разграничение постмодернистского художественного текста от непостмодернистского и идентифицировать постмодернистский как таковой».

**Александр Ливергант.** Главный язык не тот, с какого, а тот, на какой делается перевод. Беседу вел Сергей Шаповал. — «Культура», 2010, № 40, 21 — 27 октября.

«Мои слова о том, что такие вещи лучше не переводить, могут показаться странными, но для них есть основания. К примеру, когда читаешь рассказы Зошенко на английском языке, тебе практически не смешно. Я скажу больше. Понятно, что Платонов и Зошенко — авторы непереводаемые, но Чехов к их разряду не относится. Между тем недавно со своими студентами я читал отличный перевод на английский чеховского



рассказа „Анна на шее”, рассказ для перевода нетруден, переводчик замечательно знает русский язык. При разборе рассказа нашли несколько мелочей, но в общем перевод на хорошую пятерку. Но когда этот рассказ читаешь по-английски, возникает вопрос: с чего вы взяли, что Чехов — великий писатель? Что-то ушло, как уходит аромат из грибов, если их переварить. А уж весь в трубу уходит Александр Сергеевич Пушкин — наше с вами все. Это касается и его прозы».

«В свое время Рита Райт-Ковалева замечательно перевела роман Сэлинджера. В соответствии с советской традицией, со своим возрастом и женским представлением, как надо переводить нехорошие слова, она использовала переводизмы: черт поberi, мать твою и т. д. При этом перевод замечательный. Недавно переводчик Немцов перевел эту вещь заново, *fuck* он переводил соответствующим словом, но перевод от этого лучше не стал. Конечно, Райт-Ковалева сильно нарушила идеологический строй романа, потому что его главный герой — бунтарь, он не случайно пишет все эти *fuck*, он восстает против общества взрослых, ибо взрослые — это обыватели и приспособленцы, а подростки способны бросить вызов, что, как известно, и произошло в конце 1960-х годов. Поэтому роман надо было бы переводить помягче. Но все остальное сделано просто замечательно».

«Есть такая блестящая книга на русском языке, называется „Остров сокровищ”, я читал оригинал — совершенно невыразительный текст. Отец и сын Чуковские потрясающе перевели книгу, я не знаю, какова степень точности, но получилась великая русская проза».

**Литература — не популяция мышей.** Беседу вела Анна Жидких. — «Литературная Россия», 2010, № 43, 22 октября <<http://www.litrossia.ru>>.

Говорит воронежский критик, ответственный секретарь журнала «Подъем» Вячеслав Лютий: «Вот смотри: Жюль Верн. Или — Фенимор Купер. Мы можем рассматривать их, а можем и не рассматривать. Хотя прочтем с удовольствием — как непритязательное чтение. Есть, конечно, люди, которые занимаются тем, что рассматривают такую литературу пунктуально. Но к жизненно важным задачам эти занятия отношения не имеют».

«<...> несомненно, эти течения [модернизм, авангардизм] нежизнеспособны. И именно в силу нежизнеспособности вредными они мне не кажутся. Они просто апроприруют какую-то территорию — а дальше уже смотришь: двигаться в указанном направлении или не надо. Это как идти по болоту с жердиной, которой нащупываешь твердую почву, определяя, куда можно наступить, а куда нет. Футуризм, имажинизм, акмеизм; время показало, что эти направления — нежизнеспособны. Но что-то в большую литературу от них пришло? Безусловно! Стиливое многообразие, живость языка, изменения в образной системе, позволившие той же поэзии быть более выразительной. У всяких „измов” есть историко-литературно-служебная функция: они должны показать, чего стоит то, что таилось под спудом. Показали — все, спасибо, свободны».

**Мы последние в очереди на покаяние.** Писатель Захар Прилепин дорожит родной любовью. Пока она не заставляет молчать. Беседу вела Татьяна Шабаева. — «Российская газета» (Федеральный выпуск), 2010, № 248, 2 ноября.

Говорит Захар Прилепин: «Почти все свои стихи я написал в период с 16 до 22 лет. Их мало, где-то полста. С тех пор раз в пять лет я пишу еще по стихотворению, чаще всего это случайно получается. Так что никакого Прилепина-поэта нет. Я прямо скажу: то, что я делаю как прозаик, — не умеет никто, или почти никто. А то, что я могу нарифмовать — могут еще лучше сделать еще человек сто. Зачем мне быть одним из ста?»

«А Высоцкий... он гениальная личность, гениальный человек — он огромный, он очень честный, очень родной многим. Но давайте не будем величиной личности подменять наличие или отсутствие высокого поэтического мастерства. У Высоцкого собственно поэтический дар очень умеренный — но он его „накрутил” за счет своей жуткой и страшной биографии, за счет громокипящей энергии своей. Я более всего люблю несколько его поздних песен: „Протопи ты мне банку”, „Две судьбы” и те, что пела Влади на французской пластинке. Это невыносимо хорошо, абсолютная песенная классика — безоговорочно признаю это. Но вообще сам Высоцкий надрыв, его явное шестидесятиничество — это не всегда лично со мной совпадало. Меня уже в юности другие эмоции и другие эстетики волновали: ну, к примеру, футуристы мне были безусловно сто крат любопытнее, чем барды».

**Михаил Назаренко.** «Демоны родной речи». Украинский фантаст и филолог Михаил Назаренко о метаморфозе, которую после смерти претерпевают всенародно любимые классики. Беседовал Василий Костырко. — «Частный корреспондент», 2010, 8 октября <<http://www.chaskor.ru>>.

«Когда я увидел — в деталях увидел, — как работает механизм культурной памяти, особой радости мне это не принесло. Массы достаточно точно воспринимают одни

мотивы творчества Шевченко и полностью игнорируют другие. <...> И конечно, сам Шевченко жизнетворчеством очень увлекался и свой образ, вошедший в массовое сознание и советские хрестоматии, конструировал вполне сознательно».

«Прежде всего, конечно, не нашли отклика его тексты со сложной структурой, построенные на цитатах и аллюзиях. Оно и понятно. Кроме того, народ освободил душу Шевченко от внутренних противоречий, которые при сопоставлении его текстов и биографии очень хорошо просматриваются. Например, в украинских стихах Шевченко бранит Богдана Хмельницкого, в русскоязычной прозе — хвалит, хотя и не без иронии. В стихах прокликает тех, кто раскапывает старые курганы, однако сам при этом работает в археографической комиссии и, как человек образованный, прекрасно понимает, в чем смысл этих раскопок. Не была воспринята народом специфическая религиозность Шевченко, который ставил преданность Украине выше Бога. Совершенно не получила развитие такая пронзительная и оригинальная метафора Шевченко „Украина — покрывка”. <...> Так на Украине называли девушку, которая потеряла свою честь».

«Даже если оставить в стороне гомеровский масштаб событий и лиц, у Гоголя значительно преувеличены патриотизм казаков и их сознательность, забота о благе Украины/Руси. Я был в свое время потрясен подробностями тех далеких событий, о которых прочитал в работах замечательного киевского историка Наталии Яковенко. Оказывается, когда казаки осаждали польские города, они запросто могли устроить вместе с жолнерами обеденный перерыв, сесть у стен города, вместе выпить и закусить. Они принадлежали к одной и той же „касте” воинов, а вот мирное население — нет, потому и смертность его в военное время в некоторых местах доходила до 85 процентов. От рук казаков гибли и „клятые ляхи”, и свои же украинцы, которых долг перед собственными защитниками делал совершенно бесправными».

«Еще в студенческие годы меня чрезвычайно удивило, что после Сахалина Чехов, вернувшись домой морским путем через Юго-Восточную Азию, Цейлон, Суэцкий канал, не написал об этом ни строчки, кроме рассказа „Гусев”. Мне показалось, что это яркий пример ситуации, когда очень умный человек настолько зашорен своими представлениями о рациональном, прогрессивном и общественно полезном, что огромный яркий, экзотический мир для него как будто не существует. Выразить свое удивление в научном тексте я не могу — пришлось повесть писать [„Остров Цейлон”]».

**Наследие и наследственность.** Записал Андрей Архангельский. — «Огонек», 2010, № 43, 1 ноября <<http://www.kommersant.ru/ogoniok>>.

Говорит Михаил Эпштейн: «Того Ленина, который был на знамени и значках, уже нет. В то же время в живописного злодея, монстра, как Сталин или Гитлер, он тоже не превратился. Он остался каким-то джокером, постмодерным персонажем, которого и деконструировать трудно, потому что прежде его еще надо сконструировать. Он предстает теперь как зияние, огромная прореха, в которую обрушилась империя. И весь XX век».

«Читать Ленина невероятно скучно. Ни малейшего человеческого слова — сплошь условная политическая манера, предсказуемая демагогия, никаких прорывов. Сталинский язык, конечно, еще более автоматизирован, чем ленинский. „Что такое есть ленинизм? Ленинизм есть, во-первых... Во-вторых, товарищи, ленинизм есть...” Это уже совсем замороженный, заторможенный марксизм. А у Ленина еще сохраняется речевой пыл, какой-то захлеб. Но этот захлеб политического лая, который вызван все тем же раздражением. Во всем — чувство смертельной обиды оттого, что кто-то еще не знает азбучной истины, хотя она давно уже открылась марксизму: „Уже сто лет как известно...”, „уже давно пройдено... разжевано”. А все равно не понимают. И, конечно, эти непонимающие — недоумки, дураки, подлецы, преступники».

«Представьте, например, реакцию на памятник Сталину в центре Октябрьской площади. Или Дзержинского — на Лубянке. А памятники Ленину стоят, как какие-то черные дыры, параллельные миры. Никто их не замечает. Они принадлежат нашей среде обитания, они знаково не отмечены, это фон, это тускло выкрашенный забор, которым обнесено место будущего строительства (еще неизвестно чего). Кому интересно смотреть на забор? И к Мавзолею, который остается географическим и символическим центром страны, у нас нет никакого отношения. Он вне интерпретации. Это значит, что в большом времени мы еще живем под Лениным. Уже после Сталина, но еще при Ленине. Он продлился, уйдя в безыдейное, бесстильное подполье. Став менее заметным, он сохраняет могущественное присутствие вокруг нас в виде тени. Как тень, он органически вписался в постсоветское пространство».

**Россия богата на каких-то очень хороших и деятельных людей.** «Полит.ру» представляет очередную программу «Нейтральная территория. Позиция 201» с Дмитрием

Стаховым. Беседует Леонид Костюков. — «ПОЛИТ.РУ», 2010, 2 ноября <<http://www.polit.ru>>.

*Леонид Костюков:* Ну, есть все-таки огромное отличие артхаусного кино, условно говоря, от артхаусной прозы. Я скажу очень просто, очень понятно, в чем это отличие, на мой взгляд. Условно сказать, вот машина перелетает через три ряда машин, встает на два колеса и едет дальше. Автор артхаусного кино не может это снять, потому что у него просто нет на это денег.

*Дмитрий Стахов:* Тоже верно.

*К.:* А автор, условно говоря, артхаусной прозы написать эту фразу все равно физически может, она занимает у него столько же букв, сколько любая другая фраза.

*С.:* Верное наблюдение, кстати.

*К.:* Поэтому то, что автор, условно говоря, артхаусной прозы отказывается от сильных ходов, — это не от недостатка бюджета, то есть это не вынужденный отказ.

*С.:* Не как в кино, да.

*К.:* Отказ внутренний.

*С.:* Я согласен».

**Рукописи горят.** Беседовал Владимир Шемшученко. — «Литературная газета», 2010, № 40, 13 — 19 октября.

Говорит **Виктор Соснора:** «Я считаю, что самыми крупными поэтами моего поколения были два автора. Это Андрей Вознесенский, которого уже с нами нет, и ныне здравствующий Глеб Горбовский».

«Мне 74 года, так что мое будущее известно. Я уже пережил клиническую смерть. Сейчас ничего не слышу и говорю, как видите, с трудом. А что касается остального, то об этом надо спрашивать того, кого называют Богом».

**«С классикой будет все хорошо».** Беседу вел Ян Левченко. — «Однако», 2010, № 37 <<http://www.odnako.ru>>.

Говорит главный редактор «Нового издательства» **Андрей Курилкин** — в связи с публикацией новых переводов «Макбета» и «Гамлета» (первого перевел Владимир Гандельсман, второго — Алексей Цветков): «<...> попробуйте купить на *Amazon*'е английскую „Анну Каренину“, и вы увидите в ужас от открывшихся возможностей — одновременно продается больше десяти разных переводов. Такая ситуация и является нормой».

«Спрос на классику, конечно, невелик, но дело здесь уже не в переводах, а в культурной ситуации как таковой. Тем не менее, повторю, работа такого рода продолжается и, конечно, будет продолжаться. Недавно все обсуждали новый перевод „Над пропастью во ржи“ Сэлинджера, сделанный Максимом Немцовым. Удачным его не назовешь, но от этого материала можно отталкиваться, чтобы двигаться дальше, многим он дал хороший повод для размышлений о том, что может себе позволить переводчик, как переводить молодежный сленг и т. п. И это тоже очень важно, так как культура — это все-таки не перечень шедевров, а процесс с событиями разного масштаба, где неудачи часто так же важны, как и великие свершения».

«<...> я думаю, книжный рынок в своем развитии все равно дойдет и до качественных изданий классики, просто в силу логики экспансии. Вот сейчас мы переживаем настоящий расцвет качественной детской книги, а еще недавно казалось, что многолетняя катастрофа в этой области стала необратимой. Буквально несколько лет назад была „обнаружена“ и начала стремительно заполняться ниша качественного неакадемического нон-фикшн — умных биографий, разного рода научпопа и т. п. В общем, с классикой все будет хорошо».

**Александр Самоваров.** Самоидентификация Константина Паустовского. — «Русский Обозреватель», 2010, 22 октября <<http://www.rus-obr.ru>>.

«Паустовский сейчас мне интересен тем, что он... журналист. Он работал репортером в буржуазной прессе, имел хорошую школу, в качестве репортера буржуазной прессы он видел Ленина, слышал его выступления, но об этом после. Паустовский работал журналистом и в советской прессе. Как большого художника его сформировали вещи прямо противоположенные; с одной стороны, он репортер и журналист, с другой стороны, он писал sentimentальные и плохие стихи и очень удачные sentimentальные романы. И вот это соединение жесткого глаза журналиста и плохого поэта и дало того Паустовского, которого потом полюбила Россия в 60 — 70-е годы XX века».

**Артем Скворцов.** Арифметика гармонии: Из наблюдений над художественной стратегией Сергея Гандлевского. Статья вторая. — «Запасник», 2010, № 2 <<http://www.promegalit.ru>>.

«В графическом оформлении стихов поэт особенно консервативен. До недавнего времени Гандлевский придерживался классической стихотворной графики с сохранени-

ем прописных букв в начале строк и с педантичной передачей пунктуации, практически не позволяя себе отступлений от нормативных требований в расстановке знаков препинания. На сегодняшний день отход от этих принципов виден лишь в шести стихотворениях 1999 — 2008 годов („идет по улице изгой...“, „близнецами считал а когда разузнал у соседки...“, „все разом — вещи в коридоре...“, „видимо школьный двор...“, „чтобы липа к платформе вплотную...“, „Антологическое“). В них, возможно, не без влияния поэзии А. Цветкова, автор отказался и от знаков препинания».

**Дмитрий Сухарев.** Экспертиза. Опыт объективного составления поэтической антологии. — «Иерусалимский журнал», 2010, № 35 <<http://magazines.russ.ru/ier>>.

В 2001 — 2002 годах Дмитрий Сухарев обратился к разным поэтам с просьбой назвать «12 стихотворных текстов из самого любимого в русской поэзии XX века». Откликнулись 158 человек. «После вычета повторов осталось 1195 текстов, из них 918 названы единственным экспертом и 277 двумя и более экспертами». «Тексты, попавшие в массив, принадлежат 254 авторам. Примерно половину из них (126 поэтов) назвали не менее двух экспертов».

«Вершину составили 55 произведений, каждое из которых получило не менее пяти голосов. Даю их в порядке рейтинга, а для вещей с равным рейтингом — в алфавитном порядке (по первой строке текста).

Я, я, я! Что за дикое слово!.. (Перед зеркалом, Ходасевич, 1924) 22

По вечерам над ресторанами... (Незнакомка, Блок, 1906) 18

Как обещало, не обманывая... (Август, Пастернак, 1953) 17

Девушка пела в церковном хоре... (Блок, 1905) 14

Золотистого меда струя из бутылки текла... (Мандельштам, 1917) 13

Не жалею, не зову, не плачу... (Есенин, 1921) 13

О доблестях, о подвигах, о славе... (Блок, 1908) 13

Шел я по улице незнакомой... (Заблудившийся трамвай, Гумилев, 1919) 12

Стояла зима... (Рождественская звезда, Пастернак, 1947) 11»

...К сожалению, я не могу привести в «Периодике» весь список из статьи Сухарева. Далее — среди прочего интересного — Дмитрий Сухарев задает вопрос: «Насколько мы, литераторы, свободны в своих предпочтениях и фобиях? Как бы это ни было обидно, имеются серьезные основания считать, что свобода выбора весьма относительна».

**У Шафаревича.** Вопросы задавал Игорь Шишкин. — «Завтра», 2010, № 42, 20 октября <<http://www.zavtra.ru>>.

Говорит **Игорь Шафаревич:** «Много было и попыток такого толка объединения на русской национальной государственной основе, в некоторых из них я и сам принимал участие. И надо признать, что никакого русского патриотического движения так и не возникло. И это почти ведь за 20 лет!»

«<...> патриотическая интеллигенция, формировавшая все те движения, о которых шла речь, исходит из одного мировоззрения, а в народе постепенно вырабатывается какой-то другой подход к жизни».

«Меня поражает одно явление. Никогда, живя в нечеловеческих условиях, когда годами не платят зарплаты и пенсии, при отключении энергии, сидя в темноте и холоде, русские не становятся шахидами. Вообще не популярны столь знакомые формы протеста: террор, создание своих партий, может быть подпольных, баррикады, забастовки... Слышно о совсем другой реакции: голодают. Сколько я знаю, это нечто совсем новое в истории. Мне по крайней мере неизвестно ни одного такого прецедента. Тогда создается впечатление, что патриотическая интеллигенция и народ говорят на разных языках — так, что один другого не понимает».

**Ужасают масштабы продажности.** Беседу вела Марина Бергманн. — «Литературная Россия», 2010, № 41, 8 октября.

Говорит **Олег Павлов:** «Мы рождаемся, не имея выбора, для страданий. Я бы не взялся убеждать в этом ребенка, который когда-то все почувствует сам, но взрослые люди зачем же лицемерят или настолько бездушны? Первая же утрата приносит это чувство, и ее ничто не залечит».

«Самое страшное — самое правдивое. Но страшно, потому что это правда. Правда человеческих отношений — она такая, всегда страшная. И я считаю, что все в жизни требует мужества это понять и с этим жить».

«У меня дочь — мне за нее страшно. То, что мы пережили, — это ничто в сравнении с тем, что переживут после нас они. Страна давно плывет, как брошенный корабль. <...> Кто реально управляет страной и получает подлинную информацию о ее состоянии — их дети уже не здесь».

«Я понимаю людей, которые бежали, — они были прежде всего напуганы. Но Бог дал нам, русским, только Россию, куда мы все-то убежим — некуда. Спаситесь как можно? Верой только... Она у нас есть — наша вера. Но я не понимаю, когда кричат: Россия гибнет, Россию надо спасать... Да не Россию спасайте — а себя же, своих детей и души свои».

**Алексей Цветков.** Тень Толстого. — «*The New Times / Новое время*», 2010, № 36, 1 ноября <<http://newtimes.ru>>.

«Теперь уже можно без стыда признаться, что школьного Толстого автор в свое время не брал в руки, а экзамен без труда сдал по учебнику. <...> Вместо этого из чистой фронды в ту пору жадно глотал Достоевского. А когда экзамен остался за плечами, обратился к Толстому уже на своих условиях. С тех пор оба классика неизменно претендуют на мое внимание, и верх обычно одерживает тот, к кому оно в эту минуту приковано. Но есть тем не менее существенная разница: масштабы личности Толстого оставляют Достоевского в пыли. „Дневник писателя“ Достоевского, если исключить беллетристические вкрапления, вызывает только печаль и досаду. Огромный корпус сочинений Толстого за пределами художественного канона, от „Исповеди“ до дневников, низвергает читателя в пучину экзистенциального ужаса».

«Толстой всю жизнь, начиная с „Войны и мира“, пытался сказать нам одно и то же, и свой позднейший отказ от художественных жанров (к счастью, не очень последовательный) он мотивировал тем, что беллетристическая канва отвлекает читательское внимание от сути. Суть толстовского гения заключалась во всеразбывающем скептицизме, отказе верить в наукообразные объяснения истории и морали, опускающие тысячи неучтенных деталей и правдоподобные лишь задним числом, подобно комментариям сегодняшних экономистов по поводу уже разразившихся кризисов».

**Александр Чанцев.** Посмертная жизнь Владимира Ленина. — «Неприкосновенный запас», 2010, № 4 (72).

«В точке столкновения штампов/стилей с противоположным зарядом возникает галлюцинозный, макабрический нарратив — и оказывается чуть ли не новым каноном для постмодернистского высказывания о Ленине (Масодов, Пепперштейн-Ануфриев, Горчев). После 70 лет беззащитного существования под давлением официальных идеологов русская словесность с помощью этих приемов предпринимает попытку запоздалой вакцинации против вируса Ленина (недаром в этих текстах так часто говорится о болезнях). Пока же Ленин, все еще слишком живой, ведет странное существование между жизнью и смертью. Вечно воскресающий Ленин-Осирис, как обуреваемый страстями буддист, не может вырваться из череды перерождений. Поэтому — в отличие от образа Сталина, о котором другой разговор, — в наши дни, когда, как на спиритических сеансах, из прошлого вызывают страшных героев мифов, вроде Ктулху, не стоит удивляться столь частому появлению Ленина. Он должен еще раз воскреснуть — чтобы, окончательно умерев, покинуть свой метаисторический мавзолей и переместиться из состояния „живее всех живых“ в образ обычного исторического персонажа. Поэтому, скорее всего, в ближайшем будущем Ленин появится еще во многих книгах, фильмах и песнях».

Составитель **Андрей Василевский**

---

«*Арион*», «*Вопросы истории*», «*Звезда*», «*Знамя*», «*Иностранная литература*», «*Наше наследие*», «*Новая Польша*», «*Новый город*», «*Октябрь*», «*Рубеж*», «*Рыбинская среда*», «*Фома*»

**Игорь Волгин.** Уйти от всех. Лев Толстой как русский скиталец. — «Октябрь», 2010, № 10 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«Пушкин замыслил побег *в обитель*; Толстой — *из обители*, где он провел свои лучшие годы. Ему, очевидно, нужна обитель еще более „дальняя“. Такая, где его уже не сможет настичь никто. Труды при этом не исключаются. О чистых негах речь, по-видимому, уже не идет.

„Пора, мой друг, пора...“ — это призыв, обращенный к жене. Очевидно, само собой разумелось, что она будет спутствовать тому, кто замыслил побег. Толстой бежит *от* жены — покоя сердце просит. Но где гарантия, что она — к ужасу его и стыду — не последовала бы за ним, пусть даже на край света?

„Левочка, голубчик, вернись домой, милый, спаси меня от вторичного самоубийства. Левочка, друг всей моей жизни, все, все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем; с друзьями твоими будем вместе дружны, буду лечиться, буду кротка... Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой”.

Это, конечно, „воплъ женщин всех времен: ‘Мой милый, что тебе я сделала?!’”. Его нельзя сравнивать с горьким и холодным толстовским прощанием: „Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной...” Вопленица не только готова *исправиться*, она готова на все. В ее безумном лепете прочитывается ясная мысль: „Я честно и твердо обещаю, голубчик, и мы все опростим дружелюбно; уедем, куда хочешь, будем жить, как хочешь”.

Толстому только этого не хватало.

Но, покинув ее, он ни на минуту не забывает о ней.

„Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились”, — скажет он перед смертью, уже впадая в забытие. И на вопрос старшей дочери: „Что ты сказал, папа?” — повторит: „На Соню, на Соню многое падает”.

„Мы плохо распорядились...” Но можно ли было распорядиться иначе?»

**Никита Елисеев.** Бормотание Времени. — «Арион», 2010, № 3 <<http://www.ariion.ru>>.

«Он — один из лучших чтецов стихов, каких я когда-либо видел. Отсутствие точки в конце своих стихов Стратановский обозначает великолепно. Предпоследнюю строчку он читает громче остальных, а на последней затихает, словно бы набирает голос для следующей, но... замолкает, обрывает текст, словно бы что-то недоговаривает.

Между тем все договорено. Стихотворение окончено эффектной фразой, звонким парадоксом, достойным Гильберта Кийта Честертона, не меньше. То есть, позвольте? Как же это так? Ну ладно, Швондер и Шариков — уроды эти, у них ущербность — явлена, очевидна, но профессор Преображенский, он-то в чем ущербен? Чем недостаточен? Почему его Стратановский ставит на одну доску с уродами, выплеснутыми социальным взрывом наверх? Критик Андрей Арьев назвал Стратановского поэтом культуры. Это — верно, но не полно. Надо пояснить, какой культуры. Революционной. Катастрофной и катастрофической. Не потому, что он ее живописует. А потому что эта культура — его родина. Его воздух. Он и загробную жизнь может представить себе как одну огромную коммуналку. <...> Но это не те люди, мимо которых стоит пройти, как проходили писатель Булгаков и профессор Преображенский, брезгливо сторонясь, жестоко, возможно и справедливо, издеваясь. Это — люди, имеющие право на жизнь и счастье. Потому-то для Стратановского равно ущербны и Преображенский, и Шариков. Он сформирован культурой революции, назовем чудовище его настоящим именем: коммунистической культурой. Именно поэтому он очень хорошо почувствовал осознанно фашистский, расистский смысл гениального „Собачьего сердца”».

**Михаил Иверов.** Заветная ладонь. — «Фома», 2010, № 11 <<http://www.foma.ru>>.

Публикация в рамках совместного с «Новым миром» проекта «Строфы». В предисловии цитируется поэт Игорь Меламед: «...Это — преимущественно духовная поэзия, нимало не напоминающая стихи на „религиозные темы”, столь распространившиеся в нынешнее время. Стихи Иверова исполнены чистоты, ясности и какой-то спокойной уверенности в сказанном. Потому что — я убежден в этом — они исполнены любви. Той любви, которая не склонна заявлять о себе и которая „не превозносится и не гордится”, по слову Апостола».

Вот из помещенной здесь «Полевой почты» («Недужен Ферাপонтов монастырь...»):

.....  
 На адресах ислтели имена,  
 но есть голосники в забытом храме,  
 и ангелы читают письма,  
 слова, в конверты сложенные нами,  
 бессмертные, скупые, в пару строк,  
 те весточки, отправленные с фронта.  
 А птицы улетают на восток,  
 домой, домой, в обитель Ферапонта.

Публикация в «Фоме» оказалась самым первым на сегодня выходом стихов Михаила Иверова в читателю.

**Бахыт Кенжеев.** Подветренный простор. Стихи. — «Рубеж», Владивосток, 2010, № 10 (872).

.....  
 «Уходишь — уходи», — твердят. Но я забыл  
 ключи и содовый, я слишком жизнь любил,  
 чтобы сразу отбывать. Тут — крокус, там — фиалка,  
 а там еще тюльпан. И эти лепестки  
 так уязвимы, так неглубоки,  
 что Чехов вспоминается. И жалко

всех и всего. Любимая, своди  
 меня туда, где счастье впереди,  
 где небо — переплет, где голос пальцы греет,  
 где плачет и поет, от бедности пьяна,  
 простоволосая, как в юности, весна,  
 и горло — говорит. И солнце — не стареет.

Кроме Кенжеева, свои новые стихи для публикации в юбилейном «Рубеже» здесь представили Сергей Стратановский и Юрий Кублановский (его стихотворением «Над островным клочком Атлантики...» открывается 400-страничный номер альманаха; стихотворением, ставшим своеобразным эпиграфом к «поминальной» теме, которой проникнуты многие материалы издания: «<...> Не перечить миров заброшенных, / но есть ведь и ещё другая / солнцелюбивая горошина, / в подвижной пелене седая. / Есть знание целебней брения / и соловьиного колена, // что ближнего после успеха / не след считать за отщепенца»).

**Борис Крейн.** В память «первого на свете мастера». — «Новый город», Рыбинск, 2010, № 5 <<http://www.mediarost.ru>>.

Известный волжский исследователь пишет о рыбинских корнях знаменитого художника Бориса Григорьева (1886 — 1939). В сентябре этого года на нынешнем здании рыбинского филиала Сбербанка открыли мемориальную доску (когда-то здесь располагался Волжско-Камский банк, управляющим которого был отец живописца; квартира управляющего была в этом же помещении).

Коллега же Крейна, местный краевед Владимир Рябой оказался именно тем человеком, который, сделав необходимые архивные изыскания, и довел дело (при поддержке городских властей и Сбербанка) до мемориальной акции.

Размещена публикация в действительно *новом*, пока еще беспрецедентном для Рыбинска, общегородском цветном журнале формата «Нашего наследия», с отличной полиграфией, всеохватной тематически и строгом композиционно. Главный редактор — предприниматель и филолог (специалист по Сигизмунду Кржижановскому) — Виталий Горошников.

**Юрий Кублановский.** Записи о Елене Шварц. Дневник. — «Рубеж», Владивосток, 2010, № 10 (872).

Эти записи — тот же жанр, что и публикация Ю. К. в 9 — 10 номерах «Нового мира» за прошлый год. Там был общий избранный дневник 2008-го, здесь — выбрано за разные годы (2000 — 2010) и посвящено одному человеку (записям предшествует антологическая подборка стихов Шварц).

«4 ноября [2009], 11 утра, Переделкино, солнышко и снежок.

Говорил сейчас с Леночкой по телефону. Лежит в военном госпитале визави Большого Дома — окнами на Неву. Говорит, что долго, хотя „время как-то сместилось, я уже не слежу за его течением“. Операция была долгой, а теперь началась химиотерапия — „очень тяжело“. „Уж и не понимаю: то ли умирать, то ли два-три года отсрочки“. Договорились созвониться вечером (её вроде бы как раз сегодня выписывают).

Весь день читаю давние Еленины стихи и вспоминаю 70-е, нашу молодость. Какая мощь, какая свобода воображения! И апогей этого периода — „Элегии на стороны света“... Да, нет в нашем поколении поэта *ярче*. <...>

Я как-то посетовал Лене, что с трудом привыкаю к постоянному сбою ритма в её стихах.

— Ну, как же — пояснила она. — Ведь писание стиха это не упёртый взгляд в одну точку. А постоянно меняешь угол зрения. Соответственно, изменяется ритм».

Еще из *поминального* в юбилейном номере «Рубежа» — большой блок материалов, посвященных памяти Иосифа Бродского: Чеслав Милош, Томас Венцлова, Валентина Синкевич, Виктор Куллэ — статьи, переводы. Сюда же органично вписался и «польский сюжет»: стихи сегодняшних Эугениуша Ткачишина-Дычки и Томаша Ружицкого перевел москвич Лев Оборин. О памятных краеведческих материалах «Рубежа», боюсь, пришлось бы писать целое исследование. В этом номере их, как всегда, немало, и география тут — весь мир.

**Юрий Кублановский: «Я люблю свою Родину, но дороже мне справедливость».** Интервью «Рыбинской среде». — «Рыбинская среда», Рыбинск, 2010, № 10 (78).

«Сейчас я работаю <...> над книгой поразительных записок мологжанина (уроженца знаменитого волжского города, затопленного водами Рыбинского водохранилища. — *П. К.*) Павла Зайцева. Их фрагменты я публиковал 15 лет назад в „Новом мире” и в „Нашем современнике”. И тогда еще надо было издавать эту книгу. Но, как верно сказал Корней Чуковский, „в России надо жить долго”. В середине 90-х годов, в разгар криминальной революции, мне некому было предложить издание такой книги. Теперь благодаря руководству Рыбинска и тому, что есть теперь здесь просвещенные издатели, наконец-то состоится выход в свет этих „Записок”. Двадцать лет во мне сидела заноза, что я не выполнил своего культурного и морального долга перед Мологой и мологжанами. Мне они достались написанными в большой общей тетради в клеточку чернильным карандашом без черновиков. А это превосходная русская проза! Надеюсь, что теперь она станет настольным семейным чтением в каждой православной русской семье».

**Евгений Мамонтов.** Романтики. — «Рубеж», Владивосток, 2010, № 10 (872).

«Стёпу определили служить при штабе большого военного округа. Ему запомнился дождливый день на первом месяце службы, когда с утра они копали траншею для прокладки кабеля. Во время перекура он, шатаясь от недосыпа, отошел в сторонку поссать. Там была кирпичная стена и окно, забранное ажурной решеткой. Стёпа стоял на небольшом пригорке перед окном и слушал, как его струя звенит по жестяному подоконнику. Не успел он застегнуть ширинку, как заметил бегущего к нему офицера. Ужаснулся, увидев полковничьи звезды на погонах. До сих пор никого старше прапорщика он в армии не встречал. Полковник-старичок бежал без фуражки, с опрокинутым лицом. „Сынок, што ж ты делаешь!” — взмолился он. Стёпа мутным взглядом поглядел в окно и увидел десятка полтора офицеров генеральских чинов, проводивших штабные маневры за огромным столом, на котором разыгрывалось, очевидно, победоносное сражение округа со всем блоком НАТО. Отложив длинные указки, генералы смотрели на задроченного салагу, который только что обоссал стратегический полет их мысли».

...Возможно, из приведенного хулиганского отрывка и не понять с ходу, каков художественный талант дальневосточного прозаика 47 лет. Между тем эту маленькую повесть я взял бы в любую современную антологию. Из другой прозы в номере публикуется яркий авантюрный роман сахалинского журналиста и литератора Вячеслава Каликинского «Легионер» (с действующими лицами вроде Путилина, Соники Золотой Ручки, Кони и Лорис-Меликова). Есть тут и питерцы — Андрей Битов («Портрет в жанре милицейского фоторобота», вольный разговор о Бродском) и живописец Георгий Ковенчук, внук футуриста Кульбина — с семью поэтическими рассказами. И — новелла «Мыс Анна» — неизменного Бориса Казанова (уроженца Белоруссии, жителя Приморья, ныне — в Израиле), чья книга готовится к выходу в серии «Архипелаг ДВ». Из историко-художественного — неизвестная «Морская повесть. Записки бродяги» Давида Бурлюка с предшествующей ей статьей Валерия Маркова «Русский след в Японии. Давид Бурлюк — отец японского футуризма».

**Аркадий Минаков.** Михаил Леонтьевич Магницкий. — «Вопросы истории», 2010, № 11.

Публикуется в рубрике «Исторические портреты». Начав с того, что отечественная историография полтора столетия называла этого незаурядного, великолепно образованного человека, ученого-исследователя, литератора и политика «крайним реакционером», «диким мракобесом» и «разрушителем Казанского университета», воронежский историк отдает ему должное. Идейная эволюция бесконечного разоблачителя-«поперечника» и впрямь была поразительна (но и типична): от космополита и либерала (одно время он носил вместо трости яковинскую дубинку с французской надписью «права человека») — к православному консерватору-монархисту. Конец же его пути был простым и светлым: «Смирив христианской аскезой свой неугомонный нрав, примирившись с теми, кого он жестоко обидел при жизни (многих, многих. — *П. К.*), 21 ноября 1844 г.



Магницкий скончался от воспаления легких и был погребен на Старом кладбище Одессы». Следующее предложение звучит так: «В 1930-е годы на месте этого кладбища был устроен парк имени Ильича».

Эх, мракобес-мракобес, недоразрушил университет-то.

**Чеслав Милош.** Трезво о Пастернаке. Перевод Андрея Базилевского. — «Новая Польша», Варшава, 2010, № 9 (122) <<http://www.novpol.ru>>.

Интереснейший текст, в частности о «пересечениях» «Доктора Живаго» с «Томом Джонсом» Филдинга. Но вот — из финала:

«...слабости Пастернака диалектически связаны с его великим открытием. Он отдал своему оппоненту — спекулятивной мысли — так много, что ему ничего другого не оставалось — только прыжок в совершенно иное измерение. „Доктор Живаго” не принадлежит к течению социальной критики, не призывает вернуться к Ленину или молодому Марксу. Эта книга далека от всякого ревизионизма. Ее послание аккумулирует опыт Пастернака-поэта: если кто-то вступает в полемику с мыслью, воплощенной в государстве, он сам уничтожает себя, становится опустошенным человеком. С новым Цезарем нельзя дискутировать, ибо это означает согласиться на встречу на его территории. Необходимо новое начало, новое применительно к нынешним условиям, хоть и не новое в России, на которую наложили отпечаток века христианства. Литературу социалистического реализма надо отложить на полку и забыть, новое измерение — это измерение тайного предназначения каждого человека, измерение сочувствия и веры. В этом смысле Пастернак обновил лучшие традиции русской литературы, и в этом смысле он обретет последователей. Один у него уже есть — это Солженицын.

Парадокс Пастернака в том, что нарциссическое искусство вывело его из клетки собственного эго. Для него характерна и некая тростниковая гибкость; благодаря ей он так часто принимал общепринятые идеи, не подвергая их анализу, которого требует идея, то есть анализу беспристрастному, хоть и не позволяя им себя подавить. Вероятно, нет такого читателя русской поэзии, который не поддавался бы искушению сопоставить две судьбы — Пастернака и Мандельштама. То, что один из них выжил, а другой погиб в лагере, может быть результатом действия очень разных факторов, хотя бы того, что одному повезло, а другому — нет. Однако в поэзии Мандельштама есть что-то, что изначально обрекло его на гибель. Из того, что сказано выше о споре моего поколения с приверженцами „жизни”, ясно следует, что для меня Мандельштам, а не Пастернак — идеал современного классического поэта. Но у него было слишком мало недостатков, он был кристальным, неподатливым и оттого хрупким. Пастернаку — более стихийному, менее строгому, многоликому — дано было написать роман, который, несмотря на свои противоречия и одновременно благодаря им, стал произведением великим».

**Анатолий Найман.** Стратфорд-на-Эвоне, улица, вброд... — «Октябрь», 2010, № 10.

Стратфорд-на-Эвоне, улица, вброд  
 речку рассекшая кельтского клана,  
 и, сквозь мужицких и барских бород  
 фильтры, разверстая ясно поляна, —  
 только и взяли взаймы у Творца  
 галькой цветной и некошненным лугом  
 два на любые похожих лица,  
 мир, но не речь поделивших друг с другом.

И возвратили с процентом паи:  
 райские — свежав полову — колосья,  
 рыб — первородно лишив чешуи,  
 послеэдемское многоголосье,  
 плюс акт за актом и к главам глава,  
 плюс ариэля воздушная яма,  
 глобуса шар, королевство Вильяма,  
 клетка вселенская, вотчина Льва.

Публикуется под редакционной «шапкой» «К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого» (там еще три публикации: эссе Игоря Волгина (см. выше) и Андрея Ранчина, письма С. А. Толстой к сыну Льву).

Дмитрий Полищук. Стихотворение. — «Арион», 2010, № 3.

...как знать?  
Е. Баратынский

Мой дар высок, и голос мой раскатист.  
Но я при жизни умер, на земле  
любезен никому. Копать в золе  
мой бытию безрадостный акафист,  
что и с душой ближайшей не в ладу,  
потомок дальний не найдет досуга.  
Как я не встретил в поколенья друга,  
читателя в потомстве не найду.

(«Я ЗНАЮ, или ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ»)

В интернет-версии это стихотворение выглядит немного иначе: «<...> Но я при жизни умер, на земли / любезен никому. Копать в пыли <...>»

Для меня редкие публикации стихотворений Дмитрия Полищука — события.

**Антонио Порчия.** Голоса. Перевод и вступление Павла Грушко. — «Иностранная литература», 2010, № 10 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

«Поэзия аргентинца Антонио Порчия (1885 — 1968) — музыка мысли. Это наикратчайшие максимы, лишённые литературных дроспехов, свободные от каких-либо приемов и средств регулярной поэзии. <...> Для того, чтобы взяться за перевод „этого всего“, не менее важной для меня, чем бретоновская и борхесовская рекомендации, была надпись на „Голосах“ моего друга — аргентинского поэта (и переводчика русской поэзии) Серхио Виаджио, приславшего мне лет тридцать тому назад книгу Порчия: „В Аргентине у многих эта книга лежит в изголовье“» (Павел Грушко).

Несколько «голосов» приведу.

«Ребенок показывает свою игрушку, взрослый ее — прячет».

«Ты вечно рассказываешь о своих снах. Когда они успевают тебе сниться?»

«Что сказать о нынешнем человечестве? Улицы стали шире».

«Кто смотрит на меня, чтобы меня рассмотреть, плохо меня разглядит».

...И все это — из отличного «аргентинского» номера «ИЛ».

**Последний гений (100 лет со дня смерти Л. Н. Толстого).** — «Наше наследие», 2010, № 95 <<http://www.nasledie-rus.ru>>.

Среди материалов, посвященных памятной дате, здесь републикуется последняя статья Толстого «Действительное средство» (о смертных казнях), законченная в Оптиной пустыни уже после ухода из Ясной Поляны. «Спровоцировал» этот текст сотрудник газеты «Речь», 28-летний литературный критик Корней Чуковский. «Наше наследие» перепечатало и забытое предисловие Чуковского к публикации статьи Толстого в газете. Там, опираясь на свидетельство молодого Сергеенко, Чуковский по свежим следам вспоминал:

«Несмотря на все последующие события, Л. Н. не раз возвращался к своей статье. Из Оптиной пустыни в Шамардино он ехал один, а сзади, в других санях, следовали за ним д-р Маковицкий и „Алеша“. Юноша часто выскакивал из саней, подбегал ко Льву Николаевичу — скажет несколько слов и — обратно.

Л. Н. был очень бодр, восхищался окрестностью, старыми деревьями вдоль большака, избами, крышами и т. д. Завел разговор с ямщиком, высчитывал, сколько тот в год тратит на водку и на табак, и так растрогал крестьянина, что он разрыдался. Потом внезапно остановил свои сани и, когда к нему подбежал „Алеша“, сказал:

— Что-то хотел тебе сказать, и забыл. Когда вспомню, позову тебя вновь.

Поехали дальше, и вдруг Толстой закричал: „Вспомнил, Алеша, вспомнил!“

Юноша вновь подбежал.

— Ах, как ты скоро бегаешь. Я насчет статьи. Передай Саше (Александре Львовне), чтобы она переписала, и если Владимиру Григорьевичу (Черткову) статья понравится, пусть он пошлет ее Чуковскому.

Умирая в Астапове, Л. Н. снова вспомнил об этой статье и говорил о ней Ив. Ив. Горбунову-Посадову (руководителю издательства „Посредник“).

Третьего дня, поклонившись великой могиле, я уезжал из Ясной Поляны, и В. Г. Чертков передал мне эту последнюю статью Льва Николаевича, который перед смертью высказывал не раз желание, чтобы гонорар за его посмертные произведения был обращен на выкуп Ясной Поляны в пользу местных крестьян».

...Не могу не сказать о поминальной редакционной статье в этом номере «НН» — о талантливом художнике Антоне Куманькове, чудесном человеке и тонком мастере (портретисте, книжном иллюстраторе). Ему было всего 53 года. «Кажется, только недавно приходил он в редакцию „Нашего наследия“, которую считал своим вторым домом, и мы отбирали его фотографии для очерка о блоковском Шахматове, куда Антон всегда рвался, где все его любили и радовались, когда он появлялся в усадьбе. <...> Случилось так, что в этом номере журнала печатается материал, в подготовке которого Антон принимал активное участие, — недавно обнаруженные воспоминания его прапрадеда, видного государственного деятеля царской России, тайного советника и губернатора Н. А. Качалова. И только сейчас мы обратили внимание, как поразительно стáтью и обликом напоминал наш друг своего пращура».

**Александр Романенко.** Зрачок одуванчика. Стихи. — «Рубеж», Владивосток, 2010, № 10 (872).

Рождение живого языка  
 Подобно выползанию из кокона —  
 Все кажется, что истина близка,  
 Вот она, около!  
 Но ускользающая из рук  
 Дивная редкая бабочка  
 Высоко в небе опишет круг —  
 И в слезах твоя наволочка.  
 А поутру на Седанке — дождь.  
 В придорожной канаве  
 Стрелолист, лягушонок... И дрожь  
 От восторга и холода — славит  
 Твое имя и дело окрест  
 Лягушачий оркестр.

*(Из цикла «В ясную погоду  
 с мыса Крильон видно Японию»)*

Вослед за стихами этого одаренного приморского поэта, много лет прикованного к постели и умершего в начале нового века, помещено пронзительное эссе о нем — Ивана Шепета («Мудрый кентавр»). Среди других статей о поэтах и поэзии здесь можно почитать Александра Лобычева о Вячеславе Казакевиче («Среди стрекоз и лопухов»), Юрия Милославского о легендарном харьковском поэте Владимире Мотриче («Последний из декадентов»), Александра Белых («Греческая каллиграфия Ирины Ермаковой»), Тамары Калиберовой о поэтах-«чураевцах» Георгии Гранине и Сергее Серегине («Остановится сердце и... Двойное убийство в отеле „Нанкин“»). Републикации редчайшего поэтического сборника поэта-эмигранта Михаила Щербакова (1890—1956) «Отгул» предшествует вступление редактора альманаха Александра Колесова — «Одиссей без Итаки».

**Омри Ронен.** Наизнанку. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2010, № 11 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

«Научная фантастика выросла в век опытной науки из старых повествований о магии и сказок о волшебниках, из правдивых отчетов и небылиц о дальних странах, из романтических вымыслов, а кроме того, иногда в рамках установленных культов, из визионерских откровений о первых и последних вещах, то есть из мистического воображения. Неудивительно, что в век исторического отката к разнообразным „новым религиозным сознаниям“ она возвращается в свое мистическое лоно. Старая культовая мистика посвященных превратилась когда-то через эзотерическое знание, магию, астрологию и алхимию в опытную и теоретическую науку, физику, астрономию и химию, доступную всем и популяризованную в жанре научной фантастики. Так было в эпоху позитивизма. Но в наше время новая наука, понятная лишь специалистам (школьник легко усвоит фагоцитарную теорию иммунитета, но не природу прионов), в фантастической словесности стала популярной, экзотерической мистикой, в определенных кругах замещая религию. В журнальной версии „Аэлиты“ („Закат Марса“) прилетевшие с Атлантиды магачитлы громко читали заклинания; в более поздней, книжной, у них в руках были свитки с формулами. Нынешний читатель опять предпочел бы первую. Это возвращение к иррациональному идет по двум сюжетным путям». Ну, и т. д. Советую почитать.

**Валентин Свенцицкий.** Венок на могилу Льва Толстого. Публикация, вступительная статья и примечания С. В. Черткова. — «Знамя», 2010, № 11 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Исключительная, на мой взгляд, по своей важности публикация из наследия священника, философа, богослова (автора знаменитых «Диалогов») и незаурядного литератора.

Из введения: «Уже будучи иереем и проповедником Добровольческой армии, о. Валентин назвал Толстого „одним из самых опасных врагов Христианской Церкви” и указал тому две причины: абсолютная искренность в ошибках и переплетение антихристианских его заблуждений в области теоретической и нравственной с подлинно христианскими писаниями. „В результате истина покоряет сердце, а вместе с истиной неподготовленными людьми жадно воспринимается лживое, „упрощенное” Евангелие от Толстого, опустошающее душу”. Толстовские же ученики, которым „он не мог передать своего сердца, своей совести, своего гения”, но передал учение, отвергающее Божественность Христа и Церковь с ее таинствами, — искажают христианство по духу, по внутреннему живому смыслу. <...> Духовная разница между двумя мыслителями определялась тем, что один так до смерти и остался „взыскующим града”, а другой уже в молодости его нашел. Диалектика же восприятия „паладином Церкви” личности отлученного от нее великого писателя укладывается в простую формулу: „С Толстым можно не соглашаться, но его нельзя не уважать, нельзя не любить”. Это и было главным в отношении к нему Свенцицкого — братская, христианская любовь. И с наибольшей силой она выразилась в публикуемом (с небольшими сокращениями) цикле очерков, ранее не переиздававшихся и неизвестных даже специалистам».

Цитата из Википедии: «Перед смертью, не изменив мнения о „компромиссах, граничащих с преступлением”, просил духовных детей последовать своему примеру: покаяться в отпадении от соборного единства (в 1928 г. о. Валентин разорвал каноническое и молитвенное общение с митрополитом Сергием Старгородским. — *Л. К.*). Умолял Патриаршего местоблюстителя как законного первого епископа о воссоединении со Святой Православной Церковью и получил прощение. Скончался в больнице г. Канск, родные получили разрешение перевезти тело в Москву. 9 ноября на отпевании, при огромном стечении народа, оно было обнаружено нетленным; покойтся на Введенском (Немецком) кладбище Москвы (участок 5/7, слева от главного входа)».

**Протоиерей Валентин Свенцицкий.** Диалоги с неизвестным. — «Фома», 2010, № 10.

Книга знаменитых «Диалогов» недавно выпущена издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Здесь ее представляет старший редактор издательства Егор Агафонов.

«**Неизвестный.** Но еще один вопрос: а как же судьба злых людей? Что значит в отношении их Промысел Божий? Бог попустил им совершить зло. Он не пресек их свободной воли, ну и что же? Почему Божественная воля „не пресекла” — я понял. Бог не хотел лишать людей свободы и делать их „механическим явлением”. Пусть так. Но ведь Промысел — это забота о *спасении*. В чем же выражается эта забота в отношении людей, *совершающих зло*?»

**Духовник.** В том же, в чем она выражается и в отношении тех, кому делается зло. Господь всем хочет спасения. И никого не лишает свободы. Не добрых только, но и злых Он ведет ко спасению, и все, что я говорил об активном значении Божественной силы в деле нашего спасения, относится одинаково и к добрым и к злым. Он и злым помогает освободиться от рабства греху, помогает и их доброму произволению, вразумляя, наказывая, просвещая, каждому давая потребное».

Интересно, что в вопросах «Неизвестного» — сплошные кавычки, курсивы. У «Духовника» — ничего такого нет и в помине. Тут есть над чем подумать.

**Илья Фаликов.** Знать грамоте. — «Арион», 2010, № 3.

«Нет спора, новое, другое время русской поэзии существует, оно значительно и не бедно. Однако что же это за эпоха такая, когда за десять нулевых лет не возникло ни единого бесспорного, неопровержимого явления, события? Есть случай Херсонского. Интересных и одаренных — куча. Глыб — нет. Ср. с началом прошлого века. Про Блока, сколь ни спорили, почти все сразу почуяли: пришел, явился. То же с Маяковским или Есениным. Могу ошибиться? А как же. <...> Суедемся вокруг одних и тех же имен, которые и именами-то становятся главным образом по причине оной суехи. Долгие годы без малейшего критического отзыва работает Надежда Мальцева. Между тем в ее лице поэзия имеет редкостного мастера. Ее жизненный путь мне неизвестен, кроме того, что сказано в биосправке к одной из публикаций: в советском прошлом на родине почти не печаталась, ушла в переводы, была приветствуема рядом крупных поэтов от Ахматовой до Елагина. Первую представительную подборку дала „Дружба народов” (№ 1/2006).

Черты поэтики: общая высокоштилильность, мелодический простор, вкрапление просторечия, фольклора, строгая строфика, порой сложная по системе рифмовки, точный отсыл к образцам по прямым цитатам: „Потому что с ней не надо света”, „Все, все, что гибелью грозит”, „В лесу раздавался топор дровосека”, „А жизнь — не сестра...” и так далее. Анненский, Пушкин, Некрасов, Пастернак — и не они одни: Случевский, Мандельштам, Рильке и Г. Бенн, Д. Андреев и Блок (список можно продлить). Много античности. Постоянная оглядка на музыку, с ее жанрами и специальными терминами. Чтобы читать Мальцеву, нужен слух и глаз».

**Илья Фаликов.** Обратный путь (О книге Александра Кабанова «Бэтмен сагайдачный»). — «Знамя», 2010, № 11.

Очень интересный разбор стихов нового лауреата нашей новомировской поэтической премии (кстати, именно за эту книгу).

«Я хочу сказать определенно: поэтика Кабанова исходно маркирована тем временем, семидесятническим в истоке, по преимуществу „Московским временем”, при всем при том не слишком склонным к каламбуристике. Состав предшественников, набор поэтик и образцов, эстетика притяжений и отгаликиваний — оттуда. Здесь же — и Маяковский первого тома. Но самое странное: на шаткой почве каламбура можно строить настоящие стихи. У Кабанова — получается, и это весело озадачивает».

Есть опасность перегрузить разбор кабановской поэтики количественной чрезмерностью имен и других стихов. Но таков сам объект. Более того, Кабанов противоречив, неоднозначен, многозначен, двусмыслен, прихотлив и т. п. Минус побивается плюсом или наоборот. Адекватный отзыв на него не может быть другим.

Поэта делает интонация. С этим у Кабанова проблем нет. Лично мне не нужна натужная „прокрустова ложь” или бессмысленное „молчанье о полку”, приходится мириться. Почему? Голос у него свой, рука тверда, мыслит не по прямой, зрение острое. Может быть, все дело в „двух отчизнах”».

**Олег Чухонцев.** Осьмерицы. Стихи. — «Арион», 2010, № 3.

В ладони голубики протянула:  
— хотите? — и смешалась невпопад,  
— откуда? — но рукою лишь махнула, —  
— а где у нас торфяники горят...

Вот так живешь по случаю, а гибель,  
она везде, с морошкой ли в горсти,  
или болотный этот гонобобель  
и дым отечества, Господь, прости...

Составитель Павел Крючков

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Январь*

**80 лет назад** — в № 1 за 1931 год напечатано стихотворение Бориса Пастернака «Смерть поэта».

**85 лет назад** — в № 1 за 1926 год напечатана поэма Сергея Есенина «Черный человек».

# SUMMARY



This issue publishes short stories by Sergey Nosov «A One and a Half of a Rabbit», a novel by Vladimir Rafeenko «Flyagroom», a short novel by Subhat Aflatuni «A Sting» and a short novel by Roman Perelshtein «Flag Day». A poetry section of this issue is composed of new poems by Ekaterina Gorbovskaia, Dmitry Bykov, Natalia Chernyh, Andrey Dmitriev and also Georgian poet Zviad Ratiani translated by Bakhyt Kenzheyev.

The sections offerings are following:

*Close and Distant*: «Dukhobors' Traveling» — Lev Simkin about history of dukhobor sect in Russia.

*Essais*: Miron Petrovsky «Running to Africa» about thematic parallels between «Barmaley» by Korney Chukovsky and african poems by Gumilev.

*Literature Critique*: «A Magazine Version» — Lev Oborin about poetry prize «Anthologia» awarded by «Novy Mir».



**«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).**

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Тексты, присланные на дискетах, CD и по электронной почте, а также рукописи объемом более 12 авт. л. не рассматриваются.**

**Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.**

Общественный совет: П. В. Басинский, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, И. Б. Роднянская, О. А. Славникова, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Главный редактор А. В. Василевский

Первый заместитель главного редактора М. В. Бутов

Редакционная коллегия: М. С. Галина, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова

Корректоры Н. И. Кузьменко, Н. Г. Усольцева

Редактор-библиограф Н. А. Кайдалова

Компьютерная верстка — М. А. Каганова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.  
Телефоны: главный редактор — 650-57-02, заместитель главного редактора — 650-91-81,  
отдел прозы — 694-54-96, отдел поэзии — 629-56-92, отдел критики — 629-22-21,  
заведующий редакцией (хозяйственные вопросы) — 650-62-68,  
для справок, продажа журналов — 694-08-29.

Факс: 694-08-29. Электронная почта: nmir2007@list.ru;  
по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://magazines.russ.ru/novy\\_mi](http://magazines.russ.ru/novy_mi)

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 22.11.2010 г. Подписано к печати 22.12.2010 г. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Офсетная печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 5500 экз. Зак. 4824. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом „Красная звезда“»,  
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38;  
<http://redstarph.ru>

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2011 году: \$ 10.

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (495) 694-08-29, (495) 650-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



## Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку,  
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо  
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_



## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2011. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек, 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 11 до 18 часов. В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 11 до 18 часов. Справки по тел. (495) 694-08-29.

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:  
германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)  
американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (495) 318-09-37, факс (495) 318-08-81).

*Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения  
за пределами России и стран СНГ,  
выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги  
фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом,  
что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку  
через наших официальных распространителей  
или через редакцию журнала.*